ПОЭТЫ XVIII ВЕКА

Советский писатель

ПОЭТЫ XVIII ВЕКА

1

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

ПОЭТЫ XVIII ВЕКА

ТОМ ПЕРВЫЙ

Вступительная статья Г. П. Макогоненко

Биографические справки И. З. Сермана

Составление
Г. П. Макогоненко и И. З. Сермана

Подготовка текста и примечания
Н. Д. Кочетковой

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1972

Р 1
П 67

В настоящем двухтомнике представлены образцы творчества целого ряда поэтов XVIII века, чье стихотворное наследие почти не переиздавалось и мало известно современному читателю. Между тем лучшие произведения этих поэтов несут на себе глубокий отпечаток своего времени и превосходно иллюстрируют процесс формирования русской национальной поэтической культуры в XVIII столетии, стремительно шедшей к вершинам гуманизма и художественного мастерства. Издание знакомит со стихами представителей ломоносовской школы — Н. Поповского и В. Петрова, с интересными стихотворными опытами А. Ржевского, с песнями популярного в свое время Ю. Нелединского-Мелецкого, с талантливыми произведениями Н. Львова, А. Аблесимова и других поэтов. Материал, охваченный двухтомником, отличает характерное для XVIII века разнообразие жанров. Особый раздел составляет стихотворная полемика — специфическое явление эпохи горячих споров о поэзии и поэтическом стиле. Несколько текстов публикуется впервые по новонайденным рукописям.

7-4-1
314-72

ПУТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ПОЭЗИИ XVIII ВЕКА

1

«Словесность наша явилась вдруг в XVIII столетии»,[1] — писал Пушкин, отлично зная при этом, что ее истоки уходят в глубокую древность. Своим утверждением поэт стремился подчеркнуть те качественные изменения, которые определились именно в XVIII веке, когда сформировалась новая русская литература. Понятием «наша словесность» связывались два века — XIX и XVIII, — то, что начиналось в эпоху Ломоносова, получило продолжение в эпоху Пушкина.

Обращает внимание в суждении Пушкина слово «вдруг» — в нем выражен особый, беспримерно динамичный характер развития России в ту пору. Литература, связанная со своим временем, обусловленная им, стремительно прошла путь от младенчества к зрелости, поистине «вдруг» — за несколько десятилетий — добилась таких успехов, которые в других странах, в иных условиях завоевывались веками.

Историческая задача, вставшая перед Россией в первые же годы XVIII столетия, разбудила и привела в действие колоссальные силы народа. Больше двух десятилетий упорно билась молодая нация за свое будущее, за свое право жить независимо. «Великие виктории», одержанные русской армией в это столетие, военно-экономические и культурные реформы, осуществленные Петром и призванные покончить с многовековой отсталостью, превратили Россию в могучее государство, которое, по словам Белинского, оказалось способным «держать судьбы мира на весах своего могущества».[2]

---

[1] ⟨Наброски статьи о русской литературе⟩. — А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в десяти томах, т. 7, М.—Л., 1949, с. 226.

[2] Мысли и заметки о русской литературе. — В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 9, М., 1955, с. 441.

«Россия молодая мужала с гением Петра». Петровский период глубоко вошел в историю России. «С этим периодом связаны дорогие нам воспоминания нашего могучего роста, нашей славы и наших бедствий», [1] — утверждал Герцен. Главное, что обусловило мощное движение страны по новому, европеизированному пути, — бурное развитие новой нации, выступление на историческую арену молодого, деятельного, верящего в свое будущее народа. Долго не находившая исхода энергия народа в это столетие прорвала плотину и неодолимо устремилась вперед. Живые, свежие силы русской нации вторглись во все области складывавшейся в ту пору культуры, определили ее успехи и достижения. Исторически закономерным было появление среди деятелей новой русской культуры гениального сына поморского рыбака Ломоносова — ученого и поэта, которому и довелось определить будущее развитие литературы.

Поднявшее свой международный авторитет русское национальное государство было дворянско-чиновной монархией. Необъятная императорская власть упрочила господство дворянства, создала условия для благоденствия помещичьего класса. Крестьянство не безмолвствовало — оно постоянно бунтовало, расправляясь с ненавистными помещиками-мучителями. Нарастание протеста народных масс против своих поработителей — характернейшая особенность социального развития того времени.

XVIII век вошел в историю человечества как эпоха великих социальных преобразований и громадных классовых битв. Столетиями накапливавшиеся противоречия феодальной эпохи вырвались наружу, и в ряде стран закипела беспримерная до тех пор борьба утесненного народа со своими угнетателями. Народные движения стали важным фактором общественной жизни многих государств. В порядок дня истории встали революции, которые должны были уничтожить феодальный строй.

Во второй половине XVIII века крепостнический гнет в России приобрел особо жестокий характер. Поддерживаемые правительством русские помещики превращали крепостное право в дикое, никакими законами не ограниченное рабство. Ответом на эту политику самодержавия и дворянства явились крестьянские бунты. Царствование Екатерины II проходило в зареве малых и больших восстаний, вылившихся в конце концов в крестьянскую войну 1773—1775 годов, возглавленную Пугачевым. Крестьянская война потерпела трагическое поражение, крепостнический гнет не был уничтожен, но феодаль-

---

[1] Княгиня Екатерина Романовна Дашкова. — А. И. Герцен, Полн. собр. соч. в тридцати томах, т. 12, М., 1957, с. 365.

ному государству и крепостническим порядкам был нанесен серьезный удар. Вопрос о крепостном праве и борьбе с ним станет центральным во всей общественной жизни России в последующие десятилетия.

Сразу за крестьянской войной в России в далекой Америке вспыхнула первая в XVIII веке революция. Ее победоносное завершение не только привело к созданию республики — Соединенных Штатов Северной Америки, — она прозвучала, по словам Маркса, «набатным колоколом» [1] для Европы: французский народ в 1789 году совершил свою революцию, казнил короля, уничтожил феодальный режим. В ходе революции были провозглашены великие идеалы свободы. Человечество еще не знало, что победившая в революции буржуазия растопчет их и надругается над ними.

В XVIII веке сформировалась оптимистическая вера в торжество разума и свободы. Многие понимали, что наступала великая эпоха крушения феодального режима, эпоха утверждения свободы народа, свободы человеческой личности от социальной и политической неволи. Выражая думы и чувства своих современников, писатель и революционер Радищев писал в стихотворении «Осмнадцатое столетие»:

О незабвенно столетие! Радостным смертным даруешь
Истину, Вольность и Свет, ясно созвездье вовек.

Антифеодальная борьба народов породила мощное идейное движение века — движение Просвещения. Оно начало формироваться в 40—50-е годы XVIII века на Западе, где гегемоном народной борьбы с феодальной неволей выступала буржуазия, и вошло в историографию под именем буржуазного. Выразители интересов народа, просветители подвергли уничтожающей критике религию и церковь, господствующие взгляды на государство, на роль и место сословий в обществе, объявив все существовавшие феодальные порядки неразумными, подлежащими уничтожению. Просветители вскрывали преступность крепостного права. Самоотверженно отстаивая свободу человека, Просвещение, как боевая антифеодальная идеология, оказывало огромное воздействие на всю общественную жизнь нации, на искусство и литературу в частности.

Но борцы с феодальным строем, как правило, не были революционерами. Отстаивая свободу и справедливость, они все надежды возлагали на мирные преобразования. Доказывая несправедливость

---

[1] Капитал. Предисловие к первому изданию. — К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 23, М., 1960, с. 9.

существующих обществ, просветители открыли зависимость морали, убеждений и взглядов людей от социальных условий жизни, от среды. Если эти условия неразумны, говорили они, то следует их изменить, и тогда люди переменят свои убеждения, станут лучше, будут жить по законам разума, в обществе восторжествует справедливость. Просвещение умов помогало такому изменению, но оно требовало много времени. Быстрее тех же результатов можно было достичь при помощи законов. Именно законы создали существующие порядки в государстве. Их несправедливость обусловлена несправедливыми, неразумными законами. В монархических государствах источником законов является монарх, следовательно, если просветить монарха, он начнет издавать справедливые, разумные законы, под влиянием которых наступят желанные перемены в обществе. Так была выработана политическая теория просвещенного абсолютизма. Отсюда и вытекала тактика просветителей — осуществлять свои цели с помощью монархов, оказывать на царей воздействие, «учить» их царствовать.

Развитие просветительской идеологии в каждой стране зависело от обострения социальных противоречий между дворянами и крестьянами, от борьбы народа со своими угнетателями. В России эта борьба с особой силой развернулась с конца 1760-х годов. Наивысшим ее выражением было пугачевское восстание. Именно в 60-е и 70-е годы окончательно и сложится идеология русского Просвещения, при этом она будет опираться на завоевания, сделанные ранними русскими просветителями — Кантемиром, Тредиаковским, Ломоносовым. Время их действования — 30—50-е годы, крестьянский вопрос тогда еще не стал главным в общественной жизни России. Поэтому они, защищая интересы народа, не выступали против крепостного права. В их деятельности на первое место выдвигались общие задачи просвещения отечества и народа и, прежде всего, отстаивание принципов политики Петра, поскольку он был подлинно просвещенным государем и его преобразования во многом служили интересам всей нации.

Эпоха русского Просвещения связана с деятельностью целой плеяды писателей, ученых и публицистов. В 1760—1770-х годах на общественной арене выступили: журналист, издатель и писатель Николай Новиков, драматург и прозаик Денис Фонвизин, драматург и поэт Яков Княжнин, философ Яков Козельский. Наряду с ними активно работали ученые С. Десницкий, Д. Аничков и популяризатор просветительской идеологии профессор Н. Курганов. В 1780-е годы Новиков создал в Москве, на базе арендованной им типографии Московского университета, крупнейший просветительский центр, объединивший сотню переводчиков, писателей, ученых и распространителей книг.

В конце 1780-х годов в литературу вступил молодой писатель, ученик русских просветителей, талантливый прозаик и поэт Иван Крылов. Тогда же вышли из печати и произведения Александра Радищева. Его деятельность была итогом и высшим достижением русского Просвещения. Но Радищев и первый русский революционер, он открывал новую эпоху в развитии общественной мысли в России. Включившись в ряды просветителей, опираясь на их политический, общественный и литературный опыт, Радищев поднял идеологию русского Просвещения на новую ступень, обогатив ее идеей народной революции.

Просвещение в последнюю треть XVIII века оказывало глубокое влияние на всю идейную жизнь общества, и прежде всего на развитие литературы и искусства. Даже те крупные дворянские писатели, которые не принимали главного — социальной программы просветителей, — испытывали влияние просветительской философии с ее культом свободного человека. На этом теоретическом фундаменте формировались их эстетические убеждения. Так, например, обстояло дело с Державиным и Карамзиным. Их литературные успехи во многом определялись усвоением философских и эстетических концепций просветителей.

2

Новая русская литература началась не с прозы, а с поэзии, она утверждала свое историческое бытие в поэтических жанрах, заговорила с читателем языком стиха. Час прозы еще не пробил, и первые опыты прозаиков многие десятилетия находились на периферии литературы. Несмотря на расцвет творчества таких прозаиков, как Новиков и Фонвизин, Радищев, Крылов и Карамзин, поэзия и во второй половине века продолжала занимать господствующее положение.

Опережающее развитие поэзии было исторически обусловленным явлением. Европеизация, настойчиво проводившаяся Петром, подготовила условия для существования России как мировой державы. Возникала острая необходимость создания национальной литературы, которая была бы способна выражать национальную жизнь России в ее новом качестве. Конечно, она формировалась не на пустом месте. Предшествовавшая литературная традиция давала себя знать и в первые десятилетия века и позже, когда разными путями произведения прошлых эпох оказывали влияние на литературный процесс. И все же литература, возникавшая в послепетровскую эпоху, была принципиально новым явлением.

В XVIII веке с особой обостренностью русские люди почувство-

вали себя наследниками всего мира. Процесс осознания новой исторической судьбы России не мог быть запечатлен в старых формах, на основе художественных принципов древнерусской литературы. До́лжно было наследовать не только национальные традиции, но и художественный опыт человечества. Это было частным проявлением общей исторической закономерности.

История свидетельствует: когда преодолевалась феодальная раздробленность европейских стран и создавались большие национальные государства, когда возрастала активность еще не расколотых классовой борьбой наций, создавались предпосылки для формирования национальных литератур. Объектом изображения их должна была стать конкретная жизнь данной нации, данного народа, его история, его духовное творчество, его быт, нравы, обычаи, верования, его идеалы и острые проблемы социального и общественного бытия. Но в канун появления литератур, сосредоточивших свой интерес на национальном, конкретном и действительном, на историческую арену вышло и широко распространилось богатое направление — искусство классицизма, которое в каждом национальном варианте вбирало в себя художественный опыт античности и Возрождения. Классицизм объединял человечество, создавая общий арсенал этических и эстетических идеалов, вырабатывал общий язык искусства и тем самым подготавливал условия и возможность выражения на этом языке самобытных идеалов, индивидуального опыта исторической жизни каждой отдельной нации, неповторимо национальных решений общечеловеческих проблем, раскрытия идеала человека в его живой общественной практике, в его исторической и национальной обусловленности.

Раньше всего классицизм как богатое литературное направление сложился во Франции, в XVII веке, когда абсолютная монархия Людовика XIV выступила в качестве основы национального единства. Русский классицизм сформировался веком позже, в эпоху расцвета русского абсолютистского государства. Именно он отвечал исторической потребности создания общенационального искусства, и потому развивался с необыкновенной интенсивностью. Классицизм — многожанровое искусство, но оно утверждало свое бытие лишь поэтическим словом. Русская поэзия XVIII века и складывалась в рамках направления классицизма.

Абсолютизм беспощадно боролся со всяким своеволием, требовал строжайшей государственной дисциплины и жесточайшей регламентации всех форм политической и общественной жизни. В этих условиях классицизм выдвинул культ гражданских добродетелей — отказ человека от всех личных чувств и желаний во имя высших

государственных интересов. Его философией стал рационализм, провозгласивший величие человеческого разума, единственно способного постичь истину.

Освободившись от теологических представлений о человеке, художники-классицисты создали идеал человека, как его подсказывала рационалистическая философия. Рожденный разумом идеальный характер выступал воплощением всего истинного и прекрасного. Общественное и частное значение человека в феодальном государстве определялось, в конечном счете, его сословной принадлежностью, а не индивидуально неповторимыми чертами личности. Сословная идеология, не признававшая индивидуальности человека, питала эстетический идеал классицизма.

Высшей ценностью являлось государство, поглощающее личность. Верность идеалу, красота, реальность человеческого характера для классицизма — в строжайшем следовании нормам и законам, продиктованным разумом. Так устанавливалось как бы существование двух миров, в которых жил человек, — эмпирический, чувственный, и разумный. В одном мире жили те, кому в силу низкого происхождения неведомы были идеалы высокого, разумного существования, или те из «благородных», кто нарушал эти нормы; в другом жили те представители господствующего сословия, кто строил свою жизнь в соответствии с идеалом. Отсюда родилось эстетическое противопоставление высокого и низкого, трагического и комического, которое стало основой для деления литературы на жанры.

Чувственная практика человека, его частный быт могли находить в какой-то мере свое выражение в сатирических жанрах (комедия, басня, герои-комическая поэма). В высоких жанрах лирической поэзии, а более всего в трагедии выступала разумная, абстрагированная, отвлеченная действительность. Тем самым человек оказывался оторванным от конкретных обстоятельств своей жизни, от реальных условий бытия, от всего того, что воспитывало и формировало его убеждения, интересы и поступки. Действительность, природа, человек допускались в искусство только в очищенном, украшенном виде. Это нужно было для того, чтобы художник мог сосредоточиться на раскрытии логики чувств, чаще всего на анализе подавления страстей и торжестве долга. Интерес к внутреннему миру человека, культивируемый классицизмом, имел большое значение для искусства. Но в то же время, не видя в человеке личности, классицизм не смог раскрыть всю неповторимость и сложность его конкретно-психологической жизни.

Классицизм требовал правды от искусства, верности природе. Но то была не реально-эмпирическая правда живой, противоречивой

стихийной жизни, а правда высокая, разумная, логически организованная, правда должного, а не сущего.

Классицизм, как антииндивидуалистическое искусство, отрицал личность и в художнике, в писателе. Дух дисциплины, подавление субъективной воли самого автора, воли художника определили необходимость создания нормативной поэтики. Она подчиняла сознание поэта и художника строгим правилам, определяла жесткую регламентацию творческого процесса. Поэзия делилась на жанры, за каждым из которых закреплялся определенный материал и язык, строго обусловливалась композиция произведения.

В систему регламентации входило и обязательное следование образцам, подражание уже известному. Таким образцом французский классицизм объявил произведения античной литературы. Следование образцам разрешало использовать и сюжетные ситуации, и материал подлинника, имена героев и даже целые поэтические описания. В XVIII веке в различных национальных литературах, и в частности в русской, образцами считались не только произведения античной литературы, но и лучшие сочинения французских писателей-классицистов: Мольера, Расина, Корнеля, Буало, Лафонтена, а позже — Вольтера и его современников.

Русский классицизм был явлением глубоко прогрессивным. Он помог создать национальную литературу, способствовал выработке идеалов гражданственности, сформировал представление о героическом характере, высоко поднял поэтическую культуру, включил в национальную литературу художественный опыт античного и европейского искусства, открыл поэзии возможность аналитического раскрытия нравственного мира человека. Усилиями Тредиаковского и Ломоносова была осуществлена реформа русского стихосложения. Отказавшись от чуждого строю русского языка силлабического стихосложения, они ввели силлабо-тоническое (основанное на чередовании ударных и безударных слогов), открывая тем самым возможность использования интонационного богатства русского языка, который отличается многоакцентностью и подвижностью ударений в словах. Русская поэзия тем самым прочно вставала на национальную почву. Жизненность реформы подтвердила вся, более чем двухвековая, практика русских поэтов.

Несколько столетий в России литературным языком был церковнославянский. На основе глубокого изучения живой разговорной речи Ломоносов создает первое научное описание русского языка, устанавливает систему его грамматических норм («Российская грамматика», 1757). Более того — он осуществляет реформу и определяет пути сложения литературного языка: он узаконивает использование

живого русского языка, который должен быть обогащен всем лучшим, что дал церковнославянский язык за свою многовековую историю, открывает в просторечии источник его постоянного обновления. Языковая реформа Ломоносова открывала широкие возможности для быстрого и успешного развития русской литературы — и поэзии и прозы.

Творческая работа многих талантливых поэтов — от Кантемира до Сумарокова и его школы — сделала русскую литературу жанрово богатой. Получили признание и завоевали авторитет оды (торжественные, философские, анакреонтические) и басни, сатиры и песни, послания и эклоги, стансы и элегии, поэмы (героические и шутливые, герои-комические) и переложения псалмов. Сумароков, Херасков, а позже Княжнин своими трагедиями и комедиями внесли огромный вклад в национальную драматургию, подготовив условия для организации и успешной деятельности русского театра, который и был создан в 1756 году.

В течение четырех десятилетий классицизм был господствующим литературным направлением. С середины 1760-х годов положение начало меняться. Нараставшие из десятилетия в десятилетие социальные противоречия крепостнической России крайне обострились после прихода к власти Екатерины II (1762). Закипавшая общественная борьба ставила перед поэтами-классицистами новые требования, выдвигала на обсуждение большие и больные вопросы социальной и политической жизни русского государства. Поэзия классицизма не могла на них ответить. В самом эстетическом кодексе этого направления таилось глубокое и роковое противоречие. Как всякое искусство, классицизм был призван отражать жизнь. Но его эстетический кодекс ставил между писателем и окружающей его действительностью преграду в виде правил. Реальная практика людей разных сословий, жизнь общества с его действительными противоречиями, судьба конкретного русского человека — его жизнь, его быт, его интимный мир, поиски счастья, его бедствия и страдания — все это оказывалось за бортом поэзии классицизма.

Положение классицизма в 1760-е годы осложнялось появлением нового демократического читателя, который проявлял равнодушие к поэзии, ориентированной на образованное дворянство. В литературу вступали разночинцы. Они стали писать о том, что интересовало демократического читателя, писать не по правилам, решительно выступать против поэтов-классицистов, пародировать высокие жанры, подрывать авторитет вождя и законодателя русского классицизма — Сумарокова. Начался кризис классицизма.

3

Его внешним выражением явилась ожесточённая борьба с нормативной поэтикой, в ходе которой и складывались новые литературные направления. Все большую роль в литературном и общественном движении стали играть просветители и писатели-демократы. Художественная практика собственно дворянской литературы, представленной Сумароковым и его школой, не удовлетворяла их требования.

Отвергая правила нормативной поэтики, просветители и те писатели, которые испытывали влияние их эстетических убеждений, выработали иное представление о задачах литературы и месте писателя в общественной жизни, создали новый идеал человека. Они понимали, что нужно было искусство, которое бы доверяло действительности и реальному человеку, не идеализировало, а объясняло жизнь, содержание которой под влиянием обострявшихся социальных противоречий непрерывно осложнялось. Таким искусством и оказывался реализм, рождавшийся как ответ на властное требование времени. В ходе героических сражений с феодальным миром, со всеми его учреждениями и его идеологией вырабатывался новый взгляд на общество, формировалась новая философия человека как свободной личности, достоинство которой определяется не ее сословной принадлежностью, не знатностью рода, но умом, личными дарованиями; создавалось учение о зависимости человека от общества. Реализм, став европейским, а потом и мировым направлением, открывал возможности для искусства каждой нации быть самобытным, существовать в национально-неповторимом облике, как неповторима жизнь каждой нации.

В России реализм начал складываться в последней трети XVIII столетия. На раннем этапе реализма — от Фонвизина до Пушкина — обозначились некоторые важные принципы его поэтики. Прежде всего должны быть отмечены такие черты: понимание внесословной ценности человека, вера в его великую роль на земле; выдвижение патриотической, гражданской и общественной деятельности как единственного пути к самоутверждению личности, живущей в самодержавно-феодальном обществе; объяснение человека его социальной средой и, наконец, раскрытие национальной обусловленности характера, первые шаги в художественном постижении «тайны национальности», умение показать русский взгляд на вещи, «русский ум».

Первые успехи новый метод одержал в драматургии: комедии Фонвизина — «Бригадир» и особенно «Недоросль» — закладывали фундамент русского реализма. Дальнейшее развитие он получил в прозе — в произведениях Новикова, Радищева и молодого Крылова.

Поэзия не могла не отвечать на запросы и требования времени. Реализм начал преобразовывать лирическую поэзию. Но этот процесс был особенно трудным потому, что власть традиции сильнее всего сказывалась именно в лирической поэзии. При этом реализм в поэзии проявлял себя иначе, чем в драматургии и прозе, — здесь складывались свои черты нового стиля, новой структуры.

Решающий вклад в развитие принципов реалистической лирики был сделан гениальным поэтом XVIII века — Державиным. 1780-е годы оказались для него порой интенсивного творчества и шумного успеха, признания и одобрения его новаторской деятельности. Державин был далек от передового общественного движения эпохи: «возмутители», «бунтовщики», кто бы они ни были, мужики или дворяне — раз они выступали против самодержавно-крепостнического строя — его враги. Враждебно он отнесся и к французской революции. Но Державин был сыном своего века, и просветительская идеология наложила свою печать на его мировоззрение. Просветительское представление о человеке как гражданине и патриоте, чье достоинство определяется не сословной принадлежностью, а общеполезной деятельностью на благо родины, составляло основу общественных и философских воззрений Державина-поэта.

Державин славил человека, когда он того заслуживал. Оттого героями его стихов были или Суворов («На взятие Измаила», «На победы в Италии», «На переход Альпийских гор», «Снигирь»), или солдат-герой, или Румянцев («Водопад»), или простая крестьянская девушка («Русские девушки»). Он славил дела человека, а не знатность и «породу».

Рисуя своих героев, Державин стремился раскрыть черты их индивидуального характера. Но это не всегда удавалось. Нередко классицистическая эстетика оказывала упорное сопротивление, и тогда герои поэта выступали в своем парадном величии, риторика вторгалась в оду. Полная художественная победа была одержана поэтом в раскрытии своей личности. Поэзия Державина глубоко автобиографична. Автобиографизм явился величайшим открытием русской поэзии XVIII века. Оно было сделано до Карамзина и на иной философской основе, поскольку Державину чужд художественный субъективизм. Поэт изображал себя как объективного человека во всем многообразии связей с действительным миром, как реальный характер, живущий полной, сложной и духовно интенсивной жизнью, как личность, обуреваемую различными страстями. Стихи Державина запечатлели обаятельный мир души русского человека, гражданина и патриота.

Как только на мир стала смотреть духовно богатая личность, так

оказалось возможным запечатлеть в стихах реальность, конкретность окружающей ее природы как части объективного мира. Именно Державин открыл красоту и поэзию русской природы. В его стихах она утратила традиционный для классицизма условно-номенклатурный характер, перестала быть перечнем основных типологических признаков весны, лета, зимы или осени. Природа у Державина впервые предстала перед читателем в своем наглядно зримом, неповторимом облике — как природа русского севера, со своими особенностями, чертами и приметами, тонко подмеченными человеком, восхищенным красотой мира. Пейзажная лирика XIX века — богатое и прекрасное явление русской поэзии. Основоположником этой традиции был Державин.

Классицизму присущ общий стиль. Он требовал изображать идеальное, соответствующее норме. Разделение поэзии на жанры, декретируемое классицизмом, определяло закон единства стиля. За каждым жанром закреплялась своя тема, каждая тема требовала своего языка, точно обозначенной образной системы. Обязательность этих решений для каждого поэта записывалась в поэтических кодексах Буало и Сумарокова как правила. Вот, например, какие стилистические задачи должны были решаться в оде:

Гремящий в оде звук, как вихорь, слух пронзает,
Хребет Рифейских гор далёко превышает,
В ней молния делит наполы горизонт,
То верх высоких гор скрывает бурный понт.

(«Эпистола о стихотворстве»)

Высокость темы, по Сумарокову, следовавшему за Буало, требовала «гремящих звуков», и правила рекомендовали пути решения этой задачи. Аллегория — решающая особенность одического стиля. Мифология призывается для того, чтобы освободить поэта от связей с реальной, «низкой» действительностью и позволить ему «парить» в высокой сфере идей. Сумароков учил поэтов следовать сформулированным им правилам:

Сей стих есть полн претворств, в нем добродетель смело
Преходит в божество, приемлет дух и тело.
Минерва — мудрость в нем, Диана — чистота,
Любовь — то Купидон, Венера — красота. . .

и т. д.

Соблюдение правил и порождало единство стиля од разных поэтов (равно как и всех других жанров). Но поэтика классицизма выдвигала еще принцип подражания образцам. Тем самым поэтичность

водимого материала и каждого слова оказывалась заданной, обеспечивалась устойчивой традицией, постоянным употреблением в определенной стилистической системе. Слово выступало в устойчивом и постоянном значении. Подобная заданность с новой стороны обусловливала единство стиля.

Державин, разрушая каноны классицизма, отступая от правил, смог отказаться и от единого стиля. Но, разрушая, он же создавал новый стиль, новую художественную систему. Объектом изображения у Державина становился реальный мир во всей своей неповторимости и разнообразии. Реальности чужда идеальность. Ее изображение требовало открытия тех индивидуальных особенностей, которые ей присущи. Державин, например, пишет оду в честь русских войск, осаждающих крепость Очаков. События происходят осенью. Предметом изображения и становится осень. Отказываясь от аллегории, поэт не хочет образом Цереры заменять «низкую» реальность — русскую осень; он стремится изобразить ее со всеми присущими ей конкретными признаками:

Уже румяна Осень носит
Снопы златые на гумно,
И роскошь винограду просит
Рукою жадной на вино...

(«Осень во время осады Очакова»)

Стиль теперь зависит не только от объекта изображения, но и от личности поэта, который смотрит на мир со своих индивидуальных позиций, обусловленных и жизненным опытом, и художественной зоркостью, и психологическим складом, и мастерством. «Видение мурзы», например, начинается с описания ночи в квартире Державина. В нарисованной им картине реальна и индивидуальна вся домашняя обстановка сумерничающего поэта, индивидуально и его ви́дение окружающих вещей, индивидуальна чисто державинская манера живописания:

На темно-голубом эфире
Златая плавала луна;
В серебряной своей порфире
Блистаючи с высот, она
Сквозь окна дом мой освещала
И палевым своим лучом
Златые стекла рисовала
На лаковом полу моем.

Индивидуальность стиля рождала поразительную смелость многих образов Державина, так привлекавшую поэтов XIX века. Поэ-

тичность слова у Державина возникала каждый раз заново в зависимости от объекта изображения и личности поэта. Гоголь, высоко ценя своеобычный державинский слог, называл его «крупным», так как в нем происходило необыкновенное соединение высоких слов с самыми низкими (что запрещалось классицизмом). В качестве примера он приводил из стихотворения «Аристиппова баня» строки о «величественном муже», который, исполнив все, что нужно, на земле, —

И смерть, как гостью, ожидает,
Крутя, задумавшись, усы.

Стихотворение «Зима» написано в форме диалога поэта с музой. И вот какой предстает пред читателем муза:

Что ты, Муза, так печальна,
Пригорюнившись сидишь?
Сквозь окошечка хрустальна,
Склоча волосы, глядишь...

Индивидуальный стиль лирики Державина, его «крупный слог», означал становление реализма в лирике. Он выработался не сразу, все время развиваясь и обогащаясь. Державин открывал новую страницу в истории русской поэзии, выводил ее из тупика, в который она попала в пору начавшегося кризиса классицизма и засилья эпигонов.

Одновременно с реализмом в ряде стран — Англии, Франции, Германии, а потом и в России — формировалось и другое литературное направление, получившее позже название сентиментализма. Его утверждение также сопровождалось борьбой с классицизмом. Опираясь на просветительскую философию, сентиментализм провозглашал внесословную ценность человека, воспитывал в нем сознание достоинства и уважение к своим силам и способностям, и прежде всего к своим чувствам. Великий писатель-сентименталист Руссо именно способность к чувству, богатство чувств провозгласил мерой оценки личности, заявив: «Человек велик своим чувством».

Между реализмом XVIII века и сентиментализмом много общего. Оба направления, связанные с просветительской философией, раскрывали духовное богатство личности, выбирая своих героев не только из дворян, но и из среды третьего сословия — буржуазии, ремесленников, крестьян. Оба направления противостояли классицизму, они способствовали демократизации литературы.

Но многое и разделяло эти два направления. И прежде всего разделял их метод изображения человека. Реализм, раскрывая лич-

ность, связывал ее с окружающим миром, показывая зависимость характера от обстоятельств бытия, от среды. Сентиментализм, превознося человека, погружал его в мир нравственной жизни, стремясь освободить его от деспотической власти внешней среды. Это не значит, как об этом часто пишут, что писатели-сентименталисты совсем не интересуются внешним миром, что они не видят связи и зависимости человека от нравов, от условий, в которых он живет. Но они стремились к максимальному высвобождению человека из власти обстоятельств. Им они противопоставляли мир страстей и чувств, раскрывали «тайное тайных» — жизнь сердца, на этом прежде всего и сосредоточивали свое внимание.

В России сентиментализм стал складываться в 1770-е годы, в пору начавшегося кризиса классицизма. Характерно, что первыми сентименталистами оказались бывшие приверженцы нормативной поэтики — Херасков и М. Н. Муравьев. Идейно-эстетическое перевооружение дворянских литераторов продолжалось и в 1780-е годы. В последнее десятилетие века сентиментализм станет господствующим направлением дворянской литературы, которое возглавит Карамзин, создавший в Москве своеобразный центр новой школы.

Итак, литературный процесс последней трети столетия отличался чрезвычайной сложностью и интенсивностью эстетической борьбы. Классицизм медленно уступал дорогу двум новым направлениям. Талантливые поэты искали пути преодоления нормативной поэтики и выработки новых принципов стиля. С конца 1780-х годов продолжателями классицизма выступали только эпигоны.

Общий смысл начавшейся «литературной революции» определялся сближением литературы с действительностью. Преодоление эстетических канонов классицизма осуществлялось не вдруг, но мучительно и долго, в напряженных исканиях, и не всегда успешно. В то же время эти искания не оставались безрезультатными и часто приводили к замечательным открытиям. Главное было сделано: в литературе — драматургии, прозе и поэзии — были созданы первые реалистические произведения, был переброшен мост к Пушкину.

Пушкин выступил наследником и продолжателем «литературной революции» XVIII — начала XIX века, собирателем опыта своих предшественников, как первых реалистов — «поэтов действительности», так и сентименталистов — поэтов «чувства и сердечного воображения», преодолев при этом односторонность раскрытия человека, свойственную тем и другим, и навсегда освободив литературу от той, исторически обусловленной, художественной ограниченности писателей прошлого, которая порождала эстетическую «невыдержанность» их творчества.

4

Литературные репутации создаются раньше всего современниками. История вносит свои поправки, часто очень существенные. И это естественно — современники и потомки по-разному и понимают, и, главное, видят одни и те же явления. История помогает нам раскрывать существо закономерностей литературного развития и, соответственно, роль и место каждого литератора в сложном литературном процессе. Но историческая дистанция порождала и устойчивую традицию такого изучения прошлых литературных эпох, когда рассматривалось творчество только крупных писателей, проводилась воображаемая прямая линия — от вершины к вершине.

На деле это не линия, а пунктир, подчеркивающий лишь пропуск многих заслуживающих внимания явлений. Да и развитие происходит не по прямой: художественные открытия великих писателей подготавливаются общим развитием литературы, они во многом обусловлены тем литературным климатом, который создается усилиями многих литераторов.

Рядом с признанными вождями и лидерами школ и направлений, писателями, обновлявшими литературу, действуют — и часто очень активно — не только их последователи или противники, но и литераторы, пытающиеся занять свою, особую позицию, отстаивающие свой путь и свое место в литературе. В творчестве рядовых участников литературного движения отчетливее проявляется или исчерпанность того или иного направления, или поиски новых эстетических идеалов. Не всегда этим ищущим удается художественно реализовать свои искания, чутко уловленные запросы времени. Но их усилия не пропадают, не исчезают бесследно — они подготавливают почву для более крупных писателей или литераторов других эпох, появляющихся «вовремя», когда созрели исторические условия для нового слова.

В числе рядовых участников русского литературного движения XVIII века были ученики, последователи, а позже и эпигоны крупнейших поэтов века — Ломоносова, Сумарокова, Державина; были поэты талантливые, но мало печатавшиеся при жизни и потому не пользовавшиеся широкой известностью; были очень популярные в свое время, а потом никогда не переиздававшиеся и быстро попавшие в число забытых; были и такие, которые утверждали свою индивидуальность формальными экспериментами или злыми пародиями на произведения классицистов, и т. д.

В Большой серии «Библиотеки поэта» русская поэзия XVIII века представлена богатым репертуаром имен. Отдельными сборниками вышли стихотворения не только крупных поэтов, но и тех, которые

внесли более скромный вклад в поэзию века на разных этапах ее истории.

В настоящем двухтомном издании представлено творчество рядовых участников литературного движения, сыгравших известную роль в формировании поэтической культуры XVIII века, но, как правило, не переиздававшихся и малоизученных. Их произведения должны дополнить тот поэтический облик века, который в основных чертах создавался крупными мастерами.

5

Первые «похвальные», торжественные оды появились еще в XVII столетии — их автором был Симеон Полоцкий. С той поры они стали распространенным жанром. В 1734 году Тредиаковский издал отдельной книжечкой «Оду торжественную о сдаче города Гданска», присоединив к ней теоретическое «Рассуждение об оде вообще». Хотя ода Тредиаковского была написана тем же силлабическим размером, которым писали и его предшественники, он с полным правом сообщал читателям, что именно его ода «самая первая есть на нашем языке». Действительно, это была первая торжественная ода нового типа — она создавалась по правилам французского классицизма, сформулированным его законодателем Буало в «Поэтическом искусстве». Одним из требований Буало было и подражание образцам. Тредиаковский в качестве образца взял оду самого Буало «На взятие Намюра». В «Рассуждении» он дал теоретическое обоснование жанра хвалебной и «нежной» оды; следуя за Буало, определил главную особенность стиля торжественной оды — «лирический беспорядок».

Через пять лет — в 1739 году — Ломоносов написал свою первую оду «На взятие Хотина», избрав для этого четырехстопный ямб. Она знаменовала начало нового этапа в русской литературе. С этого времени ода стала главным и любимым жанром Ломоносова.

Содержание од Ломоносова определялось его политическими убеждениями, в основе которых лежала концепция просвещенного абсолютизма. В преобразовательной деятельности Петра поэт находил подтверждение своих идеалов; он считал, что только просвещенный монарх может в современных условиях принести благо родине и народу. Потому постоянная тема его од — деятельность Петра. В одах, обращенных к Елизавете, а затем к Екатерине II, Ломоносов призывал их вернуться к политике Петра I и следовать его пути.

Оды писались на торжественные случаи придворной жизни, главным образом на годовщину восшествия на престол Елизаветы. От-

того в них обязательно включалась похвала императрице. Но это не было лестью ищущего подарка придворного. Прославляя и идеализируя Елизавету, поэт как бы говорил ей: смотри, вот каким должен быть просвещенный монарх; его долг развивать в России промышленность, установить мир — «возлюбленную тишину», покровительствовать наукам и просвещению. Воспевая талантливость русского народа, мощь и богатство России, поэт увлеченно доказывал, что сто́ит только широко развить образование в стране, и сможет «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать». Общественным и поэтическим подвигом Ломоносова и было превращение жанра похвальной оды в наказ царям, в программу развития русской культуры, разработанную просветителем. Бывший крестьянин и рыбак, став ученым и поэтом, отважно принялся учить императрицу царствовать.

Ода строилась им как ораторское сочинение. Она писалась от имени русского человека, сына отечества, глубоко взволнованного судьбой любимой родины. Грандиозные картины великих побед недавнего прошлого и будущего процветания России, напряженно-патетическое чувство поэта, подчеркнуто эмоциональный строй языка (то, что Ломоносов называл словом «восторг») — все это создавало особый, индивидуально-неповторимый, «высокий», гражданский стиль оды, исполненный смелых гипербол и аллегорий, восклицаний и неожиданных сравнений, насыщенный славянизмами, мифологическими именами и образами. Такой стиль придавал оде монументальность, сложность и великолепие.

Высокий художественный уровень од Ломоносова способствовал широкому распространению этого жанра в русской поэзии XVIII века. Ода Ломоносова была объявлена образцом, которому подражало несколько поколений поэтов от Поповского и В. И. Майкова до Петрова и Кострова. Вначале эти оды приветствовал и Сумароков, хотя выработанные им принципы стиля — простота, рационалистическая ясность поэтического языка — противоречили эмоциональному, «громкому», лишенному логической простоты и ясности стилю Ломоносова.

Авторитет Ломоносова-поэта был настолько велик, что поэты-классицисты стали писать вслед за ним «громкие» оды. Число одописцев увеличивалось из десятилетия в десятилетие, количество од устрашающе росло, и уже в 1760-х годах стало рождаться убеждение, что ода изжила себя, утратив способность к творческому развитию, что она только бесконечно повторяет известные образцы, что одописцы неумолимо скатываются к эпигонству.

Гиперболический стиль ломоносовских од выражал высокие идеи

величия и могущества России и русской нации. «Громкость» его гражданской оды была внутренне оправдана. Гиперболические же образы его подражателей, бесконечные заимствования ими образов, лексики и даже рифм являлись чужеродными инкрустациями в одах, главным содержанием которых была беззастенчивая похвала очередному монарху, прославление его царствования. «Громкость» стала превращаться в пустую риторику.

Появление эпигонов-одописцев вызвало тревогу Сумарокова. Полагая, что все дело в отступлениях от правил и следовании «неправильным» одам Ломоносова, он объявил ему войну. В ряде статей он открыто осуждал его оды за их «надутость», за стремление «превзойти великость», за излишнюю «фигурность» речи — метафоризм, за отступление от «простоты» и логической однозначности слова. Сумароков подверг критическому разбору самую знаменитую оду Ломоносова 1747 года («Царей и царств земных отрада...»), уличая поэта в «нелепостях», грамматических ошибках (так воспринималось им свободное поэтическое словоупотребление Ломоносова). Чтобы дискредитировать ломоносовскую систему, Сумароков писал пародии, называя свои опыты «Вздорными одами».

Одновременно с ниспровержением авторитета Ломоносова Сумароков сам писал оды, писал «ясно» и «просто», по правилам, им самим сформулированным, изгоняя «громкость», «надутость» и «великолепие» метафорического стиля Ломоносова. Но успеха эти «правильные» оды не имели, и Сумароков перестал их писать, предпочтя им свои любимые жанры — песни и притчи.

Сложилось парадоксальное положение: поэтический кодекс классицизма объявил оду ведущим жанром лирики, определил правила ее написания, создал образцы «правильной» оды, рационалистически ясного стиля, а она пошла по «неправильному» пути Ломоносова (которого отлучил от классицизма сам Сумароков), утратив все достоинства ее создателя. Парадоксальность этого явления проявилась с еще большей силой и наглядностью в конце 1770-х — начале 1780-х годов, когда в пору полного упадка оды вдруг произошло ее возрождение в творчестве Державина. Художественные открытия Державина обусловили новый этап ее развития в качестве важнейшего жанра русской гражданской, политической лирики. Так оказалось возможным появление революционной оды Радищева «Вольность» и свободолюбивой оды Пушкина под тем же названием.

Чтобы понять, почему ода в творчестве Ломоносова и Державина, а потом Радищева и Пушкина стала выдающимся явлением русской поэзии, и, с другой стороны, существуя в рамках классицизма, утрачивала свое влияние и авторитет, дискредитировала себя

как жанр, — необходимо выяснить решающие черты ее своеобразия, определенные истинным творцом русской оды — Ломоносовым.

Классицизм, как об этом уже говорилось выше, был исторически необходимым этапом в формировании новой русской литературы как литературы национальной, и в то же время он оказывался неспособным раскрывать русскую действительность первых десятилетий XVIII века в ее истине, не увидел и не запечатлел богатого и самобытного содержания бурных, имевших всемирно-исторический характер событий, в которых мощно проявились активность и талант национального гения. Противоречие это таилось в самой эстетической системе классицизма, требовавшего изображать не сущее, а должное. Данное противоречие все более обострялось, приводило на практике к отступлениям. История русского классицизма — это и история многочисленных отступлений поэтов от его эстетического кодекса. К их числу можно отнести и беспримерное развитие сатирического направления, и интерес к фольклору (даже у Сумарокова), и отражение личности поэта в сатирах Кантемира, в баснях Сумарокова, в поэме Богдановича «Душенька», и многое другое. Отступления позволяли поэзии познавать и художественно воплощать реальную русскую жизнь XVIII столетия.

Отступлением было и одическое творчество Ломоносова. Это вовсе не означает отсутствия исторически закономерной и естественной зависимости его од от стиля европейского классицизма. Но зависимость не помешала Ломоносову отходить от многих «правил», создавать принципиально новую художественную форму просветительской оды.

Оды Ломоносов, как мы знаем, писал «на случай», на реальные события своего времени, но объектом его поэтического изображения была жизнь России в первой половине XVIII века. Петровские преобразования определили новый этап русской истории, и полувековой путь, пройденный страной и народом, — это для Ломоносова одна эпоха жизни русской нации. Начатое Петром, несмотря на неразумную политику его преемников, неодолимо продолжало свое развитие. Поэт и стал певцом петровского периода русской истории. Представление людей петровского времени о том, что произошел «великий метаморфозис, или превращение России», было унаследовано Ломоносовым.

В чем же существо этого «метаморфозиса»? Россия как государство вышла на международную арену, заняла достойное место в ряду мировых держав; русская нация, мощно проявив свою творческую энергию, быстро догоняла другие европейские нации, начинала новую страницу своей истории. Вот почему эта эпоха будет

привлекать внимание всех крупнейших русских деятелей, и писателей прежде всего: здесь начиналась новая жизнь «поднимающейся нации» (К. Маркс).[1] Обращаться к петровской эпохе в связи с необходимостью решать актуальные вопросы современности, для уяснения будущего России и ее народа, стало традицией русской литературы. Ломоносов первым начал художественное познание этой славной поры жизни России.

Поэтический рассказ в одах Ломоносова определяется эмоциональным отношением поэта к изображаемому миру. Тема «восторга», закрепленная в слове, порождала глубоко оригинальный стиль од. Что его определяло? Ответ один — личность Ломоносова.

Идея личности, мера внесословной оценки человека исторически рождалась в европейских странах на почве антифеодальной борьбы и развития буржуазных отношений. В феодальном обществе господствовал сословный взгляд на человека. В России идея личности родилась в иных условиях, при других исторических обстоятельствах — в дыму грандиозных сражений и «великих викторий», преобразований страны, ее экономического и культурного возрождения, потребовавших поистине титанических сил от всего народа, от каждого участника событий. Русский человек петровского времени осознавал свое достоинство, свою силу, свои дарования, утверждая свою личность в активной деятельности на благо отечества. Так вырабатывался истинно русский идеал человека как человека-деятеля.

Ломоносов был воспитанником петровской эпохи. Выходец из народа, он, благодаря таланту и постоянному труду, добился своей цели. Его личность реализовывалась в патриотической и научной деятельности.

Образ автора в одах предстает не в своем бытовом облике, не как частный человек со своими привычками, вкусами, семейными отношениями и т. д., но как Ломоносов-поэт, поэзия которого есть патриотическая деятельность, как гражданин, чувствующий свой долг и призвание служить народу и России. Смысл программного произведения Ломоносова «Разговор с Анакреоном» в том, что европейски прославленному поэту, главе целого направления, выразителю определенной и распространенной концепции искусства противопоставлен Ломоносов — русский поэт, выразитель русской мысли. Спор ведет не безличный «дух государства», а именно Ломоносов, чья личность, нравственные идеалы, чья любовь к России, патриотическое чувство и раскрываются в образе русского поэта. Образ поэта

---

[1] Ретроспективный взгляд на Крымскую кампанию. — К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 10, М., 1958, с. 589.

в «Разговоре», созданном в конце 1750-х годов, подготовлен одами, там он раньше и подробнее всего был выписан.

Художественный мир, созданный Ломоносовым, открыл новую Россию. «Всю русскую землю озирает он от края до края с какой-то светлой вышины, любуясь и не налюбуясь ее беспредельностью и девственной природою».[1] Действительно, в одах мы постоянно встречаем поэта, озирающего Россию «с какой-то светлой вышины»: «Взирая на дела Петровы...», «Я духом зрю минувше время...», «Я вижу умными очами...». Высота, с которой открывается поэту необъятная Россия, — это его вдохновение, вознесенная «превыше молний» мысль, проникающая в тайну национальности, жаждущей познать свою судьбу.

В дыму сражений, в ратных подвигах предстают перед духовным взором Ломоносова «сыны российские». История определила им жребий: отстоять свою родину от врагов. Они сражались на севере со шведами и одержали решающую победу под Полтавой, они отбили от владычества турок южные рубежи России. Ломоносов видит и раскрывает в сражающемся народе нравственное здоровье и духовную силу. Они проявляются в самоотверженности, в готовности к подвигу каждого русского, в любви к отечеству. Победы обеспечили «тишину», мир, открыли путь к труду и просвещению. Обобщая опыт жизни «сынов российских», Ломоносов утверждал: «И путь отвóрен вам пространный».

Поэт созерцающий — не сторонний наблюдатель, но участник общих исторических событий, сын народа, чью судьбу он познает, плоть от плоти той нации, которая утверждала свое историческое бытие. Поэт ощущает единство своей судьбы с судьбой народа: «Мы пройдем... сквозь огнь и воды, Предолим бури и погоды, Поставим грады на реках...». Мы — это «российские сыны», пахари и воины, в том числе и бывший помор Ломоносов — ныне ученый и поэт. Это единство проявляется прежде всего в патриотическом чувстве «восторга», который стихийно охватил молодой народ, а поэт, вышедший из «среды народныя», его выразил и запечатлел поэтическим словом. Вот почему оды Ломоносова — это акт самосознания народа. Осуществляется оно в образе созерцающего Россию поэта, который был и первым поэтическим образом русского человека. Ломоносовская личность раскрывалась перед читателем именно в этом общем и главном, в том, что делало ее русской. Открыто и запечатлено

---

[1] В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность. — Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. 8, М., 1952, с. 371.

было то, что создала действительность, — человек той эпохи, осознавший свою национальную обусловленность.

Ломоносов оказался способным, обобщая опыт нации на завоеванном ею рубеже своего всемирно-исторического существования, выразить русскую мысль. Европа неожиданно для себя открыла новую страну — Россию, новую нацию — русских. Она мечом отстояла свою независимость и силой утвердила свои права мировой державы. Что это за страна? Что несла миру новая нация? Что следовало ожидать? Ответ давала русская мысль, впервые осуществившая себя в одах Ломоносова. Поэт раскрыл нравственный мир новой нации, ее духовную силу, ее веру в себя, в свое будущее, ее активность, молодость и жажду деятельной жизни.

Русская мысль выражалась и в пластическом образе матери-родины, который у Ломоносова всегда величав. Но то не холодная и грозная величавость — она овеяна добром и согрета лирическим чувством поэта, с которым сливается чувство исполненного достоинства русского земледельца. В стихотворении «Разговор с Анакреоном», споря с прославленным поэтом, Ломоносов предлагает русскому живописцу написать «мою возлюбленную мать» — Россию. Образ матери-родины — это не светская красавица, не властная госпожа, не величественно-торжественный портрет императрицы, но русская женщина из народа:

Потщись представить члены здравы...
...Возвысь сосцы, млеком обильны,
И чтоб созревша красота
Являла мышцы, руки сильны...
и т. д.

В том, как поэт видит образ матери-родины, какими чертами ее наделяет, как любуется ее нравственным здоровьем, физической силой, бодростью, проявляется русский демократический идеал человеческой красоты.

То же олицетворение России в виде могучей женщины, «покоящейся среди лугов», мы встретим в одах. Но олицетворением поэт не ограничился — стремясь запечатлеть громадность и обширность русского государства и мощь народной России, он создал географический образ родины; образ России в ее планетарных масштабах: с севера на юг — от Невы до Кавказа и с запада на восток — от Днепра и Волги до Китая (Хины) — несет мощный заряд эмоциональной энергии, передающий патриотизм русского человека, его любовь, гордость и восхищение своей родиной. Именно потому этот об-

раз, активно помогавший самосознанию русских людей, был усвоен последующей поэтической традицией (см. стихотворения — Батюшкова «Переход через Рейн» и Пушкина «Клеветникам России»).

Оды Ломоносова, вобрав опыт человечества, стали глубоко национальным, самобытным явлением, выразив русскую мысль и дух подымающейся нации. Их пафосом стала идея утверждения величия и могущества России, молодости, энергии и созидательной деятельности верящей в свои силы и свое историческое призвание нации. Идея утверждения рождалась в процессе творческого объяснения и обобщения реальной практики «российских сынов». Созданная Ломоносовым поэзия утверждения существовала рядом с сатирическим направлением. Ее рождение отражало насущную потребность русского самосознания. Нация, вступившая в петровскую эпоху в новый период своего исторического существования, продолжала бурно развиваться. Активное проявление ею своей жизнеспособности и нравственных сил в последующем рождало постоянную потребность художественного исследования того, что составляло ее «тайну». И характерной особенностью всей русской литературы станет пафос утверждения. Жизненность ломоносовского направления подтвердила патриотическая поэзия Державина и Батюшкова, Давыдова, Пушкина и Лермонтова. Ломоносовское начало обрело новую жизнь в творчестве Гоголя и Толстого.

6

Первым учеником и продолжателем поэтического дела Ломоносова считается Николай Поповский. Действительно, талантливый поэт и ученый (с 1755 года — профессор Московского университета), Поповский писал оды в духе Ломоносова, участвовал на его стороне в ожесточенной полемике 1750-х годов с приверженцами Сумарокова. Более того — он учился у Ломоносова в Академическом университете, и поэт даже читал ему специальные «стихотворческие лекции», давал «наставления в стихотворстве».[1] Но талант Поповского больше проявился в переводах, чем в оригинальном творчестве.

В 1752 году он перевел с латинского «Письмо Горация Флакка о стихотворстве к Пизонам» и четыре его оды. Ломоносов, просматривая опыт своего ученика, признавал, что «перевод хорошо сделан».[2] В 1754 году Поповский закончил переводить с французского

---

[1] Л. Б. Модзалевский, Ломоносов и его ученик Поповский. — «XVIII век, Сборник 3», М. — Л., 1958, с. 120.
[2] Там же, с. 120.

дидактическую философскую поэму английского поэта Александра Попа «Опыт о человеке», которая, после издания в 1757 году, принесла переводчику известность. В те же годы учения и службы в Петербурге (1752—1755), видимо выполняя указания академического начальства, Поповский переводил с немецкого стихи «на случай» (описание иллюминаций, фейерверков и представлений, разыгрываемых при дворе), написанные академиком Я. Я. Штелином.

Оригинальных произведений Поповского за эти годы дошло до нас очень мало, и среди дошедших — две оды, 1754 и 1756 годов. Обе оды торжественные и обращены к Елизавете. Написаны они под влиянием Ломоносова — в них развиваются некоторые характерные для него темы.

Ломоносовские темы Петра, «тишины» и мира легли в основание оды 1754 года; теме просвещения и науки посвящена ода 1756 года. Сознательно Поповский ориентировался и на стиль од своего учителя, — отсюда идущая от Ломоносова образность, лексика, синтаксис (сложные инверсии), его устойчивые рифмы. Уже начало первой оды было в сущности вариантом одного из ломоносовских образов:

От тихих солнце вод восходит,
В Россию сквозь багряну дверь
Прекрасный день с собой приводит,
В который мы Петрову дщерь
Восшедшу на престол узрели.

У Ломоносова в оде 1746 года:

И се уже рукой багряной
Врата отверзла в мир заря.

В оде 1748 года:

Заря багряною рукою
От утренних спокойных вод
Выводит с солнцем за собою
Твоей державы новый год.

Ломоносов в оде 1747 года, развивая планы просвещения России, писал:

Тогда божественны науки,
Чрез горы, реки и моря,
В Россию простирали руки,
К сему монарху говоря...

У Поповского в оде 1756 года, посвященной годовщине открытия Московского университета, читаем:

Младенчествующи науки
Тебе, монархиня, гласят,
К тебе свои простерши руки
И, немотствуя, говорят...

Подражание ломоносовскому стилю обусловило и использование его устойчивых рифм — в первой оде: «дщерь — дверь», во второй: «науки — руки».

Именно похожесть[1] од Поповского на оды его учителя позволяла многим исследователям говорить о молодом профессоре Московского университета как «продолжателе» Ломоносова.

В действительности продолжателем Ломоносова Поповский не был. Он лишь начал традицию подражания как образцу его «громкой», торжественной оде. Но не подражанию учил своего воспитанника Ломоносов. Вряд ли случайно, что мы не располагаем ломоносовскими оценками оригинальных стихов Поповского — до нас не дошло ни одного отзыва его на оды своего ученика. Зато он одобрил его перевод Горация, в одной из од которого говорилось о гибельности для поэзии подражания:

Кто хочет Пиндару стихами,
Иул любезный, подражать,
Тот вощаными вверх крилами
Дерзает с Икаром летать.

Подражание вело к усвоению внешних формальных приемов, особенностей стиля, словоупотребления, образной системы. Потому следование образцам рождало роковое противоречие между формой и содержанием. Первые примеры такого противоречия мы уже наблюдаем у Поповского. Выше приводился заимствованный Поповским ломоносовский образ наук, простирающих руки: формально

[1] Эта похожесть однажды привела к казусу — в течение ста лет, до 1853 года, одно произведение («Стихи на фейерверк, представленный 1 января 1755 года»), напечатанное в «Ежемесячных сочинениях» анонимно, было приписано Ломоносову и пять раз в течение ста лет включалось в его собрание сочинений. Только в середине XIX века выяснилось, что автором «Стихов» был академик Штелин, а Поповский перевел их с немецкого на русский в «духе» Ломоносова.

образы двух поэтов тождественны. В действительности содержательность их различна, функция их в раскрытии центральной идеи противоположна.

У Ломоносова науки «в Россию простирают руки», гордо заявляя монарху о своей готовности служить благу — ей, России! Гиперболизм и олицетворение здесь оправданы, ибо в оде речь идет о громадных событиях петровского времени и великих преобразованиях России:

«Мы с крайним тщанием готовы
Подать в российском роде новы
Чистейшего ума плоды».
Монарх к себе их призывает;
Уже Россия ожидает
Полезны видеть их труды.

У Поповского «науки простирают руки» к монархине, чтобы, раболепно «немотствуя», сложить ей хвалу:

Наш слаб язык, нетвердо слово,
Но мысль и сердце уж готово
Благодарение принесть.

В одном случае науки развиваются, чтобы приносить плоды России. В другом — науки цель своего развития видят в обретении силы, чтобы прославить монархиню:

Пожди, покамест укрепимся,
Тогда с усердием потщимся
Тебя хвалами превознесть.

Гиперболический стиль Ломоносова выражал высокие идеи величия и могущества России. «Громкость» его гражданской оды была внутренне оправдана. Гиперболические образы Поповского, заимствованные у Ломоносова, являются чужеродными инкрустациями в похвальной оде. Образ рыдающей, униженно молящей и просящей России (ода 1756 года) явно создан для повышения «градуса» похвалы Елизавете. «Громкость» начинала превращаться в риторику.

В следующее десятилетие тем же путем подражания пошли многие поэты, в том числе такие разные, как В. Майков и В. Петров. В большинстве од Майкова прославлялись крупные военные победы «российских сынов», героев громких сражений — Алексея Орлова, Петра Панина, Александра Голицына. Но посвященные победам рус-

ского оружия, они в то же время строились как похвала Екатерине II. Были и просто похвальные оды, написанные на «всерадостнейший день восшествия на всероссийский престол ея величества».

В юности Майков был связан с сумароковской школой. Оттого он учитывал в своих одах в той или иной мере требования законодателя классицизма. Но Майков помнил, что в «Эпистоле о стихотворстве» Сумароков объявлял оды Ломоносова образцом. Потому он в своей практической работе открыто следовал рекомендованному когда-то образцу. В оде 1768 года, посвященной Екатерине, Майков, называя Ломоносова «несравненным», «певцом преславным россов», открыто признавался, что «подражает ему», и просил его:

Приди, настрой мне слабу лиру,
Дабы я мог пространну миру
Твоим восторгом возгреметь.

Майков видит и понимает, что главное в одах Ломоносова — его «восторг», что этой эмоциональной стихией и вызывается «громкость» стиля. «Восторг» у Ломоносова — это внутренне пережитый личностью поэта «метаморфозис России», искреннее чувство, которое передавало и выражало важнейший исторический этап жизни русской нации. Майков хочет перенять ломоносовский «восторг». Но позаимствовать искреннее чувство поэта нельзя, — оно всегда индивидуально и неповторимо. И тогда оказывается возможным воспринять внешние признаки стилистической структуры, в которой формализовался «восторг» Ломоносова. «Восторг» Майкова потому — риторическая фигура, не более, и применялся он для «громкого», пышного восхваления Екатерины. Падение содержательности оды продолжалось. Противоречие между содержанием и формой обострялось. Вот пример того, как при переносе образа из одной системы в другую утрачивалась его сила, погасал его поэтический огонь, исчезала заключенная в нем большая и смелая мысль. Уже в первой оде 1739 года Ломоносов, передавая чувство восторга от одержанной Россией победы, создает грандиозный и смелый образ:

Златой уже денницы перст
Завесу света вскрыл с звездами;
От встока скачет по сту верст,
Пуская искры конь ноздрями.
Лицом сияет Феб на том.
Он пламенным потряс верьхом;

Преславно дело зря, дивится:
«Я мало таковых видал
Побед, коль долго я блистал,
Коль долго круг веков катится».

Заставляя Феба любоваться победами русских, Ломоносов уподоблял его русскому богатырю (из былины или из сказки), скачущему на коне, из ноздрей которого сыпятся искры. Образ зари, восхода солнца, наступления нового дня служит той же цели. Этот образ, лишь немного видоизменяясь, пройдет почти через все последующие оды Ломоносова: «И се уже рукой багряной Врата отверзла в мир заря», или: «Заря багряною рукою От утренних спокойных вод Выводит солнце за собою».

Подражая, Майков конструирует из элементов ломоносовского образа риторическую фигуру, которая призвана лишь украшать, но не выражать новое содержание:

Там, где зари багряны персты
Восточну отверзают дверь,
Пути претрудные отверсты,
О россы, стали вам теперь.

Рифма Ломоносова: «перст — сто верст» связана с космически-сказочным образом. Майков ее меняет: «персты — отверсты» и начнет потом употреблять ее и в других одах, — подражание образцу распространялось и на рифму. Удачные рифмы поэта, редкие или устойчивые для данного жанра (оды), свободно заимствовались и беспрестанно употреблялись. Так, ломоносовские рифмы: «лира — мира — порфира», «дщерь — дверь», «понт — горизонт» и другие стали достоянием всех одописцев. Многократные их повторы служили наглядным свидетельством поэтического обнищания оды, оскудения возможностей жанра. Уподобил Ломоносов Россию «прекрасному крину» — и Майков воспользовался этим и в дополнение к ломоносовским рифмам к имени Екатерина («Екатерина — едина», «Екатерине — ныне»), которые он использовал, изобрел новую: «Екатерины — райски крины». Этим двум рифмам особенно повезло в одах 1760—1780-х годов. Чаще всех употреблял их В. Петров. В 1792 году И. И. Дмитриев в сатире «Чужой толк», высмеивая одописцев, в частности Петрова, отмечал и это однообразие рифм:

Тут на́йдешь то, чего б нехитрому уму
Не выдумать и ввек: *зари багряны персты,*
И райский крин, и Феб, и небеса отверсты!

Искусственное перенесение образа или метафоры или характерного словосочетания из одной поэтической системы в другую, формальное следование «образцу» неизменно обнаруживает творческое бесплодие. Приведу пример. Есть у Ломоносова глубоко индивидуальный, дерзкий с точки зрения обычного смысла метафорический эпитет — «бурные ноги» (коня). Метафоризация вообще составляет важную особенность патетически-эмоционального стиля Ломоносова. Впервые этот эпитет был употреблен в оде 1742 года, при описании сражения русских армий с шведским войском. Ломоносов не описывает реальную картину боя, но создает эмоционально выразительную картину столкновения противников, «ужасной битвы» и победы русских. Этим и определялся, как указывал Г. А. Гуковский, подбор слов «по принципу их эмоционального ореола, иной раз более значительного, чем их предметный смысл». В этом ряду и находится смелое метафорическое выражение: «Там кони бурными ногами». Для Сумарокова, с его рационалистическим мышлением, выражение «бурные ноги» — нелепость, «галиматия», ибо ноги могут быть толстыми и тонкими, большими или малыми, но не «бурными». «Но Ломоносов хочет не логически определить ноги коня, а выразить ту бурю стихий, то грандиозное потрясение, которое в воспламененном воображении и в патетике общего гражданского подъема делает особо значительными все части картины, рисуемые им, — и сам стих его становится бурным». [1]

Майков пишет «Оду на новый 1763 год», лишенную ломоносовского восторга, ломоносовских громадных общенациональных тем и его «громкости», стилистически близкую к Сумарокову. И вдруг в эту картину почти рационалистически ясного описания восхода солнца вторгаются ломоносовские «бурные ноги»:

И кони бурными ногами
Несут небесными полями
Планет прекрасного царя.

Здесь «бурные ноги» — не к месту приведенная цитата из Ломоносова. Но такое формальное использование элементов «громкого» стиля может обернуться и пародией. Это понял и показал Сумароков. В 1766 году он издал сатирический «Дифирамв Пегасу». Поводом послужила первая ода В. Петрова «На великолепный карусель», в которой начинающий поэт, вслед за многими другими, подражал

---

[1] Г. А. Гуковский, Русская литература XVIII века, М., 1939, с. 111.

«громкости» Ломоносова. «Дифирамв» — пародия на оды Ломоносова и его подражателей. Ее цель — показать бессмысленность метафор и образов, лишенных логической ясности и предметного смысла. Пародийность достигалась тем, что Сумароков передавал лишь внешний облик оды, ее стилистический каркас, освобождая ее от всякого содержания, поскольку, с его точки зрения, оно может быть выражено не «громким», но ясным и «чистым» слогом. Воссоздавая поэтому «громкость» Ломоносова и его подражателей, он заимствовал у них готовые словосочетания, гиперболические образы, «дерзкие» метафоры, сложные инверсии и устойчивые рифмы «надутой» оды. Уже первая строфа пародии передавала структуру такого «громкого» стиля при помощи логически недопустимых сочетаний, противоположных по смыслу понятий:

Гремите, музы, сладко, красно,
Великолепно, велегласно!
Стремись, Пегас, под небеса,
Дави эфирными брегами
И бурными попри ногами
Моря, и горы, и леса.

«Бурные ноги», вырванные из органически цельной стилистической системы Ломоносова, звучали пародийно. Казалось, это должно было предостеречь поэтов. Но логика формального подражания и заимствования для новых нужд «великолепия» и «громкости» основоположника русской гражданской оды неумолимо вела к пародийности. То же словосочетание вновь появится у В. Петрова в «Оде его сиятельству графу П. Румянцеву-Задунайскому» (1775), в несколько измененной и потому еще более нелепой форме: «Ногами бурный конь топочет. . .».

Творчество Петрова — это веха в истории оды. Из подлинно высокого, гражданского, глубоко содержательного стихотворения со своим индивидуальным стилем ода у Петрова превратилась в жанр, в сущности камерный, сугубо служебный по назначению, приспособленный для практических нужд императорского двора. Ее единственной целью стала стилистически изощренная, исполненная изобретательности и «великолепия» льстивая похвала Екатерине, ее фаворитам и приближенным. В этом смысле знаменательно начало карьеры Петрова — в 1766 году он пишет по заказу «Оду на великолепный карусель». «Карусель» — это конное костюмированное состязание, любимая забава екатерининского двора, в которой отли-

чались близкие императрице люди, и прежде всего ее фаворит Григорий Орлов и его брат Алексей.

В оде Петров воспевал новых «российских героев», которыми оказывались участники игры, прославлял мужество и отвагу, проявленные в конном состязании перед лицом императрицы. Такова крайняя степень падения оды. Ничтожность содержания стала ее основой. В последующем Петров писал оды, посвященные более значительным событиям, традиционным темам военных побед, но реальным их содержанием оставалась похвала Екатерине и ее приближенным, воспевание их достоинств.

Все это ничтожное содержание облекалось в форму «громкой» оды Ломоносова. Делалось это сознательно — подражание и заимствования должны были наглядно свидетельствовать о продолжении традиций Ломоносова, его авторитетом стремились прикрыть бедность содержания похвальной, официальной оды. Екатерина сразу оценила молодого поэта, приблизила его к себе, наградила. Петров с гордостью говорил о себе как о «карманном поэте» императрицы. Его оды и запечатлели «карманный» масштаб чувств. Противоречие между ничтожным содержанием и заимствованной «громкой» формой достигло своего апогея. Огромный механизм ломоносовской оды стал приспособляться для оды официальной. «Восторг» превратился в раболепное изложение все новых и новых похвал, гражданский пафос был подменен беззастенчивыми льстивыми комплиментами. Ода Ломоносова носила представительный характер, поэт говорил от имени нации и народа. Ода Петрова представляла интересы двора, правящей верхушки, выражала официальный взгляд на екатерининское царствование.

Это противоречие неизбежно приводило не только к эпигонству, но и к пародийности стиля похвальной оды. Ломоносов, приветствуя мир, «тишину», нужную для развития и процветания России, восклицал: «Молчите, пламенные звуки!» «Ода на карусель» начиналась тоже восклицанием: «Молчите, шумны плесков громы», после чего поэт объявлял, что он будет петь... придворные «утехи и забавы». Ломоносов, славя подвиги русских воинов, которые под водительством Петра превратили Россию в могучую державу, сравнивал их с героическими римлянами. Петров использует это сравнение, чтобы показать «римский дух»... в братьях Орловых, отличившихся на карусели. Ломоносов, говоря о героизме «сынов российских», писал: «Но чтоб орлов сдержать полет, таких препон на свете нет». Петров, утратя всякое чувство меры и такта, превращает этот образ в каламбур, воспевая «геройский дух» все тех же участников конных состязаний братьев Орловых:

Так быстро воины Петровы
Скакали в Марсовых полях,
Такие в них сердца орловы.

У Ломоносова, в его системе стиля, естественно возникал гиперболический образ, выражавший величие воинского и полководческого гения Петра: «В полях кровавых Марс страшился, Свой меч в Петровых зря руках». Петров в «Оде... Румянцеву» использует гиперболу в своих целях и заставляет Марса «равнять с собой вождя россиян». Гиперболизм приобретает пародийную окраску — Марс по воле поэта произносит: «Румянцев — Марс; почто двоим быть в том же свете», — и удаляется «на свою планету», оставляя на земле русского героя своим, так сказать, заместителем...

Передовые литераторы подвергли Петрова резкой критике. Они высмеивали его намерение приписать себе титул «второго Ломоносова», обнажали подражательный характер его риторически надутой оды. Екатерина не отступилась от Петрова, поддерживала его, и он продолжал писать свои «карманные оды».

Вслед за ним запросы двора удовлетворяли и одописцы-дилетанты, в том числе воспитанники университета и семинарий, писавшие по заказу. Хвалебная ода, в ее качествах, определенных Петровым, торжествовала, наполняла многочисленные журналы, выходила беспрестанно отдельными изданиями. В 1780-е годы такие оды стал писать бакалавр Московского университета Ермил Костров. Талантливый поэт, оказавшись во власти «образцов», превратился в поставщика громких, холодно-риторических похвальных од, наполненных готовыми формулами официальной лести, состоящими из набора заимствованных и переходящих от поэта к поэту образов, метафор, гипербол и рифм. Именно из рук Петрова и Кострова принял эстафету начинавший в 1780-е годы молодой поэт — граф Д. И. Хвостов. Несколько десятилетий будет он наводнять литературу подражательными, эпигонскими, предлинными одами. Он доведет эту традицию до десятых годов XIX века и станет объектом злых эпиграмм Пушкина.

7

Падение торжественной оды, превращение ее в официальное, холодно-риторическое похвальное стихотворение, постоянная ее дискредитация сонмом подражателей происходили в 1760—1780-х годах, то есть в пору острого кризиса классицизма. Это недовольство господствующим направлением создавало атмосферу интенсивных

поисков новых путей в искусстве, которые вели в конечном счете к демократизации литературы.

Оттого в эти годы возросло число переводов антиклассицистических произведений английской, французской и немецкой литератур, проявлялся повышенный интерес к европейскому реализму и сентиментализму. Развернулась деятельность Фонвизина и Новикова, творчество которых способствовало становлению реализма в прозе и драматургии. Все интенсивнее проявлялся интерес к народному творчеству, что обусловливало издание печатных сборников народных песен и пословиц. Важную роль в литературе стали играть писатели-разночинцы (Барков, Чулков, Попов, Аблесимов), открыто не признававшие правил Сумарокова.

Характерным явлением этой эпохи оказался отход от сумароковской школы некоторых крупных поэтов. Первым начал пересмотр своих эстетических позиций один из лидеров классицизма — Херасков. Продолжая еще в 1770-е годы работать над созданием героической поэмы «Россияда», которая должна была поднять авторитет русского классицизма, он в то же время писал «слезные драмы», утверждая в России жанр, с которым ожесточенно боролся Сумароков. Позже Херасков перейдет в ряды сентименталистов.

В конце 1760-х годов меняет вехи Майков. Он сближается с просветителем Новиковым, сотрудничает в его «Трутне», и в атмосфере расцвета сатирической журналистики сам пишет сатирическую шутливую поэму «Елисей, или Раздраженный Вакх» (1770). В поэме Майков демонстративно и дерзко изображает «низкую» действительность: жизнь простых людей столицы, кабаки, работный дом для проституток и т. д. Его герой Елисей — лихой ямщик и гуляка. «Елисей» — поэма нового типа. Только формально она соответствовала правилам героикомической поэмы, сформулированным Сумароковым.

Майков решительно отказывается от барского пренебрежения к «неблагородным» сословиям. Елисей дан потому без идеализации, но и без презрения. Майков увидел в ямщике Елисее человека определенного социального положения. Его индивидуальные черты вытекают из условий его социального бытия и его практики. Обстоятельства эти определили и его пороки (он пьяница, буян, драчун) и его положительные качества (чувство собственного достоинства, сила, юмор, сообразительность и находчивость).

Особое место в развитии поэзии, и в частности оды, занимает один из рядовых участников литературного процесса, до сих пор плохо изученный поэт Иван Барков. Он выступил как переводчик античных поэтов — Горация и Федра и как оригинальный поэт. Его

оригинальные стихи (писались в конце 1750-х и в 1760-е годы), оказавшие большое влияние на развитие русской поэзии, никогда не печатались и, думается, никогда не предназначались автором для печати, но получили широкое распространение и стали известны нескольким поколениям литераторов по многочисленным спискам. Именно эти стихи историко-литературная наука XIX века презрительно называла «срамными», приклеив к ним ярлык «барковщина». Но Барков писал не эротические стихи, а пародии на все жанры, декретированные классицизмом. Его сатирическая поэзия яростно и весело обрушивалась на храм классицизма, созданный трудами и стараниями Сумарокова. В этом штурме культуры дворянства отважный «Академии наук переводчик» проявлял удивительную и восхищавшую современников дерзость и удаль, изобретательность и убийственную насмешку.

Представитель социальных низов, Барков гордо писал о себе: «Богатство, славу, пышность, чести — я презираю...».[1] Его стихи грубы, в них рассказывалось о кабаках, о «фабричных молодцах», о пьяных драках бурлаков с ямщиками, но они были талантливы и умны. Издевка над отрешенной от жизни поэзией, выражаясь подчас крепким, соленым русским словом, раскрывала в авторе блистательно образованного человека, демократа по рождению и убеждениям, овладевшего высотами культуры, отлично знавшего все тонкости осмеиваемой им поэтической системы.

Что же представляет собой оригинальное творчество «знаменитейшего», по выражению Пушкина, поэта? До нас дошли только многочисленные списки его произведений, чаще всего в составе сборника под названием «Девичья игрушка». В него вошло более ста стихотворных произведений. Сборник Баркова свидетельствует, что его борьба с поэзией классицизма, с творчеством его вождя Сумарокова, с его многочисленными подражателями и эпигонами носила сознательный и строго продуманный характер. Барков поставил себе целью пародировать все жанры классицизма. Сборник пародийно воссоздавал в миниатюре лицо русского классицизма. На первом месте шли оды, потом трагедии, эпистолы, притчи, сатиры, идиллии, песни, элегии, эпиграммы, эпитафии, «билеты» — так назывались сатирические двустишия (их писал Сумароков). Барков даже дерзнул написать одну пародию на стихотворное переложение псалмов. Пародия на каждый жанр строилась в точном соотношении с сумароковским образцом.

---

[1] Рукописный сборник стихотворений И. С. Баркова. — Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР.

Перелицовывая оды и песни, элегии и трагедии, Барков переводил условные политические или любовные страсти классицистических героев в сферу откровенной чувственности. Страдающие герои (трагедии, элегии или песни) произносили в полном соответствии с жанром высокие слова о своих чувствах: «Жестокая напасть тебя переменила» или «Навек рассталась я с тобою! Вовек, увы, и ты не свидишься со мною» и т. д. Комический и сатирический эффект возникал оттого, что языком Сумарокова говорили не герои и героини, а их, по выражению Дидро, «нескромные сокровища». Иногда пародийный элемент в стихах Баркова отступал на второй план и поэт, обращаясь к объективному миру, начинал рисовать подлинные бытовые картины русской жизни. Таково начало сказки «Сельский поп». Но, протестуя против нормативной поэтики, высмеивая дворянское искусство, он не был способен порвать с нормативным сознанием и, дискредитируя мифологию и жанры классицизма, сам испытывал их власть. Бунтарь был прочно скован жанровым мышлением. Поэтому живая жизнь в ее широком течении не находила своего отражения у писателя.

Барков написал более десяти од: «Приапу», «Описание утренней зари», «Монаху», «Бахусу», «Кулашному бойцу» и др. К сожалению, и в этих опытах пародийный элемент продолжал оставаться господствующим. Барков, пытаясь прокладывать новые тропы в русской поэзии, стал осваивать жанр оды для раскрытия обыкновенных явлений жизни, для демонстрации быта, поступков рядовых людей. Но он оказался способным создать в оде лишь натуралистически-правдоподобные сцены. Только одна «Ода кулашному бойцу» резко отличается от других, являясь своеобразным манифестом демократического поэта, открыто отвергавшего принципы сумароковской «Эпистолы о стихотворстве»:

Гудок, не лиру, принимаю,
В кабак входя, не на Парнас;
Кричу и глотку раздираю,
С бурла́ками взнося мой глас:
«Ударьте в бубны, в барабаны,
Удалы, добры молодцы!
В тарелки, ложки и стаканы,
Фабричны славные певцы! . .»

Парнасу, античной мифологии, венценосным героям Барков противопоставляет кабак, удалых фабричных молодцев; поэту с «лирным гласом» противостоит гудошник, завсегдатай кабаков, поющий вместе

с бурлаками. Дерзко обосновывает Барков свое право воспевать нового героя — человека из народа:

Хмельную рожу, забияку,
Драча всесветна, пройдока,
Борца, бойца пою, пиваку, —
Широкоплеча бурлака!
Молчите, ветры, не бушуйте!
Внемлите, стройны небеса!
Престаньте, вихри, и не дуйте!
Пою я славны чудеса:
Между кулачного я боя
Узрел тычков, пинков героя.

Так в русской поэзии появился новый герой, и о нем поэт написал оду с использованием традиционного четырехстопного ямба. Барков не извиняется за своего героя, считая его достойным поэзии, потому он и противопоставляет описанию сражения под Троей из-за Елены свой рассказ о кулачных боях в Петербурге — этой традиционной забаве народа, в которой проявляют ловкость, силу и удаль бурлаки, фабричные и прочие «молодцы».

Барков первым почувствовал настоятельную необходимость обновления оды, дискредитированной поэтами-подражателями. Его злые и убийственно смешные пародии помогали этому обновлению. «Ода кулашному бойцу» была практической попыткой осуществить такое обновление. Но ее натурализм, ее пародийность мешали исполнению задуманного. Заслуга Баркова — в постановке такой задачи перед русской поэзией. Собственные его опыты в какой-то мере помогали ее решению. Обновить же русскую оду смог только гениальный поэт Державин.

Поэзия Баркова прокладывала дорогу новым поэтам, которые в 1770—1780-е годы сближали поэзию с действительностью. «Ода кулашному бойцу» оказала влияние на Майкова, помогла ему при написании поэмы с демократическим героем «Елисей, или Раздраженный Вакх».[1] Явно или тайно, Барков «настраивал» гудок многим поэтам конца XVIII — начала XIX веков, когда они в борьбе за новую поэзию брались за оружие пародии, чтобы повергнуть литературных врагов. Следовал этой традиции и Пушкин-лицеист. Желая нанести удар литературным староверам, он написал балладу «Тень Баркова». Герой баллады Барков советовал молодому поэту:

---

[1] См. об этом подробнее в моей книге «От Фонвизина до Пушкина», М., 1969, с. 175—177.

Возьми задорный мой гудок,
Играй как ни попало!
Вот звонки струны, вот смычок,
Ума в тебе не мало.

Из числа рядовых участников литературного процесса заметное место в литературе занимал писатель-разночинец Михаил Чулков. Прозаик, автор интересного романа «Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины», издатель литературно-сатирического журнала «И то и се» (1769), составитель четырехтомного сборника «Собрание разных песен», ставшего популярным, он однажды, вслед за Барковым, выступил с пародией на оду и герои-комическую поэму. В своем журнале «И то и се» он напечатал стихотворения «Стихи на качели» и «Стихи на семик».

«Стихи на качели» написаны от имени человека, который, балагуря, высмеивает поэзию классицизма как поэзию фальшивую, надуманную, далекую от жизни. Первый выпад Чулкова нацелен против оды, сочиняемой по правилам, заставляющим поэта «парить», «взлетать на небеса», «свергаться в ад». Чулков-поэт не желает «взлетать на небеса», он весь на земле, в мире реальных людей и их повседневных дел. Но главным объектом сатирического использования стал жанр герои-комической поэмы.

О жанре шутливой поэмы читатель знал из сумароковской «Эпистолы о стихотворстве», где она подробно описывалась и где предлагались правила ее создания. «Стихи на качели» оказались удачным опытом на пути сближения поэзии с действительностью, потому что поэт показал возможность взрыва нормативной поэтики изнутри. Поэты были скованы правилами, но правила допускали реальную жизнь в герои-комическую поэму в ряженом виде («Робенка баба бьет: то гневная Юнона», — писал Сумароков). Чулков и воспользовался этим как предлогом для того, чтобы заговорить в стихах (лишенных к тому же жанровой определенности — отсюда и название чулковских произведений «стихи») на «законном» основании о том, что было близко ему — о делах и жизни простых людей. Поэт довольно откровенно заявлял: нужно «сыскать пример», «надобно искать в премудрости покрова». Жанр герои-комической поэмы и был таким удачным «покровом». Смысл «стихов» Чулкова в воспроизведении неповторимых подробностей русского быта. Для Сумарокова условна описываемая в шуточной поэме «низкая» действительность, для Чулкова условны боги-герои, которые вовсе и не боги, а обряженные в маскарадный костюм (иначе их не пустят в настоящее

искусство) простые русские люди — нищие, ямщики, мелкие базарные торговцы, работные люди.

«Стихи на качели» заканчивались декларацией: поэт обязан писать «вольно», не соблюдая «правил», которые мешают изображать жизнь простых людей и заставляют писателя «врать». С гордостью он заявляет: «Мои стихи — издание без правил». Поэт обязан писать о том, что близко и понятно народу:

К услугам общества себя препоручаю,
И за великое я счастие считаю,
Когда хоть малым чем народу угодил, —
Служа моей куме, я обществу служил.

Так была сформулирована эстетическая позиция писателей-разночинцев. «Стихи на семик» были ее практической реализацией. Семик — народный праздник, восходящий еще к периоду язычества, а в новое время отмечавшийся в четверг на седьмой неделе после Пасхи. Описание этого праздника в Петербурге и составляет содержание стихотворения. Жизнь простого народа, его гулянья, игры, забавы передаются поэтом со всеми подробностями. Следует отметить нововведение Чулкова: изображая русский народный праздник, он начисто отказывается от античной мифологии и пытается создать систему национальной мифологии. Опираясь на песни, обряды и обычаи народа, Чулков еще в 1767 году издал «Краткий мифологический лексикон». В нем параллельно античному Олимпу изображался древнерусский Олимп. Опыт Чулкова подхватил Попов и в 1768 году издал «Краткое описание древнего славянского баснословия». Мифология, предложенная Чулковым и Поповым, выполняла все ту же задачу борьбы с классицизмом, ориентации русской поэзии на изображение жизни русского народа, его культуры, его прошлого. Некоторые имена богов сочинялись самим Чулковым (Зимцерла — т. е. богиня, стершая зиму, Световид и т. д.), другие заимствовались из летописей, песен, сказок и поверий (Перун, Купала, Волос, Лель). Многие из них прочно вошли в русскую поэзию: мы встретим их и у Державина, и у Радищева, и у Батюшкова, и у ряда других поэтов.

8

К концу 1770-х годов на поэтическом поприще не было крупных поэтов: Ломоносов, Сумароков, Майков уже умерли, Княжнин занимался переводами и все силы отдавал драматургии, Богданович писал шутливую поэму «Душенька». Появлявшиеся стихи принадле-

жали не очень даровитым поэтам или откровенным эпигонам. Именно в ту пору молодые, начинающие поэты — Капнист, Хемницер и Львов — сблизились на почве недовольства существовавшей поэзией, поисков иных путей в искусстве. Львов пропагандировал в кружке народную песню. Интересы кружка оказались близкими Державину. В этой дружеской атмосфере поисков нового и были им написаны три новые оды: «На смерть князя Мещерского», «Стихи на рождение в Севере порфирородного отрока» и «Ключ». Оды эти означали, что Державин нашел свой особый путь, двигаясь по которому поэт мог понять и новаторство «российского лирика».

Многое в своеобразии ломоносовских од идет от личности их автора. Ломоносов выступал как гражданин, как сын своего отечества, как русский, осознавший свой долг перед народом и Россией. В этом была его победа как поэта. Но ведь личность человека сложнее — кроме стороны общей, связывающей его с большим действительным миром, есть и сторона внутренняя, с бесконечно богатой жизнью сердца. Новый исторический этап русской жизни открывал Державину возможность выразить свою личность в единстве общего и частного. Державин-поэт — не только гражданин, но и частный человек, со своими убеждениями, вкусами, заботами, друзьями, семьей, слабостями. Державин и сделал свою оду автобиографической, способной раскрыть индивидуальный взгляд автора в единстве общего и частного. Обновляя оду, Державин не подражал, но исторически продолжал дело, начатое Ломоносовым.

«Ода на смерть князя Мещерского» сохраняла лишь внешние формы традиционной оды. В действительности это было своеобразное, жанрово не очень определенное стихотворение. Ода была превращена в исповедь: человек, осознающий себя личностью, столкнулся с трагизмом бытия; чем острее осознавались им свои духовные богатства, неповторимость индивидуальной жизни, тем трагичнее воспринимал он смерть, беспощадно уничтожавшую высшие ценности бытия. Ода раскрывала в напряженном, исполненном экспрессии слоге смятенное состояние духа поэта. Традиционные размышления о смерти утратили риторичность, отвлеченность и рассудочность, они были согреты сердечной теплотой поэта.

Новаторство проявилось и в стихотворении, написанном по случаю рождения в 1777 году первенца Павла — Александра. Сначала Державин, как и другие поэты, откликнулся на событие традиционной похвальной одой, но не напечатал ее. Через два года он создал и на этот раз опубликовал новое произведение. И это была не похвальная ода, а легкое шутливое стихотворение, и написано оно не ямбом, а хореем — песенным размером! Ему было дано принципиаль-

но новое заглавие: «Стихи на рождение. . .». Не «ода», а «стихи». Такого жанра классицизм не знал.

Шутка — главная стилистическая особенность новой поэзии Державина, его обновленной оды. Позже он поставит себе в заслугу создание «забавного русского слога». Именно этот «забавный слог» помогал Державину раскрывать во всем, о чем он писал, свою личность. Шутка выявляла склад ума, манеру понимать вещи, взгляд на мир, свойственный поэту Державину как неповторимой индивидуальности русского человека.

Первые три обновленные оды, напечатанные анонимно, были замечены только любителями поэзии. В 1782 году Державин пишет оду «Фелица». Напечатанная в начале следующего года, она стала литературной сенсацией, этапом не только в истории оды, но и русской поэзии. По жанру это была как бы типичная похвальная ода. Еще один, никому не известный поэт хвалил Екатерину, но «хвала» была неслыханно дерзкой, не традиционной, и не она, а что-то другое оказалось содержанием оды, и это другое вылилось в совершенно новую форму.

Новаторство и свежесть оды «Фелица» с особой остротой воспринимались в той литературной атмосфере, когда похвальная ода усилиями Петрова, Кострова и других одописцев дошла до крайней степени падения и удовлетворяла только вкусам венценосного заказчика. Всеобщее недовольство похвальной одой отлично выражено Княжниным:

Я ведаю, что дерзки оды,
Которы вышли уж из моды,
Весьма способны докучать;
Они всегда Екатерину,
За рифмой без ума гонясь,
Уподобляли райску крину;
И в чин пророков становясь,
Вещая с богом, будто с братом,
Без опасения пером,
В своем взаймы восторге взятом,
Вселенну становя вверх дном,
Отсель в страны, богаты златом,
Пускали свой бумажный гром.

(«К княгине Дашковой»)

Свободно относясь к жанру похвальной оды, Державин в «Фелице» создает не официальный, условный и отвлеченно-парадный образ «монарха», а рисует тепло и сердечно портрет реального чело-

века — императрицы Екатерины Алексеевны, со свойственными ей как личности привычками, занятиями, бытом; он славит Екатерину, но похвала его не традиционна. В оде появляется образ автора — по сути он изображал не столько Екатерину, сколько свое отношение к ней, свое чувство восхищения ее личностью, свои надежды на нее как на просвещенного монарха. Это личное отношение проявляется и к ее придворным: они не очень ему нравятся, он смеется над их пороками и слабостями — в оду вторгается сатира. По законам классицизма недопустимо смешение жанров — быт и сатира не могли появляться в высоком жанре оды. Но Державин и не соединяет сатиру и оду — он преодолевает жанровость. И его обновленная ода только чисто формально может быть отнесена к этому жанру — поэт пишет просто стихи, в которых свободно говорит обо всем, что подсказывает ему его личный опыт.

Державин открывал новый путь в поэзии, но не все поэты придерживались его. Учитывая опыт Ломоносова и Державина, Радищев освоил оду для выражения революционных идей. В 1783 году он закончил оду «Вольность», заложив традицию русской революционной поэзии. Вслед Радищеву пошли Гнедич, Раевский, Рылеев и Пушкин.

Сентиментализм, утверждавшийся в 1780—1790-е годы, преодолевал эстетику классицизма, разрушал его жанровую систему. Он, в частности, отверг оду с ее высокой государственной и гражданской темой. Новая школа утверждала в поэзии прежде всего частную тему, ее интересовала интимная жизнь человека, обнаружение «тайное тайных» души и сердца. Этой цели служили и новые жанры: песня, дружеское послание, или просто — стихи. Но один из крупных сентименталистов И. И. Дмитриев в 1790-е годы обратился к жанру оды, поняв, что героическое, высокое не чуждо новой эстетике. Им написаны, в частности, «Ермак» и «Освобождение Москвы». Их художественная удача — в продолжении ломоносовской традиции; высокое героическое начало в жизни человека запечатлено в них средствами индивидуальной выразительности, окрашенной личностью автора.

Важным итогом выступления Державина явился закат похвальной оды. Продолжали ее писать только откровенные эпигоны. «Фелицу» приветствовали многие поэты, в том числе Костров и Николев. Костров, например, откликнулся на выступление Державина «Письмом к творцу оды в похвалу Фелице. . .». В «Письме» отмечалось, что Державин «обрел» «путь непротоптанный и новый», высказывались упреки присяжным одописцам (а следовательно, и себе) — «наш слух оглох от громких лирных тонов». Перестав писать похвальные оды, Костров попробовал было пойти «непротоптанным

путем». Так, вместо оды он пишет в 1787 году «Песнь на возвращение... Екатерины из полуденных стран России». «Песнь» написана хореем, в легком стиле, но общий тон официальной похвалы сохранился, стиль не стал индивидуальным. Костров написал также «Оду... Суворову». Лишенная традиционной «громкости», она в известной мере была согрета задушевным чувством поэта — он преклонялся перед великим полководцем, и тот, зная лично поэта, ценил его стихи и называл своим приятелем. Но при всем том Костров все же «пел», и пел прежде всего полководца, не сумев создать образ индивидуального человека, на редкость оригинальной русской личности. Чувствуя, видимо, что идти «непротоптанным путем» трудно, Костров обратился к переводам, и здесь им были одержаны серьезные победы.

9

Имя Николева появилось на поэтическом горизонте в конце 1770-х годов, когда была издана его «Сатира на развращенные нравы нашего века» (1778). Написана же эта «Сатира», по признанию поэта, в юношеском возрасте. Это, видимо, справедливо — тема сатиры тесно связана с журналом Новикова «Трутень». Через три года была написана «Сатира к музе». Следуя за четвертой сатирой Кантемира «О опасности сатирических сочинений. К музе своей», Николев размышляет о судьбе поэта-сатирика.

Но не поэзия, а драматургия заняла ведущее место в его творчестве первого периода — с 1775 по 1784 год им написано семь комедий и комических опер и две трагедии. Из них только два произведения — комическая опера «Розана и Любим» (написана в 1776 году и через два года поставлена в Москве) и трагедия «Сорена и Замир» (сочинена в 1784 году и поставлена в следующем году в Москве) — получили признание и принесли известность молодому драматургу. Особым успехом за свою тираноборческую направленность пользовалась у московской публики трагедия.

Занятый драматургией, Николев почти не писал лирических стихов, но внимательно следил за положением дел в поэзии, за теми изменениями, которые были обусловлены творчеством Державина. Свои теоретические суждения о поэзии и драматургии он изложил в «Лиро-эпическом послании к Дашковой» (напечатано в 1791 году). Его взгляды на драматургию традиционны и близки к Сумарокову. В своих же суждениях о лирической поэзии он самостоятелен и оригинален. Николев осуждает «похвальную оду», одобряет обновление оды Державиным, его отступление от правил, приветствует его жи-

вость, шутливый слог. В ряде своих стихотворений он сознательно будет живописать бытовые картины под Державина.

Но новый путь Державина не кажется ему единственным. Недовольство традиционной похвальной и торжественной одой, с ее риторикой и подражательностью, заставляет его искать свой путь, который бы привел к созданию самобытной, национально-своеобразной поэзии. Практическим выражением этих устремлений поэта стала прежде всего его ода «Русские солдаты» (написана и издана в 1789 году). Решая позитивную задачу создания новой оды, Николев на редкость полемичен в своих суждениях. Он провозглашает, например: «Сумароков в «Эпистóле» не моей указчик воле». Он открыто ориентируется на художественный авторитет Ломоносова. Главное для него в Ломоносове — «истина». Он «пел дела великих россов», служение «истине» делало его поэзию гражданской, подлинно высокой и русской. Но, желая по-ломоносовски служить «истине», он отказывается следовать его одам как образцам и отстаивает поэтическую свободу:

Пой, трещи хоть в балалайку,
Лишь не суйся в подлу шайку,
Лишь не будь, пиита, льстец!

Это было вызовом официальным одописцам, и в частности Петрову. Именно он откликнулся на взятие Очакова одой, исполненной неистово льстивой похвалой и комплиментами Екатерине и Потемкину, который командовал войсками, взявшими город и крепость. В оде Николева Потемкин даже не упомянут. Обращаясь к музе, поэт провозглашает, что будет прославлять в оде истинных героев — русских солдат:

Пой победы русских строев:
Цель — солдаты нам одни.

Дерзко-полемично и само заглавие этого произведения — «Русские солдаты. Гудошная песнь на случай взятия Очакова. Ода». «Ода... Гудошная песнь» — в этом неслыханном уподоблении и заключался смысл индивидуально-николевского пути обновления оды: она должна стать гимном в честь народа-победителя. Поэт, служа «истине», воспевает подвиги подлинных героев Очакова — русских солдат, воспевает в форме понятной народу «гудошной песни», языком, близким ему, русской речью, пересыпанной шуткой, острым и метким словцом. Такая ода лишалась надутости, в ней нет места риторически-холодным фигурам («скажем просто без цветов», — по-

ясняет свою позицию поэт), «бумажного грома». Оттого автор отказывается от лиры и настраивает себе гудок:

Строй, кто хочет, громку лиру,
Чтоб казаться в высоке,
Я налажу песню миру
По-солдатски на гудке.

Обращает на себя внимание и зачин николевской «гудошной песни» — он сознательно ориентировал читателя на уже известную ему традицию наметившейся демократизации поэзии. В поэме «Елисей, или Раздраженный Вакх» Майков, обращаясь к своему вдохновителю, писал: «Оставь писателей кощунствующих шайку, Приди, настрой ты мне гудок иль балалайку». Вдохновителем этим, который должен был помочь настроить гудок, был Барков, автор «Оды кулашному бойцу».

Николев помнил майковские стихи и когда писал про гудок, и когда именовал «шайкой» поэтов-льстецов. Сохраняя майковское определение и рифму «шайку — балалайку», Николев подчеркивал тем самым традицию. Знал он и рукописную «Оду кулашному бойцу». Именно Барков первым провозгласил: «Гудок, не лиру принимаю». В соответствии с традицией свою «Оду» Николев пишет не десятистрочной строфой, а как «гудошную песнь» — не ямбом, а четырехстопным хореем, размером песен.

В духе бурлескной поэзии, но без пародийности (это вслед за Державиным) Николев обновляет образ музы и превращает ее в реальную русскую женщину, солдатскую жену:

Будь мне Муза девка красна
Иль солдатская жена!
Мне была бы беспристрастна,
Право, Муза и она.

В последующем обрусевший образ музы мы встретим у Державина (девушка, «печальна, Пригорюнившись сидит, Сквозь окошечка хрустальна, Склоча волосы, глядит») и у Пушкина (муза «в саду моем Явилась барышней уездной, С печальной думою в очах, С французской книжкою в руках»).

Николев не славословил солдат, но попытался передать русский характер, как он его понимал. Рассказ о победе над турками под Очаковым потому стал рассказом о русском удальстве, о выносливости в боях и походах, о неприхотливости в еде («был бы хлебец и водица») и веселой храбрости русского солдата. Созданию образа

способствовал и шутливо-балагурный тон рассказчика-поэта, не скрывающего своих симпатий и своего сочувствия героям Очакова. Успокаивая «бабу-музу», Николев в манере «похвальбы» былинно-сказочных героев передает настроение и дух русского солдата перед лицом смертельной опасности: «С этой челядью сражаться — Как испить для русаков», «Наш солдат не трусит тучи — На сто выйдет с кулаком», «Хоть за турка черт радеет, Русский черта на рога» и т. д.

Воспевая подвиг русских героев, Николев без пародийности и нарочитого снижения жанра свою «Оду... Гудошную песнь» называет новой «Илиадой»: «А теперь гудок положим, — Илиаде здесь конец». В этой русской «Илиаде» — русская речь, русская удаль, русское балагурство, русские образы и сравнения. Говоря, например, о мощных ударах русских войск по турецкой армии, Николев называет их «громами» и тут же поясняет: то «русский турке дал туза», — придавая слову «громы» конкретное значение:

Так (к примеру, я полезу)
Силы мощной удалец
По каленому железу
Бьет кувалдою кузнец.
Пуда два с плеча поднявши,
Он туза железу давши,
Гром пускает по Москве.

Как видим, и по содержанию, и по стилю ода радикально обновилась. И это не было случайностью. Опыт поэта оказывался моментом общей, начавшейся до него демократизации поэзии, борьбы за ее самобытность и оригинальность. В частности, «Ода... Гудошная песнь» продолжала усилия тех безымянных авторов, которые, отказавшись от официальной торжественной оды, стали батальную тему решать в песенном жанре. Сначала такие песни ходили в рукописях. Первое печатное собрание военных песен мы встретим в «Письмовнике Курганова» (1769). Вряд ли можно говорить об их фольклорном происхождении: сочинялись они солдатами, или писарями, или офицерами; написанные недавно, они, распространяясь в списках, исполнялись в армии и городе. В них запечатлелась жизнь воинская, трудные походы, удаль молодецкая. Военная песня, попав в печатные сборники, открыто противостояла торжественной оде.

Среди воинских песен особого внимания заслуживают две: «Мы любовниц оставляем...» и «Посреди войны кровавой...». Они открывали новую страницу в русской поэзии, посвященной военной теме.

Мы уже видели эту сложившуюся устойчивую традицию одического изображения войны: грандиозные аллегории, метафорические образы, исторические персонажи (великие полководцы античности), громкие географические названия, густо славянизированный язык, усложненный синтаксис. В одах, посвященных военным событиям, не было места обыкновенному, живому человеку, который храбро сражался, совершал подвиги, умирал и побеждал, — там действовали мифологические боги, цари и герои.

Из воинских песен, напечатанных Кургановым, исчезла «громкость» — в них зазвучал голос живой личности. Безымянные поэты отказались от славянизмов и синтаксической затрудненности, четырехстопный ямб заменился традиционно-песенным четырехстопным хореем. Герой заговорил легко и свободно о том, что его волновало, в песню хлынул быт, песня запечатлела точным словом реальность обстановки боя, сделала предметом поэтического описания обыкновенное, будничное «кровавой войны».

Песни эти после кургановского «Письмовника» были перепечатаны Чулковым и последующими издателями песенников — до «Карманного песенника» Дмитриева (1796). Они послужили образцами для создания других воинских и застольных песен, принадлежавших и безымянным и известным поэтам — Державину, Дмитриеву, положили начало новой, антиклассицистической традиции изображения войны книжной поэзией. В конце этой традиции — военные и «залетные» послания Дениса Давыдова.

Создавая свою «гудошную песнь», Николев шел вслед за теми, кто так или иначе способствовал демократизации поэзии. Элементы демократичности есть и в «гудошной песни», но «демократизм» этот не был органическим для поэта, и сводился он к нарочитой простонародности. Русификация оборачивалась стилизацией. Поэт-балагур, от имени которого велся рассказ, оставался дворянином, надевшим маску простачка-мужичка. Вот почему, прославляя солдат, Николев не забывает в то же время и поучать их — будьте смирными, довольными своей судьбой, слушайтесь начальства: «Воля — слово соблазняет, Воля — сущность ум страшит...» Дело народа и долг солдата, настаивает Николев, лишь в умелом исполнении приказаний:

Без команды у народа
Умерщвляется свобода,
Нужен разум и пример.
Дело в том, чтоб мы *умели*,
Офицеры б *разумели*,
Разум будь и офицер.

Эксперимент «опрощения» оды до гудошной песни, путь к оригинальности и самобытности через простонародность, видимо, не удовлетворил Николева. Во всяком случае, в 1790-е годы он отказывается от подобных опытов и, продолжая писать оды, обращается к ломоносовской традиции. В одах Ломоносова его привлекает гражданственность, общенациональная важность тем, «истина» и искренность поэта в выражении своих убеждений. Новые оды он строит как патетические, эмоционально окрашенные ораторские стихотворения, в которых гневно осуждается зло и прославляются дорогие поэту идеалы. В новых одах Николева этическое возводится на высокую ступень гражданственности. Этот этический пафос подчеркнут и названиями — «Совесть. Ода», «Ода. Лесть» и т. д.

В первой оде обличается корыстолюбие, которому покорились помещики, чиновники, вельможи и монархи, корысть развратила их души, они утратили любовь к человеку и человечеству и занялись только собой, думая только о своем богатстве, о своей власти, о своей славе. В обществе утвердилась болезнь века — эгоизм, который Николев называет «ячностью»: «Се ячность! Мир в рабах у ней», «злая ячность», «гордыня льдяна». «Ячность победила разум», «умкормчий ослабел... и пал». В обществе нет более «гармонии». Всюду судьбой людей распоряжаются тираны: «И Катилинов — миллион». Так этическая тема все время рассматривается с гражданских позиций, главной целью оды становится обличение тиранов. Где же спасение? Где поэт видит выход? В совести. Гражданский долг поэта — разбудить совесть людей современного общества, и прежде всего совесть тиранов, современных «Катилинов».

С еще большей обнаженностью тираноборческие мотивы звучат в оде «Отец отечества». Ода — смелый выпад против произвола, бесчеловечной, жестокой политики тиранов. Термин «тиран» не уточняется поэтом, он называет тиранами всех монархов, которые не являются «отцами отечества». В формуле же «отец отечества» и сосредоточивался политический идеал Николева. Патетический гимн добродетелям «отца отечества» — это программа для царей, какими они должны быть, чтобы не заслужить обвинения в тиранстве. Тиран — это «царь-обман»; «отец отечества» — «царь-правда».

Кончалась эта ода неожиданным выходом из сферы нравственно-политических категорий в современность: в России есть «отцы отечества» — это Петр и Екатерина. Что касается Екатерины, то это была уступка цензуре — не больше. Никакой комплимент царице не мог уменьшить силы обличения монархов, забывающих о своем долге.

Тираноборческий пафос поэта превращал оду в эмоционально-яркое стихотворение. Отвлеченно-моралистический характер убежде-

ний Николева ослаблял политическое звучание его од. Оставаясь монархистом, он выступал с нападками на французскую революцию, никогда не подвергая сомнению необходимость самодержавия.

Парадоксальной оказалась и судьба этих стихотворений: продолжая экспериментальное обновление оды, отрекаясь от торжественно-похвального жанра, ища новых тем и нового стиля гражданского высокого стихотворения, посвящая их острым темам (тиранoборство!), Николев писал свои оды и... не печатал их. Поэт-слепец, живя в своем имении, метал громы в тиранов, рассуждал о гражданской ответственности поэта и его обязанности «правду-матку выводить в люди чрез перо» («Раздумье пииты»), — он писал оду за одой, находя удовлетворение в самом творческом акте. Опубликованы они были лишь в составе многотомного собрания сочинений — «Творений» — в 1796 году, когда в литературе господствующее место занимал сентиментализм, решавший новые задачи, выдвинутые временем. В этих условиях искания Николева не были поняты и оценены. Его оды воспринимались как анахронизм, как запоздалая дань классицизму...

10

Первые элегии в русской поэзии появились в 1735 году, и принадлежали они нововводителю Тредиаковскому. Он же определил этот жанр как «стих плачевный и печальный», указав на необходимость различия двух главных его мотивов — смерть близкого человека и «не зазорная любовь, но законная»; в обоих случаях чувства изображаются поэтом «всегда плачевною и печальною речью».[1] В 1747 году в «Эпистоле о стихотворстве» Сумароков также описал признаки элегии и сформулировал правила ее написания.

Призыв воспевать «любовны узы плачевным голосом» не был услышан поэтами. Да и сам Сумароков долгие годы не писал элегий. Перелом в истории этого жанра наступил в 1759 году, когда автор «Эпистолы» написал цикл элегий. Вслед за ним выступили его ученики и последователи: Херасков, Ржевский, Нарышкин, а затем и другие поэты — Козельский, Аблесимов, Попов. 1760-е годы (до 1772) — это годы расцвета «плачевных стихов» (в печати появилось более ста элегий) и одновременно их кризиса — к концу десятилетия уже явно обнаружилась исчерпанность жанра. В последние тридцать

---

[1] «Новый и краткий способ к сложению российских стихов». — В. К. Тредиаковский, Избранные произведения, «Б-ка поэта», Б. с., М.—Л., 1963, с. 295.

лет века талантливые поэты разных направлений уже не писали элегий. Элегия исчезла из поэзии (около десятка элегий, напечатанных в журналах, эпигонских по своей сути, в счет не идут). Любовное печальное чувство нашло свое выражение в песне, затем в анакреонтической оде. Возрождение элегии произошло лишь в начале XIX века на иной, романтической основе.

В чем причина такой краткой жизни элегии XVIII века, жанра, который в первые десятилетия нового столетия открывал громадные возможности выражения духовного богатства личности многих поэтов, позволял им создавать неувядаемые шедевры русской лирики (Жуковский, Батюшков, Пушкин, Баратынский, Лермонтов)? Ответ на этот вопрос следует искать в самой философско-эстетической системе классицизма. Именно судьба элегии с особой наглядностью проявляет противоречивость нормативной поэтики.

Определяя особенность и черты этого жанра, Буало в своем «Поэтическом искусстве» опирался на опыт великих элегиков античности — Овидия и Тибулла. Отсюда и широта мотивов декретируемого им жанра: скорбь по умершему («Элегия, скорбя, над гробом слезы льет»), горе и радости любви («Она рисует нам влюбленных смех и слезы, И радость, и печаль, и ревности угрозы»). Глубокая искренность элегий античных поэтов обусловила и требование Буало — описывать «правдиво страсть»: «Элегия сильна лишь чувством натуральным», в элегии нужны «любви слова живые».

Все эти требования обобщали свойства глубоко личной элегии римских поэтов. Но они приходили в противоречие с эстетическим кодексом классицизма, искусства антииндивидуалистического, которое не допускало, чтобы лирические жанры стали зеркалом души поэта, чтобы они запечатлели его неповторимую личность. Потому практически выполнить рекомендации Буало было невозможно. И не случайно французский классицизм не создал образца элегии — им по-прежнему оставались элегии Овидия и Тибулла.

Сумароков попробовал преодолеть это противоречие, следуя по пути не римских поэтов, но... графини Делясюз. Он ограничил тематику элегий, сведя ее к воспеванию только «любовных горестей». Сами эти «горести» так же строго регламентированы: разлука, неразделенная или несчастная любовь (мешают любящим какие-то не названные препятствия). Содержанием элегии становились жалобы героя, рассказ о тех чувствах, которые должны испытывать действующие лица стихотворения в заданных ситуациях — разлука, неразделенная или несчастная любовь. В «Эпистоле» Сумароков писал: «Любовник в сих стихах стенанье возвещает». Подобные «возвещанья» были своеобразным внутренним монологом. Но этот монолог произ-

носил человек вообще, лишенный индивидуальных черт. Он функционален — ему определена роль «плачущего любовника». Элегия оказывалась моделью заданных чувств. Сумароков не выражает «непритворные чувства», но учит чувствовать, создает образцы любовных страданий. Модель и запечатлела не интимные переживания личности, а науку чувствования. Отсюда холодность и риторичность речи героя, заданность ситуаций и должных, положенных в данном случае переживаний. Герои (он и она) не имеют имен, в элегии нет описания места и обстоятельств события, не указываются причины разлуки, не называются препятствия и т. д.

Поскольку не было «живых слов любви», элегию заполнили штампы — одни и те же мотивы и сюжетные ситуации, одни и те же слова о заранее заданных «стенаниях». Задан был и размер — элегии Сумароков писал александрийским стихом.

Большая часть элегий 1760-х годов писалась по сумароковскому образцу. Но боязнь штампа толкала талантливых поэтов к некоторому усложнению простейших ситуаций, предложенных Сумароковым. Так поступает Ржевский. В одной элегии он соединяет два мотива — разлуку и измену возлюбленной. Усложнение несколько обогащает содержание: сначала появляется рассказ о счастливой любви, но отъезд героя (мотив разлуки) изменил ситуацию — он продолжает любить, а возлюбленная полюбила другого. Появляются упреки в нарушении клятвы любить до смерти. Усложнение ситуаций иногда приводило к драматизации событий — покидая «несклонную», герой другой элегии надеялся, что разлука поможет забыть ее. Но тщетными оказались надежды — он продолжает любить, и «нет горести конца». «Стенания» в элегии («Ничто моей тоски не может утолить. . .») приобретают новый оттенок: оказывается, «несклонная» не только не любит, но, притворствуя, сознательно мучит его:

Что я ее люблю, она довольно знала,
Но, зная страсть мою, несклонностью терзала
И притворялася, стремясь меня терзать.

В элегии возникает абрис иного, не традиционного характера — притворщицы. Иногда Ржевский ставит перед собой задачу показать противоречивость чувств. Так, герой одной элегии рассказывает: он любил и был любим, но вдруг воспылал страстью к другой, которая оказалась «несклонной». Мука героя получилась двойной — он страдает от равнодушия той, которую любит, и терзается от сознания вины перед прежней возлюбленной, продолжающей любить его и горевать от его холодности. Герой не знает, что делать, «кого предпочесть», понимая, что стал жертвой своих страстей. Противоречивость

чувства при усложненности сюжетной ситуации объяснялась все с тех же рационалистических позиций, и потому новые мотивы элегии не делали ее способной запечатлеть индивидуальное чувство.

Отступление от образца и усложнение модели элегии не меняли характера жанра, просто модель стала более сложной, «наука чувств» — более изощренной. Талант Ржевского, стиснутый рамками жанрового мышления и поэтическим кодексом Сумарокова, не мог проявиться творчески — он писал элегии, стансы, притчи, сонеты, эпиграммы, идиллии по правилам и следуя за образцами. Это были «правильные» стихотворения каждого жанра. В них не было ничего оригинального и самостоятельного. И тогда он начинает экспериментировать — усложняет модель элегии, пишет оду, составленную только из односложных слов, сочиняет стихотворную загадку, построенную как один синтаксический период (см. «Портрет», где 18 стихов составляют один период, из которых 17 — подъем — перечисление признаков, а последний — нисхождение — разгадка, название предмета), изобретает сонеты, которые можно прочесть трояким образом — целиком и отдельно первое и второе полустишие, — из одного сонета образовывалось три стихотворения с разными темами и собственными рифмами.

Безличность, абстрактность изображаемого человека с его должными, для каждого жанра строго определенными чувствами создавали почву для формальных опытов. Это понял Ржевский и проявил свою оригинальность именно в стилистическом и ритмическом экспериментаторстве. Он создавал себе нарочитые трудности, чтобы демонстрировать искусство их преодоления. Так, например, его притча «Муж и жена» (по теме, стилю не оригинальная, выдержанная в духе притч Сумарокова) отличалась своим графическим оформлением — она написана и напечатана в виде ромба.

Пытались отойти от модели элегии Сумарокова и другие поэты, не принадлежавшие к его школе, в частности Я. Козельский и М. Попов. Для них характерно, при сохранении традиционных мотивов (разлука, неразделенная или несчастная любовь), стремление к конкретизации обстоятельств, вызывающих страдания героя. Так, Козельский в «Элегии I», используя мотив разлуки, дает объяснение: любящие разлучились потому, что родители «любезной» против их брака. В элегию входит реальный конфликт, который меняет поведение героя: он не просто «плачется», демонстрируя умение чувствовать должным образом, но обращается к возлюбленной с советом. Его поведение в какой-то мере приобретает индивидуальный характер, определяется конкретными и реальными обстоятельствами его несчастья:

Несчастная любовь! Любезная, отдай
Обратно мне себя! Препятства побеждай,
Поссорься за меня с домашними своими,
Скажи, что жить тебе назначено не с ними.

То же намерение ввести в элегию реальный, взятый из жизни конфликт мы наблюдаем и у Попова. В одной из элегий, разрабатывая мотив несчастной любви, поэт, в соответствии с правдой жизни, называет прозаическую причину измены возлюбленной:

Нет, нет! не то тебя, неверная, в нем льстит,
К неверности не жар тебя принудил крови, —
Ты злато предпочла его моей любови!
Не красотой прельстясь, ты сердце отдала,
Корысть тебя, корысть к другому привлекла!

(«Едва тебя, мой свет, успела полюбить. . .»)

Подобная конкретизация обстоятельств конфликта осуществлялась на пути общего движения литературы к действительности, характерного для 1760-х годов. Но сила инерции жанра, власть традиции оставались огромными.

Все усложнения сюжетных мотивов элегии, отступление от правил (например, Козельский пишет элегию, посвященную счастью двух взаимно любящих героев) не спасали жанр от штампов, от холодно-риторических «стенаний», от однообразных чувствований безликих героев, попадающих в одни и те же ситуации. Исчерпанность элегии как жанра становилась тем очевиднее, чем больше создавалось элегий разных авторов, написанных по одному образцу. Стали появляться пародии в журналах. Одна из них, напечатанная в «И то и се» (1769), по-видимому, принадлежала Попову. В списках распространялись злые пародии Баркова, в которых по всем правилам жанра александрийским стихом передавался «плач» «нескромных сокровищ», терпевших «бедствия» от разлуки или неразделенной любви. . . Веселым смехом провожали «плачевную элегию», не оказавшуюся способной передать «живыми словами любви» сложный нравственный мир живой личности, действительного человека, живущего в реальном мире и страдающего по воле не абстрактных и условных, но подлинных конфликтов и противоречий русской действительности.

Потребность же в поэтическом выражении духовного мира личности стала проявляться все с большей остротой. И тогда то, что оказалась неспособной выполнить элегия, стала выполнять песня.

Жанровые возможности песни были более широкими — она могла быть печальной и веселой, шуточной и сатирической, военной и застольной, в ней рассказывалось о любви счастливой и несчастной, об изменах и разлуках, о горе молодой женщины, выданной замуж за нелюбимого, и т. д. Песня имела возможность перенять функцию элегии в выражении любовных чувств и не быть скованной декретированными признаками жанра — тематическими и ритмическими. Первым это понял Сумароков, который начал писать песни раньше элегий. В своей «Эпистоле» он требовал от пишущих песни не только «ясного», «приятного» и простого слова, лишенного «витийств», но и, главное, чтоб в песне торжествовала страсть, а не разум:

> Чтоб ум в нем (слоге) был сокрыт и говорила страсть,
> Не он над ним большой — имеет сердце власть.

Этому предписанию следовал сам поэт, когда писал песни (им написано более ста песен).

Популярность песен Сумарокова объясняется прежде всего тем, что в них «говорила страсть», что они оказались способными передавать интимные переживания человека. Обусловлено это было ритмическим разнообразием стиха. Элегии писались шестистопным ямбом (александрийским стихом), а песни — ямбом и хореем разного числа стоп. Г. А. Гуковский объяснил роль и функцию этого ритмического разнообразия в песнях Сумарокова: «Он строит строфы из стихов различных размеров и их сочетаний, стихов свободного тонического ритма, закономерно повторяющих рисунок ритма в каждой строфе. В результате его песни являют образцы исключительного богатства и разнообразия ритмики, музыкального напева стиха. В этом напеве, в этой стиховой музыке заключалась струя сильного эмоционального воздействия, выходящего за пределы логического, «разумного» анализа страсти, «разумной» суховатой семантики, свойственных стилю Сумарокова. Иррациональная мелодия речи разбивала рамки рационалистического построения, открывала дорогу лирической настроенности стихотворения уже не классического характера».[1]

Эта особенность литературной песни, таившаяся в ее иррациональной мелодии, способной разрушать рационалистические построения, усиливалась и ее связью с народной песней, с фольклором. Оттого песня в 1760—1780-е годы займет ведущее место в русской

---

[1] Г. А. Гуковский, Русская литература XVIII века, М., 1939, с. 167.

лирике. Способствуя обновлению поэзии, она приближала ее к художественному выражению сокровенной жизни сердца.

Песни писали крупные поэты и рядовые участники литературного движения — Державин и Попов, Богданович и Николев, Дмитриев и Нелединский-Мелецкий, Карамзин и Карабанов.

Большая часть литературных песен была посвящена любовным темам, в них почти демонстративно развивались те же мотивы, что и в элегиях (разлука, неразделенная или несчастная любовь). Но поэтически это воплощалось иначе. Песня писалась не столько для чтения, сколько для исполнения; шестистопный ямб был заменен четырехстопным хореем, резко уменьшилось число стихов, значительно обновилась лексика (вторглись просторечные слова и выражения) и образы; появились описания места действия и мотивировки разлуки, страдания одного или обоих героев. Все это способствовало преодолению рационализма, открывало возможности выражения реальных чувств, переживаемых героями. В одной песне Попова говорится:

Язык мой то вещает,
Что сердце ощущает,
Что чувствует душа.

(«Не хладно стихотворство. . .»)

«Ощущения сердца» и «чувства души» в песне часто представали индивидуальными. В одной из песен Попов не только говорит о разлуке, но раскрывает причину разлуки — любимую выдают замуж. Герой страдает, но его любовь благородна, исполнена доброжелательства. Он знает, что его любимой не легче, и тогда он поддерживает ее, желает счастья с другим:

Пусть другой тобой владеет,
Дух ко мне твой охладеет, —
Мне нельзя, мой свет, престать
Всяких благ тебе желать.

(«Чем грозил мне рок всечасно. . .»)

Важную роль в развитии литературной песни сыграло ее сближение с народной песней. Фольклорными исканиями отмечены уже песенные опыты Сумарокова. В 1760-х годах фольклоризм русских писателей во многом обуславливался просветительской идеологией. Просветители развернули широкое изучение истории России, обычаев и нравов «россиян», выдвинули проблему национального характера, проявили пристальный интерес к русскому языку, охраняли его чи-

стоту, борясь с порчей языка модными галломанами. Этот интерес к проблемам национальным привел просветителей к постановке и решению огромной важности задачи: создания самобытной по темам и характерам, проблемам и языку, конфликтам и картинам обыкновенной жизни людей разных сословий, по стилю и манере понимать вещи — подлинно русской литературы. В борьбе за самобытность литературы особую роль должен был сыграть фольклор.

Со своих позиций интерес к фольклору в 1760-е годы проявляли писатели-разночинцы, а в последние два десятилетия века — сентименталисты. Отсюда возраставшее из десятилетия в десятилетие общее внимание писателей к фольклору, развертывание работы по собиранию песен и пословиц, использование поэтического творчества народа для обновления литературы.

Наибольший интерес, закрепленный изданиями песенных сборников, был проявлен к песне. Первое печатное собрание песен в составе «Письмовника» Курганова появилось в 1769 году. В 1773—1774 годах Чулков (при участии Попова) издал четыре части «Собрания разных песен» (в дальнейшем сборник трижды переиздавался), в 1780—1781 годах Новиков напечатал «Новое и полное собрание российских песен» в шести частях. В последующие годы издание песенников стало обычным делом. Заслуживает внимания и тот факт, что сборники песен издавали поэты — Попов подготовил в 1792 году книгу «Российская Эрата», а Дмитриев в 1796 году — «Карманный песенник».

Состав песенников не был однородным — помимо собственно народных песен (разнообразных по тематике и тону) в них входили литературные песни (печатавшиеся без имени авторов) и значительное число анонимных песен и романсов, создававшихся в городской (демократической) и солдатской среде. Главное место во всех этих разновидностях занимала любовная песня, и прежде всего городской романс, пользовавшийся огромной популярностью. Любить, утверждала песня, значит «следовать природе». Власть любви — всемогуща. Она помогает ломать законы, установленные людьми, потому что они уродуют жизнь человека. Главный из них — социальное неравенство, разделяющее любящих. Песня прославляла страсть, помогающую человеку преступить этот закон, пренебречь традиционными представлениями о счастье. Вместо прежних идиллических картин любви пастухов и пастушек или безличных «любовников», демонстрирующих заданные страдания от беспричинной разлуки, появляются песни о любви дворянина к крестьянке со всеми сложными и реальными испытаниями.

В любовных песнях подобного типа торжествовала эмоциональ-

ная атмосфера морального равенства людей. В них человек любил человека и был счастлив. Сюжет и этический пафос повести Карамзина «Бедная Лиза» вырастал на песенной почве. К мысли «и крестьянки любить умеют!» писателя подводила уже прочно сложившаяся песенная традиция. О способности крестьянок чувствовать и любить читатель узнавал не только из песен, написанных известными или безымянными поэтами, но и из песен, создаваемых самим народом. Народные песни и городские романсы оказывали влияние на поэтов. Они переделывали эти песни на свой лад, заимствовали сюжеты, образы, лексику. Литературная песня приобретала новый характер, как бы указывала поэзии путь развития по руслу национальной самобытности.

Характерна и знаменательна в этом отношении деятельность Н. Львова. Поэт, архитектор, музыкант и художник, образованный человек своего времени, Львов с конца 1770-х годов станет душой дружеского кружка поэтов, куда входили Державин, Капнист, Хемницер. Всех их сближал поиск новых путей в поэзии. Львов выдвинул идею народности литературы, понимая ее как национальную характерность. Замечателен его опыт изучения и собирания народных песен. По его инициативе был издан интереснейший сборник «Собрание народных русских песен с их голосами, положенные на музыку Прачем» (1790), сыгравший значительную роль в русской литературе (тексты песен были собраны Львовым).

Выступая пропагандистом национальных форм поэзии, Львов призывал и к созданию произведений на сюжеты русских былин и сказок. Свою поэму «Добрыня» он написал свободным русским стихом. В 1789 году им была создана комическая опера «Ямщики на подставе». Новизна оперы, определившая ее успех, состояла в широком введении в нее песни. Ямщики в течение всего действия поют много превосходных песен. Сам Львов написал несколько подражаний народной песне. Даже в переводах он стремился использовать опыт народной поэзии. Так, «Песнь Гаральда Смелого» он переложил «образом древнего стихотворения» — «Не звезда блестит далече во чистом поле. . .».

В своем творчестве Львов не всегда реализовал выдвигаемые им перед поэзией требования. Большая часть его стихов посвящена изображению тонких, изящных любовных чувств. Правда, и в них он умело использует и лексику, и ритмы народной поэзии. В послании к М. С. Митрофанову (впервые публикуемом в настоящем сборнике), объясняя введение народных песен в свою оперу «Ямщики на подставе», Львов писал: «Я сам по русскому покрою» сочиняю стихи. Эта формула лаконично передавала смысл его фольклоризма — ис-

пользовать народное творчество для сближения поэзии с действительностью, для создания «русского покроя» поэзии.

Стремление научиться у народа писать песни по «русскому покрою» отличает и других поэтов. Не всегда их опыты были удачными. Но такие, например, песни, как «Ты бессчастный добрый молодец...» Попова, «Кружка» Державина, «Вечерком румяну зорю...» Николева, действительно были русскими и быстро завоевали популярность у демократического читателя.

Более сложным было отношение к фольклору поэтов-сентименталистов. В 1780—1790-е годы развернулось творчество Ю. Нелединского-Мелецкого. Большая часть его наследия — эпикурейская лирика, главный мотив которой — любовь. Любовь в стихах Нелединского — земная, реальная страсть. Чувства поэта обращены к одной женщине — Темире, ставшей постоянным образом его лирики.

Следуя за уже сложившейся традицией, он обращался к народной песне, и в большинстве случаев приспособлял ее к требованиям дворянской культуры. После его обработки песня утрачивала свое достоинство и свой демократизм. Бóльшая часть песен Нелединского-Мелецкого — не очень талантливая стилизация народных. Но когда поэт проникался духом народной поэзии, тонко понимая ее красоту и силу, из-под его пера выходили песни, приобретавшие популярность не только в кругах образованного общества — читателей Нелединского. Они принимались народом как свои. Из них наибольшим успехом пользовались «Выйду я на реченьку...», «Ах! тошно мне...».

11

Значительным и своеобразным явлением русской поэзии XVIII века были переводы из античных авторов. Первым был переведен Эзоп. Книга «Притчи Эзоповы...» в переводе Ильи Копиевского вышла на русском и латинском языках в 1700 году в Амстердаме. В России систематически переводы греческих и римских поэтов стали печататься в 1740-е годы. В 1744 году была опубликована книга «Квинта Горация Флакка десять писем», переведенная Кантемиром (имя переводчика не было указано). Тогда же им завершенный и посланный в Петербург перевод 55 од Анакреона издан не был. В 1747 году вышел новый сборник басен Эзопа (переводчик Сергей Волчков), который трижды переиздавался в XVIII столетии. В следующем году читатель познакомился с переводами Ломоносова — в состав «Риторики» он включил оду («басню») Анакреона «Ночною

темнотою...» и знаменитое стихотворение Горация «Памятник» («Я знак бессмертия себе воздвигнул...»).

С тех пор каждое десятилетие, до конца века, регулярно выходили новые переводы. Русский читатель имел возможность познакомиться с творчеством греческих поэтов Гомера, Эзопа, Анакреона, Сафо и римских — Горация, Вергилия, Федра, Овидия, Ювенала. Два поэта — Анакреон и Гораций — получили наибольшую популярность, к их произведениям обращалось несколько поколений переводчиков, они оказали наибольшее влияние на русскую поэзию века.

Переводы выполняли сначала чисто просветительскую функцию — они знакомили читателей и литераторов с наследием великих поэтов античности. В свое время Пушкин писал: «Каждый образованный европеец должен иметь достаточное понятие о бессмертных созданиях величавой древности».[1] Россия, вступившая на путь европеизации, стремительно овладевала художественным опытом человечества. Новая русская литература складывалась в рамках классицизма, эстетический кодекс которого вырабатывался на основе овладения достижениями античных поэтов и включал требование обязательного подражания величайшим произведениям древности. Таким образом, переводы античных авторов оказывались важным моментом становления и развития классицизма.

Исторически же роль переводов оказалась более сложной. Они не только служили поэтам-классицистам образцами для подражания, но помогали на отдельных этапах истории формированию именно русской, самобытной, оригинальной поэзии. Эта роль переводов античных авторов до сих пор мало изучена, и потому необходимо хотя бы бегло изложить некоторые факты и на ряде примеров показать, как использовался эстетический опыт древних поэтов в борьбе за оригинальность, в преодолении поэтики классицизма.

В 1757 году в «Ежемесячных сочинениях» появилось два перевода одной и той же оды Горация («Beatus ille») — один принадлежал Тредиаковскому, а другой Поповскому, — сопровождавшиеся заметкой Тредиаковского, в которой характеризовалась переводческая манера обоих поэтов. Поповский дал точный перевод. Тредиаковский сильно русифицировал оригинал, скорее подражал Горацию, чем переводил. Так, вместо образа земледельца-рабовладельца, у которого тяжелую работу выполняют рабы, Тредиаковский изображает крестьянина, трудящегося в поле; вместо описания сельского быта Древнего Рима — быт русской деревни, русские обычаи, русские ку-

---

[1] О поэзии классической и романтической. — А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в десяти томах, т. 7, с. 33.

шанья. Отказался Тредиаковский и от сатирического финала оды. Гораций насмешливо сообщает, что описывал не реального землевладельца, а мечты ростовщика Альфия, который хотел было купить имение и жить в деревне, но вместо того вновь стал отдавать деньги в рост.

Характеризуя перевод Поповского, Тредиаковский писал: «изображая подлинные мысли автора своего, — ⟨он⟩ есть точный переводчик стихами» и «обыкновений того века провозвестник». О себе он писал, что «вознес собственным способом, согласнейшим с образом и с употреблением нынешних времен, здание, утвержденное на Горациевом токмо основании».[1] Так определилась классицистическая установка — строить «здание» на чужом «основании», не «списывать», а «подражать своими подобиями». «Подражание» на начальном этапе русской поэзии давало свои результаты: «Строфы похвальные» — так назвал свой перевод Тредиаковский — впервые запечатлели образ русского состоятельного крестьянина и быт русской деревни. Но историческая задача была иной — не подражать, а учиться у античных поэтов верно изображать окружавшую поэта жизнь, строить свое, русское «здание» на своем, русском «основании», чтобы можно было запечатлеть подлинно русский мир.

В 1752 году Поповский перевел «Послание Пизонам» Горация, которое еще в античные времена именовалось «наукой поэзии», — свод разнообразных рекомендаций и правил поэтического искусства. Оно было широко известно в различных европейских странах. Законодатель французского классицизма Буало, когда сочинял свое «Поэтическое искусство», обращался к «Посланию» Горация, заимствовал у него многие рекомендации. Это не означало, что Буало полностью принимал «науку» римского поэта. Во многом и существенном он с ним расходился. Отмечу прежде всего расхождение в понимании отношения к предшественникам. Для Буало, а вслед за ним и для Сумарокова, это отношение определялось как подражание. Греки и римляне создали непревзойденные образцы искусства, подражание им — таков путь создания своего, национального искусства. Гораций же, говоря о произведениях греческих поэтов, выдвигал иное требование — не подражать, а учиться у них. В реальных русских условиях «наука поэзии» Горация в известной мере противостояла кодексам Буало и Сумарокова. При этом отступником от «правил» оказывался непререкаемый авторитет!

Уже говорилось, что Ломоносов был учителем Поповского, давал ему в 1751 и 1752 годах «наставления в стихотворстве». Эти на-

---

[1] «Ежемесячные сочинения», 1757, № 7, с. 88.

ставления шли в духе рекомендаций Горация. Именно потому Поповский и перевел стихами «Послание Пизонам» и пять од Горация, а Ломоносов рекомендовал их к печати. Переводы эти вышли в 1753 году. Другой ученик Ломоносова, Иван Барков, в 1763 году, в пору ожесточенной борьбы с классицизмом, когда он сам писал пародии на Сумарокова, издает перевод сатир Горация, с приложением «Письма о стихотворстве к Пизонам» в переводе Поповского и со своими обширными примечаниями. Гораций оказывался союзником в развернувшейся борьбе за сближение поэзии с действительностью, за освобождение ее от императивных требований подражать образцам.

Той же цели служили и оды Горация, переводившиеся Поповским, и сатиры в переводе Баркова. Оды Горация были лишены торжественного пафоса. Он следовал не за Пиндаром, а за Анакреоном и свои произведения просто называл стихотворениями (одами их назвали античные комментаторы). В центре их — духовная жизнь поэта, живущего в реальных и конкретно выписанных обстоятельствах. Именно потому в эпоху Возрождения, когда рождалось новое представление о человеке как личности, Гораций стал любимым поэтом. Вот эта возрожденческая трактовка и была развита учениками Ломоносова, а потом усвоена многими поэтами, и прежде всего Державиным.

Оды Горация в переводе Поповского открывали русскому читателю новый для него мир — человека, с его убеждениями, привычками, бытом. Это был гимн простому бытию человека, гимн без пафоса, без грома, выраженный обыкновенными, взятыми из живой речи словами. Этот человек не вещал, а как бы беседовал доверительно с другом. Он признавался, что «отцом рожден убогим»; советовал: «будь сердцем тверд, великодушен»; с презрением отзывался о гордости и подлости богачей, напоминая им простую, но часто забываемую истину:

Богатым ли или убогим,
Царем иль подлым ты рожден,
Всё то ж, ты будешь роком строгим
Без жалости во гроб сведен.

(«Сноси напасти терпеливо. . .»)

В оде XVII (вторая книга) развернута горацианская философия умеренности. Для русского читателя важна была не столько эта философия, сколько настойчиво повторявшаяся мысль: «Богатым и убогим равен Ко гробу путь, одна стезя». Она расшатывала веру

в сословное превосходство дворянства, знатных и вельмож. Стихи о довольстве поэта своей скромной жизнью отстаивали подлинно гуманистические ценности человеческого бытия:

Не злато и сребро сияет
В моем жилище на стенах;
Не мрамор пол в них устилает,
Не крыльца на резных столбах.

Сатиры Горация принципиально отличались от сатир Буало, объявленных Сумароковым истинными образцами. В них поэт обличал не отвлеченный порок, а реальные нравы богатых римлян, создавая портреты (часто памфлетные) современников. Он зло высмеивал их поведение, их убеждения, обычаи и нравы. Сатиры его отличались наблюдательностью, точностью и конкретностью изображения обстоятельств жизни человека. Но самое главное — насмешка эта носила личный характер. В центре сатир был образ не абстрактного моралиста, но реального автора. При этом Гораций и к себе относился иронически: осуждая пороки других, поэт не скрывал и своих собственных недостатков.

Барков уловил эту особенность сатир Горация и, переводя их на русский язык, стремился сделать понятными русскому читателю обличаемые характеры, нравы и обычаи чужого ему народа. Этой цели, в частности, служили примечания. Но то был не только хорошо сделанный филологический и реальный комментарий — Барков художественными средствами, используя пословицы, переводил на «русский салтык» высмеиваемый образ жизни далекого Рима. Например, в примечании к строке: «Мастьми душист Руфилл, козлу Горгоний брат» (сатира вторая) с помощью пословицы переводилось внимание читателя на русские нравы и обычаи: «То есть хотя люди в прихотях между собою не сходствуют, но как того, так и другого обычаи порочны. То же почти изъясняет наша пословица: „Горшок котлу насмехается, а оба черны“». В другом случае строка Горация: «Ездою Кастор, брат боями веселится» поясняется: «Сим означаются разные склонности людей, как у нас говорят просто: „Иной любит попа, а другой попадью, или всякий молодец на свой образец“».

Подобных примеров много. Щедро вводимые пословицы не только приближали содержание сатир к русской жизни, но и служили образцом, эталоном простоты слога, ясности синтаксического построения фразы, афористичности стиля. Барков постоянно мотивирует свое обращение к пословицам: «как сказать по-просту», «как у нас говорят просто», то есть как говорит народ, творец пословиц. Именно

эту художественную норму языка и стиля, запечатленную в пословицах, Барков и противопоставляет поэзии классицизма. Первые положительные результаты следования новой норме мы видим в ясном, лаконичном, простом слоге переводов сатир Горация.

Привлекал Гораций Баркова и своим вниманием к быту, к будничным занятиям человека, к обыденному и обыкновенному. Для Горация быт — отнюдь не низкая действительность. Перевод Баркова в этом смысле был новым словом в русской поэзии. Картины быта, повседневных дел и забот человека нарисованы им ярко, сочно и живописно, исполнены истинной поэзии.

В четвертой сатире, например, рассказывается, как следует приготовить ужин для неожиданного гостя:

Когда вечерний гость нечаянно нагрянет,
Приятней курицу ту в ужин кушать станет,
Которую велишь живую ты сварить,
И в кипяток вина фалернского подлить...

В сатире восьмой ярко и красочно описывается обеденный стол, перечисляются стоящие на нем яства и вина, раскрывается щедрость и тщеславие хлебосольного хозяина. Мы знаем, что изображение видимого, предметного и красочного мира характерно для Державина. Именно он, отказавшись от правил и норм классицизма, в обыденных явлениях жизни человека увидел высокую поэзию. Оттого он так любил описывать обеды. Первое такое описание мы находим в его оде «К первому соседу» (1780). До него поэтическое изображение предметного мира было сделано в 1763 году переводчиком сатир Горация Иваном Барковым.

Горацианское начало отчетливо просматривается у многих поэтов конца XVIII и начала XIX веков. Творчество Горация оказывалось нужным на разных этапах истории русской поэзии. «Памятник» Пушкина, вобравший в себя опыт не только Горация, но и Державина, венчал эту традицию русского освоения наследия римского поэта.

12

Вторым поэтом, имевшим важное значение для развития русской поэзии XVIII столетия, был Анакреон. Исторический смысл обращения не только русской, но всей новой европейской литературы к греческой поэзии объяснил Белинский: «Русская поэзия не знала еще Греции... как всемирной мастерской, через которую должна

пройти всякая поэзия в мире, чтобы научиться быть изящной поэзией».[1] Первым в России это понял Кантемир, принявшийся в конце 1730-х годов переводить с греческого языка так называемые оды Анакреона. В предисловии он указал, что «общее о Анакреонте доброе мнение побудило меня сообщить его и нашему народу через русский перевод. Старался я в сем труде сколь можно ближе его простоте следовать; стихи без рифм употребил, чтоб можно было ближе подлинника держаться».[2] К сожалению, перевод не был опубликован и не стал живым явлением литературного процесса XVIII века.

С Анакреоном русского читателя познакомил Ломоносов, который перевел одно стихотворение — «Ночною темнотою...» (вошло в «Риторику», изданную в 1748 году) и несколько од, включенных в «Разговор с Анакреоном». Переведенные трехстопным ямбом с рифмами, отличным русским языком, оды передавали красоту и изящество древнегреческого оригинала.

В 1750-х годах Сумароков ввел в русскую поэзию новый жанр — анакреонтическую оду. Анакреона Сумароков знал по французским и немецким переводам. В «Эпистоле» он упомянут в числе «творцов, которые достойны славы прямо». В примечаниях же к «Эпистоле», сообщив биографические сведения об Анакреоне, Сумароков указывал, что он «писал оды или, лучше сказать, песни любовные и пьянственные, которые высоко поставляются».[3] В соответствии с таким толкованием и создавалась им русская анакреонтическая ода как новый жанр легкой поэзии, близкий по тематике к любовной песне.

Главной особенностью нового жанра для Сумарокова был размер: он создал так называемый анакреонтический стих — четырехстопный хорей или трехстопный ямб с женским окончанием без рифм. Опыт Сумарокова получил признание, и «анакреонтическим стихом» стали писать его последователи — Херасков, Ржевский, Богданович и другие поэты. Следуя за французской и немецкой анакреонтикой, эти поэты, и особенно Ржевский и Богданович, превратили оду в легкое эротическое стихотворение, отдаленно связанное с одами греческого поэта лишь стиховым размером.

В эпоху сентиментализма анакреонтическая ода начала осваиваться для нужд нового направления. Анакреонтическая ода у поэтов-

---

[1] Сочинения Александра Пушкина. — В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 7, М., 1955, с. 224.

[2] Цит. по изд.: А. Д. Кантемир, Стихотворения, «Б-ка поэта», Б. с., Л., 1956, с. 484.

[3] А. П. Сумароков. Избранные произведения, «Б-ка поэта», Б. с., Л., 1957, с. 126.

классицистов — безлична, это изысканно-шаловливое рассуждение на эротическую тему. Анакреонтическое стихотворение у сентименталистов — субъективно, в известной мере автобиографично, в нем они пытались запечатлеть реальное живое чувство — чаще всего любовное, но не всегда радостное. Хотя и робко, печальное чувство запечатлелось в стихах Карамзина.

В 1780—1790-е годы отношение к Анакреону изменилось, стало определяться новое понимание его поэзии. Связано это было с общеевропейским обостренным интересом к античности. Важным моментом этого нового обращения к искусству и литературе Греции и Рима был спор о характере использования художественного опыта древности. Повод к спорам подала книга немецкого искусствоведа Винкельмана «История искусства древности» (1764). Вслед за многими просветителями Винкельман в античности искал образцы героического. Но он не только пропагандировал греческое искусство — он объявил его образцом для современного. Центром художественной концепции Винкельмана и была идея подражания. Тем самым было предопределено двоякое отношение к его книге. Сторонники нового искусства — враги классицизма — не могли принять концепцию Винкельмана. Классицисты же получили неожиданную мощную поддержку своим требованиям следовать образцам античности.

Первым с возражением Винкельману выступил Дидро. Вне использования художественного опыта прошлого, утверждал он, не может плодотворно развиваться новое искусство. Мастера античности велики именно потому, что были верны природе. Осваивать их опыт — значит не подражать им, но учиться их искусству следования законам природы, искусству постижения ее тайн. «Мне кажется, — писал он, — что следовало бы изучать античность, дабы научиться видеть природу». [1]

Вслед за Дидро против идеалов Винкельмана выступил Лессинг. Он не мог принять его тезис о подражании античным образцам. Тезис о подражании вытекал из недоверия к современности, реальным условиям жизни, к живому, терзаемому различными страстями современнику, который, по мысли Лессинга, и должен быть главным героем нового искусства. Мастера античности могли помочь современным художникам добиваться живого воплощения идеала человека в единстве героического и человеческого.

Спор этот отражал насущные вопросы эпохи «революции в искусстве» — борьбы с классицизмом и формирования новых направле-

---

[1] Салон 1765 года. — Дени Дидро, Собр. соч. в десяти томах, т. 6, М.—Л., 1936, с. 190.

ний — реализма и сентиментализма. Вот почему идеи Дидро и Лессинга, получив широкое распространение, оказались актуальными и для России.

В этой атмосфере и родился замысел Николая Львова дать русской поэзии подлинного Анакреона: он занялся переводом его од и в 1794 году выпустил их отдельной книгой. Не зная древнегреческого языка, он работал по специально сделанному для него прозаическому переводу оригинала, обращаясь для сравнения к французскому, немецкому и итальянскому переводам. Особое значение имело специально написанное им предисловие к сборнику о поэзии Анакреона. В нем он стремился освободить образ великого поэта от того искажения, которому он подвергался и на Западе и в России. Его слава, утверждал Львов, не в том, что он писал только «любовные и пьянственные песни», как думал Сумароков. Анакреон — философ, учитель жизни, в его стихах рассеяна «приятная философия, каждого человека состояния услаждающая».[1] Он не только участвовал в забавах двора тирана Поликрата, но и «смел советовать» ему в делах государственных. Так Львов поднимал образ Анакреона до уровня просветительского идеала писателя — советодателя монарху.

Интересны и примечательны были определения особенностей поэзии Анакреона. Главный тезис Львова: Анакреон — оригинальный поэт. Нарисованные им в одах «картины» есть «самое живое и нежное впечатление природы, кроме которой не имел он другого примера и кроме сердца, своего другого наставника».[2] Два «наставника» — природа и сердце — и обусловили оригинальность Анакреона. Вот почему нельзя ему подражать, но у него следует учиться быть оригинальным, быть верным в изображении русской природы и в раскрытии жизни сердца русского поэта, учиться точности изображения нравов, быта и верований своего народа, как это делал Анакреон в своих одах-песнях.

Предисловие Львова было своеобразным манифестом. Развивая выдвинутое немецким философом и просветителем Гердером представление о греческой поэзии как поэзии, тесно связанной с жизнью народа, как искусстве, запечатлевшем конкретно-исторический этап жизни человечества, Львов подчеркивал не только объективность картин Анакреона, но и близость его од к народным песням. «Русский Анакреон», учась оригинальности у греческого поэта, должен был учитывать художественный опыт русской народной песни. Фольклор-

---

[1] Предисловие к «Стихотворениям Анакреона Тийского». Перевел **** **** ⟨Н. А. Львов⟩, кн. 1, СПб., 1794, с. V.

[2] Там же, с. VI.

ные искания Львова и других поэтов конца века сближались с работой по освоению эстетического опыта античности. Анакреонтическая ода обретала новую жизнь, сближаясь с песней.

Выход сборника Львова «Стихотворения Анакреона Тийского» с предисловием и обстоятельными примечаниями — важнейшая веха в развитии русской поэзии, в становлении русской анакреонтики. Он способствовал расцвету могучего таланта Державина, ставшего с 1795 года писать анакреонтические стихотворения, названные им «песнями». В 1804 году он издал их отдельной книгой, назвав ее — «Анакреонтические песни».

Анакреонтические песни были новым этапом в творчестве Державина, отказавшегося от дальнейшего освоения жанра торжественной оды. Несмотря на осуществленное им еще в 80-е годы обновление оды, она сковывала поэта в выражении новой темы. Отвергаемые правила часто оказывали свое влияние, порождая «невыдержанность» — риторичность и условность образов. Обратившись к анакреонтике, Державин новаторски изменил старый жанр и в стихи, утверждавшие право человека на счастье, радость и наслаждение, вдохнул новую жизнь. Автобиографическая тема получила новые широкие возможности для своего поэтического воплощения. В своих «песнях» Державин по-прежнему рассказывал о себе. Но личность Державина — это прежде всего личность поэта. Воспевая право человека на счастье и радость, он утверждал еще и его право на независимость от власти. А так как этим человеком был поэт, то анакреонтическая поэзия изменилась кардинально, в самой своей сути — ее героем сделался не частный, жаждущий наслаждений человек, но свободный, независимый поэт. Державинская анакреонтика сомкнулась с гражданской поэзией.

В «Анакреонтических песнях» мы видим две тенденции освоения греческой поэзии. Одна из них — переводы и переделки стихов Анакреона, Сафо и других, задачей которых было создание античного колорита («Старик», «Анакреоново удовольствие» и др.), проникновение в дух эпохи и создание объективного образа поэта, передача его поэтической манеры. Так закладывались основы русского антологического стихотворения. Говоря об антологической поэзии, развивавшейся в XIX столетии, Белинский писал: «У эллинской поэзии заимствует она и краски, и тени, и звуки, и образы, и формы, даже иногда самое содержание. Впрочем, ее отнюдь не должно почитать подражанием... Когда поэт проникается духом какого-нибудь чуждого ему народа, чуждой страны, чуждого века, — он без всякого усилия, легко и свободно творит в духе того народа, той страны, или того

века».[1] Приводя примеры из некоторых антологических пьес Державина, критик давал им высокую оценку.

Но главным в «Анакреонтических песнях» был изображенный Державиным русский мир, русская жизнь, русские обычаи и нравы, русский характер, переданный живописно и пластично. При этом Державин сохранял свойственную ему «шуточную» манеру рассказа, свободно обращался к фольклору, черпая из него образы, поэтическую лексику, лукавую манеру изъяснять свою мысль («Охотник», «Шуточное желание», «Русские девушки» и др.). Дальнейшим, после выхода сборника «Анакреонтические песни», развитием державинских принципов поэтического изображения окружающего его мира явились такие шедевры лирики, как «Снигирь», «Цыганская пляска», «Лебедь» и дружеское послание «Евгению. Жизнь Званская».

В «Жизни Званской» не только отстаивалась независимость поэта от двора, власти царя и вельмож. Это первая попытка создания романа в стихах, оказавшая большое влияние на Пушкина. Предметом поэзии здесь стала жизнь обыкновенного человека. Его интересы, мысли и занятия, описанные за один день — с утра до позднего вечера, стали поэзией, интересной читателю. Точное и красочное описание быта не делало поэзию низкой. По Державину, человек — хозяин мира. Его стремление к счастью, труду, наслаждениям естественно, и все в земном мире должно служить этому. «Жизнь Званская» — вершинное произведение зрелого Державина, итог его творчества и завещание поэта.

Державин открывал русским поэтам новые возможности художественного изображения действительности, помогал обнаруживать поэтическое в обыкновенном, учил изображать реального человека, раскрывая его как неповторимую личность. Освоение опыта Державина помогало быть оригинальным — предметом поэзии становилась неисчерпаемо богатая, живая жизнь и человек со своим индивидуальным характером и духовным миром. Художественные открытия и поэтические достижения Державина и были усвоены молодыми поэтами нового века — Давыдовым, Батюшковым и Пушкиным-лицеистом. Так складывалось не оформленное организационно, но живое державинское направление в поэзии начала века. Именно тогда стала ясна роль Державина, в творчестве которого, как в фокусе, сосредоточились итоги поэтического развития XVIII века, и то его место в литературном движении 1800—1810-х годов, которое Белинский определил лаконично и точно — «отец русских поэтов».

Г. Макогоненко

---

[1] Римские элегии Гете. — В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 5, М., 1954, с. 231.

ПОЭТЫ
1750—1770-х ГОДОВ

Н. Н. ПОПОВСКИЙ

Николай Никитич Поповский (1730—1760) был сыном священника в церкви Василия Блаженного в Москве. Получив духовное образование, он мог рассчитывать занять более или менее видное место в церковной иерархии. Однако судьба его сложилась иначе.

В 1748 году по предложению Ломоносова в Москву был отправлен академик В. К. Тредиаковский, чтобы отобрать в Славяно-греко-латинской академии наиболее подготовленных студентов для университета при Академии наук. Поповский в это время обучался на философском отделении. На экзамене у Тредиаковского он обнаружил достаточное знание латинского языка — основного языка всей науки того времени, и был взят в университет. Уже на экзамене в начале 1750 года было отмечено, что «Николай Поповский... переводит нечто по-русски и потом по-латински чисто и хорошо».[1] Тогда же Поповский по собственному желанию стал усиленно заниматься философией и поэзией; в результате на экзаменах в июне 1751 года было отмечено, что он «в словесных и философских науках такой опыт искусства оказал, что на все вопросы изрядно ответствовал, а сверх того сообщил своего сочинения стихи на российском и латинском языках, которые с немалою его похвалой читаны. В словесных науках и философии далее простираться желает, которые по нашему рассуждению надлежит ему продолжить таким образом, чтобы со временем быть стихотворцем или оратором Академии».[2] На основании этого заключения экзаменационной комиссии Поповский «для наставления в поэзии» был поручен Ломоносову, который начал читать ему «стихотворческие» лекции «особливо».[3]

---

[1] Л. Б. Модзалевский, Ломоносов и его ученик Поповский (О литературной преемственности). — В кн.: «XVIII век. Сборник 3», М.—Л., 1958, с. 117.

[2] Там же, с. 118.

[3] Там же, с. 119.

Возможно, что более близкое знакомство между Ломоносовым и Поповским состоялось еще зимой 1750—1751 годов и что именно под влиянием великого поэта определились литературно-философские интересы Поповского. Уже в мае 1751 года Ломоносов послал его эклогу «Начало зимы» фавориту императрицы Елизаветы И. И. Шувалову с оговоркой, что «не поправил ни единого слова».[1] Ломоносов занимался с ним 1751-й и весь 1752 год. Итогом этих занятий были осуществленные Поповским стихотворные переводы «Искусства поэзии» и од Горация, которые Ломоносов настоятельно рекомендовал Академии наук напечатать.

Перевод «Искусства поэзии» был выполнен Поповским стихами, в то время как Тредиаковский перевел ту же поэму Горация прозой. Этот дебют молодого поэта в печати имел принципиальное значение. Поповский выступил с новым переводом классического памятника эстетической мысли, авторитетнейшего источника всех литературных теорий середины XVIII века. Переводя Горация, Поповский сознательно приноравливал примеры и суждения Горация к русским общественным условиям. Он, в отличие от Тредиаковского, опускал все, что носило на себе слишком римский колорит и содержало упоминания только Древнему Риму свойственных нравов и обычаев. «Конных» и «пеших» римлян Горация Поповский заменил «благородными» и «простыми».

С конца 1752 года Поповский становится официальным переводчиком стихов Я. Штелина, автора поэтических описаний иллюминаций и фейерверков. Наконец, он обращается к самому ответственному жанру — к похвальной оде. Эти оды написаны в ломоносовской манере, но заметно упрощенной, без характерной для Ломоносова метафоризации и гиперболизма.

По прямому внушению Ломоносова и под явным воздействием его стихотворного «Письма о пользе стекла», Поповский в 1753 году переводит первую песню философской поэмы английского просветителя Александра Попа «Опыт о человеке». В основу своего поэтического исследования природы человека и его места в мироздании Поп положил идею непрерывного общественного и умственного прогресса. Мир развивается по собственным внутренним законам после того, как однажды он получил первоначальный толчок от своего великого мастера-устроителя. Такой деистический взгляд на мироустройство был очень привлекателен для Поповского и Ломоносова, он вооружал их в борьбе с вмешательством православной церкви

---

[1] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 10, М.—Л., 1957, с. 469—470.

в жизнь науки и литературы, а своей защитой естественного равенства поэма Попа отвечала, конечно, их общественным взглядам.

Когда завершилось академическое обучение Поповского, Ломоносов настойчиво добивался назначения его ректором Академической гимназии. Получив по окончании университета звание магистра, Поповский был определен на должность конректора Академической гимназии, но вскоре перед ним открылось новое, заведомо более блистательное научно-педагогическое поприще — он был утвержден ректором Университетской гимназии при первом русском университете в Москве и 26 апреля 1755 года, в день торжественного открытия университета, начал курс лекций вступительной речью на латинском языке «О содержании, важности и круге философии». В августе того же года по инициативе Ломоносова в авторском переводе на русский язык эта речь была напечатана в журнале «Ежемесячные сочинения». В ней Поповский развивал представление о философии как объединяющем начале всего человеческого познания. Ратуя за изучение философских проблем, Поповский в своей речи настаивал на необходимости читать лекции по философии на русском языке. По тому времени это было смелое и прогрессивное требование. Понадобилось еще десять лет, чтобы Московский университет в 1767 году осуществил эту идею Поповского.

В 1756 году Поповский на годичном университетском акте произнес речь, а в мае того же года он был назначен профессором по кафедре красноречия или элоквенции. Риторику он «объяснял частию примерами, почерпнутыми из писателей, частию своими практическими опытами». [1]

Чтение лекций, перевод «Опыта о воспитании» Д. Локка — все это мешало его поэтической работе. Поповский вынужден был большую часть своего времени уделять научным и научно-педагогическим занятиям. Задержка выхода в свет «Опыта о человеке» (1757) и большие перемены в тексте по требованию духовной цензуры охладили его интерес к собственно поэтической работе.

Поповский умер молодым, но уже известным поэтом. Его творчество ценили, особенно перевод «Опыта о человеке». Еще в 1802 году Карамзин писал: «Если бы он пожил долее, то Россия, конечно, могла бы гордиться его изящными произведениями». [2]

---

[1] Л. Б. Модзалевский, Ломоносов и его ученик Поповский, с. 161.

[2] Н. М. Карамзин, Избр. соч., т. 2. М.—Л., 1964, с. 173.

1. НАЧАЛО ЗИМЫ

Ярившийся Борей разверз свой буйный зев,
И дхнул он хладностью на те места прекрасны,
Где Флора, истощив свои труды ужасны,
Пустила по лугам гулять прелестных дев.

Угрюмы облака и тучи вознеслись,
Покрылися поля зеленые снегами
С растущими на них различными цветами
И белизною все с уныньем облеклись.

Пустился с встока лед по невским быстринам,
Спиралися бугры, вода под ним кипела
И, с треском несшися в морской залив, шумела.
Крутятся все струи крестами по холмам.

Живущи по брегам не плещутся в струях,
Красотки по траве и в рощах не гуляют,
Они с рыданием свой жаль усугубляют,
Желая обитать в теплы́х всегда краях.

Расссталися они с приятностью весны,
Оплакивая все веселие тогдашне,
С любовниками их собщение всегдашне,
Которо при струях было́ во дни красны́.

В уныние пришли луга и древеса́,
Места те злачные, где сборища бывали,
Не видя на себе народа, восстенали,
И уклонилися под снегом все леса.

Лишился Тирс пастух веселья своего,
С Кларисою своей прекрасною расстался,
И внутренне в себе слезами обливался,
Сказав: «О время ты несчастья моего!

С поспешностью теки́, весну ты возврати,
И ту веселость с ней, которую имели,
Когда мы множество в садах красоток зрели, —
Ты тем любовников страданье прекрати».

Зима 1750—1751

2. ОПЫТ О ЧЕЛОВЕКЕ ГОСПОДИНА ПОПЕ

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ
О ЕСТЕСТВЕ И СОСТОЯНИИ ЧЕЛОВЕКА В РАССУЖДЕНИИ ПЕРВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

О счастье, наших цель желаний и конец!
Покой, довольство ли, приятность ли сердец,
Какое бы тебе название ни было,
Для одного тебя житье нам наше мило,
Для одного мечи, тиранства, му́ки, глад
И смерти самыя нимало не страшат.
Не знаем твоего ни имени, ни свойства,
Что ты за вещь, что в нас рождаешь беспокойства.
Всегда ты близко нас, далеко завсегда,
Где нет, тут все тебя мы ищем без плода.
Являешь ты свой вид разумным ежечасно,
И глупым видишься, однако всем неясно.
О ветвь небесная! когда ты на земли́,
Скажи нам, где растешь, вблизи или вдали?
Между ли царскими порфирами блистаешь?
Иль внутрь земли себя меж бисеров скрываешь?
Или меж лаврами парнасскими цветешь?
Иль в поле Марсовом серпа и жатвы ждешь?
Где ты растешь? где нет? когда наш труд некстати,
Мы в жатве, не земля, бесплодной виноваты.
О счастье истинном не должно рассуждать,
Что можно только здесь иль там его сыскать;
Но или нет нигде, или есть в каждой части,
Вещь вольная, купить его не в нашей власти,
Бежит от царского оно престола прочь,
С тобою, Болинброк, живет и день и ночь.

Спроси ученых: где путь к первому блаженству?
Подвержен спорам их ответ, не совершенству.
Один советует, чтоб всем слугою быть,
Другой — не знать людей и диким зверем жить.
Сей счастье в действии всегдашнем полагает,
Другой в спокойствии глубоком заключает,
Тот счастье роскошью и сладостью зовет,

Сей удовольствие души́ за счастье чтет.
Все описания хотя словами разны,
Хоть вид поверхностей имеют несогласный,
Но делом их на то несходство сведено,
Что счастье есть не что, как счастье лишь одно.
Тот место роскошам дает в таком пределе,
Где бы не чувствовать отнюд болезни в теле.
Другой, не зная, где пределы утвердить,
В глубоком принужден сомненья мраке быть;
Приходит иногда до мнения такого,
Что в добродетели нет счастья никакого.
Оставим буйные мы мнения людей,
Держаться лучше нам естественных путей.
Не можно смертному ни одному сыскаться,
Чтоб счастия не мог себе он дожидаться.
Природа подала надежду к счастью всем,
Есть средства каждому довольствоваться тем.
Не за пространными искать его морями,
Оно у всякого лежит перед глазами.
Лишь только должно нам свой разум просвещать
И волю от худых желаний отвращать.
Пусть о неравенстве кто доль различных тужит,
Что счастье больше тем, другим не столько служит;
Все равно счастие имеют точно так,
Как равный смысл простой врожден имеет всяк.
Знай, что во всех делах господь, сей мир создавый,
Не особливые хранит, но общи правы.
Прямое счастье он не в счастьи одного
Изволил положить, но в счастии всего.
Нет счастья, кое бы так одному давалось,
Чтоб к обществу оно хоть мало не касалось;
Ни зверской лютостью наполненный тиран,
Ни крови жаждущий разбойник сограждан,
Ни скрывшийся монах в безмолвии в пустыне
Не может счастлив быть сам только наеди́не.
Те сами, от людей что бегать нам велят
И взор людской считать за смертоносный яд,
Стараются сыскать, кто б нравам их дивился,
И другом бы им быть нелицемерным тщился:

Писмо четвертое господина Попе. О естестве и состоянии человека в разсуждении благополучиа.

О щастие! наших цель желаний и конец,
Покой, доволствование, приятность сердец,
иное бы тебе название ни было;
для оного тебя жити нам наше мило,
для оного меч, тиранства, мукы, глад,
к смерти самыя нимало не страшатся.
не знаем твоего ни имени ни свойства,
что производишь в нас всегдашния беспокойства.
всегда ты близко нас, далеко завсегда,
все ищут там тебя, где нет, без плода.
являешь ты свой зрак умным согласно,
к глупым настоящися, однакож неясно.
Отростие небесная! когда ты на землях,
скажи нам, где растешь, в близи или в долах?
~~между ли царских богатства сияешь~~ ?

Когда не будем мы о славе рассуждать
И станем мнения о нас все презирать,
То весь приятности вкус тотчас ослабеет,
Умалится и честь, и слава потемнеет.
Имеет должну часть всяк счастья своего;
Кто больше получить старается того,
То с сожалением известен после станет,
Что удовольствия и вполы не достанет.

Порядок первый есть создателев закон,
Который ежели исполнить должен он,
То должно людям всем конечно быть неравным,
Но знатным одному, другому же бесславным,
И нужно, чтоб один других превосходил
Богатством, разумом и крепостию сил.
Но заключить отсель нет с общим смыслом сходства,
Что тот счастливее, в ком больше превосходства.
Хоть бог дары свои не всем равно дает,
Однако для того неправости в нем нет.
Неравенство даров нимало не мешает,
Чрез слабость каждого всех целость укрепляет.
Что каждо существо имеет разный вид,
Спокойство в естестве создатель тем крепит.
Ни обстоятельства, ниже́ друга́ причина
Не может пременить сего в природе чина.
Царь, раб, предстатели, терпящие напасть,
Любимый и любяй, все ту ж имеют часть.
Творец как общу жизнь во все влил части свету,
Тогда и к счастью дал всем общую примету.
Когда б он даровал едино счастье всем
И ниже не был бы никто ни перед кем,
Коль много было бы меж нами неустройства,
Всегдашних браней, распрь, мятежей, неспокойства!
Итак, когда добра бог всем желает нам
И по неведомым ведет к тому судьбам,
То наше счастие, вещь толь неоцененну,
Не может положить в вещах, служащих тлену.

Которы случай нам слепой дары дает,
В тех ниже равенства, ниже единства нет:

Одних за счáстливых и знатных признавают,
Других за подлых лишь и бедных почитают.
Но правость божеских весов чрез то явна,
Что страх одним, другим надежда подана;
Не настоящее в них счастье и напасти
Рождают радости или печали страсти,
Но чувство будущих премен благих иль злых
Движенья те сердец рождают в обоих.

Скажите, смертные, опять ли гор громады
Друг нá друга взвалить и умножать досады
Хотите вы творцу, желая выше звезд
Ворваться силою внутрь неприступных мест?
Безумны ваши в смех господь советы ставит,
Он теми же и вас горами всех подавит.

Познай, что всё добро, которым человек
Здесь может в временный сей наслаждаться век,
Всё то, что сам творец и щедрая природа
Приуготовила к веселию народа,
Все те приятности, что мысли веселят,
Все сладости в сих трех вещах лишь состоят:
В потребах жития, во здравии телесном,
Потом в спокойствии надежном и нелестном.
Чрез воздержание мы можем здравы быть,
Чрез добродетели спокойство получить.
Благие счастия всем получить возможно,
И добродетельно живущим и безбожно.
Но сладость сих благих тем меньше есть вкусна,
Чем больше мерзостью чья мысль заражена.
Представь в богатстве двух живущих и прохладе,
Кто большим бедствиям подвержен и досаде?
Который держится благих и правых дел?
Или в нечистоте который затвердел?
Кто беден? кто счастлив? грехов погрязший в кале?
Иль убегающий от всех пороков дале?
Кто сожаления достойнее из них?
Кто милость затворил себе в сердцах людских?
Сравни те выгоды, которых нечестивым
Достигнуть можно здесь путем несправедливым,

Увидишь, что другой, хранящий правый путь,
Бежит, гнушается на оны и взглянуть.
Дай злому счастье всё, все роскоши, приятства,
Которых хочет он достать чрез святотатства;
Всегда единого ему недостает,
Что он бездельником, а не честны́м слывет.
Но буйство мрачное, ни истины не зная
И всех сложения вещей не понимая,
Порокам добрую приписывает часть,
А добродетелям несчастье и напасть.
Кто лучше ведает состав всея вселенной
И проникает в чин всей твари непременной,
Тот лучше ведает и к счастию пути,
И может сам к нему удобнее дойти.
Тот буйства заражен сам ядом душевредным,
Кто мужа доброго назвать дерзает бедным,
Случайных ради бед и временных теснот,
Которым весь судьба подвергнула народ.
Представь Фалкландов рок, что жил толь непорочно,
И правду ту ж в устах носил и в сердце точно;
Представь Тюренево величество в очах,
Что выше жребия был смертных, ныне прах;
Представь Сиднеевой дражайшей крови токи,
Что пролил на полях меж трупов Марс жестокий;
Льзя ль рок их качествам высоким приписать
И добродетель их виной тому назвать?
Не благородное ль презрение драгия
Их жизни привело в несчастия такия?
О наших слез вина! любезный наш Дигбей!
Цвет красный юности и честь младых людей!
Ни в ком таких даров от века не бывало,
Какие естество в твой бодрый дух влияло;
Но добродетель ли твоя тому виной,
Что прежде времени живот пресекся твой?
Когда для дел честны́х злой рок постигнул сына,
Почто досель цветет отеческа седина?
Почто до старости глубокой он достиг
И честью для заслуг почтен живет своих?
Почто Марсильский тех епископ дней достигнул,
Как вредну язву ветр со всех сторон воздвигнул,

И ослабевшее народу естество
Болезни нанесло, печаль и сиротство?
Почто толь долго мать моя живет честна́я?
(Но может ли долга́ назваться жизнь какая?)
Почто она живет толь долго в жизни сей
Для помощи сирот, для радости моей?

Естественное зло откуду происходит,
И что между людей зло нравственное вводит?
То само естество во свет произвело,
Сие от нашея злой воли возросло.
Создателю творить худого невозможно,
Природа иногда грешит неосторожно.
Или меж самыми пременами вещей,
Вмешавшись мнимо зло, вид ложно кажет сей?
Но смертный, оскорблен злом оным, воздыхает
И жалобой его напрасно умножает.
Что Авеля дерзнул безвинно брат убить,
Мы можем столько же за то творца винить,
Как и за то, что сын, имея добры нравы,
Но члены чувствует телесные не здравы
Для крови вредныя, которую в него
Отец из слабого влил тела своего.
Возможно ль рассуждать о боге толь нелепо,
Чтоб он, подобяся царям, творящим слепо,
Хотел законы все, весь чин переменить,
Чтобы тем одному лишь другу угодить!
Достойно ль быть тому, чтоб Этны нутр горящий
Погаснул, и умолк звук, с серою кипящий,
Для удовольствия ученых лишь людей,
Что любопытствуют знать силу действий в ней?
Чтоб естество свое вода переменила,
Или бы воздуха переменилась сила,
Лишь только для того, чтоб праведный Вефел
Свободнее в себе дыхание имел?
Чтоб в трус земной горы дрожащая вершина
Против прав тяжести и естества и чина
Паденье и удар сдержала с звуком свой,
Затем что близ горы ты путь имеешь той?
Чтоб в храме зыблющем, согнившем, слабом, старом,

Который уж давно грозит своим ударом,
Пота могли столбы паденье удержать,
Пока во оной храм не придет Шартрий тать.

Сей мир, полезнейший продерзким и злонравным,
Ты почитаешь быть отвсюду неисправным?
Представим лучший мир, пусть будет он таков,
Храм праведных людей и божеских рабов:
Но праведные те определят ли точно,
Что истина? что ложь? что зло? что непорочно?
Пусть праведных людей за добрые дела
Создатель сохранить печется сам от зла;
Но кто, кроме творца, другой тебя уверит,
Кто правдою живет, кто льстит и лицемерит?
Святого духа полн тем кажется Кальвин,
Другим — он адский сын, наперсник сатанин.
Хотя бы в небе он благ вечных наслаждался,
Хоть адским бы огнем в отмщенье удручался,
Всегда б его одни за ангела почли,
Другие б следу в нем добро́ты не нашли.
Что тем в пример, другим к соблазну есть причина,
Не может нравиться всем в свете вещь едина.
Когда же бы всяк свой состав вещей имел,
Весь свет бы был не что, как место ссорных дел.
Иль мужу и жене быть кажется прилично
Иметь во всех вещах сложение различно?
И само то, что все превыше прочих чтут,
Не может нравиться всем равно ни отнюд.
Что добродетелям дает твоим награду,
Приносит за мои заслуги мне досаду.
Во свете всё добро, и я на то склонюсь,
Что свет для Кесаря весь создан, признаю́сь;
Но купно Титу та ж построена вселенна,
Кто ж счастливей из них? чья больше жизнь блаженна?
Того ль, что отчество тирански утеснял?
Или того, что день потерянным считал,
В кой никому добра не делал из народа,
За что утехою был назван смертных рода?
Но много раз честно́й и добрый человек
Бывает принужден скончать свой гладом век;

А грешный между тем от роскошей толстеет;
Что ж следует? во мзду заслуга хлеб имеет?
Но пищу достают и злые завсегда,
Затем, что пища — плод единого труда;
Бездельник достает чрез земледельство хлебы
И мореплаваньем находит все потребы,
Где буйство за корысть и за тиранов власть
Сражается, вдаясь во всякую напасть.
Муж добрый в слабости быть может без заботы,
К богатствам нету в нем ни малыя охоты;
Спокойствие души и мыслей тишина
Желание его и радость лишь одна.
Но пусть богатством он обилует довольно,
Ужель того твоим желаньям будет полно!
Никак, но можешь ты и паки вопросить,
Не должен ли честно́й муж здрав и силен быть?
Пускай: даю ему все выгоды земные,
Дух крепкий, здравие, сокровища драгие,
Но ты бы и тогда опять меня спросил,
Почто ему творец пределы положил?
Почто он не в чести́? почто он не прославлен?
Почто на высоте престола не поставлен?
Но что ты временных лишь требуешь благих,
Почто не ищешь ты благ вечных вместо их?
Ты лучше б спрашивал: почто с начала века
Бессмертным не создал бог богом человека?
Или бы вопрошал: почто земной юдол
Не в небо превращен и вышнего престол?
Такие кто плетет вопросы безрассудно,
Тому понять весьма своим рассудком трудно,
Что бог довольну всем ссылает благодать,
Затем, что может он гораздо больше дать.
Господь в могуществе велик, безмерен, вечен.
Как будет и вопрос твой столько ж бесконечен,
То не дождаться нам желаниям конца,
Коль много ни дано б нам было от творца.
Награда добрых дел в спокойствии душевном
И мыслей состоит веселии вседневном.
Ничто, кроме заслуг, не может даровать
Толь драгоценной мзды, ниже́ назад отнять.
Коль хочешь, выдумай ты лучшую награду,

Чтобы была милей честного мужа взгляду,
Имеющим в себе смиренномудрый дух
С шестью конями дай великолепный цуг;
Не зрящим на лицо, но суд хранящим правый,
Вручи в возмездие воинский меч кровавый;
На веру любящих и бегающих лжи,
Архиерейскую ты митру возложи;
Хранящего покой всеобщий гражданина
Почти величеством монаршеского чина,
Которого всегда величественный вид
Не приобыкший дух его весьма страшит;
Но добродетельным толь светлые награды
Не много придают веселья и отрады.
Отрад не придают? еще и портят их:
Примеров видел свет довольно уж таких,
Что мужи, коим всяк во младости дивился
И добродетельми их славными хвалился,
Вышереченные приняв под старость мзды,
Безумьем всех заслуг утратили плоды.

Рассмотрим, могут ли кому-нибудь иному,
Как только доброму лишь мужу и честному
Спокойство внутренне богатства утвердить
И у других людей любимым учинить.
Судей подкупит всяк, кто их дарит богато,
Почтенья и любви нельзя купить за злато.
Безумно думать так, чтоб нравов муж честных,
Род смертных любящий, любимый от других,
Который здрав душей, здрав разумом и телом,
И совести худым не опорочил делом,
Такой муж господу чтоб ненавистен был,
Затем, что бог его богатством не снабдил.
Честь не рождается от счастья никакая.
Долг честно отправляй — в том наша честь прямая.
По счастью мало в нас между собой отмен,
Все равно бедны мы, и равно всяк блажен.
Одеждою один гордится златотканой,
Другой красуется и ризою раздранной,
Кожевник кажет всем ременный пояс свой,
А поп любуется и рясы широтой,

Монахи клобуком гордятся всепочтенным,
Цари — своим венцом, прекрасно испещренным.
Но спросишь: есть ли разнь в чем бо́льшая другом,
Какая меж венцом и черным клобуком?
Да правда, что глупец с разумным человеком
В различии весьма находится далеком.
Монарха в мантии монашеской представь,
И с блинником попа, упившегося въявь, —
Увидишь, что чинит заслуга лишь великим,
А недостаток той — бесславным, подлым, диким.
Ничем не разнятся между собой они,
Как через внешние одежды лишь одни.

Чин, титул, чести знак царь может дать удобно.
Царь! временщик его то сделает способно.
Твой род за тысячу пусть происходит лет,
И от Лукреции начало пусть ведет,
Но из толикого прапрадедов народу
Лишь теми ты свою показывай породу,
Которые в себе имели бодрый дух
И удивили свет величеством заслуг.
Когда ж твой будет род старинный, но бесславный,
Не добродетельный, бездельный и злонравный,
То хоть бы он еще потопа прежде жил,
Но лучше умолчать, что он весь подлый был,
И не внушать другим, что чрез толико время
Заслуг твое отнюдь не показало племя.
Кто сам безумен, подл и в лености живет,
Того не красит род, хотя б Говард был дед.

Теперь великость мы рассмотрим здесь прилежно,
Льзя ль имя приписать ее кому надежно?
Ты скажешь, что велик министер и герой!
Герои слабости подвержены одной.
Безумен Александр, востока победитель;
Безумен в севере спокойствия рушитель.
Всего их жития конец лишь только тот:
Быть всем постылыми, весь мучить смертных род.
На прежние следы нимало не взирают,
Но далее свой путь кровавый простирают.

Однако ничего вперед не могут знать,
И в видимых свой ум пекутся оказать.
Но и министра я не предпочту герою,
Коль бы ни силен был он смысла остротою:
Он осторожен, хитр, имеет тайный путь
И ищет невзначай другого обмануть.
Что ж! или мудрости его причесть то можно?
Тех слабости, что все чинят неосторожно.
Но пусть во всем министр удачен и герой,
Обманывает тот, сбирает дань другой;
Льзя ль одного назвать великим за обманы,
Другого за разбой, за кровь, обиды, раны?
Премудрость одного и разум со грехом,
С свирепством мужество и с варварством в другом
Далеко отстоят от подлинныя чести
И от премудрости, не знающия лести.
Кто может чрез одни дозволенны пути
Похвальный вымысел к успеху привести,
Того льзя подлинно назвать великим, славным,
Хоть Антонином бы он сделался державным,
Хотя б в изгнании и узах был стеснен,
Хоть тем же б с Сóкратом был ядом уморен.

Рассудим ныне мы, что слава с похвалою?
Мечта, котора жизнь имеет не собою,
Она живет в других и ртом чужим дышит,
Чужим, а не своим язы́ком говорит,
До нас не надлежит, живых не услаждает,
Смерть пользоваться нам плодом ее мешает.
Пусть и́дет про тебя и Цицерона слух,
Пусть славы рог гремит величество заслуг,
Что нужды в том тебе, что нужды Цицерону,
Когда толь сладкого не слышите вы звону?
Котору слышим мы часть похвалы своей,
В немногом кончится она числе людей,
А именно в друзьях, нам искренних и верных,
И в неприятелях, льстецах и лицемерных.
Для прочих, хоть живой, хоть мертвый, всё равно,
Евгений с Цесарем — мечтание одно:

Хотя не знатен он, хотя в высоком чине,
Хоть здесь, хоть там живет, хоть мертв, хоть жив и ныне.

Чем славен мудрый муж? советом и пером.
Чем славен храбрый вождь? начальствия жезлом.
Но добрый человек, честнейша тварь владыки,
Сам может без всего снискать хвалы толики,
Самóе похвалы и славы естество
Изображенное ценит в нем божество.
Не та ж ли самая творит бессмертным слава
И имя скверного людей и злого нрава?
Здесь слава делает, как истинный судья,
И позволяя в гроб класть мерзости сея,
И в вечном погребать ее забвенья мраке.
О, лучше б в нашем та не обращалась зраке!
Но к заражению и язве всех лежит,
Лежит сей гнусный труп и мерзкий не покрыт.
Непрочна слава та, и пагубу наводит,
Что не от истинной добрóты происходит;
Круг головы она летает лишь всегда,
Внутрь сердца проникать не может никогда.
Я больше б чувствовал веселья и охоты,
Хвалим быть час один за истинны доброты,
Как нежели когда несмысленный народ
Напрасно славил бы меня чрез целый год.
Маркелл в изгнании был более веселым,
Как Кесарь, овладев насильно Римом целым.

Какая польза нам от знаний и наук?
Ты можешь то сказать: скажи, милорд, мой друг,
Болезновать познав, коль знаем мы немного,
Коль разумение в нас низко и убого;
Яснее видеть все погрешности других,
Сильнее чувствовать неправость дел своих.
Ты хочешь, осужден всех трудностей к решенью,
И упадающих наук к восстановленью,
И не имеючи помощника в трудах,
И кто бы рассуждать мог здраво о вещах, —
Показывать другим путь к истине закрытой,
И погибающей уж быть земле защитой!

Боится всяк, никто не хочет пособлять,
Что скажешь, ни один не может то понять.
О, коль для нас сие печально превосходство!
Коль мудрыя души не сладко благородство!
Превыше слабостей себя житейских зреть
И в жизни никакой утехи не иметь.

Теперь уже наш ум к вниманию возбудим,
И всех сих мнимых благ мы выгоды рассудим,
Сравним и мысленным представим их очам,
Чтоб видеть, каковы приносят пользы нам:
Как, за одним гонясь, другое опускаем
Или и оба вдруг, несчастные, теряем,
Как нéльзя сим благим друг с другом вместе быть,
Но должно, то достав, другое погубить,
Как тратим мы для них спокойствие всечасно,
А часто и в беды вдаемся не опасно.
Когда ж сияние и светлость сих зараз
И в ненависть еще ввергают часто нас,
То внутренними тех осмотрим всех очами,
Что сими счастие украсило дарами;
Увидим, можем ли себе того желать,
Чтоб собственную часть с их долей променять.
Как если знак тебе прелестен кавалера,
То Беллия представь и Умбру для примера:
Какие бедствия принуждены понесть
За толь великую и толь прелестну честь.
Коль к злату и сребру владеет страсть тобою,
То Грипа вобрази в очах с его женою.
Коль дарования тебя душевны льстят,
То умный обрати свой на Балкона взгляд,
В нем рассуждение всех мудрых превышало,
Но в свете никого бедняе не бывало.
Как если именам дивимся громким мы,
То обратим свои на Кронвеля умы:
В месть беззаконных дел он предан славе вечной
И осужден к хуле и клятве бесконечной.
Но ежели всех вдруг желаем мнимых благ,
Прочтем историю о древних временах.
Она научит нас их сладостью гнушаться
И бегать, как огня, как яда отвращаться;

Покажет, что сребро, великость, слава, сан
Не счастье, но одна лишь прелесть и обман.
Или счастливыми нам тех почесть возможно,
Что, сердцем злобствуя, устами льстя безбожно,
Пришли в любовь царей или цариц своих,
Чтоб ласкою закрыть коварства в гибель их?
Коль на бессовестных делах и богомерзких
Стоит утверждена честь сих людей продерзких,
Подобны кажутся Венеции оне,
Что, с низких вознесшись блат, стоит на вышине.
Ее столь грех велик, коль громко имя славы,
И человечески геройством тратит нравы.
Гордится, на главе венец нося своей,
Сплетенный лаврами кругом Европы всей,
Но обагренными иль кровию чужою,
Или добытыми великою ценою.
Увидишь наконец сей славный толь народ
Иль обессилевшим от тяжести работ,
Или отдавшимся весь роскошам прелестным,
Иль опороченным граблением бесчестным.
Коль вы несчастливы, коль бедны, богачи,
Когда бесславия темнеете в ночи́,
Когда сокровища в хранилищах обильны
Бесчестья отвратить от вас никак не сильны.
Какое ж счастие бег кончит их житья?
Спесивая жена и милые друзья,
Внутрь с шумом, с топотом и всяким
беспокойством
Ходя́, мятут весь дом, прославленный геройством,
Приготовленьями уборов и пиров
Смущают сладкий сон и беганьем рабов.
О, блеском их себя полденным вы не льстите,
Но с утром сей их свет и с вечером сравните.
Вся слава их не что, как сон лишь и мечта,
Их честь — ругательство, позор и срамота.

Познайте истину сию, о человеки,
И будьте ею все довольны вы вовеки,
Что счастие ни в чем не состоит другом,
Как в добродетели и житии честно́м.
Она нас к твердому ведет едина счастью,

И в ней лишь вкус добра, не смешанный с напастью,
Одна достойные дает заслугам мзды
И постоянные награды за труды,
Не меньше милостью живущих услаждает,
Как благодетелей самих увеселяет.
Веселиям ее других подобных нет,
Когда всё по ее желанию идет.
Но хоть желания ее б не успевали,
Не производят в ней великия печали.
Хотя она всегда довольствуется всем,
Но ни гнушается, не брезгует ничем,
В чем более она скудна, тем больше сы́та,
И скудость ей сама от скудости защита;
Весьма приятнее потоки горьких слез,
Из добродетельных текущие очес,
Как глупый смех людей нечувственно безбожных,
Что происходит в них от услаждений ложных.
Рассыпано ее добро по всем вещам,
Находит счастие свое по всем местам.
Не устает, хотя всегда она трудится,
И злоключением другого не гордится,
Ни счастием других не падает она,
Всегда сама себе подобна и равна.
Нет нужды ей ни в чем, ни в чем нет недостатку,
Всегда довольна всем без всякого упадку.
Сверх добродетели еще других хотеть
Есть то же самое, что уж давно иметь.
То может счастием едино лишь назваться,
Что может всякому от вышней власти даться.
Нам должно для того об оном рассуждать,
Чтоб наконец его действительно узнать,
И сладостью его для той причины льститься,
Чтобы действительно им после насладиться.
Злой нищ среди богатств, и слеп, хоть философ,
Не может до его достигнуть ввек плодов.
Но добрый без труда до счастья достигает,
Он ум свой к мнениям чужим не прилепляет,
Учитель сам себе, следами естества
Доходит до его начала божества.

Он держится сего союза беспрестанно,
Что вяжет весь состав вселенной несказанно,
Который твердь небес с землей соединил,
Сопрягши с смертными владыку вышних сил.
Он видит, что таким союзом неразлучным
Нельзя быть никому из нас благополучным,
Когда бы не было неравенств никаких,
И не было б иных вверху, внизу других;
Он учит, что союз всей твари непрерывный
Один души конец верховной и предивной,
Что веры и всех дел начало и конец
Есть бога и людей любить от всех сердец.

Надежда с добрыми людьми всечасно ходит,
Товарищ искренний, от места к месту водит,
И от часу на час пускает на него
Приятные лучи сиянья своего,
Покамест, с твердою соединившись верой
И не довольствуясь пределами и мерой,
Избытком всех своих даров его снабдит
И всем желаниям конец постановит.
Он знает, для чего влила в сердца народа
Надежду счастия известного природа,
И вера для чего оставила в сердцах
Надежду чаемых, но неизвестных благ.
Природа прочим то одно дала животным,
Чтоб к настоящему добру лишь быть охотным,
И им позволила всё то изобретать,
Чего ни захотят они себе сыскать.
Но наше счастие от их весьма отменно,
Наш дар дороже их и лучше несравненно;
Надежда правая и естество не лгут,
По мере добрых дел и счастие дают.
Они наш истинный судья и благодетель,
Часть бóльшую дают за большу добродетель,
Всечасно счастия блещающий луч вдали
Нам кажут, и велят, чтобы к нему мы шли.

Итак, любовь к себе, и к ближнему, и к богу,
Соединясь в одно, являют нам дорогу,

Как в счастье ближнего свое изобрести
И, охраняючи других, себя спасти.
Но если так велик твой дух и благороден,
Что тесный сей союз любви тебе не сроден,
То на врагов свою любовь распространи,
И гнев отмщения на милость премени.
И сделай из людей, зверей и всех созданий,
Из всей вселенной храм одних благодеяний.
Чем благороднее ты будешь для других,
Тем будешь сча́стливей для склонностей своих.
Великость счастия, покоя и блаженства
Зависит от любви нелестной совершенства.
Любовь, котору к нам имеет вышний царь,
Начавшись от всего, на кажду льется тварь.
Но человеческа любовь в частях родится,
Потом и до всего создания стремится.
Любовь к самим себе дана на тот конец,
Чтоб возбуждать людей незлобивых сердец;
Как камень, в тихую и кроткую погоду
Повержен будучи в недвижимую воду,
Рождает малый круг в том месте, где упал,
Который, расходясь, растет в великий вал,
Пространство своея средины умножает
И от часу на час окружность расширяет, —
Так благородный муж сперва отца и мать
И ближнего в любви печется содержать,
Потом и отчества дражайшего жалеет,
И смертных наконец весь род в любви имеет;
И разливаючись сей жар повсюду вдруг
Объемлет всяку тварь, что сей содержит круг.
Смеется и земля, плодами испестрившись
И вся щедротою его обогатившись,
Чем благодарности ему являет знак,
И небо в ложеснах земных свой видит зрак.

Поступим вдаль, милорд, мой друг и благодетель,
Стихов моих и мой любитель и свидетель.
Покамест снисхожу сердец во глубину,
Чтоб действий тайную приметить их вину,
И паки с низких вверх страстей я возвышаюсь,
И к благородному концу их устремляюсь,

Ты научи меня себе в том подражать,
Чтоб в тонкость естества мог разности узнать,
И чтобы с честию как снизу мог спускаться,
Так знал умеренно и кверху подниматься;
Чтоб из твоих бесед я научиться мог
Шутлив быть с важностью, и с нежностию строг,
Витий, но без прикрас, исправен и прилежен,
Рассуден в вымыслах, и к угожденью нежен.
О, можно ль за твоим великим кораблем,
Благополучных дней в пространном море сем
На полных парусах спокойствия летящим,
И купно честию и славою шумящим,
Последовать и мне в толь малой ладие,
И за тобой иметь течение свое,
Вослед твоих торжеств преславных устремиться,
И ветров скорости счастливых соравниться?
Когда тела́ царей и знатных тех особ,
Что недруги тебе, во мрачный со́йдут гроб,
Как дети их с стыда смутятся и со скуки,
Что недругов твоих они несчастны внуки,
Дойдет ли чрез мои стихи потомкам в слух,
Что ты мне в жизни вождь, учитель был и друг,
Что, возбужден тобой, пустой звон слов оставил
И к испытанию вещей свой ум направил;
От вображения и бредней лишь пустых
Спешил к познанию разумных сил своих,
Что в ложных мнениях изобличил народы
И тайны им открыл закрытыя природы,
И гордым показал, что весь изряден свет,
И что в нем ничего отнюдь худого нет;
Что на один конец и разум наш и страсти
Даны от вышния все строящия власти;
Что самолюбие не должно разделять
С любовью к обществу, но за одно считать;
Что в свете счастливы одни лишь те неложно,
Что добродетельно живут и осторожно,
И что мы до́лжны все учиться одному,
Чтоб каждый был себе известен самому.

1753 — март 1754

3. ОДА

НА ВСЕРАДОСТНЫЙ ДЕНЬ ВОСШЕСТВИЯ НА ПРЕСТОЛ ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА БЛАГОЧЕСТИВЕЙШИЯ И САМОДЕРЖАВНЕЙШИЯ ВЕЛИКИЯ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТ ПЕТРОВНЫ, САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКИЯ, НОЯБРЯ 25 ДНЯ 1754 ГОДА

От тихих солнце вод восходит,
В Россию сквозь багряну дверь
Прекрасный день с собой приводит,
В который мы Петрову дщерь
Восшедшу на престол узрели;
Сердца весельем закипели,
Всерадостный тот вспомнив час;
Шумят поля, леса и воды,
До облак разные народы
Торжественный возносят глас.

Внезапной мыслью дух мутится,
Смущенна кровь во мне кипит,
Прекрасный солнца вид мрачится,
И ночь густая день темнит;
Сквозь мглу минувших дней печальных,
Как будто из пределов дальних,
Мне в слух приходит тонкий стон:
Россия жалостно рыдает
И к небу руки простирает:
«Где пра́ва, где, — гласит, — закон?

На то ль Петр храбрыми делами
Мои пределы расши́рил,
Чтоб хищными другой руками
В свою корысть их обратил,
Чтоб зрела дщерь его в печали,
Когда пришельцы расхищали
Ее наследие при ней?»
Но горесть речь ее смущает,
Язык стенанье воспящает,
Слез токи льются из очей.

Престань, о грозной днесь судьбине
Мне, муза, не воспоминай,
Устрой к веселью струны ныне,
Отрад печальми не смущай;

Представь мне оные минуты,
В которые напасти люты
Скончала радостная весть;
Как слава громкая носилась,
Что дщерь Петрова воцарилась,
Российских стран краса и честь.

Между свирепыми волнами
От бурь измученный пловец,
Который часто пред глазами
Зрел жизни своея конец
И был почти на дне пучины,
От грозной спасшися судьбины,
Как в порт безбедный приплывет,
С какой отрадой веселится,
Он промыслу небес чудится
И день тот днем рожденья чтет, —

Так росские, богиня, грады,
Внушив восшествие твое,
Едва вместить могли отрады,
Едва веселие свое
Измерить равными словами;
От радости лились слезами,
Их речи плеск перерывал;
Из бед минувших и печали
В беседах сладких рассуждали,
Коль им пресветлый день настал.

Что ты противу ободрилась,
Монархиня, своим врагам,
Вселенна вся тогда дивилась
Твоим толь мужеским делам;
Дабы достичь тебе наследства,
Какие должно было бедства,
Каки препятства одолеть!
Едва великому герою,
Едва бесчисленному строю
Возможно было что успеть.

Мятется в страхе мысль глубоком,
Представив тот ужасный час,

Когда неустрашенна роком
Елисавет избавит нас,
С числом толь воинов немногим,
Подвергнув жизнь напастям строгим,
Против несчетных шла полков,
Против свирепыя судбины,
Чтобы из самыя средины
Противных скипетр взять Петров.

Господь сам сильною рукою
Тебе в час оный помогал,
Он страх и ужас пред тобою
Врагам в смятение послал;
Узревши стражи воруженны
Петровой дщери взор священный,
Наследную узнали власть,
Оружия не удержали,
Тебе колена преклоняли,
Тебе вручали должну часть.

В то время наглость ощутила,
Коль власть насильна некрепка,
Коль правды есть велика сила,
И коль сильна ее рука.
Гроза, насильство, жадность крови
Не могут истинной любови
В сердцах озлобленных рождать;
Вливает тайную природа
Страсть в сердце каждого народа
Наследну власть предпочитать.

Но ныне веки безопасны
Российская страна ведет;
Нам прежни страхи неужасны,
Минувших не трепещет бед:
Престол, наследством утвержденный
И верных стражей окруженный,
Кто может днесь поколебать?
Се наших Петр блаженств причина,
Се с ним цветет Екатерина,
Дражайшия надежды мать,

Плоды веселий наших спеют
В приятном Павловом лице;
Но чаянья сугубы зреют
В его родившей и отце:
О, если милость бог над нами
Пробавив, новыми плодами
Ущедрит сей прекрасный сад!
Сего все подданны желают,
Молитвы к богу воссылают
О совершении отрад.

Лукава злоба, устрашися,
Свое змиино жало скрой,
Петрова внука ты блюдися,
Еще растет орел младой;
Представь их деда пред очами,
Они его пойдут следами.
Растет в потомках предков дух;
О слабостях своих помысли
И силы росские исчисли,
Гремит побед их всюду слух.

Что светло ныне торжествует,
Монархиня, российский свет,
Твои заслуги он целует,
Ты нас спасла от лютых бед
Через природное геройство
И в сей нам день дала спокойство;
Мы, вспомнив прежни времена,
С блаженством нынешним сравняем,
В восторге сладком ощущаем,
Коль счастлива сия страна.

Блаженные России веки
Наследный скипетр твой открыл:
Иссохнули кровавы реки,
И Марс рыкать в полях забыл.
Ты власть с любовью сопрягаешь,
Продерзость кротко исправляешь,
Ты нам владычица и мать.
Такую власть господь ссылает

Народам, коим он желает
Свои щедроты оказать.

Что воле мы твоей послушны,
Виной, монархиня, не страх,
Но мысли всех единодушны,
Но ревность в искренних сердцах.
Твоих доброт велика сила
К тебе всех сердце преклонила,
К тебе любовью все горят,
В странах народы отдаленных,
Хотя не видят уст священных,
И те служить тебе хотят.

О, если кто тебя озлобит
И обнажит продерзкий меч,
Сам бог тогда тебе пособит
Советы злобные пресечь,
И любящи тебя народы
Чрез огнь, мечи, пучины, воды
Во гневе по́йдут на врагов,
Отмстят за злобу их сурову,
Покажут, что за дщерь Петрову
Всяк кровь свою пролить готов.

Златые древле истуканы
В честь знатных ставили мужей
И внешни виды изваянны,
В знак благодарности своей:
Чтобы хоть образ тех остался
Потомкам, в коих удивлялся
Весь свет величеству заслуг;
Но время разруши́ть имело
Изображенное их тело
И память с ним загладить вдруг.

Россия не в металлах ломких
Твой внешний изъявляет вид,
Но дел изображеньем громких
И славою весь свет дивит.
Сей вид даров твоих душевных

Нижé стихий свирепость гневных,
Ни время в веки не сотрет;
Греметь дотоле слава станет,
Дотоле память не увянет,
Доколь не сокрушится свет.

Творец всесильною рукою
Тебя, богиня, да блюдет,
Часов спокойных с тишиною
В России да не пресечет;
По мере твоея державы
И громкия повсюду славы
Твой с счастьем век да продолжит
И купно под своим покровом
Престол при племени Петровом
Недвижимо да сохранит.

Осень 1754

4. СТИХИ ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, ВЕЛИКОЙ И ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЙ НАШЕЙ МОНАРХИНЕ

⟨НА ФЕЙЕРВЕРК 1 ЯНВАРЯ 1755 ГОДА⟩

Где в свете есть народ, земля, страна и царство,
Подобная стране, монархиня, твоей?
От запада твое простерлось государство,
От юга, севера и утренних полей.
Какой монарх возмог, чтоб под одну державу
Народов множество толикое собрать?
Чуть знают по речам себя, лицу и нраву,
Но все едину чтут тебя, российска мать.

Как утренним лучем престол твой здесь сияет,
Другую часть страны твоей покоит ночь;
Как утрення заря Камчатку озаряет,
Вечерняя отсель тогда отходит прочь;
Когда имеет ночь народ твой южный летом,
То северный народ в трудах полдневных бдит;
Как звездным Астрахань в ночи блистает светом,
То Кола в пóлнейшем блистаньи солнце зрит.

Всё то, что скипетр твой, богиня, освещает,
Всток, запад, север, юг усердием горит,
Начавши от Двины, огнь праздничный пылает
По да́льнейшей Амур, что Хин от нас делит.
И с восклицанием во всех странах шумящим
Языки разными вещает твой народ:
Да новое тебе и всем тебе служащим
Явится счастие в начавшийся сей год.

Тебе и всей твоей фамилии, богиня,
Благополучны дни обильный сыплет рог;
Тебе рождается днесь новая година
И с новым счастием вступает в твой чертог;
Да колом так твоей судьбины обращает,
Как подданны тебе счастливых просят дней;
Да выше твой орел с дня на день возлетает
И счастие цветет во всей стране твоей.

Декабрь 1754

5. ОДА

ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЙ ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕРАТРИЦЕ ЕЛИСАВЕТЕ ПЕТРОВНЕ, САМОДЕРЖИЦЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ, КОТОРОЮ В ВЫСОЧАЙШИЙ ДЕНЬ КОРОНАЦИИ ЕЕ СВЯЩЕННЕЙШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИСКРЕННЕЕ СВОЕ УСЕРДИЕ И БЛАГОДАРНОСТЬ ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ИМПЕРАТОРСКИЙ МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АПРЕЛЯ 26 ДНЯ 1756 ГОДА

Начни шумящею трубою
Согласны песни, Аполлон;
Елисаветиной хвалою
Наполни новый Геликон;
Московски музы, лиру стройте
И хором радостным воспойте
Блаженны ваши времена,
Что и Темпейския долины
И Олимпийския вершины
Любезнее сия страна.

Там гнусны са́тиры смущают,
И музам ненавистный род,

Там вопли дикие мешают
Внимать журчанью тихих вод;
Там терлием поля покрыты;
Уже от варварства защиты
Жилищам прежним вашим нет;
Умолкли пения пресладки,
Изгнанных муз драги остатки
С любовью весь приемлет свет.

Но где для вас места толь красны,
Как здесь? Приятней где зефир?
Где громче может звук согласный
От ваших раздаваться лир?
Как меж пространными полями,
Между прекрасными лугами,
Вам Петр дал место при Неве;
Дщерь нову милость к вам явила,
Когда жилище учредила
В преславном граде вам в Москве.

О, как, смотрите, ободряет
Она ваш неповинный труд;
Воински шумы пресекает,
Что мысль трудящихся мятут;
Льет с тишиной в сердца отрады,
Готовит щедрые награды,
Приемлет в собственный покров
И, вас в России умножая,
Чрез вас науки расширяя,
Являет вид и дух Петров.

Не ложь и вымысл и обманы
Вы на́чнете в России петь;
Не баснословны великаны
С Зевесом будут брань иметь;
Ниже чудищ Алкид смиритель,
Ни Ахиллес, троян губитель,
Трудом вас тщетным отягчат,
Ни Пе́газы, ниже Химеры,
Но истинных доброт примеры
Нас пеньем вашим усладят.

Москва представит вам героев
И храбры росские полки;
Несчетны тмы противных воев
От сильной пали их руки;
Россия, вид являя новый,
Пример даст мудрости Петровой,
Любовь к народу, правда, суд
И кроткий дух в Елисавете
С хвалой во всем гласятся свете.
Коль славный предлежит вам труд!

Сия, монархиня, заслуга
Твоя превыше пирамид;
Пока земного станет круга,
Ничто ее не повредит.
Твое цвесть имя будет вечно
И прославляться бесконечно
Потомства нашего в хвалах;
Скоряй луна остановится,
Твоя как память прекратится
В обязанных тобой сердцах.

Тем с большей милость похвалою,
Что музы, благодарный род,
Вовек одолжены тобою:
Величество твоих щедрот
Они воображают ясно,
Стараться будут ежечасно
Сугубу мзду за долг воздать;
По всей земли тебя прославят
И выше облаков поставят,
Потщатся вечности предать.

Иные зависть производят
В недоброхотах похвалы;
Иные в жизни честь находят,
По смерти страждут от хулы;
Сия заслуга всем любезна,
Чужим мила, своим полезна,
Живущих беспритворна честь,
По смерти славу оставляет

И память в веки продолжает,
Ей зависть не вредит и лесть.

Москва доселе ревновала,
На муз в Петровом граде зря,
Но днесь в отраде просияла,
За промысл твой благодаря;
Как орля юность обновилась,
Ее седина пременилась,
Уже красуется собой
И прежню бодрость ощущает,
Главу до облак возвышает,
Являя свету вид младой.

Два ока в Греции считались:
Афины и Лакедемон;
От них повсюду разливались
Суды, уставы и закон;
России град Петров с Москвою
Почтеньем, славой и красою;
Как крин, цветут науки в них;
Как Феб меж прочими звездами,
Так меж другими городами
Они в странах сияют сих.

Надеждой мысли веселятся,
Представив вожделенный час,
Как с невскими соединятся
Вознесть московски музы глас;
Наполнят воздух шумом новым
И купно с именем Петровым
Елисавету возгласят;
Как поздные свои начатки
Взаимно чрез годины кратки
Успехом большим наградят.

Младенчествующи науки
Тебе, монархиня, гласят,
К тебе свои простерши руки
И немотствуя, говорят:
«Наш слаб язык, нетвердо слово,

Но мысль и сердце уж готово
Благодарение принесть;
Пожди, покамест укрепимся,
Тогда с усердием потщимся
Тебя хвалами превознесть».

Апрель 1756

6. ПИСЬМО
О ПОЛЬЗЕ НАУК И О ВОСПИТАНИИ ВО ОНЫХ ЮНОШЕСТВА

Различны, меценат, к бессмертию дороги:
Иный, повергнув тьмы людей себе под ноги,
Чрез раны, через кровь, чрез кучи бледных тел,
Развалины градов, сквозь дым сожженных сел,
Отверз себе мечем путь к вечности кровавый,
И с пагубой других достиг бессмертной славы;
Но плач и вопль сирот, и стон оставших жен,
Родителей печаль, и треск упадших стен
Гремящую трубу их славы заглушает,
И ясно проникать в слух смертных воспящает.
Другий, подняв верхи ужасных пирамид
Превыше туч, где ветр и буря не шумит,
Потомству по себе мнит память тем оставить
И имя чудными громадами прославить;
Но многих труд веков, несчетных тысящ пот,
Под тягостию сей вздыхающий народ,
На вечные труды и муки осужденный
И в жертву гордости невинно принесенный,
Мучительскую тем доказывают власть
И самолюбную изобличают страсть.
Тот мыслей хитростью, и скрытностью советов,
И темнотой своих сомнительных ответов
Народов дружбу рвет союзных меж собой
И возмущает их возлюбленный покой,
Чтоб ссорою других своим дать силы боле
И дале расширить отечественно поле:
Надеясь делом сим политиком прослыть
И титло мудрого министра заслужить.

И так не истинной прельщаемся хвалою,
Призра́ком лишь ее, и тению пустою!

Не подлинная нас в делах предводит честь,
Но легкомыслие, и хвастовство, и лесть:
Нам похвалою то и славою быть мнится,
Коль в нас чему-нибудь простый народ дивится.
Не мог скрыть Демосфен веселья своего,
Как женщины: «Вот он!» — шептали про него.
Младенца удивить безделицей не трудно:
Пустому может он дивиться безрассудно.
Обманщик знатоком покажется наук,
Как насмеется он глазам проворством рук.
Но паче похвала нас та увеселяет,
Котора у живых вокруг ушей летает.
Что хочешь про меня тихонько рассуждай,
Лишь только во глаза хулой не досаждай.
Аммонов жрец, дары приняв, в уме смеялся,
Когда ответ его правдивым показался
Нехитрому царю, что он Зевесов сын,
Хоть изо всех богов скончался он един.
Весьма безумен Крис, имея столько злата,
Что титла не купил Юпитерова брата.
Скажи про Юлия, что в Риме он тиран,
Что вольность он теснит неправедно граждан,
Но меч в его руке обуздавает слово,
Отцем его признать всё общество готово:
Он держит на своих отечество плечах,
Он может лишь един в колеблемых стенах
Пороки истребить, восстановить законы,
И нет, кроме его, другия обороны.
Но только слух прошел, что «отчества отец»
Достойный получил делам своим конец,
То льва бездушного поверженное тело
Трусливый попирал осел ногами смело.
Уж «отчества отца» тираном стали звать,
Доброты прежние пороками считать.
Вот как народному вверять себя языку,
Ласкательным словам, плесканиям и крику,
Где действует одна надежда или страх,
Где искренности нет, ни истины в сердцах!

Но что бесстыднее! фортуну обижаем,
Как власть ее своим советам причисляем:

Что счастьем сделалось, что случай учинил,
Величеству своих приписываем сил.
Лисица петуха всего съесть не успела,
Как волка близ себя внезапно усмотрела:
«Нарочно для тебя я берегу, дружок,
С тобою, — говорит, — последний съем кусок».
В свою влечем хвалу, хоть наше, хоть чужое,
И мелочь самую мы больше кажем втрое.

Но много ли таких мы на́йдем на земле,
Чтоб честность предпочли напрасной похвале,
Чтобы имели дух и сердце благородно,
И не смотрели бы на мнение народно,
Чтоб не прельщалися ни суетной хвалой,
Не оскорблялись бы безумною хулой,
Чтоб совести одной и правде угождали
И на бесстрастный бы потомства суд взирали,
Где злобы, зависти, ниже потачки нет,
Где малым и большим по выслуге ответ;
Чтобы держалися во всем сего устава,
Что честь и похвала, величие и слава
Во добродетельных заслугах состоит,
С любовью ко своим и прочим без обид.
Чтоб твердо верили, что все дела честные
Хоть в жизни хулятся от ненависти злыя,
Иль меньше хвалятся по существу заслуг,
Но как из бренного изыдет тела дух,
Тогда им должная цена постановится
И мрачным никогда забвеньем не затмится!

Ты к славе, меценат, надежный путь избрал,
Что мусы возлюбил, что зреть их предприял;
Обычаям худым, растленной нашей воле
Чем можно пособить и чем исправить боле?
Сие осталося едино врачество
Душевный исцелить недуг и естество.
Прошли те времена, прошли златые веки,
Как разумом простым водимы человеки,
Не ведая наук, незлобие блюли
И от неправд себя, как яда, берегли.

Но в наш несчастный век проклятые пороки
Взошли на самый верх и степень превысокий.
И некуда уже взойти превыше им,
То ж будут делать впредь, что мы давно творим.

Имеем от младых ногтей мы свет природный,
Который нас ведет на путь блаженству сродный;
Имеем семена естественных доброт,
Которы дать могли б плоды своих красот,
Но вредные людей испорченных примеры
И в ложных мнениях погрязши лицемеры
Природу нежную младенческих умов,
Добро́ту красную естественных даров
В противну сторону напрасно преклоняют:
Где был бы красный цвет, там терние взращают;
Как взрытая земля, что влагой смягчена,
Удобно внутрь себя приемлет семена,
Так ложны мнения, в младый ум впечатленны,
Не трудно могут быть надолго вкорененны
Когда же пустится их корень в глубину
И отрасли свои распустит в ширину,
Когда с годами вдруг чрез возраст укрепится,
То скоро ли тогда сие искоренится?

Блажен, кто, получив родителей честны́х,
Воспитан в строгости обычаев святых,
Издетска научен знать, хвально что, бесчестно,
И к честности кому течение известно.
Сей радость есть отцев, надежда матерей,
Родства сей красота и честь семьи своей!
Не игры на уме и не непостоянство,
Не вкус и щегольство, пирушки и убранство,
Но польза общества, потомства похвала,
Чтоб вечность получить чрез славные дела.
Таков был Александр в свои младые годы,
Пока не покорил роскошные народы!
Победы славные и тяжкие труды,
Походы дальные ученья суть плоды.
Таков был Сципион для отчества любови:
Он в жизни не жале́л ни здравия, ни крови;

Но кто тому виной, что жизнь он презирал?
Родитель в том его наставил, воспитал.

Опека добрая, прилежное ученье,
Пример похвальных дел, честнóе обхожденье,
Не зараженное сообществом худым, —
Всё может произвесть в младенцах, что хотим.
Сие и добрую природу утверждает,
И склонную ко злу способно исправляет.

Но много ли таких родителей сыскать,
Чтоб честности детей старались наставлять?
Неправедным житьем, продерзкими делами
Дорогу им ко злу показывают сами.
Когда ты, деньгами обклавшися, дрожишь,
Полушки нищему одной не уделишь,
Надеешься ль, чтоб сын не знал к богатству
страсти,
Чтоб бедных искупал из скудости, напасти?
Когда насильственно обидишь немощны́х,
Без всякой жалости смотря на слезы их,
Когда их образом теснишь бесчеловечным,
То сын твой будет ли, то зря, мягкосердечным?
Ты в роскошах уснул, во сладостях погряз,
Друзьям и недругам ты лжешь на всякий час,
А хочешь, чтоб был сын воздержен и умерен,
Чтоб тайну сохранял и в слове был бы верен.
За то же ремесло, за кое и отец,
Примается и сын, смотря на образец.
Купеческий сынок смышляет, как взять втрое,
Смекает, как продать за целое гнилое.
О картах и дитя с слугами говорит,
Которого отец над оными сидит
Как язва, так пример пороков переходит
И, заразив отцов, детя́м болезнь наводит.

В том крепость дивная, божественный в том дух,
Который, таковы соблазны видя вкруг,
Но к оным во младых летах не поползнется
И от прельщающих приман сих отречется.
Сей возраст мудрые толь свято люди чтут,
Такую честь ему по правде отдают,

Что дом тот почитать за храм велят священный,
Где отрок есть в уме еще несовершенный;
И ничего чтобы не делать перед ним,
Что стыдно было б нам соделать пред другим;
И чтобы ничего при нем не говорили,
За что б нас правильно другие осудили.

Язычники нам сей оставили закон,
В какий, о небо, стыд нас всех приводит он,
Что, будучи святой мы верой просвещенны,
Имеем сей закон в забвенье погруженный
И, к службам хитростным приучивая псов,
Наставить не хотим к полезному сынов!
На вас, родители, потребуют отчета,
Что ваших жизнь детей позором стала света,
И что в беспутствах дни свои ведут они,
Причиною тому лишь только вы одни!

Когда кто от детей почтения желает,
Тот: «Я отец твой!» — им всегда напоминает.
Но чем они должны тебе? иль что зрят свет?
Но их испорчен нрав, и свет их сей клянет.
Иль что вскормил ты их, как были малолетны?
И в сем уста твои должны быть безответны:
Природа и закон не только что своих,
Воспитывать велит младенцев и чужих;
И самы варвары к ним не жестокосерды,
И звери лютые ко детям милосерды.
На Ромулов с горы и Ремов плач сошла
Волчица, и сосцы младенцам подала.
Тогда ты их отец и присный их родитель,
Когда им в детстве был наставник и учитель,
Когда ты разум их ученьем просветил
И к добродетели дороги им открыл,
Без коей самая жизнь мука и досада
И коя в самых нам несчастьях есть отрада;
Когда их научил зло с благом различать,
Держаться истины, пороков убегать.

Сие родителей о детях небреженье
Чрез собственное ты об оных попеченье
Стараешься теперь исправить, меценат!

Един ты обще всех приял в опеку чад,
Представив мудрый твой совет Петровой дщери:
В Минервин храм отверз российским детям двери
И случай подал им свой разум просвещать,
Познанием наук себя обогащать.
Бессмертная твоя к отечеству заслуга
Не увядет, пока земного станет круга.
Не на тщеславии основана она,
На пользе истинной людей утверждена:
Россиянам она приятна и полезна,
Похвальна от чужих и варварам любезна.
Сей истинной хвале ничто не повредит,
И зависть оную и злоба подтвердит.
Ни в жизни ты притворств в хвалах не опасайся
И славы по конце правдивой дожидайся:
Деяньем сим всегда себя увеселяй,
И лучшия хвалы ты в жизни не желай.

1756

7. НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ М. В. ЛОМОНОСОВА

Московский здесь Парнас изобразил витию,
Что чистый слог стихов и прозы ввел в Россию.
Что в Риме Цицерон и что Вергилий был,
То он один в своем понятии вместил, —
Открыл натуры храм богатым словом россов
Пример их остроты в науках Ломоносов.

⟨1757⟩

8—17. ⟨*ИЗ ГОРАЦИЯ*⟩

1

(Книга I, ода XXII)

Кто правдой в свете жить радеет,
В худых не виноват делах,
Тот в луке нужды не имеет
К своей защите, ни в стрелах,
Смертельным ядом напоенных,
Что мечет мавр в полях полденных.

Хоть был бы он в местах опасных
От волн, от жара и зверей;
Хотя б на Ка́вказе, где ясных
Нет дней весенних, ни людей;
Иль где текут Гидаспски воды,
Взнесенны басньми в прежни годы.

В лесу Савинском раз гуляя,
Я о своей любезной пел
И, скучны мысли разгоняя,
Через пределы перешел;
Внезапно волк ко мне с размаху
Бежит, я обмер весь от страху.

Ни в храброй Давнии доселе
Не видано, чтоб был таков,
Ни в жарком Юбином пределе,
Рождающем свирепых львов;
Узрев меня, вспять обратился,
И безоружного страшился.

Поставь меня в странах бесплодных,
Где нет приятныя весны,
От бурь и ветров где холодных
Поля как камень скреплены,
Где мраки небо покрывают,
Лучи отнюдь не досязают.

Поставь меня под самым зноем,
Лучи где прямо в землю бьют
И где с умеренным покоем
Жары жить людям не дают;
Но мне и там подаст утехи
Любезной речь и нежны смехи.

2

(Книга II, ода XX)

Не в тихой и обыкновенной
Наверх я славе поднимусь;
Но в громкой, шумной и отменной,
Пророк двуличный, вознесусь;

Превыше гордой злобы стану
И смертным скоро быть престану.

Хоть я отцем рожден убогим,
Но верь, Мецéнас, что мой дух
Не будет в гробе роком строгим
Рассыпан с слабым телом вдруг:
И будет жить тот в славе вечно,
Что в жизни ты любил сердечно.

Смотри, как по всему морщины
Моих ущерб являют сил;
Я в лебедя через седины
Свой сверху вид переменил,
Кругом весь пухом обрастаю,
Чем рознюсь я от птиц? — не знаю.

Теперь я полечу к Понтийским
Шумящим на восток брегам,
И в юг оборочусь к Ливийским
Скоряе Йкара жарам,
Коснусь и северного края,
Приятны песни воспевая.

Меня колхидянин узнает,
И в дальних сторонах гелон,
И дак, который страх скрывает,
Коль Марсов не боится он,
И галлам буду я известен,
И меж гишпанцев всюду честен.

Оставьте ж тщетные обряды,
Во гроб как труп положат мой:
Печали, вопли и досады
Считаю я за шум пустой:
Одно лишь ýмрет тело бренно,
Но имя будет ввек нетленно.

8
(Книга III, ода III)

Кто правдой жить на свете тщится
И постоянным быть привык,
Тот гроз, мятежей не боится,
Его ниже́ народный крик,
Ни сам мучитель взором зверским
Не склонит к действиям продерзким.

На волны зрит спокойным оком,
И на ревущих вихрей звук,
На стрелы, в гневе что жестоком
Перун из сильных мещет рук, —
Хоть с громким твердь падет ударом,
Он будет в постоянстве старом.

Украшен оными дарами,
С Поллюксом храбрый Геркулес
Взлетел парящими крилами
На верх сияющих небес;
Меж их лежа, из позлащенной
Пьет чаши Август мед священной.

Чрез них и Бакхус невредимо,
Как агнцев, тигров обуздал,
Чрез них Квирин непобедимой
Бессмертие себе снискал,
Когда на божеском совете
Юнона так рекла в ответе:

«Насильство, суд, краса чужая
Виной, что Троя град упал.
Как, мзду за труд дать обещая,
Богам Лаомедонт солгал,
То мне с Минервой предан к мести
И вождь и с ним род, полный лести.

И се уж Па́рис нечестивый
Низвержен в адско дно лежит,
Ни с Гектором Приамов лживый
Род храбрых греков не разит:

И брань свирепа замолчала,
От наших ссор что воспылала.

Но все вражды пресекнуть время,
Я Марсу сына возвращу,
Троянов ненавистных племя,
В залог, что мести не ищу;
И меж богов ему позволю
Иметь в бессмертной чаше долю.

Меж Римом только бы пространный
И падшей Троей понт шумел,
Лишь зверь жилища б невозбранны
И паству тучну скот имел,
Где гроб Парисов и Приямов,
Троянских прах где веет храмов.

Пускай изгна́нные трояны
Живут безбедно, где хотят,
Пусть храбры римские граждане
Свирепых мидян победят,
В полудни славой пусть сияют
И запад ею ж наполняют,

Великодушней презирая
Сребро, что кроет нутр земной,
Как для потребы вынимая
На всё дерзающей рукой,
Сребро, крепчае что хранится,
Когда в земле оно таится.

Но ежели страна какая
Против их меч свой обнажит,
То, храбростию побеждая,
Путь к славе Рим да отворит,
Увидеть где жары вседневны,
Где стужа, ночь и мрак дождевный.

Судьбу я Рима достоверно
Креплю, но с договором сим,
Чтоб, отчество любя чрезмерно

И счастием гордясь своим,
Сверх нашей воли не дерзали,
Вновь Трои не восстановляли.

Но если кто троянски стены
Отважится восставить вновь,
Плачевны наведу премены,
Опять пролью продерзку кровь,
Сберу полки победоносны,
Умножу казни в них поносны.

Хоть трижды медными стенами
Сам Феб град Трою оградит,
Мой грек кровавыми руками
Их крепость трижды разрушит,
В плен трижды отведет позорный
Ослушный род и непокорный».

Куда стремишься, дерзка лира?
Пора нестройну песнь скончать;
Что всем владеют кругом мира,
Ты ль речь их можешь описать?
Престань и низкостию слова
Не маль величества такого.

4

(Книга IV, ода II)

Кто хочет Пиндару стихами,
Иул любезный, подражать,
Тот вощаными вверх крилами
Дерзает с Икаром летать,
Пучине имя что оставил,
Себя безумьем обесславил.

С высокой как горы стремится
Река, наполненна дождем,
Кипит, за берега катится, —
Подобно в слоге он своем
Шумит и смысла быстротою,
И слов обильною красою.

Достоин он похвал довольных,
О чем ни на́чнет говорить,
Хоть станет в дитирамвах вольных
Ток слов необычайных лить,
Числа в стопа́х не наблюдая,
С коротким долгий слог мешая.

Хоть в честь богов или великих
Героев ум свой устремит,
От коих род кентавров диких
Рукою мстительной побит
И пламень погашен Химеры,
Сильнейший Этновой пещеры.

Хотя б прославить он победы
Элидского борца хотел;
Хотя б коня, что, только сле́ды
В глазах оставив, улетел,
Возвысить сладостию тона,
Что лучше статуй миллиона.

Хотя б о смерти жениховой
Невестин плач изображал,
В нем ум и дух уже готовой
К делам великим прославлял,
Потомкам память оставляя,
И тму забвенья разгоняя.

Великий вихорь помогает,
И сила воздуха несет,
Когда до облак простирает
Дирцейский лебедь свой полет.
А я тружусь, сижу, потею,
Но чуть стишок слепить умею,

Гуляючи в лугах зеленых,
Все прочие забыв дела,
Или близ тибрских струй студеных,
Как трудолюбная пчела,
Что понемногу росу с сотом
Берет, и то с трудом и потом.

Твоя похвальнейшая лира
Тогда громчае возгласит,
Как кесарь, обладатель мира,
Сикамбров гордых победит
И в Рим торжественной рукою
Введет тмы пленных за собою.

Он больше всех в пределах света,
И нет дороже ничего;
И в предгрядущи боги лета
Не могут лучше дать его,
Хотя б пришли златые веки,
С зверьми как жили человеки.

Опишешь время то приятно
И общу радость всех граждан,
Как храбрый Август к нам обратно
Из дальних возвратится стран;
Опишешь тишину в свободных
Судах от тяжб и ссор народных.

Тогда я с песнию твоею
Потщусь свой стих совокупить,
Как если столько сил имею,
Чтоб слушанья достойну быть;
Реку: коль светло день сияет,
В кой кесаря народ встречает!

Коль долго будем с светлым ликом
Триумф и радость провождать,
Ио, ио с веселым криком
Народ весь будет восклицать,
И фимиамом изобильным
Пожрем в церьквах богам всесильным.

Ты множеством волов избранных
Богам обет исполнишь свой;
Меня от обещаний данных
Телец очистит молодой,
Что для того нарочно в злачных
Лугах растет меж вод прозрачных.

Накривленными он рогами
Такой являет точно вид,
Тридневна как луна над нами
Сквозь тму и мрак ночной блестит;
Шерсть желтого на нем вся цвета,
На лбу лишь белая примета.

5

(Эпод, ода II)

Блажен тот, кто сует не знает,
Как жили люди прежних лет,
Поля наследны насевает,
И лихвы с бедных не берет,
Не слышит к брани труб зовущих,
Воинские сердца мятущих.

Не слышит корабельных стонов,
Как снизу волны, сверху гром,
И не теряет он поклонов,
Хотя к гражданам гордым в дом,
Ни с кем он тяжбы не заводит
И бить челом в суды не ходит.

Весной деревья прививает,
Садит различные плоды,
Сухие ветви обсекает
И розами пестрит сады,
Или пасет в долинах мирных
Стада волов на паствах жирных.

Или из ульев вынимает
В свою потребу чистый мед,
Иль во́лну с агнцев остригает
И облегченье им дает.
Когда ж осенни дни приспеют
И все в полях плоды созреют,

С каким весельем собирает
Плоды с усыпанных полей,

Труды свои воспоминает,
И пот и зной прошедших дней;
Богам приносит в честь оливы,
Вино и мед за зрелы нивы.

Покоится густой под тенью,
Или в зеленых он лугах
Дивится птиц различных пенью,
Меж тем в прохладных берегах
Струи шумящи протекают
И сладкий в члены сон вливают.

Когда ж с полей всю нежность лета
Суровость сгонит зимних дней,
Тогда или из нор в тенета
Чрез трубный нудит глас зверей
И боязливых зайцев ловит,
Иль птицам скрыту сеть готовит.

Толь сладкую корысть сбирая,
Кто может толь нечувствен быть,
Чтоб те заботы, что слепая
Любовь наводит, не забыть?
Но если кто еще такою
По счастью одарен женою,

Каких сабиняне имели
Или апуляне супруг,
У коих лица загорели
От полевой работы вкруг;
Котора б мужу помогала,
Детьми и домом управляла.

Раскладывала б огнь священный
К его приходу, чтоб согреть
Трудами члены утомленны,
И, овцы загоняя в клеть,
Их тучной паствою кормила
И сладко молоко доила.

И растворив сосуды полны,
Где свежее вино и мед,

Готовила б ему довольный,
Не с торгу купленный обед.
Коль счастья б я достиг такого,
Чего бы мне желать иного!

Что роскошь сластью погруженных
В драгой поставила цене,
И что из мест, толь отдаленных,
Привозят морем к сей стране,
Всё то почел бы я травою
Пред сельской пищею простою.

Коль масличны плоды любезны,
Коль вкусен щевелевый куст,
Коль мальвы здравы и полезны,
Козел, избегший волчьих уст,
На жертву иль телец избранный
И в праздник терминов закланный.

Меж роскошей сих коль приятно
Смотреть на овцы и волов,
Идущих ввечеру обратно
К покою от дневных трудов;
На слуг, обильный дом красящих,
Как рой усердный пчел шумящих.

Так жизнь селянску похваляет
Алфий, дает что деньги в рост;
В полмесяца долги сбирает
И хочет сам купить погост,
Но, вдруг раздумав, всюды рыщет,
Опять в процент отдать их ищет.

6

(Книга II, ода III)

Сноси напасти терпеливо,
Будь духом бодр, о человек!
И не гордись, живя счастливо,
Смерть памятуй и краткий век.

Хотя бедами утесненный
Век будешь с скукой продолжать,
Хотя ты в роще отдаленной
В дни будешь праздничны лежать,

Где тенью дерева густою
При летнем зное холодят,
Одна гоняясь за другою,
Струи в источнике журчат.

Сюда сладчайшие напитки,
Сюда вели и розы несть,
Покамест рок, лета, избытки,
Дозволят жизнь веселу весть.

Оставить время всё приспеет,
Деревни, рощи, пышный дом;
Наследник после овладеет
Твоим и златом и сребром.

Богатым ли или убогим,
Царем иль подлым ты рожден,
Всё то ж, ты будешь роком строгим
Без жалости во гроб сведен.

Всех гонят нас к тому ж пределу,
Своя всем при́дет череда.
Хоть скоро, хоть не скоро, телу
С душей расстаться навсегда.

7

(Книга II, ода X)

Так должно жить, чтоб не пускаться
Ни внутр морския глубины,
Ни близко с брегом не смыкаться,
Страшася бури и волны.

Кто жить умеренно желает,
Не в гнусной тот избе живет,
Ни гордых он не созидает
Палат, где зависть яд свой льет.

В высокий чаще дуб стремится
Борей; взнесенна до небес,
Громчае башня вниз валится;
В высоки горы бьет Зевес.

В напастях счастья ждет, при счастье
Боится бед готовый дух;
Тот бог, что мрачное ненастье
Навел, подаст и вёдро вдруг.

Не век судьба нам так же судит
Томиться, как теперь, бедой:
Сам Феб муз часто к пенью нудит,
Ослабив лук свой с тетивой.

Будь сердцем тверд, великодушен,
Когда гроза находит въявь;
Но если ветр весьма послушен,
Надутых парусов убавь.

8

(Книга II, ода XIV)

Увы! проходит век крылатый;
Ни святость может воспятить
Морщин и старости горбатой,
Ни смерти алчной умолить.

Чрез триста жертв всяк день Плутона
Неукротимого моли,
Что свел и сильного Самсона
Во преисподния земли;

Но сколько здесь ни пребываем,
Чрез Стикс всем страшный должно плыть:
Богат ли, царь ли, всеми ль знаем,
Раб, нищ, презрен, — всем там же быть.

Напрасно браней мы страшимся,
Свирепых в море бурь бежим,
В осенний с полдня ветр боимся,
Несущий вред телам людским.

Увидим черны, мутны реки,
И Данаев проклятый род,
И Сизифа, к трудам навеки
Что осужден, конца не ждет.

Оставить землю, дом с женою,
Сады, что сам ты возрастил,
Во гроб не по́йдут за тобою;
Коль мало ты владыкой был!

Хранимы питья сто замками
Наследник лучший разочнет:
Вино лить будет под ногами,
Какого в праздник жрец не пьет.

9

(Книга II, ода XVI)

Купец покоя в море просит,
Захвачен бурною грозой,
Когда корабль по бездне носит
И звезды скроет мрак с луной.

Покоя воин просит в поле,
Дрожа от стужи под шатром.
Но, ах! его не в нашей воле
Купить ни златом, ни сребром.

Затем, что мыслей неспокойных
Нигде не можно избежать:
В средине льдов, в пределах знойных —
Везде могу́т тебя догнать.

Не защитит от их тиранства
Ни дом, ни стражей полк, ни честь:
Среди богатств, красот, убранства
Твою грудь будет совесть есть.

Жить лучше малым коль достатком!
Кого снабдил немногим дед,
Его в спокойном сне и сладком
Ни страх, ни зависть не мятет.

Что так далеко простираем
Желанья, зная краткий век?
Почто мы земли пременяем
На иный свет чрез путь далек?

Или кто отчество оставит,
И от себя тот сам уйдет?
Нет, тем себя он не избавит
От неспокойств, гонящих вслед.

Грызуща совесть успевает
За судном в море, за конем,
Скоряй еленей, бурь летает,
Стремящих пыль и град с дождем.

Что есть теперь, тем веселися,
О будущем не помышляй;
Печаль разгнать забавой тщися,
Вотще ее не пропускай.

Нет в свете вещи ни единой,
Чтоб счастлива во всем была:
Хоть долговременной сединой
Титон красен был, смерть взяла.

Вдруг в прах и пепел обратился,
Сколь ни был славен Ахиллес.
Чего тебе дать не склонился,
То, может быть, даст мне Зевес.

Ты изобилуешь стадами
Овец, и коней, и волов;
В твоей различными цветами
Одежде блещет вид багров.

Мне малу вотчину судила
И смысл к стихам судьбина дать,
Молвы народа научила
Завистливого презирать.

10

(Книга II, ода XVII)

Не злато и сребро сияет
В моем жилище на стенах;
Не мрамор пол в них украшает,
Не крыльца на резных столбах.

Чужим наследством не владею
Под ложным именем родства;
И слуг насильно не имею,
Из бедности и сиротства.

Но разума и правды много,
Чего же больше мне сего?
Богач, хоть я живу убого,
Знакомства ищет моего.

Я бога тем не озлобляю,
Чтоб больше мне чего просить;
Друзьям богатым не скучаю;
Доволен тем, чем дано жить.

Летят за днями дни крылаты:
При смерти ты, забыв о том,
Возносишь мраморны палаты,
И, гроб забывши, строишь дом.

Морские глуби засыпаешь
И расширяешь берега;
Ты землю узкою считаешь
И кои есть поля, луга.

Но что? соседние ты села,
О ненасытный, захватил
И собственного их предела
Твоих питомцев уж лишил.

Несчастный муж с детьми, с женою,
В объятии неся богов,
Бежит в слезах, гоним тобою,
Оставив дом своих отцов.

Но нет известнейшей дороги
Богатому, как в мрачный ад;
Что мысли толь имеешь многи?
И ты туда же будешь взят.

Богатым и убогим равен
Ко гробу путь, одна стезя.
Хоть Прометей на вымысл славен,
Харона подкупить нельзя.

Потомство Танталов надменных
Он за Коцитом всё хранит;
Труды снять с нищих отягченных
И званый и не зван спешит.

⟨1752—1760⟩

А. И. ДУБРОВСКИЙ

Адриан Илларионович Дубровский (1733—178?), сын московского священника, обучался в Славяно-греко-латинской академии и в 1748 году в числе других студентов был отобран В. К. Тредиаковским для продолжения образования в Академическом университете в Петербурге.

Дубровскому было всего пятнадцать лет, он был самым младшим из числа студентов, обративших на себя внимание Тредиаковского. Проверка его знаний, проведенная уже в Петербурге, показала, что он недостаточно знает латынь, чтобы слушать лекции в университете, где все курсы читались на латинском языке. Поэтому Дубровского на некоторое время отправили в Академическую гимназию доучиваться.

По-видимому, Дубровский скоро усовершенствовался в латыни и был допущен к университетским лекциям, так как в 1751 году уже сдавал экзамены за второй курс университета. Как и другие, более склонные к гуманитарным, чем к точным наукам, студенты, Дубровский на экзаменах 22 мая 1751 года «на физические вопросы отвечал посредственно, математики знает мало, в словесных науках и философии оказал себя довольно искусен».[1] В 1755 году Дубровский, все еще оставаясь студентом, был назначен преподавателем латыни в «верхний латинский класс» и в течение двух лет еженедельно занимался с этим классом. В 1757 году он был произведен в переводчики. Но его интенсивная литературная работа началась раньше. Он переводит с немецкого стихи и объяснения академика Я. Штелина к фейерверкам и иллюминациям, печатает свои переводы басен

[1] Архив Академии наук, ф. 3.

Эзопа в «Ежемесячных сочинениях», начинает работу над переводом в стихах известного и очень популярного романа Фенелона «Похождения Телемака». Возможно, что свой перевод Дубровский показал В. К. Тредиаковскому, который по старой памяти мог относиться к нему благожелательно.

В 1756 году Дубровский перевел и напечатал в «Ежемесячных сочинениях» диалог Вольтера «О славе. Разговор с китайцем».

В 1757 году Дубровский написал уже не переводную, а оригинальную поэму «На ослепление страстями», посвященную этической проблематике философии оптимизма. В 1759 году 16 июля Дубровский доложил в Академическую канцелярию, что у него готов стихотворный перевод трагедии Вольтера «Заира». Соединение чувствительной патетики в изображении любви и обличения христианского религиозного фанатизма сделало «Заиру» произведением, в котором многое перекликалось с антиклерикальной борьбой в русской литературе конца 1750-х годов. Переводчик усилил публицистическое звучание трагедии, привнес антиклерикальные деистические высказывания в те места трагедии, где их в оригинале не было. На сцене «Заира» в переводе Дубровского не ставилась, а Н. И. Новиков, знавший ее в рукописи, писал, что переведена «в российские стихи» она «весьма нехудо».[1]

1759 год оказался поворотным в жизни Дубровского. К этому времени он стал известен сенатору Р. Л. Воронцову, и тот попросил у Академии 3 декабря 1759 года разрешить Дубровскому сопровождать его сына, Семена Романовича, «для вояжирования в знатнейшие российские города и к Черному и Каспийскому морям», «не выключая из академического штата».[2] Перед поездкой Дубровский получил из Академии инструкцию, в которой ему предписывалось вести журнал (дневник) поездки и составлять описание тех мест, которые придется посетить. Донесением из Казани от 23 марта 1760 года Дубровский сообщал, что «вел всему пути журнал», далее следуют рапорты о посещении Пензы, Екатеринбурга, Саратова, Астрахани. С дороги Дубровский писал Р. Л. Воронцову, от которого тоже имел поручение описывать все виденное: «О Верх-Исетском и Ягошихинских заводах, что можно было мне перенять, я объявлял вашему сиятельству в письме, посланном из Ягошихи. Однако о том пространнее могу донести, приехав на Чибирлеевский

---

[1] Н. И. Новиков, Избр. соч., М.—Л., 1951, с. 300.
[2] Архив Академии наук, ф. 3.

завод, где я все, мною в дороге, на заводах и в городах замеченное, привести намерен в порядок и, выписав хотя несколько, по вашему повелению, имею оттуда прислать в Петербург к вашему сиятельству».[1]

31 января 1761 года Дубровский сообщил в канцелярию, что прибыл 20 января в Петербург, но болен и явиться не может.[2]

В октябре 1761 года в ответ на просьбу другого сына Р. Л. Воронцова — Александра Романовича — оставить при нем Дубровского «для корреспонденции с здешними министрами, при иностранных дворах находящимися»,[3] Академическая канцелярия ответила, что Дубровский уволился из Академии и, следовательно, свободен.

Так закончилась служба академического переводчика Адриана Дубровского, а с ней, насколько нам известно, и его литературная работа. Он стал служащим Коллегии иностранных дел в качестве переводчика при русском посланнике А. Р. Воронцове в Гааге, где он в течение ряда лет оставался и после отъезда Воронцова. Письма Дубровского из Гааги к братьям Воронцовым — это не письма подчиненного к знатным лицам, а дружеские и откровенные, иногда шутливые послания. Они свидетельствуют об очень близких и доверительных отношениях между ними и скромным переводчиком при гаагской миссии. Поэтому Дубровский мог с совершенной откровенностью объяснять в письме к А. Р. Воронцову от 7 марта 1769 года, почему он не хочет вернуться в Петербург: «Не могу я считаться в числе тех, кои пользуются совершенным здоровьем, следственно мое состояние и места требует спокойного, я не говорю праздного; умалчивая о переводчестве, с которым мне стыдно возвратиться, и о жалованье, которое, может быть, будет уменьшено половиною, также и о умножении командиров».[4]

Как долго прожил Дубровский за границей — неясно. В 1779 году была опубликована «Заира» в его переводе, но издание это осталось незамеченным. Возможно, что опубликовал ее вернувшийся на родину Дубровский.

---

[1] «Архив кн. Воронцова», т. 34, М., 1888, с. 279—280.
[2] Архив Академии наук, ф. 3.
[3] Там же.
[4] «Архив кн. Воронцова», т. 34, с. 294— 295.

18. ПОХОЖДЕНИЕ ТЕЛЕМАКА, СЫНА УЛИССОВА

КНИГА I

Калипсо не могла утешиться нимало,
Когда в глазах ее Улисса быть не стало.
Несчастной чла себя, бессмертна что была,
Без пения все дни и в горести вела.
Все нимфы перед ней со трепетом стояли,
Ни слова говорить богине не дерзали.
Гуляла по лугам приятнейшим одна,
Чем вечна остров тот украсила весна,
Не облегчали скорбь места сии прекрасны,
Но приводили в мысль Улиссов взор ей ясны,
С которым много раз гуляла в тех местах;
Недвижима была нередко на брегах,
Слезами горькими их часто обливая
И непрестанно взор к стране той обращая,
Корабль Улиссов где пучину рассекал
И из очей ее поспешно убежал.
Внезапно корабля остатки показались:
Канаты, мачты, руль ко брегу приближались,
Разметаны везде и весла на мели,
Потом двух человек увидела вдали.
Один был стар, другой имел младые лета;
Улисса точная являлась в нем примета:
Улиссов дух в нем был, и рост и вид такой,
Приятство то имел и бодрость с красотой.
Что Телемак он был, богиня точно знала
И сына славного Улисса почитала.
Но боги знанием хоть выше смертных всех,
Однако не могла она знать таинств тех,
Кто с Телемаком был муж в старости почтенный, —
Судьбы суть вышних сил от нижних сокровенны.
Минерва Мантором благоволила быть
И от Калипсы зрак божественный таить.
Калипсо, радуясь сих странных злой судьбине,
Улиссово лице в Улиссовом зрит сыне.
Пошла с поспешностью и так рекла ему:
«Откуду смел пристать ты к острову сему?
Ты знаешь, что никто без казни не бывает,
Кто к царству моему приблизиться дерзает?»

Сердечную любовь, блистающу в глазах,
Старалась утаить в притворных сих грозах.

К Калипсе сей ответ Улиссова был сына:
«О, кто б ты ни была: иль смертна, иль богиня!
(Хоть всяк, зря на тебя, богинею почтет)
Тебя ль не умягчит моих великость бед?
Ты видишь юношу такого пред собою,
Кой ищет днесь отца, гонимого судьбою,
И коего корабль у гор твоих разбит».
— «Но кто есть твой отец?» — Калипсо говорит.
«Улисс родитель мой, — богине рек в ответ, —
Один из тех царей, что по десятом лете
Троянских крепость стен разрушили вконец.
У греков, в Азии, стал славен мой отец
Как мужеством своим, так мудрыми делами.
Теперь он окружен свирепыми волнами,
По бездне плавая и страшному пути,
Не может во свое отечество прийти.
Я с матерью моей Пенéлопой остался,
Надежды той лишен, чтоб паки с ним свидался.
Скитаюсь ныне сам, ищу во всех странáх,
Имея равные опасности и страх.
Но что я говорю? Напрасно дух мой льстился —
Он, может быть, давно пучиною покрылся.
Ты сжалься днесь, прошу, богиня, надо мной,
Улиссову напасть иль счастье мне открой».

Калипсо мудрости в младых летах дивилась
И сладостию слов на милость преклонилась.
Не может зрением насытиться очей,
Не может объявить в ответ ему речей.
Молчание прервав, потом ему сказала:
«Открою, что судьба Улиссу оказала.
Но повесть требует премножество часов,
Днесь успокойся ты от всех твоих трудов.
Гряди за мною вслед, приму тебя, как сына.
Ты будешь в сих местах утеха мне едина,
Благополучно век со мною проживешь,
Как если ты себя сохранно поведешь».

Имея Телемак словам богини веру,
Последовал за ней в средине нимф в пещеру.
Являлась выше всех Калипсина глава,
Как сыплет ветви дуб на малы дерева.
Дивится красоты сиянию и свету,
Дивится, зря ее, порфирою одету,
Дивится риз ее волнистых долготе,
Завязанных власов в приятной простоте,
Горящим очесам и тихости совместной,
Что придавало честь красе ее прелестной.
Тогда священный верх свой Мантор наклонил,
За Телемаком вслед с молчанием спешил.

Пришедши ко дверям, все видел без убору,
Но сельска простота была приятна взору.
Ни злата, ни сребра не зрел Улиссов сын,
Ни мрамров, ни столбов, ни статуй, ни картин.
Из камня дом ее иссечен был большого,
Из раковин убор и каменья простого,
Зеленый виноград в нем стены украшал,
Кой равно ветвь свою ко всем странам пускал.
Зефиры сладкие прохладность сохраняли
И солнечных лучей жар хладом утоляли.
С журчанием в луга источники текли,
Где вечный амарант с фиалкою цвели,
И многие пруды составили собою,
Подобны хрусталю своею чистотою.
Цветами разными поля распещрены,
Что вкруг пещеры сей лежат обведены.
Там виден частый лес и дерева густые,
На коих яблоки висели золотые.
Цвет обновляется их по числу времен,
И всюду дух от них приятный распущен.
Прекрасные луга сей лес вокруг обходит
И, свет не пропустив, тень мрачную наводит.
Тут слышен сладкий глас поющих птиц всегда,
Не престает шуметь там быстрая вода,
Котора с высоты на камень упадает
И, с пеною кипя, в средине проступает.

Богинин светлый дом на холме был создан,
Откуду виден был обширный океан,

Кой иногда, как лед, соединен казался,
Но в бурю как гора, до облак простирался,
На камни и брега как будто гнев имел
И, ударяясь в них, неистово ревел.
С другой страны лились вкруг островов потоки,
Где липы тучные пускали лист широки
И множество росло осиновых древес,
Что высотой своей касались до небес.
Каналы разные в стране той протекали
И многи острова приятны окружали;
В тех ясная вода с стремлением текла;
В других — как сонная, и с тихостию шла;
Далеко отбежав, в иных назад стремилась,
С вершиною своей соединиться тщилась,
Как будто не хотя оставить берегов,
Катилась в быстроте путем своих следов.
Бугры и горы там вдали взор услаждали,
Которы облака верхами рассекали.
Для разной высоты был разный горизонт,
И для забавы там твердь погружалась в понт.
Ближайших на горах зрел виноград зелены
На коем отрасли висели соплетенны,
Прозрачны ягоды не мог скрыть винный лист,
Едва могли держать густую ветви кисть.
Оливковы древа, и смоквы, и гранаты,
Рассеянны в полях, сад делали богаты.

Калипсо, показав веселости страны,
Что силой естества там произведены,
Рекла: «Улиссов сын! ты успокойся ныне
И платье премени, что омочил в пучине.
Мы паки свидимся немедленно с тобой;
Я весть тебе скажу, чем дух смутится твой».
Пещеру с Мантором ему определяет,
Лежащу близко той, сама где обитает.
От нимф зажжен был кедр, как тотчас воспылал
И благовением места все наполнял;
Оставлена гостям одежда в сем покое.
Прельстился Телемак, зря платье дорогое,
Что было из волны тончайшей сплетено
И снегу чистого беляй было оно.
Надевши мантию багряну, шиту златом,

Возрадовался, что в убранстве был богатом,
Как делает младой в восторге человек.
Приметил Мантор страсть и к Телемаку рек:
«О сем ли помышлять Улисса должно сыну?
Ты храбро побеждай и счастье и судьбину,
И славу сохрани отеческу тобой.
Не может ни премудр, ни славен быть такой,
Кто украшается, как женщинам пристойно.
То сердце похвалы и славы всей достойно,
Что может злую часть легко претерпевать
И нежны сладости ногами попирать».

Такой дал Телемак ответ, вздохнув сердечно:
«Пусть боги погубят тогда меня конечно,
Как леность с похотью мой обладает дух.
Поверь, пребуду тверд! Поверь, почтенный друг,
Не победит меня жизнь слаба и прелестна.
Но что за благодать явилась нам небесна,
Богиню что сию нам в нужде подала?
С какою милостью она нас приняла!»

Но Мантор отвечал: «Ах, злости опасайся,
Ласкания ее ты больше ужасайся,
Как нежель камней тех, корабль чем наш разбит.
Не столько люта смерть и бедствием страшит,
Как с добродетелью воюющие страсти.
Не верь ее словам и избегай напасти.
Нет в младости ума и рассужденья нет:
Хоть на себя она надежду всю кладет,
Но тщетно сделать всё собою обещает,
Когда без мудрости и сил на всё дерзает.
Не слушай сладких слов Калипсиных отнюд,
Что в сердце твое яд со временем вольют.
Как крадется змия под нежными цветами,
Так хочет уловить она тебя словами.
На самого себя еще не уповай
И наставлений ты моих не отметай».

К Калипсе прибыли по долгом разговоре,
Где нимфы в белом все явилися уборе,
Готовили обед приятный, но простой.
Там пищи не было представлено драгой,

Кроме пойманных птиц сетью и силками
И несколько зверей, убитых нимф стрелами.
Сладчайше нéктара казалося вино,
Что в сребряных больших сосудах внесено
И в чаши что потом златые наливали,
Которые цветы пучками украшали.
Различные плоды туда принесены,
Что ожидаются от красныя весны
И осень коими довольствует вселенну.
Четыре нимфы песнь петь начали священну:
Сперва сурову брань с гигантами богов,
Потом Юпитера с Юноною любовь,
Рожденье Бахуса, вспитанье от Силена,
И Аталантин бег, и хитрость Гиппомена,
Кой яблоком златым победу одержал,
Которое в саду Геспериадском взял.
Троянскую войну петь после начинали,
Улисса мужество и мудрость похваляли.
Первейшая из нимф Левкотоя звалась,
Что лирой с пеньем нимф играла согласясь.

Услышав Телемак о имени отцовом,
Не может слез держать, в приятстве зрится новом.
Калипсо, усмотрев, что он не мог вкушать
И что печален был, велела песнь скончать.
Кентавров после бой с лапиты пели слезный
И в ад сошествие Орфея для любезной.

По окончании обильного стола
Калипсо, за руку взяв гостя, так рекла:
«Ты видишь, Телемак, сын славного героя,
Которым попрана великолепна Троя,
С какой любовию тя принимаю днесь.
Бессмертна я живу и полномочна здесь:
Без мщения никто из смертных не бывает,
Кто к острову сему приближиться дерзает.
Тебя бы не спасла ни корабля напасть,
Как не была б к тебе моя любовна страсть.
Отец твой счастие имел совсем такое,
Но чрез желание то потерял слепое.
Хотела я его снабдить блаженством сим,
Чтобы в бессмертии жить совокупно с ним.

Но он всё пренебрег для Итаки убогой,
В которой быть ему не допустил рок строгой.
Оставил здесь меня, презрев любовь мою,
Однако принял казнь продерзость за свою.
Корабль его ветрам был много раз игрою,
Расшибся и погряз под алчной глубиною.
Плачевный сей пример вложи глубоко в грудь
И почитать богов всесильных не забудь.
Надежды не имей отца узреть отныне
И в Итаке владеть по злой его судьбине.
Ты утешайся днесь, лишившися отца,
Что можешь мной достичь желанного конца.
Я учиню тебя счастливым пред земными,
Ты будешь обладать со мной местами сими».

Калипсо, речь сию пространно расплодив,
Старалась показать, коль был Улисс счастлив.
Сказала, что ему в то время приключилось,
Когда в пещере быть у Циклопа случилось,
Как Летригонский царь Антипат поступил,
Как в Цирце острове у солнца дщери был,
Как меж Харибдою и Сциллой пробирался,
В какой опасности тогда он обращался,
Как воды всколебал Нептун в последний раз,
Как из Калипсиных Улисс убежал глаз.
Дала знать, что его пучина поглотила;
Что прибыл в остров он феакский, утаила.

Сначала был объят весельем Телемак,
Калипсиной любви довольный видя знак.
Потом уразумел всю хитрость и наветы
Чрез мудрость Мантора и здравые советы,
И вкратце отвечал: «Богиня, дай покой,
Печали моея, ах, сжалься, не удвой!
Я счастие твое со временем узнаю,
Но ныне люту скорбь внутрь сердца ощущаю.
Позволь родителя оплакать моего,
Ты ведаешь, как он достоин был того».

Калипсо принуждать потом его не смела
И о Улиссе с ним притворно сожалела,

Старалася лице смущенно учинить,
Чтоб сердце юноши тем лучше уловить.
Спросила, как его корабль у гор разбился
И как он на брегу ее потом явился.
«Но повесть, — отвечал, —велика бед моих».
— «Немедля объяви, — сказала, — мне о них».
Не мог противиться по принужденьи многом
И начал повесть ей рассказывать сим слогом:
«Я принял путь затем из Йтаки своей,
Чтоб весть мне о отце иметь от тех царей,
Которые назад от Трои возвратились.
Отъезду моему немало удивились,
Стараясь мать мою в супружество достать.
Я тщился мой отъезд от злобы их скрывать.
Ни Нестор, коего увидел я в Пилосе,
Мог удовольствовать меня в моем вопросе;
Не мог и Менелай Лакедемонский мне
Сказать, родитель мой был в коей бы стране.
У сикилийского хотел искать народа,
Услышав, что туда несла его погода.
Но Мантор, мудрый муж, который днесь со мной,
Не допускал совет исполнить мне слепой.
«С одной страны, — сказал, — циклопы обитают,
Гиганты чудные, людей что пожирают;
С другой — Эней, и с ним троянский злой народ,
Которого туда ужасный прибыл флот,
Кой яростью своей на греков всех пылает,
Но паче кровь пролить Улиссову желает.
Ты ехать в Йтаку отселе будь готов —
Там может быть отец, любимый от богов.
Но если не хотят спасти живого боги,
В отечество прийти рок запрещает строги.
Не ты ли, сын его, по нем так должен быть
И мать свою от всех врагов освободить?
Ступай и покажи премудрость всей вселенной
И что в тебе Улисс днесь паки несравненный».
Преслушал и презрел сей здравый я совет
И только шествовал за страстию вослед.
Однако мудрый муж на то не огорчился
И, для любви ко мне, со мною в путь пустился.

Судили небеса определить сей рок,
Чтоб мог я исправлять подобный впредь порок».

Калипсо между тем на Мантора смотрела
И, в крайнем погружась сомненьи, изумела.
Хоть нечто видела божественное в нем,
Но не могла вместить того в уме своем.
Неверствием тогда и страхом колебалась,
Но, чтоб смущенна мысль ее не оказалась,
Сказала: «Продолжай свою речь, Телемак!»
Он начал простирать свою весть дале так:
«Мы долго ехали счастливыми ветрами,
Но вдруг ужасный вихрь восстал между волнами,
Небесный свет прогнал из глаз плывущих прочь,
Покрыла мрачная и темновидна ночь.
От блеску молнии мы корабли узрели,
Которые напасть нам равную имели.
Энеевы суда узнали мы тотчас.
Не меньший камней страх был как от них для нас.
Узнал, но поздо, я свои тогда напасти,
В которы ввержен был от безрассудной страсти.
Казался Мантор тут и столько тверд и смел,
Но больше прежнего веселия имел.
Он возбуждал мой дух прискорбный и унылый,
И будто как вдохнул непобедимы силы.
Он кротко управлял корабль наш на валах,
Как корабельщика жестокий обнял страх.
В то время я сказал: «О Мантор вселюбезный,
Почто я твой совет не принимал полезный?
Несчастлив для того, днесь признаюся сам,
Что верил молодым во всем моим годам».

1754 (?)

19. НА ОСЛЕПЛЕНИЕ СТРАСТЯМИ

Прилежно рассмотрев душевными очами
Весь земноводный шар и купно с небесами,
Еще не видим мы подобной твари нам.
Хоть солнце быстрый блеск дает своим лучам,
Не знает, что оно за пользу нам являет,

Оно ли круг земли толь скоро обтекает,
Или кругом его земный вертится шар.
Не знает, что оно: творец или есть тварь.
Не больше и других созданий знают роды:
Планеты, звезды, ветр, огонь, земля и воды.
В погибели своей не чувствуют вреда,
Не знают ни о чем заботы и труда.
Но скажет кто, что тем пред нами и блаженны,
Что безмятежно путь хранят определенный?
Пусть говорит, когда и сам подобен им,
Но мы приступим здесь к созданиям другим.
Животных возьмем всех, что топчут прах ногою,
Что в воздух бьют пером и кроются водою.
Коль дальное от них имеем сходство мы!
Так разнимся, как свет от глубочайшей тьмы.
Несходны больше мы, как нежель сходны с ними,
Когда одарены талантами такими,
Что можем мы творца от твари распознать,
Себя от всех других животных отличать.
Свирепых львов, слонов ужасных укрощаем,
Из пропасти китов на сушу извлекаем;
Мы новые строй ведем меж берегов,
Мы там корысть берем, где горы вечных льдов;
Глубоко входим мы в объятия земные,
Находим там себе сокровища драгие.
Мы меряем без мер верхи высоких гор,
Мы больше во сто крат усугубляем взор:
Мы ведаем лучам жар солнечным умножить,
В глазах удвоить всё, и вовсе уничтожить.
Потом, оставя то, что ниже наших ног,
К тому уже спешим, что выше создал бог.
О, коль находим там строение прекрасно!
Горящих там светил коль множество ужасно!
Мы измеряем их подробно высоту,
Определяем им великость, широту.
Мы наблюдаем путь и место осторожно,
Предсказываем их затмения неложно.
Не верим мы одним телесным лишь очам,
Что кажут небеса вертящиеся нам,
Что будто дальность всех планет и звезд едина,
И где земля стоит, вселенной там средина;
Что больше есть луна из всех планет и звезд

И к западу бежит от Набатейских мест.
Но мы, вооружив премудрым их искусством,
Колико правды зрим несходство с нашим
чувством!
Что видели пред сим, того пред нами нет,
Совсем вид на себя отменный принял свет.
То место, где земле простой взор назначает,
Светилу разум наш земли определяет.
Хоть солнце нам одно мечтается в глазах,
Однако их нельзя и счесть на небесах.
Одно перед другим гордится вышиною,
Иное перед ним — своей величиною.
Не знаем их числа и бездны той конца,
Но признаем чрез то величество творца.
Премудрость видим мы и силу бесконечну,
Могущество и власть над тварию предвечну.

Талантами когда такими одарен,
Скажи, о человек! к чему ты сотворен?
К тому ль, чтобы сей дар в презрении оставил,
Которым бог тебя пред тварью всей прославил?
Чтоб склонностям всегда повиноваться тем,
Что общи суть тебе и безразумным всем?
Но где же меж людьми есть разность
и скотами,
Как нашими от них не разнимся делами?
Одна, что знаем мы в пороках превзойти
И дале отступить от правого пути.

Свет лучше тьмы, кому та правда неизвестна?
Однако тень добра перед добром прелестна.
За ложным мы добром на парусах спешим,
От истинного прочь поспешнее бежим.
Но можно ли сию погрешность нам исправить,
И как на правый путь нас счастия наставить?
Бессчастья своего исследуем вину,
И впáдаем почто напастей в глубину?

Рассмотрим прежде мы желания людские,
Найдем, что за собой влекут нас страсти злые.

Когда же ходим мы слепого в след вождa,
То можно ль не иметь безмерного вреда?

Один блаженства верх в богатстве полагает,
Старание и труд к тому свой прилагает,
Чрез грозные валы он мчится на судах,
Чтоб после стражем быть на денежных мешках,
Не верить никому, соседов опасаться,
Приятелей не знать и всех людей чужаться,
Убогим звать себя, стяжав несметны тьмы,
Имения других зреть жадными очьми.
Но что еще (о! как неистово пленился!)
Желает, чтобы свет весь в злато пременился.
Напрасно для его свой солнце мещет луч,
Что приращенья нет ни малого для куч.
Сиянием планет и звезд, подобным злату,
Как златом льстится он и чувствует утрату,
Что видит к месту их непроходимый путь,
И что не можно их на землю притянуть.
В желании своем пределов он не знает,
Не знает и на что богатства собирает.
Имеющему всё всего не достает,
Без злата для него забавы в свете нет.
Не верит, что сей мир есть лучший всех возможных,
То, мнит, утверждено на основаньях ложных.

Не тот есть мой совет, чтоб деньги он бросал,
Или в одну бы ночь их в карты проиграл,
Но чтобы плод их был с умеренностью смешан,
А йнако сундук нимало не утешен.
Хоть целый завалит червонцами чертог,
Однако беден он, нищ, скуден и убог.
Имея миллион, ни гроша не имеет,
Когда он пользы их совсем не разумеет.
Искусну живопись представь перед слепым,
На флейте сам Орфей играй перед глухим,
Однако от того не могут веселиться;
Веселием и он не может похвалиться,
Не может он сказать, чтоб с златом был блажен,
Как в беспокойстве днем и ночью погружен.
Богатым хочет быть? пусть будет в страсти волен,
Посредственность хранит и небольшим доволен.

А впрочем скорбь свою умножит, как больной,
Что много пьет воды в болезни водяной.

Другой идет во след слепой любовной страсти,
Ввергает сам себя в бесчисленны напасти,
Стремится на огонь, оружие и меч,
Готов и жизнь свою безвременно пресечь.
Днем ноги, ночью мысль не ведают покою,
Не страсть уже уму, но страсти ум слугою.
Всечасно он твердит: «Любовь! любовь! любовь!
Ты сердце мне зажгла и вспламенила кровь!»
Художеств и наук чтит труд за бесполезный,
Всю мудрость в том кладет, чтоб угодить любезной.
Сажени в три затем он носит посошок,
И щетку на главе, над щеткой а-ла-кок.[1]
Существенно лице, хоть редкого примеру,
Он мушками пестрит по своему манеру.
Но если б в пятнах вид таких с природы был,
Что б бедный над собой любитель учинил?
Возможно ль для его быть больше сей заботы?
Довольно б учинил он скобели работы,
Не без труда б прошло утюгу и костям,
Белилам разных мер, лекарствам и мастям.

А глупости его чтобы не так смеялись
И сноснее бы всем дурачества казались,
Он страсти придает божественный титу́л,
Нельзя, он говорит, как Купидон стрельнул,
Противиться огню и внутреннему жару,
С часами вдруг растет болезнь сего удару.

Когда быть в страсти сей бесчестие и смех,
Пусть вся тварь на земле лишится сих утех.
Найдем ли мы во всей вселенной человека,
Как время пролетит единого лишь века?
Не будет ли пуста пространна бездна вод?
Обрящем ли в лесах какой животных род?
Увидим ли вверху тогда крылатых племя?
Не вся ль живуща тварь погибнет в кратко время?

---

[1] То есть à la coq (франц.) — буквально: наподобие петуха, разновидность модной прически. — *Ред.*

Не тщетно ль землю всю светило будет греть?
Не тщетно ль и земля свой будет плод иметь?
Не примет ли она негодный вид и гнусный,
Когда падет ее рачитель преискусный?
Но тем не извинил себя, но обвинил,
Когда нечистоту за должность положил.
Не невоздержна страсть нужна для приращенья,
От доброго сберешь плоды употребленья.
Нет пользы и в дожде всегдашнем для полей,
Как солнце не прольет на них своих лучей.

Иной всех превзойти достоинством желает,
Но что за средства он к тому употребляет?
Притворство, деньги, ложь, ласкательство и лесть.
Бесчестности стоять какая может честь?
Хотя бы он с луной величеством сравнялся,
Однако на земли всех хуже бы считался.
Хотя б в одной руке земной держал он шар,
Не больше б и тогда казался, как комар.
«Пусть, — говорит, — ничем меня б не почитали,
Но только бы тряслись, боялись, трепетали.
Нет нужды в пустоте и разности мне слов,
Что честность и что честь, пусть знает философ.
Примеры таковы во всех веках немноги,
Чтоб в честь кто происшел чрез честности дороги.
Я тем иду путем, где больша ходит часть,
Со многими готов хотя бы и пропасть.
Что ж добродетель все почти пренебрегают,
Отвсюду гонят вон, ногами попирают;
Могу ли я один ее восстановить,
И можно ль без вреда с ней совокупно жить?»
Такими вот сей свет обилен дураками,
Что сами быть хотят с охотою скотами.
Где разум, совесть, стыд, подобие людей?
От умной можно ли ждать твари сих речей?
Спроси, как в честь его произвела судьбина,
Ответствует: «Мой дед великого был чина».
Порода знатная, родитель генерал?
Не мало ли услуг своих он насчитал?
Как в матерней еще не зачался утробе,
Достоин был чинов по отческой особе.

Затем и в жизнь о нем слух носится такой,
Как не родился он, и не был вид какой.

Не спорю, придают и предки славы много,
Кто держится весьма обычаев их строго.
Но если в те часы, в которые твой дед
На брань уж выступал, презревши лютость бед,
Вооружал полки, в них храбрость возбуждая
И мужества пример собою представляя,
Оружие и меч носил в своей руке,
На мягком ты без чувств храпишь пуховике
Иль веселишь себя нелепыми играми,
Раве́н ли будешь ты своими с ним делами?
Достоин чести той, какую дед имел?
Не больше ли мрачишь собой их светлость дел?

Притом не забывай и счастия премены:
Касались до небес троянски горды стены,
Но пламень превратил в попрание ногам,
Сравнялись их верхи смиренным берегам.
Свирепее Борей на высоте ярится,
С крутых скоряе гор дождевый ток катится,
Сильняе гром разит в высоки дерева,
Не терпит зла сего кротчайшая трава.
Тучнейшие тела скоряй болезнь примают,
Надменные звучняй громады упадают.
Услышишь наперед в богатых зданьях стон,
Но хижина и клеть дает приятный сон,
Ведет златые дни блаженного покою,
Довольна небольшим, довольна и собою.
Чем счастие своим приятством больше льстит,
Тем более бедой стращает и грозит.
Оно лишь только в том едином постоянно,
Что скорым колесом вертится беспрестанно.
Кто множество имел вчера его услуг,
Оставлен поутру, и упадает вдруг.

Но ты, о бездна бездн и алчная пучина,
Каких нелепых дел и бешенства причина!
Когда наполнишь ты несытую гортань?

Не столько во́ды, огнь, не столько люта брань,
Имений и богатств на свете истощила,
Как хищная твоя утроба поглотила.
Не мог тебя смирить ни Со́лон, ни Катон,
Не могут ни права́ закрыть пасть, ни закон.
Не Александр, но ты персидян одолела,
Не римляне, но ты срыть Карфаген велела.
В твою упадши сеть, исчезнул мудрый Кир,
Такую мзду берет тобой прельщенный мир!
Однако знатна часть блаженством называет.
Не весело ль тому, кто век в том провождает!
Накупит раков он, о, коль изрядный вкус!
Возможно б за один дать сто червонных ус,
Не стыдно за клешню имения лишиться,
За целого не жаль и с домом заложиться.
Он устерсы почтил для дорогости их,
Не зная, сладость в них отменна ль от других.

Для пестроты хвоста павлин чрезмерно вкусен,
Индейка или гусь смердит пред ним и гнусен.
Когда бы дорог стал лук, репа и сей здор,
Какой бы был на них от лакомцев разбор!
В какое толокно б их при́вело нищетство!
Проели бы на нем отцовское наследство;
От редьки столько бы умножилось долгов,
Что б век не выходить из тяжких им оков.

Как пищей плоть свою различной отягчает,
Так точно и питьем довольно награждает.
За здравие пьючи, сам здравие губит,
Однако он о сем гораздо инак мнит.
Он думает, что тот и крепче и сильняе,
В ком больше мокроты, кто толще и тучняе.
Сомнения в том нет, чтоб честь себе снискать,
Когда из брюха весь он будет состоять.
Надеждой сей прельщен, он не щадит напитков,
Имения не жаль и всех своих пожитков.
Он с жадностью такой вдруг начинает пить,
Как Бахуса б хотел всего в себя вместить.
Потом всех чувств своих совсем почти лишится,
Однако говорит: «Пусть кто со мной сразится!»

Не видит ничего, уже валится с ног,
Однако мнит, чтоб он тогда с Самсона смог,
И Гектора б сразил, низверг бы Ахиллеса,
С успехом бы напал хотя на Геркулеса,
Непобедимый Марс не страшен перед ним,
Ударом низложить он хвалится одним.

Но сколько храбр себе, пьян будучи, казался,
Поутру столько дряхл, с похмелья встав, остался,
Шумящего он лба не может приподнять
И членами, дрожа, не может управлять,
Расслабли уды все, болезнь отягощает,
Вчерашнее теперь веселье проклинает;
Не может ныне зреть, что прежде возлюбил,
Ругает и того, кто вкус в вине открыл.
Однако ж день спустя опять за то ж берется,
До тех пор нежит страсть, пока казна ведется.
Как всё сокровище роскошно погубит,
Никто не верит в долг, тогда он завопит:
«Нет правды в свете сем, о времена! о нравы!»
Как будто уже все нарушены уставы.
Он только слышал, что так Туллий говорил,
Однако пасть свою напрасно растворил:
Пристойно то сказать честно́му человеку,
Приличны те слова и Туллиеву веку,
Когда повсюду страх оружия звучал,
Как Катилина ков отечеству слагал,
Как Кесарь и Помпей в брань горькую вступили
И кровию граждан всю землю напоили;
Как пламенем войны сжигаем был весь свет,
Когда и Марс рыдал, смотря на лютость бед.

Но здесь не блещет меч, и наглости нет ныне,
Всё в сладкой тишине и безмятежном чине.
Итак не от чужих поступков, от своих
Презрение времен в таком родилось сих.

Не тот есть мой совет: один есть хлеб, пить воду,
Хотя и хлеб с водой довольны смертных роду,
Возможно нашу плоть сей пищей укрепить.
Смотри, случилось как Дари́ю воду пить,
Что тиною тогда и трупами смердела,

Однако он сказал, что верх доброт имела,
И сладше никогда напитка не вкушал,
Как видно, никогда он с жажды не пивал.
Не Ксерксу подражать в хотении прилично,
Кой в роскошь вдался так и сладость необычно,
Что превелику мзду и честь давал тому,
Кто роскошь находил новейшую ему.

Как во́зьмет в плен тебя желание слепое,
То счастие твое последует такое,
Как в быстрине морской плывуща корабля,
Ни якорей где нет, ни мачты, ни руля.

Почто мне вычислять пороки все людские,
Довольно без меня ругали их другие:
То смехом оказал всегдашним Демокрит,
Прискорбностью своей и плачем Гераклит.
Все циники хулой исправить покушались,
Однако в деле сем все тщетно упражнялись.
Намеренье мое в том только состоит,
Чтоб был к блаженству путь незнающим открыт.
Теперь я объявлю, его какое свойство:
В нем царствует всегда душевное спокойство,
И сердца тишина с веселием живет,
Нет скуки никакой, печали и сует.

Кто на земли так жизнь свою препровождает,
Не должно ли почесть, что в небе обитает?
Возможно ли его счастливее найти?
И не хотел ли б всяк вослед ему идти?
Препятствует ли что? о чем нам сумневаться?
Не выше смертных сил то должно почитаться,
Всё неусыпный труд возможет победить!
И Со́кратов пример нас может научить.
Кой был с природы туп, безмерно невоздержан,
Кой страсти все имел, всем сильно был подвержен,

Но тщанием его великие труды
Какие принесли потом ему плоды?
Нашелся ль кто ему в умеренности равен,
И был ли кто тогда толь мудростию славен?

Как камень при водах ярящихся стоит,
Удары их и шум, смеясь, ни во что чтит,
Как твердый дуб свой верх до облак простирает,
Стремление и рев бурь, вихрей презирает, —
Так он недвижим был волнением мирским,
И так шел напротйв желаниям плотскйм.
И многие ему подобны в свете были:
Все стоики так жизнь свою препроводили.
Не меньше Пифагор блаженства их достиг,
Не можно всех вместить в сей мой короткий стих.

Теперь рассмотрим мы то средство осторожно,
Которым получить спокойство духа можно.
Спокойны мы тогда, как скуки нет в сердцах,
Не каемся когда о сделанных делах.
Как делается всё по нашему желанью,
И к доброму дела идут все окончанью.
Когда свободен дух от наглости страстей,
Когда содержит ум во власти их своей.
Веселие тогда и радость ощущаем,
Когда какую вещь за благо принимаем.
И так блаженным тот возможет быть один,
Который над страстьми своими господин.
Имеет все дела свои с концем согласны,
И средствия к тому находит безопасны;
В чем худо и добро, искусно знает он,
И делает одно, что требует закон.
Что ж действия собой такие означают?
Не непорочну ль жизнь все купно составляют?
И непорочно есть блаженное житье,
В котором состоит всё счастие твое.
К сему нам надлежит пристанищу стремиться,
Здесь будем вечно мы в покое веселиться.
Не устрашит тогда ни молний быстрых блеск,
Ни мрачность грозных туч, ни громов ярый треск.
Среди огня, лучей, оружия и звуку
Невинность к нам прострет скрепляющую руку.
Хоть, с шумом сокрушась, вселенная падет,
Спокойну мысль и дух нимало не смятет.

⟨1755⟩

20—22. *БАСНИ*

1
СМЕРТЬ И ДРОВОСЕК

Нес старый дровосек велику дров громаду,
Чтоб хижину нагреть от бывшего в ней хладу;
От тягости труда и дряхлости стенал,
И древность лет своих во гневе проклинал.
Вдруг силы истощил и бросил с плеч дров кучу.
«О боже мой! — вскричал, — как сам себя я мучу!
Возможно ль жизнь снести такую не кляня?
На свете есть ли кто бессчастнее меня?
Детей моих со мной для службы разлучают,
И податью меня ж несносной отягчают.
Нередко хлеба нет, покою никогда.
Приди скоряе, смерть, приди скоряй сюда!
К тебе единой я прибежище имею,
И помощи просить кроме тебя не смею».
Немедленно она к нему вошедши в дверь,
Спросила: «Что велишь мне учинить теперь?»
— «Пожалуй, — отвечал, — не медли долго время
И помоги снести сие проклято бремя».

2
ВОРОН, ХОТЯЩИЙ ОРЛУ ПОСЛЕДОВАТЬ

Как Ворон на лету голодный усмотрел
Ягненка, что унес у пастуха Орел,
Такое ж учинить он дело не сумнился,
Хоть меньше сил имел, но жадностью сравнился.
Он к стаду полетел в надежде несомненной,
Что прилетит назад с добычей вожделенной.
Приметив, что баран пасется тучный там,
Кой в жертву посвящен давно уже богам,
Добрóтою его пленился чрезвычайно
И, лстяся, говорил такие речи тайно:
«О как воспитан ты среди зеленых трав!
Какой кус для меня!» И бросился стремглав.

Казался равен быть Орлу и в самом деле,
Но сколь пред сыром был баран ему тяжеле!
Запутавшись в его сгустившуюся шерсть,
Не мог ногтей своих удержанных разверзть.
Пастух его схватил веселою рукою
И в клетку засадил, чтоб детям был игрою.

Кто, не изведав сил, стремится ко всему,
Подобен должен быть тот Ворону сему.

8
ЛЕВ И КОМАР

Как некогда Комар обижен был от Льва,
Что говорил ему поносные слова.
Немедленно восстал за честь свою и славу,
Сказал: «Бранишь меня ты по какому праву?
Иль мнишь, что страшен мне, как подданным твоим?
Однако не страшусь я именем одним.
Ты покажи себя на деле предо мною».
Проговоря сие, Льва вызывает к бою.
К сраженью знак дает пронзительной трубой.
Вдруг барабанщик был, вдруг флейщик и герой.
Сначала строем стал, вдруг Льву влетел на шею
И столько наложил язв палицей своею,
Что учинилась в нем ужасна перемена:
В глазах горел огонь, в устах кипела пена.
Рыкает и во всех скрывается местах,
Вокруг его крик, стон, трясение и страх.
Но недоволен тем Комар был раздраженный,
Лев в тысячи местах еще был уязвленный.
Ревел, и сам себя в неистовстве терзал,
Рвал острыми когтьми, и в немощи упал.
Какое торжество тут поднял победитель!
Везде был сам своей победы объявитель.
Старался слуху всех то правило внушить,
Что малые могут сильнейших повредить.

⟨1755⟩

23—25. *ТРИ ЭПИТАФИИ НА СКУПОГО*

1

Я в жизнь мою имел богатство неисчетно,
Однако никому то не было приметно.
Не знаешь для чего? ответ я дам один:
Я был вещей моих слуга, не господин.

2

Земля и камень сей меня отягощает,
Однако тягость их то много облегчает,
Что прежде, как меня зарыли здесь в земле,
Я душу закопал любезную в котле.

3

Читатель, знай, что здесь зарыт лежит богаты,
Кой не дал ничего по смерть, не взявши платы.
Смотри, чтоб и с тебя не попросил чего,
Затем, что ты прочел надгробную его.

⟨*1755*⟩

26—28. *ТРМУРЕТОВЫ ЭПИГРАММЫ*

1

У древних баснь сия за правду утвердилась,
Что меж кипящих волн Венера в свет родилась;
Но может ли огонь производить вода,
Что внутрь сердец людских пылает завсегда?
Чего вам ожидать, любители плененны!
Когда вас жжет огонь и от воды рожденны.

2

Двоякий пламень жжет внутрь стихотворцев кровь,
В них действует огонь священный и любовь.

Так можно ли тому дивиться справедливо,
Что полной чашей пьют они вино и пиво?
Когда бы двух огней не утушали тем,
То должно бы сгореть давно пиитам всем.

*

Как солнце при дожже свой луч от нас скрывает,
Тогда невесел всяк и смутен пребывает;
Итак, что смутен я, почто дивишься ты,
Когда ты от меня луч скрыла красоты?

⟨*1756*⟩

29. ОВИДИЕВА ЭЛЕГИЯ

(In caput alta suum labentur ab aequore retro
Flumina, conversis Solque recurret equis et. c.)

Обратно потекут к своим вершинам вóды,
И солнце примет путь не тот, что в прежни годы.
Звездами будет вся испещрена земля,
И станут нá небе сохой орать поля.
Огонь родит вода, вода огнем родится,
Всё в стройном естестве в нестройность превратится.
Всё сбудется потом, чему не верил я,
Не мни, чтоб речь была неправедна сия,
Когда уж от того обманут я остался,
На коего со всей надеждой полагался.
Неверный! так ли ты любовь мою забыл!
Иль страх тебе зайти к поверженному был?
Чтоб посетить меня, утешить хоть словами,
И друга лобызать хоть лестными устами.
Иль имя дружества мерзит перед тобой,
И попираешь днесь своей его ногой?
Какой тебе был труд хотя умильным взором
Мою скорбь облегчить иль сладким разговором!
Хотя б ты не в слезах печаль явил о мне,
Но видом бы одним изобразил извне;
Хотя б ты раз сказал: прости, с народным гласом,
И жалость оказал о мне последним часом.

Но много из чужих без дружества всего
Являли во слезах знак сердца своего.
Иль не был сопряжен союзом я с тобою,
Случайно ль дружество произошло судьбою?
Не знал ли я твоих забав и важных дел,
Закрыты ль и мои я от тебя имел?
Не с тех ли самых пор, как в Риме мы
спознались,
Друг к другу для забав на всякий день
стекались?
Где делись те часы, и где минуты те,
Где верность ныне та в любезной простоте?
Не думаю, чтоб ты в сем городе родился,
С которым, роком злым, я вечно разлучился;
Конечно, меж морских камнистых берегов,
Или меж Скифских гор и Са́рматских холмов.
Не женщина тебя в младенчестве питала,
Но львица лютая свои сосцы давала.
Не сердце у тебя, но камень положен.
Или ты думаешь, я мало поражен?
Но, может быть, еще ты можешь извиниться,
И в верности не мог поныне премениться.
О! сделай, чтобы я опять тебя хвалил
Устами теми же, которыми бранил.

⟨1756⟩

30—32. *Загадки*

1

Не создал тот меня, кто создал всё от века,
Однако бытием я старше человека.
Я всеми видима, хотя не тело я,
К убогим и царям равна любовь моя.
То наперед иду, то назади бываю;
От мала в день один велико возрастаю.
Хоть я без глаз, могу бегущих догонять,
Но только никому меня нельзя обнять.

2

Ни рта, ни языка, ни горла не имею,
Однако говорить без трудности умею.
Но должно принуждать, чтоб нáчал я кричать,
А ежели не так, я стану век молчать.
То правда, что меня все чтут не за велико,
Но голосу дают почтение толико,
Что повинуется ему и князь и граф.
Ослушники его жестокий терпят штраф.

3

Есть братьев у меня великое число,
Которые одно имеют ремесло.
На них я не похож, и самый меньший брат
Молодший старшего сильняе в восемь крат.
Я всех бессильнее, когда один счисляюсь,
Но если к одному из братьев прилепляюсь,
Я больше в девять раз прибавлю сил его;
Как братьев нет при мне, не стóю ничего.
Фигура, говорят, моя всесовершенна;
Но чтоб была она в другую превращенна,
Ученых многие пот пролили трудов,
Однако не нашли доднесь к тому следов.

⟨1756⟩

33–40. *ОВЕНОВЫ ЭПИГРАММЫ*

1

ПРОРОКИ, СТИХОТВОРЦЫ

Пророки говорят о будущем правдиво,
А стихотворцы все и о прошедшем лживо.

2

СМЕРТЬ

Не спрашивай меня о смерти ничего,
Я не был мертв еще от роду моего.
Тогда спроси меня о знатной сей особе,
Как буду я лежать, мертв будучи, во гробе.

3

МУЖ С ЖЕНОЮ

Как несогласны мы, для нас мал целый двор,
Согласным на одной постеле нам простор.

4

ЧЕЛОВЕК

Ты с плачем родился, знать, не хотел рождаться,
Почто ж, о человек, от смерти так чуждаться?

5

НА ПЛЕШИВОГО

Не мог я никогда сочесть волос своих,
Не мог и ты своих затем, что нету их.

6

МУЖ

Я взял жену себе, женой другой владеет,
Подобно мед пчела не для себя имеет.

7

ПРЕЛЮБОДЕЙ

Я сделал сих детей, не я слыву отец,
Так и овечья шерсть не служит для овец.

8

ЗАДАЧА О РОГАХ

Когда жена моя для многих торовата,
Отнюдь греха мне нет, она в том виновата.
Почто же мне рога становят без вины?
Конечно, для того, что муж глава жены.

⟨*1756*⟩

И. С. БАРКОВ

Сын священника, Иван Семенович Барков (1732—1768), поступил в 1743 году в Славяно-греко-латинскую семинарию при Александро-Невском монастыре в Петербурге и проучился в ней пять лет, дойдя до класса пиитики. Когда стали в 1748 году отбирать семинаристов для Академического университета, шестнадцатилетний Барков сам явился к Ломоносову и попросил помочь ему поступить в университет. Ломоносов проверил его уменье переводить с латинского на русский и написал в своем донесении в Академию наук, что Барков «имеет острое понятие и латинский язык столько знает, что он профессорские лекции разуметь может».[1] Барков был зачислен в Академический университет, и на февральских экзаменах 1750 года были отмечены его успехи в латыни. Вскоре дал себя знать его «веселый и беспечный нрав». За участие в студенческих попойках и дерзости начальству Барков был из университета исключен и переведен в наборщики Академической типографии. На некоторое время его даже заковали в кандалы. Когда Барков успокоился и стал держать себя «тихо, смирно и кротко», ему разрешили посещать университетские лекции и обучаться у профессора С. П. Крашенинникова «российскому штилю».

В 1753 году Баркова по его просьбе перевели из наборщиков в копиисты Академической канцелярии. В качестве копииста Барков в 1755 году дважды переписал «Российскую грамматику» Ломоносова, в 1759 году ходил к нему же на дом для переписки «Российской истории».

Скудное жалованье копииста и кутежи часто приводили Баркова в состояние полной нищеты, и он жаловался в Академию наук, что «не токмо самых нужнейших вещей, как-то рубах и штанов и

---

[1] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. 9, М. — Л., 1955, с. 440.

обуви, в чем при деле моем можно было мне находиться, но и совсем никакого пропитания не имею».[1] Написанная им в 1762 году ода на день рождения Петра III способствовала улучшению его денежных дел. По приказу президента Академии наук К. Г. Разумовского он был назначен академическим переводчиком с жалованьем 200 рублей в год. При этом в приказе давалась высокая оценка литературных его способностей: «Барков, сочиненною ныне одою... также и другими своими трудами в исправлении разных переводов оказал изрядные опыты своего знания в словесных науках и делам способности, а при том обещался в поступках себя совершенно исправить».[2]

Баркову, как известному любителю сатиры и автору сатирических стихов, Академия наук поручила подготовку текста и составление биографии Кантемира. Это первое русское издание Кантемира вышло в 1762 году. Вслед за «Сатирами» Кантемира Барков в 1763 году издал в своих собственных переводах «Басни» Федра и «Сатиры» Горация. Издание «Басен» Федра имело отчасти и учебное значение: кроме русского стихотворного перевода в книге был помещен и латинский текст басен. В своих переводах Федра Барков следовал Ломоносову, его манере точной передачи басенного сюжета, без всякого подчеркивания комического элемента. Свой перевод Горация Барков стремился русифицировать, избегая специфически римских деталей, мало понятных русскому читателю, либо поясняя их реалиями отечественного быта или русскими пословицами. Обширные примечания, подобно примечаниям Кантемира к его «Сатирам», должны были облегчить понимание «Сатир» Горация. Сверх того, переводчик пытался высказать в них собственные мнения о некоторых существенных социальных проблемах, например об угнетении крестьян или сословном неравенстве вообще.

Одновременно с литературно-издательской и переводческой работой Барков занимался составлением и переводом учебников по истории, подготовкой к печати летописи Нестора. Вся эта литературно-научная работа была прервана внезапным увольнением из Академии наук в 1766 году. Как и чем жил после этого Барков — неизвестно. Он умер через два года при неизвестных обстоятельствах.

---

[1] Е. С. Кулябко и Н. В. Соколова, И. С. Барков — ученик Ломоносова. — «Ломоносов. Сборник статей и материалов», VI, М.—Л., 1965, с. 194.
[2] Там же, с. 195.

Скромная деятельность Баркова — переводчика и публикатора не принесла ему и сотой доли той известности, какую завоевали ему «непечатные» стихи.

Его «срамные» стихи широко расходились в списках еще в начале XIX столетия и обеспечили их автору прочную, хотя и сомнительную по своему характеру известность. Позднее Барков стал именем, вокруг которого циклизировались порнографические произведения любителей этого жанра, вроде переделки «Горя от ума», породившие понятие «барковщина» (оно обозначало определенный сорт сочинений, уже не имевших к литературе никакого отношения).

Между тем и Н. И. Новиков и даже Карамзин воспринимали «непечатные» стихи Баркова как бесспорно литературное явление. В своем «Опыте исторического словаря о российских писателях» (1772) Новиков говорит о Баркове: «...писал много сатирических сочинений, переворотов, и множество целых и мелких стихотворений в честь Вакха и Афродиты, к чему веселый его нрав и беспечность много способствовали. Все сии стихотворения не напечатаны, но у многих хранятся рукописными... Вообще слог его чист и приятен, а стихотворные и прозаические сатирические сочинения весьма много похваляются за остроту». [1]

Карамзин включил Баркова в «Пантеон российских авторов» (1802) и, в сущности, перефразировал новиковскую оценку. По его мнению, Барков «более прославился собственными замысловатыми и шуточными стихотворениями, которые, хотя и никогда не были напечатаны, но редкому неизвестны. Он есть русский Скаррон и любил одни карикатуры». [2] За тридцать лет, разделяющие эти два мнения о Баркове, слава его не уменьшилась, но общая оценка изменилась. Карамзин заканчивает свою заметку о Баркове следующим критическим замечанием: «Барков родился, конечно, с дарованием, но должно заметить, что сей род остроумия не ведет к той славе, которая бывает целию и наградою истинного поэта». [3]

Современному читателю не следует представлять себе Баркова каким-то литературным уродом и необыкновенным явлением в русской поэзии 1750—1760-х годов. Он вовсе не был единственным автором подобных произведений. Новиков свидетельствует, что «шуточные стихотворения и перевороты» писали А. А. Аблесимов,

---

[1] Н. И. Новиков, Избр. соч., М.—Л., 1951, с. 283—284.
[2] Н. М. Карамзин, Избр. соч., т. 2, М.—Л., 1964, с. 167.
[3] Там же.

А. Е. Олсуфьев и другие; И. Е. Елагин и Барков соревновались в переводе «Оды к Приапу» Пирона — одного из наиболее прославленных в своем роде произведений французской поэзии.

Фривольные стихи Баркова и других поэтов того времени воспринимались как явление литературы и имели явно выраженную цель: пародирование серьезных литературных жанров, особенно жанров высоких — трагедии, оды, притчи, сатиры. Как особая отрасль литературы пародийная «перелицовка» серьезных жанров существовала во всех европейских литературах XVII—XVIII веков. Самая возможность комической «перелицовки» героических или любовных сюжетов является свидетельством прочности той литературной системы, внутри которой она происходит. Именно ощущение стойкости жанровых рамок и ограниченности жанра определенными эстетическими условиями придает литературную остроту «шутливым» стихотворениям, которые существуют только на хорошо известном читателю жанровом фоне.

«Веселый нрав и беспечность», о чем писал Новиков, создавали Баркову скандальную известность, отголосками которой являются многочисленные анекдоты, в основном литературного содержания. Анекдоты эти заслонили подлинный облик поэта и его действительную роль в литературе своего времени.

41. ОДА КУЛАШНОМУ БОЙЦУ

1

Гудок, не лиру, принимаю,
В кабак входя, не на Парнас;
Кричу и глотку раздираю,
С бурлаками взнося мой глас:
«Ударьте в бубны, в барабаны,
Удалы, добры молодцы!
В тарелки, ложки и стаканы,
Фабричны славные певцы!
Тряхнем сыру землю с горами,
Тряхнем синё море ..... !»

2

Хмельную рожу, забияку,
Драча всесветна, пройдака,
Борца, бойца пою, пиваку,
Широкоплеча бурлака!
Молчите, ветры, не бушуйте!
Внемлите, стройны небеса!
Престаньте, вихри, и не дуйте!
Пою я славны чудеса.
Между кулачного я боя
Узрел тычков, пинков героя.

3

С своей Гомерка балалайкой
И ты, Вергилишка, с дудой,
С троянской вздорной греков шайкой
Дрались, что куры пред стеной.
Забейтесь в щель и не ворчите,
И свой престаньте бредить бред,
Сюда вы лучше поглядите!
Иль здесь голов удалых нет?
Бузник Гекторку, если в драку,
Прибьет, как стерву и собаку.

4

А ты, Силен, наперсник сына
И смелый, ражий, красный муж;
Вином раздута животина,
Герой во пьянстве жадных душ,
Нектаром брюхо наливаешь,
Смешав себе с вином сыты,
Ты пьешь, — меня позабываешь,
Пить не даешь вина мне ты.
Ах, будь подобен Ганимеду:
Подай вина мне, пива, меду!

5

Вино на драку вспламеняет,
Дает оно в бою задор,
Вино ... разгорячает,
С вина смелее крадет вор.
Дурак напившися — умнее,
Затем, что боле говорит;
Вином и трус живет смелее,
. . . .
. . . .
Вином гортань, язык вещает!

6

Хмельной бакхант и целовальник,
Ты дал теперь мне пять крючков,
Буян я сделался, нахальник,
Гремлю уж боле я сверчков;
Хлебнул вина, разверзлась глотка,
Вознесся голос до небес,
Ревет во мне хмельная водка,
Шумит дубрава, воет лес,
Трепещет твердь и бездна бьется,
Далече вихрь в полях несется.

7

Восторгом я объят великим,
Кружится буйно голова.
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

8

Со мной кто хочет видеть ясно,
Возможно зреть на блюде как
Виденье страшно и прекрасно,
Взойди ко мне тот на кабак,
Иль став где выше, на карету,
Внимай престрашные дела,
Чтоб лучше возвестити свету,
Стена, котора прогнила,
Которая склонилась с боем,
Котора тыл дала героям!

9

Между хмельнистых лбов и рдяных,
Между солдат, между ткачей,
Между холопов бранных, пьяных,
Между драгун, между псарей
Алешку вижу я стояща,
Ливрею синюю спустив,
Разить противников грозяща,
Скулы имея, взор морщлив,
Он руки сильно простирает,
В висок ударить, в жабры чает.

10

Зевес с сердитою биткою,
По лбам щелкавши кузнецов,
Не бил с свирепостью такою,
С какой он стал карать бойцов:
Раскрасивши иному маску,
Зубов повыбрал целый ряд,
Из губ пустил другому краску,
Пихнул его в толпу назад.
. . . .
. . . .

11

. . . .

12

Сильнейшую узревши схватку
И стену, где холоп пробил,
Схватил с себя, взял в зубы шапку,
По локти длани оголил.
Вскричал, взревел он страшным ревом:
«Небось, ребята! Наши, стой!»
Земля подвиглась, горы с небом,
Принял бурлак тут бодро в строй,
Уже камзолы уступают,
Уже брады поверх летают.

13

Пошел бузник тут, смежив вежды,
Исчез от пыли свет в глазах,
Летят клочки власов, одежды,
Гремят щелки, тузы в боках.
Как тучи с тучами сперлися,
Огнем в друг друга мещут мрак,
Как сильны вихри сорвалися,
Валят древа, туманят зрак!
Стена как в стену ударяют,
Меж щек, сверх глав тычки летают.

14

О, бодрость! сила наших ве́ков!
Потомков дивные дела!
О, храбрость пьяных человеков,
Вином скрепленные чресла!
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

15

Бузник подобен Геркулесу,
Вступил в размашку, начал пхать,
И самому так ввек Зевесу
Отнюдь . . . . не качать!
Кулак везде его летает,
Крушит он зубы внутрь десен,
Как гром он уши поражает,
Далече слышен вой и стон,
Трепещет сердце, печень бьется,
В портках с потылиц отдается.

16

Нашла коса на твердый камень,
Нашел на доку дока тут,
Блестит в глазах их ярость, пламень,
Как страшны оба львы ревут.
Хребты имеющи согбенны,
Претвердо берцы утвердив,
Как луки мышцы напряженны,
Стоят, взнося удар пытлив,
Друг друга в силе искушают,
Махнув вперед, вдруг в бой вступают.

17

Не долго длилася размашка,
Алешка двинул в жабры, в зоб,
Но пестрая в ответ рубашка
Лизнул бузник Алешку в лоб.
Исчезла бодрость вмиг, отвага,
Как сноп упал, в крови лежит.
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

18

На падшего бузник героя
Других бросает, как ребят.
Его не слышно стона, воя,
Бугры на нем людей лежат.
Громовой . . . . так Юпитер,
Прибив гигантов, бросил в ад;
Надвигнув Этну, юшку вытер,
Бессилен ставши, Энцелад,
Он тщетно силы собирает,
Трясет плечьми и тягость пхает.

19

Как ветр развеял тонки прахи,
Исчезли дым, и дождь, и град;
Прогнали пестрые рубахи
Так вмах холопей и солдат!
Хребты, затылки окровленны,
Несут они с собою страх.
Фабричны вовсе разъяренны,
Тузят в тычки их, в след, в размах!
Меж стен открылось всюду поле,
Бузник не зрит противных боле.

20

С горы на красной колымаге
Фетидин скачет сын уж вскок,
Затем, что ночь провел в отваге,
Фату развесил иль платок:
Тем свет и море помрачились.
А он с великого стыду,
Когда Диана заголилась,
. . . .
Тогда земля оделась тьмою,
И тем конец пришел для бою.

21

Главу подняв, разбиты нюни,
Лежа в пыли, прибиты в пух,
Холопов плач и скрасны слюни,
Взносили к небу жалкий дух.
Фабричны славу торжествуют,
И бузника вокруг идут,
Кровавы раны показуют,
Победоносну песнь поют,
Гласят врагов ступленно жало,
Гулять восходят на кружало.

22

Уже гортани заревели,
И слышен стал бубенцев звук,
Уже стаканы загремели
И ходят сплошь из рук вокруг.
Считают все свои трофеи,
Который что в бою смахал,
Уже пошли врасплох затеи,
Иной плясать себя ломал,
Как вдруг всё зданье потряслося,
Вино и пиво разлилося.

23

Не грозна туча, вред носивши,
В эфир внезапно прорвалась,
Не жирна влажность, огнь родивша,
На землю вдруг с небес снеслась:
Солдат то куча разъяренных,
Сбежав с верхов кабацких вмах,
Мечей взяв острых, обнаженных,
Неся эфес в своих руках,
Кричат, как тигры устремившись:
«Руби, коли!» — в кабак вломившись.

24

Тревога грозна, ум мятуща,
Взмутила всем боязнь в сердцах,
Бород толпа, сего не ждуща,
Уже взнесла трусливо шаг,
Как вдруг бузник, взывая смело,
Кричит: «Постой, запоры дай!»
Взгорелась брань, настало дело,
«Смотри, — кричит, — не поддавай!»
Засох мой рот, прошла отважность...
. . . .

Конец 1750 — начало 1760-х годов

42. ОДА

НА ВСЕРАДОСТНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА БЛАГОЧЕСТИВЕЙШЕГО ГОСУДАРЯ ПЕТРА ФЕОДОРОВИЧА, ИМПЕРАТОРА И САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО И ПРОЧ. И ПРОЧ. И ПРОЧ.

Восстань, Россия, оживляйся,
Оставь в сей день печаль твою,
Отерши слезы, утешайся,
Петрово рождество пою,
Великого монарха внука;
Прочь вся сердечна боль и мука,
Дух томный, бодро воспряни,
Воздав усердный долг богине,
Которой мы лишившись ныне,
В тумане ясны видим дни.

Се зрим сияющего в славе
Героя храбра и отца,
И крепости его державе
Желаем вечной от творца;
Да будет оная толика,
Петрова милость сколь велика,
Сколь к подданным любовь ясна.
Елисавете в том подобен,
Монарх наш кроток, щедр, незлобен,
О всех печется, как она.

Великий Петр на то родился,
Чтоб, вечно славой восхищен,
Весь свет делам его чудился;
А ты, монарх, к тому рожден,
Чтоб, россов тишину с блаженством
Твоим умножив долгоденством,
Врагам был страшен, как и дед.
Благополучны мы тобою,
Хоть к вечному прешла покою
Великая Елисавет.

Подверженны пременам, твари
Живут и кончат бытие;
Но те бессмертны государи,
Которых славно житие.
Мы жизнь летящу человека
Не мерим долготою века,
Но славою полезных дел;
Коль паче славны и велики
Те чтутся на земли владыки,
О коих промысл сам радел.

Потщился бы дела представить
Петра Великого я здесь;
Но по достоинству прославить
Бессилен дух, слаб разум весь.
Вожди в войнах неустрашимы,
От древних бывши возносимы,
Прияли божескую честь;
Что, если б Петр жил в оно время,
За тяжкие труды и бремя
Какой могли б хвалой вознесть?

Истории мужей преславных
Заслуги в вечность предают;
С Петром иметь не могут равных,
Что все бесстрастно признают.
Он после дел своих чудесных
Сияет во странах небесных,
Затмив языческих богов.
В созвездии с ним дщерь едином,

Украсив небо новым чином,
Российских просветят сынов.

Щедрот храм, милостей, любови
Воздвигнем оным божествам
В сердцах к Петровой верных крови,
Которые являли нам.
Ко алтарям их светозарным
С воспоминаньем благодарным
Предпримем мысленный наш путь.
Там, жертвуя душам блаженным,
Докажем сердцем сокрушенным,
Что скорбь пронзила нашу грудь.

Пронзила, обновивши раны,
Которые в слезах несли,
Как, роком горестным попранны,
К Петрову гробу мы текли.
По долгой нашей с ним разлуке
Воскрес герой в прехрабром внуке;
Ликуй, Россия, восплещи!
С весельем, юные и стары,
Приять щедрот обильны дары
Потщитесь к трону притещи.

Крепка и щедра вдруг, десница
Защи́тит всех и сохранит,
И око быстро не на лица,
Но на сердца людей воззрит;
Ущедрит купно и прославит,
И падших от земли восставит
Чрез милость, правоту и суд,
Даст образ правды чрез законы
И всё исполнит без препоны,
В чем принял Петр великий труд.

Премудрых дел твоих в початках
Мы образ зрим и дух Петров;
Един устав во всех порядках
Ты с ним, монарх, хранить готов.
Хранишь и делом исполняешь,

И подданных любовь питаешь,
Которою к тебе горят.
Всех мысли и сердца стремятся,
Чтоб с верностью повиноваться,
И всех уста благодарят.

Се пред исправными полками
Тебя зрю в поте и труде;
Но отягченного делами
На кротком вижу вдруг суде.
Искусства там примеры редки,
Здесь живо милосерды предки
В щедротах вобразились нам.
Отринув строгую неволю,
Влил ревность чрез счастливу долю
К усердной службе всем рабам.

Труд удивления достоин,
И милость всех честняй похвал!
Един монарх судья и воин,
Един в двух лицах просиял.
Петра великого геройством,
Щедротой, кротостью, спокойством
Являешь ты, Елисавет.
Натура чудо днесь открыла,
В тебе слиянны, два светила
Дают России больший свет.

Объятым страшной мглой печали,
Открылась ясность нам в ночи,
Когда пресветлы воссияли
От твоего венца лучи,
Весна среди зимы настала,
Заря багряна облистала
И облачный прогнала мрак.
Как после дней ненастных летом
Всё греет солнце ярким светом,
Так твой живит нас в скорби зрак.

Приятного краснейший крина
Цветет и спеет грозд младый;

С Петром найдет Екатерина
В нем всех сладчайшие плоды.
Как жатель, собирая класы,
На зиму новые припасы
Готовит и питает дом, —
Россия так не оскудеет,
Доколе внук Петров владеет
С возлюбленным его плодом.

Чудяся, видит, восхищенна,
В нем быстрый ум и свет наук;
Ее надежда несомненна,
Что в Павле будет дед и внук.
Чрез остроту природы сила
В цветущей юности открыла,
Что может произвесть собой:
С наукой обще добродетель
Неложный россам есть свидетель,
Что мудрый будет он герой.

Надежда наша есть не тщетна,
В желаниях мы зрим успех;
Твоя к нам милость неисчетна,
Источник, боже, всех утех.
Сложив печали тяжко бремя,
Храни вовек Петрово племя,
Как деда с дщерию хранил.
Красуйся, Петр с Екатериной,
Что сей дражайший день причиной
Российского блаженства был!

Начало 1762

43. ⟨ПОСВЯЩЕНИЕ Г. Г. ОРЛОВУ⟩

Не пользу са́тир я хвалами возношу,
Но милостиво труд принять в покров прошу,
Когда нет ничего на свете толь худова,
В чем к пользе не было б служащего ни слова.
Находит нужное во всячине пчела,
Чтоб для себя и всех составить мед могла:

Иному польза, смех милей другому хлеба;
Двояка в сáтирах содержится потреба:
Злых обличение в злонравии и смех,
В котором правда вся, без страха, без помех,
Как в зеркале, чиста представлена народу.
Дают ту сáтирам все честные свободу,
У коих всё лице наруже, пятен нет;
Злонравный лишь один то дерзостью зовет.
Когда любовные стихи увеселяют,
Что в нежные сердца соблазны вкореняют,
Не могут через то противны людям быть,
Но каждый похвалу тем тщится заслужить,
Что двадцать раз в стихах напишет вздохи, слезы,
Не зная, что одни сто раз твердятся грезы,
Лишь только виден в них приятных слов прибор.
Хоть щеткою бы кто, хоть веником мел сор,
Но всякий бы сказал, что с полу сор сметает;
Так точно и слова любовник размножает,
А сила в множестве содержится одна.
Сатирику от муз свобода та дана,
Чтоб племя исправлял чрез умный смех развратно,
Лишь тщетно б об одном не говорил стократно.
Лишила вольности политика в наш век,
Чтоб не был укорен на имя человек,
Как в древни времена то делали пииты,
Чрез коих всякого пороки въявь открыты.
Не только ж в книгах злых значáтся имена,
Но и поступка их народу знать дана,
Затем, что действом их пороки представлялись,
Дабы охотнее от оных воздержались.
Бумажка ничего не сделает у нас,
Хотя бы страсти в ней описывать сто раз,
Лишь видя в ней себя порочный, как в зерцале,
Вдруг бросит, побежит он сам смеяся дале.
Когда и строгостью нельзя глупца унять,
То может ли такой стыд с совестию знать?
Примером могут им служить такие лица,
Которых к честности вела творца десница,
Изящностию всех украсила доброт
И добродетелью прославила их род;
А милость нашея защитницы и сила
В сердцах их оную сугубо утвердила,

И, в безопасный взяв Россию всю покров,
Хранит и милует, законы вводит вновь.
Вы ж, исполнители премудрых повелений,
Даете образ, как избегнуть преступлений
И добродетельно на свете людям жить,
Чтоб общей матери могли угодны быть.
Счастливей для меня тем будут и сатиры,
Когда не презришь ты Горациевой лиры.

⟨*1763*⟩

44. САТИРА VIII КНИГИ ПЕРВОЙ ГОРАЦИЯ ПРИАП[1]

Пень фиговый я был сперва, болван бесплодный;
Не знал и мастер сам, к чему б я был пригодный,
И ска́мью ли ему построить иль божка?
Приапа сделала художная рука.
С тех пор я, став божком, воров и птиц пугаю;
Имея в правой жердь руке, тех отгоняю,
Стращаю наглых птиц лозою от плодов,
Чтоб, роя семена, не портили садов,
На Эсквили́нском вновь пространстве насажденных,[2]
Где трупов множество бывало погребенных.
На те места рабы товарищей своих,
Из хижин вынося, бросали там худых.
То было общее кладбище бедной черни:
Скончавший Номентан жизнь в мотовстве и зерни,
И Пантолав, кой был известный мот и шут,[3]
Как тот, так и другой лежат зарыты тут.
Обширность места вся на плите означалась,[4]

---

[1] Стихотворец представляет в сей сатире Приапа, который поставлен был в Эсквилинских садах, жалующегося, что не столько обеспокоивают его воры и птицы, как ворожеи, в том месте для колдовства собирающиеся.

[2] Эсквилами называлась гора и село в Риме, где был замок римского царя Тулла Гостилия; после на том месте погребались рабы и подлые люди, где напоследок Меценат для здравого воздуха развел сады.

[3] Сии оба, расточив имение свое, погребены в Эсквилах, которые можно по-нашему назвать *убогим домом*.

[4] На плите означалось все пространство погребального места, которое имело в ширину тысячу, а в длину триста саженей; при том и завещание умершего.

Квинта Горація Флакка

САТИРЫ

или

БЕСѢДЫ

СЪ ПРИМѢЧАНІЯМИ,

съ Латинскаго языка

преложенныя

Россійскими Стихами

Академіи Наукъ Переводчикомъ

Иваномъ Барковымъ.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ

При Императорской Академіи Наукъ. 1763 года.

И вдоль и поперек в пределах заключалась,
И было сверх того иссечено на ней,
Безродный что голяк зарыт в могиле сей.
А ныне может жить в Эсквилах всяк по воле,
На хо́лме в ясны дни гулять и ровном поле.
Печальный всюду вид дотоле зрелся там,
И кости лишь по всем валялися местам.
Не столько птицы тут досадны мне и воры,
Сколь яд волшебниц злых, шептанья, наговоры,
Которыми они тревожат дух людей.
Нельзя никак прогнать прелютой язвы сей:
Как скоро солнце зрак, скончав бег, скроет в понте,
Блудящая луна взойдет на горизонте,
Сбирают зелия и кости для вреда.
Я видел, как пришла Канидия туда, [1]
Вся растрепав власы, в нелепости безмерной,
И препоясана была в одежде черной,
И ноги зрелися босые у нея.
Вдруг после страшного с Саганою вытья,
Являя с ужасом бледнеющие хари,
Драть землю начали ногтьми волшебны твари,
И зубом растерзав потом они овна,
На коем черная везде была волна,
Кровь в яму испущать ископанную стали,
Чтоб духи собрались и им ответы дали.
Личины ими две туда ж принесены,
Которы сделаны из воску и волны;
Последняя была сильняе первой многим,
Хотевшая карать мученьем слабу строгим.
Из воску сделанна стояла перед той,
Как рабским образом терпящая рок злой.
Едина Ге́кату на помощь призывала,
Другая лютую Тизи́фону склоняла. [2]
Змеям подобны те и адским зрелись там,
И самая луна разделась, зря сей срам,
И скрылась, чтоб таких не видеть злодеяний.
А если лгу, глаза пусть выклюют мне враны,

---

[1] Канидия и Сагана, о которой ниже в сей сатире упоминает, суть имена волшебниц.

[2] Гекатою называлась Прозерпина; а Тизифоною одна из трех адских фурий.

И пусть достануся на всякий я позор,
Чтоб Юлий, Педиа́т, Воран ругался вор.[1]
Что ж все упоминать проказы злых явлений,
Как, проницательно жужжа, с Саганой тени
Плачевный делали и чуткий звук в ушах,
Который всякому навел бы сильный страх,
Как волчью морду те злодейки хоронили,[2]
И с нею вместе зуб змеи в земле зарыли,
Как, растопившись, воск умножил пламя вдруг,
И как я, видя то, сих устрашил подруг?
Отмстил, пресекши тех с делами фурий речи:
Сколь громко лопает воловий иль овечий,
Когда надут пузырь и сильно напряжен,
Столь громко фиговый расседшись треснул пень.
Тем сделался конец волшебству их и злобе;
Кани́дья бросились с Саганой в город обе.
От треску выпали все зубы вон у той,
У сей спал с головы парик ее большой,
И ядовитые из рук упали травы.
Довольно было тут и смеха и забавы,
Когда б кто на сие позорище смотрел,
Премного бы, чему смеяться, тот нашел.

⟨1763⟩

45–49. *БАСНИ ФЕДРА*

1

ЛЯГУШКИ, ЦАРЯ ПРОСЯЩИЕ

Повольные имев афиняне уставы,
По воле жили все и управляли нравы,
И свергли прежнюю продерзостью узду.
Сим средством ту нашли за своевольство мзду,
Что Пизистрат тиран, взяв власть чрез сонм мятежных,
О вольности их ввек оставил безнадежных.

---

[1] То есть, если я говорю неправду, то пусть всякий бездельный и негодный человек мне насмехается.

[2] В деревнях привешивали над дверьми волчью морду, будто тем от порчи избавлялись, так, как у нас в хлевинах лапоть вешают.

Когда афинян род под игом сим стенал
И в горе на судьбу класть пени начинал,
Хотя не поступал он с гражданами злостно,
Но не обыкшим всё казалося несносно;
Езоп такую баснь сказал на случай тот.

Лягушки подняли вопль сильный из болот,
Прося, чтоб Юпитер их в нужде не оставил
И шатки, дав царя, обычаи исправил.
С усмешкой их мольбу отец богов внушил
И небольшой для них осколок ниспустил,
Который, в лужу пав в нечаянное время,
Незапным стуком в страх привел пужливо племя.
Приметив, что давно лежит в илу лентяй,
Одна всплыла наверх тихонько невзначай
И, высмотрев царя, встревожила всю лужу.
Лягушки, выплывши без ужаса наружу
И смело наскакав, ругались над щепой.
Меж тем, чтоб послан был правитель им иной,
Послали к Иовишу с прошеньем дерзки жабы,
Затем, что данный был для них негож и слабый.
Тогда владетеля Дракона жабам дал,
Кой лютым зубом всех по одиначке рвал;
Спастися робкие вотще они хотели
И, в страхе онемев, разинуть рта не смели.
Через Меркурия просили втай затем,
Чтоб Юпитер помог им в крайнем бедстве сем.
На то божок сказал: «Теперь сносите ж злаго,
Коль доброго царя не приняли за благо».
«И вы, — рек, — граждане, сие терпите зло,
Чтоб горшее еще постигнуть не могло».

2

ВОЛК И ЖУРАВЛЬ

Двояко тот грешит, кто мзды от злых желает,
Что недостойным он услуги содевает,
Потом и сам едва избегнуть может зла.

От поглощенного страдая Волк мосла,
Великую сулил дать всякому награду,
Кто б сделал от беды, кость вытащив, отраду.

Дав клятву Журавлю, к тому глупца склонил,
Что в волчью долгий нос пасть для цельбы вложил.
Как платы требовал Журавль противу ряды,
«Так разве думаешь, что мало той награды,
Что не отгрыз, — сказал Волк, — шеи за труды,
А ты еще, глупец, бесстыдно просишь мзды?»

3

ПРЕСТАРЕЛЫЙ ЛЕВ, ВЕПРЬ, ВОЛ И ОСЕЛ

Кто, прежнего лишась достоинства, стал бедным,
Бывает тот в посмех негодным и последним.

Достигши старости глубокой, дряхл Лев стал
И, лежа слаб, конца последнего уж ждал.
Свирепый Вепрь явил над жалким лютость яру,
Прибег и поразил, мстя за обиду стару.
Направил на него ж и Вол свои рога
И тяжко уязвил жестокого врага.
А наконец, когда Осел сие увидел,
Что безопасно всяк противника обидел,
Копытами в чело ударил Льва и он.
Тут Лев отчаян рек, как выходил дух вон:
«Когда и сильные дерзали что противно,
То и того не мог сносить я терпеливно;
Теперь что от Осла терпеть Лев принужден,
Двукратно, кажется, тем живота лишен».

4

ПЕТУХ К НАЙДЕННОЙ ЖЕМЧУЖИНЕ

Попалась Петуху жемчужина драгая,
Когда в сору́ искал он корму, разгребая.
«Сколь драгоценна вещь, да где лежишь! — сказал. —
О! если бы тебя кто знающий сыскал,
Была бы в прежней ты чести́, а мне некстати,
Кой более всего пекуся корм достати.
Почто ж нашел, коль в том нет пользы и самой?»

Внимай, кто силы притч не знает сих прямой.

5

ЛИСИЦА И ВИНОГРАДНАЯ КИСТЬ

Был в брюхе у Лисы от глада зуд жестокий,
И прыгая она на виноград высокий,
Всей силой ягод кисть старалася сорвать,
А как не удалось ей оную достать,
То с грусти, отходя, бессчастная сказала:
«Возможно ль, чтобы есть незрелую я стала!»

Кто за безделку чтет, что трудно произвесть,
Тот долженствует сей прилог к себе причесть.

⟨1764⟩

50—67. *ДИОНИСИЯ КАТОНА ДВУСТРОЧНЫЕ СТИХИ О БЛАГОНРАВИИ К СЫНУ*

1

УБЕГАТЬ СОНЛИВОСТИ

Будь больше бодр всегда, чтоб сном не отягчаться;
Излишний сон дает порокам вкореняться.

2

ВОЗДЕРЖИВАТЬ ЯЗЫК

Честь главна — рот держать во обузданьи строгом;
С рассудком кто молчит, живет в союзе с богом.

3

С ДУРАКАМИ И БОГ НЕ ВОЛЕН

С вралями слов не трать, коль их по ветру веют;
Речь все, а свет ума не многие имеют.

4

ПОРОК ПОДОЗРЕВАНИЯ

Кто шепчет, не бреги; всяк в совести неправый
Мнит, что у всех о нем есть разговор лукавый.

5

ДЕТЕЙ НАУКАМ ОБУЧАТЬ

Тщись обучать детей, коль жизнь ведешь убогу;
Учение подаст им в бедности подмогу.

6

ВСЯКОМУ УСЛУГИ ОКАЗЫВАТЬ

И к незнакомым добр тщись быть из благодарства;
Услугами снискать дру́гов полезней царства.

7

УБЕГАТЬ ГНЕВЛИВОСТИ

Не зная дела вточь, не спорь с великим жаро̀м;
Не может истины зреть ум во гневе яром.

8

ОТ РОСКОШИ ЗАВИСТЬ РОЖДАЕТСЯ

Чрезмерну роскошь брось; родится зависть злостна,
Которая хотя не вредна, но несносна.

9

НЕ МАЛОДУШСТВОВАТЬ ДЛЯ НЕПРАВОГО СУДА

Не унывай чрез суд обиженный неправый;
Неправдою живет не долго шпынь лукавый.

10

ЛАСКАТЕЛЬНЫЕ РЕЧИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫ

Блюдися мягких слов и кои слаще меда;
Знак правды простота, притворна ж льсти беседа.

11

НИКОГО НЕ ОХУЖДАТЬ С ЗЛЫМ НАМЕРЕНИЕМ

Другого не порочь за дело или слово,
Чтоб равно он с тобой не поступил сурово.

12

ЧИТАЙ МНОГО, НО С РАССУЖДЕНИЕМ

Чти много, и марай, чтя, много ж равномерно;
Хоть дивно, но не всё в стихах есть имоверно.

13

ПРЕЗИРАТЬ БОГАТСТВО

Чтоб дух спокойный был, богатства презри многи;
Кто ж за велико чтет их, тот всегда убогий.

14

ПОЗНАВАТЬ ОБЫЧАИ ИЗ РЕЧЕЙ

С молчанием внимай ты все людские речи;
Являет речь, и та ж таит нрав человечий.

15

ПИТЬ УМЕРЕННО

По силе пей, когда соблюсть жизнь хочешь здраву;
Излишня ж прихоть вред приносит, не забаву.

16

В СЧАСТИИ И НЕСЧАСТИИ БЫТЬ ОСТОРОЖНУ

Как в счастии цветешь, страшись, чтоб не увянуть;
В ненастье уповай, что ясны дни настанут.

17

УЧЕНИЕ ВЕЧНО

Чем больше будешь знать посредством ты науки,
Тем более учись, и не имей в том скуки.

18

КРАТКОЕ ТВЕРЖЕ ПОМНИТСЯ

Дивишься, что простой я слог употребляю;
Тем краткость с ясностью в стихах совокупляю.

⟨*1764*⟩

68. ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ ГРАФУ ГРИГОРЬЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ ОРЛОВУ,

ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ЛЕЙБ-ГВАРДИИ КОННОГО ПОЛКУ ПОДПОЛКОВНИКУ, ГЕНАРАЛУ-АДЪЮТАНТУ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ КАМЕРГЕРУ, КАНЦЕЛЯРИИ ОПЕКУНСТВА ИНОСТРАННЫХ ПРЕЗИДЕНТУ И РАЗНЫХ ОРДЕНОВ КАВАЛЕРУ, МИЛОСТИВОМУ ГОСУДАРЮ ВСЕУСЕРДНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Монархам паче всех любезна добродетель;
Живой пример в тебе зря, всяк тому свидетель,
Которым вящще всех побуждены сердца,
Чтоб так, как милостям монаршим нет конца,
Преуспевали ввек их верность и заслуга.
Хотя ж все превзойти пекутся в них друг друга,
Но силам смертных есть и всем трудам предел;
Затем усердность чтим не меньше славных дел.
Кто храбр, тот отвратить на брани силен бедство,
А остроумный — в том подать герою средство;
Коль случая кому явить то в мире нет,
Тот долг заслуг своих усердством наведет,
Таким, каким твой дух к монархине пылает,
Какое всяк тебе подобный изъявляет.

Но прелесть ли богатств и чаянье ль честей
Заслуги матери влекут являть своей?
Любовь, щедроты, суд прав, милости едины
Долг налагают сей рабам Екатерины.
Не славой и она пленялася венца,
Искавши наших бедств с опасностью конца;
К отечеству любовь ее, тогдашня жалость
Заслуг к ней подданных доказывают малость.
Дай новы способы, великий муж, к тому,
Чтоб следовал народ примеру твоему.
Но похвалы плодить — терять напрасно речи,
И действует тут лесть, не разум человечий.
За верность честь приял ты нову вместо мзды;
Всяк да хранит твои, кто льстится тем, следы.

Между 1762 и 1768

А. А. РЖЕВСКИЙ

Поэтическая деятельность Алексея Андреевича Ржевского (1737—1804) продолжалась очень недолго. Однако она поражает своей интенсивностью: за четыре года (1760—1763) он напечатал 225 произведений, в основном стихотворных, и был, в сущности, основным вкладчиком журналов, которые выходили в Москве в начале 1760-х годов. Здесь, на страницах «Полезного увеселения» (1760—1762) и «Свободных часов» (1763), Ржевский в полной мере сумел проявить себя и занять особое место среди поэтов кружка Хераскова — учеников и последователей Сумарокова.

Склонность к поэзии и литературные интересы появились у Ржевского еще в ранней юности. Его первые опыты стали известны Сумарокову, и знаменитый писатель поощрял начинающего поэта. Позднее, в 1769 году, в письме к Сумарокову Ржевский с благодарностью вспомнил об этом: «Я вас начал почитать почти с ребячества, я видел ваши ласки ко мне с тех же пор». [1]

Начал печататься Ржевский в «Ежемесячных сочинениях» и «Трудолюбивой пчеле».

Как последователь Сумарокова, Ржевский в своих стихах и прозе особенное внимание уделял жанрам сатирическим. Он изобличает подьячих, издевается над петиметрами и обскурантами. В своих многочисленных баснях («притчах») Ржевский разрабатывает особый тип сказа с установкой на рассказчика, отделенного от сюжета и являющегося существенным компонентом басенного стиля. Вполне солидарен Ржевский с Сумароковым и в широком использовании в басне просторечных, нарочито грубых выражений, пословиц и фольклорных речений. Его теоретические понятия о поэтическом

[1] «Отечественные записки», 1858, № 2, с. 588.

стиле совершенно совпадают с сумароковскими: «Незнающим невообразимый труд, чтоб украсить стихи приличным к материи расположением, чистым и правильным языком, избранными и пристойными словами, плавным стопосложением, что великую приятность делает в стихах».[1] Но, кроме этих требований внешнего порядка, он предъявляет к поэзии еще ряд более существенных требований. Поэзия невозможна без «живого изображения, точного чувствования, ясного рассуждения, правильного заключения, приятного изобретения, естественныя простоты, что всего прекраснее во стихотворстве».[2]

В одном из своих сатирических фельетонов Ржевский пародирует стилистику од Ломоносова, так же, как это ранее делал Сумароков во «вздорных одах»: «От сладостного моего гласа порядок природы мятется: Феб с пламенныя колесницы, остановя светозарных коней, гласу моему внимати, преклоня венчанную главу, ухо протягает; планеты вспять, оставя пути свои, стремятся; бледновидная луна радостные слезы испускает; ревут бурные моря, угрюмая пучина трепещет; льют воды к вершинам дерзкие реки; стал таять вечный лед, и среди лютыя зимы майская приятность наступает...»[3]

Однако в своей поэтической практике Ржевский с большой смелостью и творческой независимостью синтезирует в стихах изобразительные средства Сумарокова и Ломоносова. Так, прием антитезы, применявшийся Сумароковым в песнях и трагедиях, Ржевский дополнил частым употреблением оксюморона, характерного для ломоносовского одического стиля. Затем он перешел к созданию стихотворений, в которых организующим элементом становилось одно какое-либо слово и производные от него формы. Примеров такого построения Ржевский у Сумарокова найти не мог, зато именно так были построены все переложения псалмов Ломоносова и многие его оды. Ржевского занимает создание в малых, по самой своей природе бессюжетных стихотворных жанрах (элегия, идиллия, станс, загадка) новых способов скрепления словесного материала, основанных на самой структуре слова.

Сложная, подчеркнутая повторением поэтических приемов и их элементов, эта система построения переносила в малые стихотворные жанры этическую конфликтность сумароковских трагедий и

---

[1] «Свободные часы», 1763, № 5, с. 298.

[2] Там же.

[3] Четвертое письмо к наборщикам. — «Свободные часы», 1763, № 6, с. 367—368.

сложную метафоричность од Ломоносова. Однако, употребляя некоторые приемы ломоносовской стилистики, Ржевский подчинял их в пределах целого стихотворения строго симметрическому расположению.

В 1762 году, после смерти Елизаветы Петровны и вступления на престол Петра III, началось политическое брожение в обществе, особенно сильное в гвардейских полках и подогреваемое противоречивой политикой нового царя. Ржевский в марте 1762 года печатает в «Полезном увеселении» сразу две оды Петру III, во второй он благодарит за указ о вольности дворянской, но вскоре примыкает к оппозиции и участвует в перевороте, установившем власть Екатерины II.

Свое сочувствие новой императрице Ржевский выразил двумя одами: в 1762 году на день восшествия на престол и в 1763 году на день ее рождения. В сентябре 1762 года состоялась коронация Екатерины II в Москве, и в начале следующего года устроено было грандиозное театрализованное зрелище — маскарад «Торжествующая Минерва». Устроителем и режиссером этого зрелища был актер Ф. Волков, объяснительные стихи к фигурам писали Сумароков и Херасков. В числе тех, которые «инвентовали на триумфальные ворота картины, эмблемы и надписи»,[1] значится и лейб-гвардии подпоручик Алексей Ржевский.

В течение 1763 года Ржевский продолжает много печататься в журнале «Свободные часы», сменившем «Полезное увеселение», но уже в следующем году кружок Хераскова распадается. Первое время Ржевский еще не порывает с литературой, в 1765 году он пишет трагедию в стихах «Прелеста», «содержание которой взято из истории Киева».[2] Трагедия была поставлена, но на сцене не удержалась, и текст ее до нас не дошел.

Ржевский участвует в затеянном императрицей сборнике переводов из «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера, которыми Екатерина II и ее приближенные занимались во время путешествия по Волге в 1767 году. В том же году поэт получает звание камер-юнкера и избирается депутатом от дворян г. Воротынска Московской губернии в Комиссию для сочинения нового уложения. В 1768 году он был назначен советником правления банка для обмена государственных ассигнаций.

---

[1] Камер-фурьерский журнал 1763 г. — «XVIII век. Сборник 1», М.—Л., 1935, с. 190.

[2] Известие о некоторых русских писателях (1768). — В кн.: П. А. Ефремов, Материалы для истории русской литературы, СПб., 1867, с. 138.

К этому же времени относится последнее значительное выступление Ржевского в литературе. Он пишет пятиактную трагедию в стихах «Подложный Смердий», о которой Новиков в «Опыте словаря» писал, что «сия трагедия сочинителю делает честь; она сочинена в правилах театра, завязка и продолжение расположены очень хорошо, характеры выдержаны сильно, игры театральной много, стихотворство в ней чисто; слог приятен, мысли велики, изображения сильны, а нравоучение у места, хорошо и приятно, и, наконец, трагедия сия почитается в числе лучших в российском театре, а сочинитель ее хорошим стихотворцем и заслуживает великую похвалу».[1] Трагедия Ржевского написана на сюжет, заимствованный из древнеперсидской истории; в ней показано разоблачение и гибель самозванца, выдавшего себя за погибшего сына Камбиза — Смердия (отсюда и название «подложный»). Проблематика трагедии, по-видимому, отражала политическую борьбу начала 1760-х годов и могла восприниматься Екатериной только положительно.

В 1769 году умерла первая жена поэта А. Ф. Ржевская. В 1773 году Ржевский женился вторично на Г. И. Алымовой (1759—1826), выпускнице Смольного института благородных девиц. Семейная жизнь его оказалась на редкость удачной, о ней с восхищением через десять лет написал Державин в оде «Счастливое семейство» (1783).

В 1771—1773 годы Ржевский исполняет обязанности вице-директора Академии наук. В 1775 году он назначен президентом Медицинской коллегии. Служебная карьера его протекает удачно и спокойно. В 1783 году он уже тайный советник, сенатор и выбран членом вновь учрежденной Российской академии. Ржевский участвовал в составлении Академического словаря и рассматривал присланные ему для отзыва переводы. По поводу вольтеровской «Генриады» в перводе И. Сирякова он высказал несколько замечаний, из которых видно, что Ржевский остался последователем Сумарокова и убежденным сторонником чистоты и логической ясности поэтического языка. В своем отзыве он писал: «Во втором стихе Вольтер просит истину, чтоб она спустила в его писание свою силу и свою ясность; а в переводе — чтобы она излила ясность звезд. Ясность истины и ясность звезд — две вещи разные».[2] И как мастера поэтически правильного перевода он называет своего учителя — Сумарокова: «Я с моей стороны не могу вспомнить другого перевода сти-

---

[1] Н. И. Новиков, Избр. соч., М.—Л., 1951, с. 344.

[2] М. И. Сухомлинов, История Российской академии, т. 7, СПб., 1885, с. 116.

хотворного, чтоб переложен был из стиха в стих, с равной энергией подлинника и без упущения мыслей, как только два небольших отрывка покойного Александра Петровича Сумарокова из Расиновой „Федры“».[1] В «Трудах Российской академии» было напечатано и последнее стихотворное произведение Ржевского — идиллия «К невским музам» (1802).

Помимо разнообразных служебных занятий Ржевский принимал участие в деятельности масонских лож. В 1775—1776 годах он состоял членом ложи «Астрея», а в 1776—1779 годах — членом ложи «Латона», в которой начальником «по выбору членов» был Н. И. Новиков, а одним из членов М. И. Херасков. В 1780 году Ржевский устанавливает отношения и ведет переписку с князем Н. Н. Трубецким, переехавшим в Москву и перенесшим туда основанную им ложу «Изида», в которую входили, как и в петербургские ложи, преимущественно представители высшего русского дворянства. Позднее, в 1782 году, когда московские масоны добились для себя самостоятельного положения особой «провинции ордена», казначей провинции Н. И. Новиков вступил в переписку с Ржевским, в которой также участвовал и Н. Н. Трубецкой. Переписка эта свидетельствует о хорошей осведомленности Ржевского в масонской «науке» и о полном доверии, которым он пользовался у московских масонов. Новиков писал Ржевскому 14 февраля 1783 года от имени «братьев» по ордену: «Заслуги ваши ордену и отечеству и ваши добродетели, равно как и ревностное ваше ко благу ордена стремление, подают им надежду, что через вас дела орденские в Петербурге придут наконец в надлежащее устройство и порядок».[2]

Как далее складывались отношения Ржевского с масонами — неизвестно. Петербургские масоны не пострадали, по-видимому, во время разгрома московской их организации. Отчасти этому способствовала выдержка Новикова, который показал на следствии, что не знает о принадлежности Ржевского к масонству, хотя сам с ним переписывался по поручению провинциальной директории.

Пожалуй, последним фактом участия Ржевского в литературе была публикация на его счет полного текста поэмы старого приятеля по кружку «Полезного увеселения» Ипполита Богдановича. В предисловии к поэме Ржевский писал: «Непринужденная вольность стиля, чистота стихов, удачливый выбор приличных слов по роду сей

---

[1] Там же.

[2] Я. Л. Барсков, Переписка московских масонов XVIII века, П., 1915, с. 261.

поэмы, а паче изобилие поэтических воображений мне столько понравились, что я просил сочинителя отдать сию поэму в мою волю... а я рассудил ее издать».[1] И заключил это предисловие Ржевский словами, которые показывают, что живое ощущение поэтического у него не исчезло, — он пишет о «Душеньке», что «нет на нашем языке подобного рода стихотворений».[2]

О поэзии самого Ржевского к этому времени уже забыли. Стихи его, оста́вшиеся на страницах московских журналов начала 1760-х годов, нико́гда не переиздавались, трагедии на сцене не удерживались и тоже не были напечатаны. Позднейшие поколения знали о Ржевском только то, что он был адресатом стихов Державина. Как поэт Ржевский начисто выпал из истории литературы, пока Г. А. Гуковский не воскресил его из забвения, посвятив талантливому поэту особое исследование, где впервые было показано, как интересно и своеобразно поэтическое наследие этого автора.[3]

69. ЭЛЕГИЯ

Свершилося теперь сердечно предсказанье,
Сбылось уже мое презлое предвещанье.
Но не во сне ль то зрю? не сон ли мя страшит?
И не мечта ли мне напастию грозит?
Ах, нет! то в яве всё сбылось, о рок, со мною,
Что я забвен моей навеки дорогою!
Я презрен от нее, любим соперник мой!
О гневная судьба! о рок! о час презлой,
В который с ним она к мученью мне спозналась
И ласкою его, забыв меня, пленялась!
В пребедственный мне час страсть о́на родилась:
Моя любезная другому отдалась.
Уже она теперь меня не вспоминает
И с ним в веселостях минуты провождает,

---

[1] ⟨Богданович⟩, Душенька, древняя повесть в вольных стихах, СПб., 1783, ч. 1.
[2] Там же, с. 2.
[3] Г. А. Гуковский, Ржевский. — В кн.: «Русская поэзия XVIII века», Л., 1927, с. 151—182.

А я, лишась ее, страдаю и грущу
И, тщетно мучася, отрады не сыщу.
Но если б я теперь опять мог быти с нею
И мог бы уверять горячностью своею,
Хотя бы к верности ее не обратил,
Хотя бы новыя любви не истребил, —
Но жар ее ко мне, конечно б, показался,
А я хотя бы тем единым утешался.
Но ах! когда она могла меня забыть,
Так жара в ней ко мне нельзя ни искры быть.
Виною ты всему, о злое разлученье!
Тобою я терплю несносное мученье.
Когда бы я поднесь с ней купно пребывал,
Я знаю то, что б я ее не потерял:
По всякую б она меня минуту зрела,
Взаимственна любовь равно бы в ней горела.
Как от прекрасных я ее сокрылся глаз,
Помалу исчезал в ней жар любви и гас,
И наконец совсем она меня забыла
И, позабыв меня, другого полюбила.
Другого! словом сим мутится кровь во мне;
Он радуется там, я стражду в сей стране.
Хотя я мнил, что с ней на время я прощался,
Но вижу, в тот я час с ней вечно расставался.
Не тщетно я тогда прегорестно стенал;
Я всё, что льстило мне, навек тогда терял.
Неверная, начто меня ты полюбила!
А полюбив, начто любовь свою открыла!
Начто и ты тогда мне сделалась мила!
На то ли, чтоб ты мне тиранкою была?
Не чаю я, чтоб ты, неверная, забыла,
Как ты по всякую минуту мне твердила,
Что будешь ты меня по смерть свою любить.
И с клятвой всякий час ты тщилась говорить:
«Я прежде с жизнию своею разлучуся,
Ах! нежели в любви к тебе переменюся».
Где делись клятвы те? уж я тебе не мил,
Другой тобой любим, а я тебе постыл.
Другой любим! я весь покой изменой рушу;
Но и неверную люблю тебя как душу.

⟨*1759*⟩

70. СОНЕТ ИЛИ МАДРИГАЛ ЛИБЕРЕ САКЕ,
АКТРИЦЕ ИТАЛИАНСКОГО ВОЛЬНОГО ТЕАТРА

Когда ты, Либера, что в драме представляешь
В часы те, что к тебе приходит плеск во уши,
От зрителей себе то зна́ком принимаешь,
Что в них ты красотой зажгла сердца и души.

Довольное число талантов истощила
Натура для тебя, как ты на свет рождалась.
Она тебя, она, о Сако! наградила,
Чтобы на все глаза приятною казалась.

Небесным пламенем глаза твои блистают,
Тень нежные лица черты нам представляют,
Прелестен взор очей, осанка несравненна.

Хоть неких дам язык клевещет тя хулою,
Но служит зависть их тебе лишь похвалою:
Ты истинно пленять сердца на свет рожденна.

⟨*1759*⟩

71. СТАНС

Потщимся мы сносить напасти терпеливо,
И станем мы себя надеждою ласкать:
Иль время не придет вовеки к нам счастливо?
Или нам в горести отрады не видать?

Как можно быть тому? Рок всё здесь превращает,
Подвержено в нем всё пременам завсегда.
Коль здесь погибнет что, другое там взрастает,
Не видим вечности ни в чем мы никогда.

Те горы, коих верх стыкался с облаками
И взоры достигать хребтов их не могли,
Разрушились, и их места днесь стали рвами,
Между развалин тех уж воды протекли.

Те реки, что неслись к долинам с быстротою,
Засыпались песком, тут выросли древа;
Где на море бывал судам путь глубиною,
Там, вспучась, дно взнесло обширны острова.

Что утром возрастет, к полдням то созревает,
А к вечеру уже совсем то пропадет;
Надежда есть и нам, коль рок не превращает,
Премены ждать бедам, всё с временем пройдет.

Счастливый должен ждать беды себе всечасно,
Затем, что перемен всегда мы в жизни ждем.
Минуются беды, коль кто живет несчастно,
Итак, мы к счастию через беды идем.

⟨*1759*⟩

72—76. *МАДРИГАЛЫ*

1

Я в сердце власть моем тебе днесь отдаю,
Пускай теперь оно под областью твоею,
Владей, драгая, им во всю ты жизнь мою;
А я владети им, тебя зря, не умею.

2

Скажи мне тайну ту, чем ты меня пленила, —
И я бы сделал то ж, чтоб ты меня любила.

3

Я б сердца своего по смерть не потерял,
Когда бы власти в нем глазам я не давал:
Как взором взор они прелестный твой встречали,
Так тут они его навеки потеряли.

4

То сердце, что взяла, опять мне возврати,
Или за то своим мне сердцем заплати.

5

Дар сердца твоего недешево купил:
Своим тебе за то я сердцем заплатил.

⟨1759⟩

77. СТАНС

Почто печалится в несчастьи человек?
Великодушия не надобно лишаться;
Когда веселый век, как сладкий сон, протек,
Пройдет печаль, и дни веселы возвратятся.

Жизнь человеческу цветку уподобляй,
Который возрастет весной и расцветает;
Но воздух к осени как станет холодняй,
Валится, вянет лист, иссохши пропадает.

И лето жаркое весне вослед идет,
Как придет осень, тут зима год совершает, —
Жизнь человеческа подобно так течет:
Родится он, взрастет, стареет, умирает.

И счастие судьба пременно нам дала;
Как свет пременен сей, и наша жизнь пременна.
Вертятся колесом все светские дела, —
Такая смертным часть в сем свете осужденна.

Премены ждав бедам, в несчастье веселись,
С часами протечет напасть и время грозно.
Умерен в счастье будь, премены берегись,
Раскаянье в делах уже прошедших поздно.

⟨1760⟩

78. ЭЛЕГИЯ

Прошли драгие дни, настал тот лютый час,
Который разлучит, возлюбленная, нас,
Который приключит мучении мне люты.
С чем вас сравнять могу, жестокие минуты,
В которы должен я сказать: «Прости, мой свет!»
На свете ничего мучительней вас нет,
И смерть жестокая не может вам сравняться.
Мне легче бы сто раз с душею расставаться;
Я смертью бы нашел погибший мой покой,
Днесь мучиться иду, расставшися с тобой.
Не будет мне часа́ в разлуке к облегченью,
Не будет и конца несносному мученью,
Не будет там тех мест, где б я не воздыхал
И где бы токи слез из глаз не проливал;
Тень будет там твоя мечтаться предо мною,
Мой рваться будет дух, смущаяся тоскою;
Я горестью моей все реки возмущу,
Стенанием своим я воздух огущу.
Хоть вздохами судьба моя не умягчится,
Но нету сил от них в разлуке свободиться.
Я стану в том себе отраду лишь искать,
Что буду тень твою всечасно вображать,
И, утоляя тем несносное мученье,
Лишь слезы будут мне едино утешенье;
Минувшие часы я стану вображать,
И буду все слова твои как вновь внимать,
Слова, которые к утехам мне вещала,
Когда любить меня ты вечно обещала
И уверяла в том, что я сердечно мил, —
Колико тот меня час много веселил!
О, коль счастлив я б был, когда б сие сбылося
И обещание твое не прервалося!
Любезная, во мзду любви к тебе моей
Не выключи меня из памяти своей;
Взгляни на те места, взгляни, где мы бывали
И в коих вечера в забавах провождали;
Они вообразят меня в твоих глазах,
В мученьи, в горести, в стенаньи и слезах.
Представь те времена себе, как мы видались,
Часами дни тогда в утехах мне казались.

Воспомни все слова, что я тебе вещал,
Когда, любезная, тебе подвластен стал,
И знай, что, разлучась, равно тобой пылаю,
Ничем в мучении отрад не обретаю.
А если ты делишь равно печаль сию
И стон любовника сугубит грусть твою,
Когда равно тебе несносно разлученье
И коль чувствительно тебе мое мученье, —
Не тщися обо мне услышать ты, мой свет,
Та ведомость тебе утех не принесет.
Я твой покой всему, что есть, предпочитаю,
Утехи все свои в твоих я полагаю:
Мне легче смерть вкусить, как зреть тебя
в слезах,
Без вздохов вображай меня в своих глазах.
Пусть дни твои текут из радостей сплетенны,
Пусть мучат одного меня случáи гневны.
А ежели любовь твоя ко мне минет,
Разлука коль меня в забвенье приведет,
Любезная, тебе пенять я не дерзаю,
Лишь прежде я того окончить жизнь желаю.
Моя нужна мне жизнь, доколь тебе я мил,
Я буду сам себе, лишась тебя, постыл.

⟨*1760*⟩

79. ЭЛЕГИЯ

Ничто моей тоски не может утолить
И мой потерянный покой мне возвратить.
Приятная весна места уж оживляет,
Река прозрачные струи уж открывает,
Усыпанны песком означились брега,
Лес листом кроется, цветут сады, луга,
По рощам соловьи приятно воспевают
И радость чувств своих сердечных возвещают.
Но нет еще конца злой горести моей,
И нет утехи днесь ни в чем в стране мне сей,
Собрание забав печаль не прогоняет,
Сообщество красот меня не утешает:
Прелестные места, приятны времена
Тягчай чинят моей печали бремена.

Нет горести конца, здесь всё я ненавижу,
Противно всё, когда возлюбенной не вижу,
Без ней ничто меня не может веселить,
Ничто моей тоски не может утолить.
Я только то одно утехой почитаю,
Когда с возлюбленной я вместе пребываю,
И только то мой дух удобно лишь питать,
Чтоб с нею говорить и на нее взирать;
Без ней противно всё, без ней везде вздыхаю,
В ней радости свои и счастье полагаю.
Но ах! здесь нет ее. Возможно ль не грустить!
Нельзя не воздыхать, нельзя ее забыть.
Из памяти моей ее не выгоняют
Ни время, ни места, что с нею разделяют,
И не выходит вон ни на единый час,
А тень ее нейдет прелестная из глаз.
Мысль всякую мою я ею начинаю,
Об ней я думаю и ею мысль кончаю,
На что ни погляжу, чрез всё мне в мысль придет,
И всё мне здесь твердит: с тобой любезной нет.
Когда, простяся с ней, от мест тех отдалялся,
Какою горестью несносной я терзался!
Я только воображал: расстался уж с драгой,
Оставил с ней мое веселье и покой.
Мне всякая ступень печаль усугубляла
И, что расстался я с любезною, вещала.
Я в горести себя надеждою питал
И времем облегчить мученьи уповал.
Я мнил, когда ее, расставшись, зреть не буду,
Несклонную в любви со времем позабуду.
Но тщетно, ах! себя надеждою той льстил,
Мой рок мне век о ней вздыхать мне осудил,
Ничто моей любви, ничто не пресекает,
Разлукою она сильняе возрастает
И горести мои сугубит в сей стране,
Нет облегчения малейшего здесь мне.
Любезная моя, а ты того не знаешь,
Сколь ты несклонностью в разлуке дух терзаешь.
Но что ж? Хотя б судьба ей ведать и дала,
Мучении б она мои не прервала.
Что я ее люблю, она довольно знала,

Но, зная страсть мою, несклонностью терзала
И притворялася, стремясь меня терзать,
Что будто страсть мою не может понимать
И будто моего владетеля не знает,
А слыша, некто есть, что мною обладает,
Старалась, притворясь, совет мне подавать,
Как должно мне свое спокойствие сыскать.
Оно в тебе, лишь ты его меня лишила,
Судьба меня тебе одной лишь осудила.
Ты можешь лишь одна покой мой возвратить,
Ты можешь лишь одна мне счастье учинить.
Коль строки ты сии, любезная, увидишь
Или о них когда ты от кого услышишь,
Не скучь, прекрасная, не скучь их понимать,
Чтоб о несчастливом любовнике узнать.
Узная обо мне, мои почувствуй муки
И облегчи моей мучение разлуки,
Хотя малейшую отраду мне подай,
Хотя последния надежды не лишай.
Тронись, любезная, моею ты тоскою,
Дай знать, что сжалилась уже ты надо мною
И более меня не хочешь уж терзать.
Престань меня, престань любезных мест лишать.
Разлуку прекратить властна ты, если хочешь,
И лаской возвратить опять меня ты можешь.
То в воле есть твоей увидеть дать себя,
Виною стала ты разлуки, не любя.

⟨1760⟩

80—82. *ЭЛЕГИИ*

1

Доколе мучиться, горя в любви, стеня?
Прелестные глаза, сокройтесь от меня:
Мне к гибели одной знакомы ваши взоры.
Престану я вступать с несклонной в разговоры;
Но где ж сокроюся? Куда от ней уйду,
И способом каким спокойствие найду?
Возможно ли болезнь не чувствовать больному?

Подвергнут я навек мучению презлому;
Бескровну рану днесь ты в сердце мне дала,
И ум ты мой к себе, драгая, привлекла.
Коль нет тебя в глазах, ты в мысли обитаешь,
Час от часу во мне любовь ты умножаешь:
Осанка, вид, глаза твои, ум, лица чёрты, —
Прелестно всё, что есть, о, коль прекрасна ты!
Возможно ль, чтобы кто тобою не прельщался?
Но я к мучению с тобою лишь спознался.
Драгая! весь мой ум тобою отягчен.
Но что ж? Кого люблю, от той всегда презрен.
О страсть мучительна! ты бедством начиналась
И чрез препятствие в груди моей позналась.
Совместник мой счастлив, а я утех лишен;
Его с весельем дни, мой с грустью век сплетен.
В забавах он часы с драгою провождает,
Мой дух, то чувствуя, мятется и страдает.
За вздохи вздохами всегда он заплачен,
За взоры взорами всегда он награжден;
Он вместе с ней сидит, приятну речь внимает,
Он то ей говорит, что сердце ощущает.
О, коль ты тем счастлив, счастливей в свете всех!
Не видишь края ты безмерных сих утех,
Не может в свете так никто счастлив назваться,
И разве я могу несчастьем поравняться?
Безмерно счастлив ты, без мер несчастлив я:
Твоя в забавах жизнь, в слезах течет моя.
А ты, источник слез, вина всегдашней скуки,
Содетель горести, причина нежной муки,
Драгая! Зная, что всего ты мне миляй,
Хоть взором ласковым надежду мне подай.
Несчастлив я хотя, но жить доколе стану,
Равно тебя любить по смерть не перестану.

2

Что делать мне теперь? Весь ум смутился мой,
Две страсти мучат дух и рушат мой покой:
Одни глаза душей и сердцем обладают,
Другие обо мне слез токи проливают.

Миляе жизни мне, миляй души одна,
Другая мне уже неверному верна.
Она по мне и днесь, как прежде, воздыхает,
А та за всю любовь несклонность мне являет
И только терпит лишь из жалости меня.
О, как я мучуся, несчастну часть кляня!
Кого мне предпочесть, кого? Теперь не знаю.
Я на несклонную любовницу меняю.
Иль я не вижу слез? Иль я не слышу стон,
И стон любовницы? Влеки, грусть, дух мой вон.
О правосудие! Отмсти мне, как тирану,
Вынь дух мой, я ту месть щедротой ставить стану.
Престану о тебе, несклонная, вздыхать,
Любовнице я мук не буду приключать.
Забуду я тебя, забуду я не ложно,
Забуду, но кого? увы! — забыть не можно.
Ей сердце отдано, ей дух мой покорен,
Вся мысль стремится к ней, навеки я пленен.
А ты, которая напрасно воздыхаешь
И о любовнике неверном вспоминаешь, —
Не ставь меня виной: так рок определил.
Он мне с тобой вздыхать бесплодно осудил.
Неверностью моей несчастлива ты стала, —
Утеха вся моя несклонностью пропала.
Я чувствую любовь твою, поверь, не лгу, —
Страсть ум расшибла мой, забыть той не могу.
За ту неверность мне довольное отмщенье,
Что от несклонной я всегда терплю мученье.
По смерть бы я любовь к тебе не пременял,
Когда б совместницы твоей я не видал.
Из памяти моей она не вылетает,
И тень ее от глаз один лишь сон скрывает.
Не можешь ты меня, когда я мил, забыть:
Не можно так и мне любовь переменить.
Исправить мне порок мой ум не помогает
И, перед страстию колеблясь, упадает.
Престань меня теперь, престань меня винить,
Нельзя совместницу твою мне не любить.
Судьбой несчастна часть, знать, нам определенна,
Знать, воля век ее пребудет непременна.
Я в дружбу всю любовь к тебе переменю,
А сердце я для ней по гроб мой сохраню.

Но ты, несклонная, тронись моей тоскою,
Узная, сколько я несчастлив стал тобою;
Хоть малую любить себя надежду дай,
Хоть взором ласковым мучение скончай.
Я верну для тебя любовницу теряю,
На свете я всему тебя предпочитаю.
Я всё бы для тебя охотно потерял,
Я весь урон одной тобою б награждал.
Не думай же, чтобы неверен я родился
И для того в любви к другой переменился.
Я первую тебя, драгая, полюбил,
Но как потом нас рок жестокий разлучил,
Я зреть тебя и быть счастлив тобой не льстился,
Отчаясь наконец, в другую я влюбился;
Но только взор лишь мой опять тебя узрел,
Огнь, крывшийся во мне, опять жар произвел;
Сугубей прежнего опять в тебя влюбился, —
Я для тебя на свет, любезная, родился.

8

Какие мне беды рок лютый посылает?
Не гром ли поразить меня уготовляет?
Какой проступок я, скажи мне, учинил,
И чем, любезная, тебя я рассердил?
Суровы ты ко мне уже бросаешь взоры,
Упорны ты со мной всчинаешь разговоры;
Никак, окончилась твоя ко мне любовь,
И тщетно страсть во мне тревожит ныне кровь?
Как сонная мечта минутой лишь прельщает,
Потом тотчас пробуд весельи окончает —
Так склонности твои, утехою взманя,
Низвергнули в напасть и горести меня.
Подобно в жаркий день как тучи отдаленны
Сулят прохладный дождь на нивы иссушенны,
Но только лишь себя они вдали явят
И, мимо пролетев, луга не окропят, —
Так счастие меня надеждой лишь прельщает,
А само от меня всеместно убегает.
Равно́ как в солнечный приятный летний день

Являет человек свою пустую тень,
И только на нее свободно всяк взирает,
Но прочь она бежит, никто ту не поймает, —
Так счастье я поймать стараюсь всякий день,
Но, ах! хватаю лишь одну пустую тень.
О, солнце! ты когда вселенну озаряешь,
И сколько ты лучи далеко простираешь,
Ты освещало ли несчастнее меня?
И кто б так мучился несчастием, как я?
Нигде утехи я себе не обретаю,
Везде терзаяся, лью слезы и вздыхаю.
Что я утехою считаю и ищу,
В том горесть лишь найду, тем мучусь и грущу.
Нашел, было, в любви желанные утехи,
Но рок к тому скончал, свирепствуя, успехи.
Драгая, я на то тебя лишь полюбил,
Чтобы, прельстясь тобой, я рвался и грустил.
Начто ты склонностью своей меня ласкала?
Начто любить меня ты вечно обещала?
На то ли, чтоб меня утехой той прельстить
И после все слова и взгляды пременить?
Конечно, никогда любви той не бывало,
И сердце никогда зараз не ощущало.
Не так любила, знать, как я слыхал, меня,
И только смеючись вещала мне, маня.
Но нет! Ты прежде мне в любови заклиналась,
И в волю ты мою, драгая, отдавалась, —
Так что ж причиною суровости твоей
И чем я заслужил к себе поступок сей?
Скажи, чем уменьшить могу мои вины́,
Которые еще и знать мне не даны?
Ах, сжалься надо мной, престань меня томить,
Коль можешь горесть ты мою изобразить.
Ничто не может с ней на свете поравняться;
Иль хочешь горестью моей ты утешаться?
Невольник мучится в тиранских как руках,
Работой утомлен в мучительских цепях, —
Не столько страждет он, почувствовавши жажду,
Как, зря суровости твои к себе, я стражду;
Не столько он воды холодной хочет пить,
Как я твой гнев к себе желаю умягчить.

Плененна страждет грудь, отрад не обретает,
Мятется мысль моя, и сердце унывает.
Любезная моя, мне легче умереть,
Как нежели тебя к себе сурову зреть.
Престань меня томить, подай в тоске отраду,
Когда достоин я еще приятна взгляду.

⟨*1760*⟩

83. СТАНС

Наполнен век наш суетою,
Нигде блаженства в нем не зрим;
Единой только мы мечтою
Прельстясь, от истины бежим.

Я зрю, единый тем гордится,
Что он в чин вышний возведен;
Но тщетно чином он красится,
Когда им чин не украшен.

Тиран, гордясь хвалой, несется, —
Что кровь, забыв страх божий, льет,
Что всяк, страшась его, мятется,
Он то себе блаженством чтет.

Надутый гордостью считает,
Кто прадед был его и дед,
И тем гордясь, всех презирает,
Хотя его гнусняе нет.

Натуры таинств испытатель
Бег ветров тщится знать и рек,
Но быть не может обладатель
Страстей, и тщетно тратит век.

Скупой сребро свое считает,
Хотя ему в нем пользы нет;

Свое богатство умножает,
И то блаженством он зовет.

Иной именья истощает,
Чтоб был всех лучше наряжен;
Во злате, в серебре блистает,
И мнит, что тем он совершен.

Любовник вздохами своими
Когда сердца́ красот влечет
И время провождает с ними,
Он то блаженной жизнью чтет.

И пьяница, когда напьется,
Хотя едва уже стоит,
Своим пороком не мятется:
«Живу блаженно», — говорит.

Всяк то блаженством почитает,
К чему страсть ум его влечет,
И правды в слепоте не знает,
И суеты блаженством чтет.

Блаженство в злате не блистает,
Его и меж оружий нет,
Ни в пышном сане не бывает;
Оно в премудрости живет.

Уму кто волю подвергает,
А ум в ком правде покорен,
Тот мудростию обладает,
И тот премудр и совершен.

Душа в спокойствии вседневном,
Его ничто дух не страшит.
В одном спокойствии душевном
Блаженство наше состоит.

⟨1760⟩

И. С. Барков

Д. И. Фонвизин

84. СТАНСЫ

Так умер мой злодей? — О, жизнь! О, человек!
Всё с временем пройдет, все жизнь мы окончаем.
Не долог в свете сем и самый долгий век,
Но часто и его мы здесь не доживаем.

Но что ж? или о том печалиться нам? Нет!
На что? Смерть общая утеха и отрада:
Она от суеты счастливых отведет,
Несчастным будет в ней спокойство и награда.

Нет счастья в свете сем, как кто в нем ни живет,
Нет счастья, говорю, что нет душе покою;
Всяк счáстливым себя неправедно зовет,
Мы все прельщенны здесь единой суетою.

О, жизнь! О, суета! Иль вечно нам страдать?
Страдать и не видать, что свет сей цепь мучений? —
Не век: смерть может нам свободу даровать
От всех сих беспокойств, от бед и от гонений.

Почто ж печалюся, что так несчастлив я?
Хоть скоро или нет, однако всё минется;
Минется, говорю, как жизнь пройдет моя;
И счастье, и напасть — всё с временем прервется.

⟨1760⟩

85. СКАЗКА

Серпана красотой во днях младых цвела,
Предметом для сердец губительным была;
И только тех она единых не пленяла,
На коих взоры глаз прелестных не метала.
Вздыхательми везде была окружена,
Богиней красоты от всех наречена.
С каким старанием любовны суеверы
Во угожденье ей искали разны меры!

Один из всех из них догадливяе был,
С Серпаниным отцом о том поговорил.
Отец любовника с желаньем согласился,
Против намеренья Серпаны брак свершился.
На слезы несмотря Серпанины, отец
Повел неволею Серпану под венец.
И так Серпана уж не девкой, бабой стала;
Однако красотой равно она блистала.
Так следственно пленять равно она могла;
А замуж выдана неволею была.
Серпане муж не мил, Серпана воздыхает,
Серпанин муж ревнив, что ж делать ей? — не знает.
Однако принялась за разум наконец:
Чтоб облегчить ей свой несчастливый венец,
Чтоб от тоски своей несносной свободиться,
«Пора мне, — думает, — пора за ум хватиться,
Пора мне на́ мужа обнову уж надеть.
Да как же и не так? не можно и стерпеть,
И камень лежу́чи растреснется от жару.
Пора мне приковать рогов в лоб мужу пару».
Серпане многие стремятся угождать,
Серпане в свете все стараются ласкать.
Иной ужимками, иной пред ней вздыхает,
Тот тем, другой другим, но всяк ей угождает.
Иной старается Серпану похвалить,
А может быть, другой сбирается дарить.
Везде последуют они за ней толпами,
Куда ни кинет взор, зеваки пред глазами,
И вздохов тысячи приносят в жертву ей;
Серпане этого на свете нет милей.
Да как же и не так? хотя б то с кем ни было,
Я чаю, всякому б казалось это мило.
Серпану чародей, влюбясь, обворожил,
Серпане стал колдун мил, мил, и очень мил.
Серпана колдуна как душу полюбила;
А мужу пару рог хороших подарила.
Подобно и она ему была мила,
Любовь по радостям Серпанина текла.
Однако всё ли так? не век ведь им любиться?
Так разве, полюбя, и воли уж лишиться?
Серпана человек, не камень ведь она.
Всегда прискучится похлебка нам одна.

И всё, что видим мы, свет здешный пременяет;
А новое везде приятняе бывает.
Где новая земля, и хлеба больше там, —
Так как же не любить нови́зны в свете нам?
А ныне и вчерась всё то ж да то ж — так скучно,
К тому ж желание не всякому послушно.
Серпана сверх того не скована была,
И с этой уж любви утехи собрала.
«Пора и перестать», — Серпана помышляла.
Иной приятен стал Серпане докучала.
Подбился как-то он, понравился он ей,
«Вся в воле, — говорит она, — мой свет, твоей».
Поступок колдуну такой не полюбился,
Как дьявол на нее проклятый разозлился,
И, мстя Серпане, он ее обворожил:
Внутрь злобу, а в язык восцу он к ней всадил.
Злость внутренность грызет, восца язык щекочет,
Принуждена чесать язык, хоть и не хочет.
Несносно боль терпеть, и должно утолять,
А если утолять, то должно всех ругать.
Прошу, читатели, я вас, чтоб не сердиться,
Коль с кем-нибудь из вас Серпана побранится.
Виною льзя ль почесть, когда кто болен чем?
Серпану рок постиг, она больна и всем.

⟨1761⟩

86. РОНДО

Не лучше ль умереть, ты часто рассуждаешь,
Успехов в чем-нибудь когда не обретаешь;
И часто говоришь: возможно ли терпеть?
Не лучше ль умереть?
Коль ты желанием своим не обладаешь,
Ища себе чинов, и их не получаешь,
Начто на свете жить, коль радости не зреть?
Не лучше ль умереть?
Желав сокровища, ты голову ломаешь,
Но тщетно тратишь труд, его не умножаешь.
Несносно коль ни в чем успехов не иметь:
Не лучше ль умереть?

Влюбясь в красавицу, пред нею воздыхаешь;
О рок! ты вздохи те все суетно теряешь.
Доколе мучиться? доколь в любови тлеть?
Не лучше ль умереть?
Желанного конца уже ты достигаешь:
Идет желанна смерть — ты на нее взираешь.
Скажи, желаешь ли теперь ты умереть?
Не лучше ль потерпеть?
Охотно умереть ты для того желаешь,
Что скоро смерти ты себе не ожидаешь,
И только говоришь: не лучше ль умереть?
Не лучше ль потерпеть?

⟨1761⟩

87. ОДА 1

Долго ль прельщаться
Нам суетой?
Долго ль гоняться
Тщетно за той?

Мы примечаем,
Время летит;
Но, ах, не знаем,
Смерть как скосит.

Миг умаляет
Здесь бытие
И приближает
То житие,

В коем забудем
Прелести зреть,
В коем не будем
Срасти иметь.

Всякий там станет
Так, как рожден,
И не вспомянет,
Чем он почтен.

Полно нам льститься
Пышностью сей;
Всем нам лишиться
Жизни своей.

Всё то минется,
Всё то пройдет:
Счастье прервется,
Смерть как придет.

⟨*1761*⟩

88. ОДА 2,
СОБРАННАЯ ИЗ ОДНОСЛОЖНЫХ СЛОВ

Как я стал знать взор твой,
С тех пор мой дух рвет страсть:
С тех пор весь сгиб сон мой;
Стал знать с тех пор я власть.

Хоть сплю, твой взор зрю в сне,
И в сне он дух мой рвет:
О коль, ах, мил он мне!
Но что мне в том, мой свет?

Он мил, но я лишь рвусь;
Как рвусь я, ты то знай.
Всяк час я мил быть тщусь;
Ты ж мне хоть вздох в мзду дай.

⟨*1761*⟩

89. ПРИТЧА 1
МУЖ И ЖЕНА

Муж некогда жену за то свою бранил,
Что дома не сидит и всякий день гуляет.
Поступок женин был весьма ему не мил,
И для того вот так жену свою щуняет:

«Нет,
Мой свет,
Неложно
То, что с тобой
И жить не можно,
Как с доброю женой.
С двора всегда ты ходишь;
Тебя по вся дни дома нет.
Не знаю, с кем приязнь ты водишь;
Нельзя ужиться нам с тобой, мой свет.
Гуляй, да только меру знать в том должно;
Похвально ль приходить на утренней заре?
По всякий день гулять тебе жена, не можно,
Лишь то льзя похвалять, что есть в своей поре.
Ты худо делаешь, жена, неложно,
А ходишь только, чтоб тебе гулять,
И дом пустой ты оставляешь.
Хожу и я, да торговать;
А ты всегда лытаешь».
«Как мне бы не ходить,
Где ж хлеб достати?
Тебе так жить
Некстати:
Не всяк
Так
живет, как мы с тобою;
Иной не ссорится по смерть с своей женою».
Сем мужу своему, жена мнит, угожу;
Что слушаюсь его, ему то докажу,
И буду поступать всегда по мужней воле,
С двора уж никуда ходить не стану боле.
На завтрея домой как с торгу муж пришел,
И дома он свою хозяюшку нашел.
Жена, увидевши вдали его, встречает;
Муж очень рад: жена приказы наблюдает.
Пришед, ей говорит: «Хозяюшка, мой свет,
Пора обедать нам». — «У нас обеда нет, —
Жена ответствует, — я есть ведь не варила».
— «Да для чего?» — спросил. «С двора
я не ходила».
— «Да для чего?» — «Ты сам мне не велел ходить;

Сидела дома я, кому же есть купить?»
Нельзя, чтоб тот когда наукой пременился,
Несмыслен кто родился.

⟨1761⟩

90. ПРИТЧА 2
СМИРЕННАЯ ВДОВА

Что, видя мы в других, пересмехаем,
То ж сами делая, себя мы извиняем.
Пороков мы своих
Не видим, как чужих.
Кто глазом крив, того приметить всем удобно;
А кто душою крив, приметить неспособно.
Смеялась всем вдовам смиренная вдова,
Что идут за других, мужей своих лишася;
И говорила так: «Нет, я не такова,
С своим я мужем разлучася,
Вовеки не хочу второй приняти брак».
То сама истина, да только лишь не так:
Не для того вступить она в брак не желала,
Чтоб верность к первому супругу сохраняла,
А для того, что был любовник уж у ней;
Но прежде, как в нее влюбился,
Он на другой женился, —
И выйти за него не можно было ей.

⟨1761⟩

91. СОНЕТ

К тебе, владыко мой и боже, вопию,
К тебе моления, податель благ, всылаю.
Вонми и прогони скорбь лютую мою;
На тя единого надежду возлагаю.

По воле я твоей имею жизнь сию,
Но в жизни только лишь печаль претерпеваю.
Спосли днесь благодать к отраде мне свою;
Я ею лишь от бед спасен быть уповаю.

Отвсюду зрюся я врагами окружен,
Коль ты оставишь мя, кем буду я спасен?
Враги пожрут меня невинного пред ними;

Но ты ль, защитник правд и мститель грозный зла,
Потерпишь, правда чтоб утеснена была?
Коль прав я, то спасусь щедротами твоими.

(1761)

92. ИДИЛЛИЯ

О воля милая, миляе ты всего!
Тебя приятней нет на свете ничего.
Тот, кто любови убегает,
В утехах век свой провождает,
На что ни кинет взор, его всё веселит;
Не рвется никогда, не плачет, не грустит.
Спокойно спит он нощи,
Без слез встречает день;
Ему приятны рощи
И в полдень жарки тень.
Его бесстрастный взор луга увеселяют;
Его цветочки утешают,
Приятен соловей.
Находит радости в свиреле он своей,
Ему забавой речки,
Ему забота вся — единые овечки.
В утехах весь свой век безбедно он живет:
Ему приятна жизнь, ему приятен свет.
Но я с любезною днесь вольностью расстался,
Когда с несклонною Ниреною спознался.
Меня ничто не веселит:
Мой рвется пленный дух, страдает и грустит;
И нет такой минуты,
Когда б не мучили меня болезни люты.

(1761)

93. ЗАГАДКА

Что редко видит царь, пастух то зрит всегда;
А бог не видывал от века никогда.

⟨1761⟩

94. НЕОЖИДАЕМАЯ ВЕСТЬ

О, весть ужасная! судьба ожесточенна!
О, рок, о, грозный рок! красавицы уж нет!
Которою была природа украшéнна,
Котора красила собою здешний свет.
На то ль, природа, ты ее так украшала?
На то ль ей бодрый дух и разум даровала,
Чтобы она могла собою всех прельщать?
И, свет оставя сей, принудить всех вздыхать?

⟨1761⟩

95. СОНЕТ,
ЗАКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЕ ТРИ МЫСЛИ:

читай весь по порядку, одни первые полустишия и другие полустишия

Вовеки не пленюсь	красавицей иной;
Ты ведай, я тобой	всегда прельщаться стану,
По смерть не пременюсь;	вовек жар будет мой,
Век буду с мыслью той,	доколе не увяну.
Не лестна для меня	иная красота;
Лишь в свете ты одна	мой дух воспламенила.
Скажу я не маня:	свобода отнята —
Та часть тебе дана	о ты, что дух пленила!
Быть ввек противной мне,	измены не брегись,
В сей ты одна стране	со мною век любись.
Мне горесть и беда,	я мучуся тоскою,
Противен мне тот час,	коль нет тебя со мной;
Как зрю твоих взор глаз,	минутой счастлив той,
Смущаюся всегда	и весел, коль с тобою.

⟨1761⟩

96. РОНДО

И всякий так живет, ты думаешь всечасно;
Но худо извинять порок в себе пристрастно.
Хотя бы утонул в пороках злых весь свет,
Неправ и ты, хотя и всякий так живет.

И всякий так живет, вещаешь ты напрасно;
Тем извинять себя безумию причастно.
Та мысль не облегчит, коль сердце совесть рвет!
Один ли только я? — и всякий так живет.

И всякий так живет, о мнение ужасно!
В объятия твои ввергать себя опасно.
Сия жестока мысль в несчастье приведет,
Как станем рассуждать: и всякий так живет.

⟨*1761*⟩

97—103. *ЭПИГРАММЫ*

1

Как! четверо в одну красавицу влюбились?
Я верить не хочу; иль, знать, они взбесились.
Да чем и думают они ее прельщать?
Один, вертяся, вздор старается болтать;
Другой ужимками и вздохами пред нею;
А третий лирою несмысленной своею;
Четвертый красотой, не стоя ничего;
Да что же наконец? — не любит никого.

2

Нередко хвалятся: я честь свою храню,
Что друга своего нигде я не браню;
Честно́му и врага оклеветать не можно:
Честь для самих себя нам сохраняти должно.

3

Коль добродетели не тщишься ты хранить,
Безделъство чтишься лишь от света утаить,
И мыслишь: «То-то честь, и так хранить ту
должно», —
Нет, нет, честны́м тебя никак почесть не можно.

4

Я знаю, что ты мне, жена, весьма верна,
Да для того, что ты, мой свет, весьма дурна.

5

Ты всех стараешься бранити и ругать —
Я знаю, что и мне того не миновать.

6

Что ты учитель мой, бесспорно в том призна́юсь:
Пороки зря в тебе, я их остерегаюсь.

7

То очень хорошо, что ты ругаешь ложь;
Да только худо тем, что делаешь сам то ж.

⟨*1761*⟩

104. СОНЕТ

Пройдет моя тоска, и век драгой настанет,
Минуется напасть, не буду я тужить.
Сулит надежда то, она и не обманет.
Не вечно в горести и му́ке мне прожить.

Желаемый душе покой моей предстанет,
Судьба смущенный дух не будет мой крушить.
Зловредный случай мой со временем увянет;
Начнут приятные утехи мне служить.

Прейдет мучение, настанет жизнь другая,
Наполненна утех, приятная, драгая.
Смягчися, рок, скорей, прейди, печаль моя,

Престань меня терзать, окончись, время слезно,
Приди душе покой, сокровище любезно!
Когда же он придет? — как жизнь окончу я.

⟨1761⟩

105. ИДИЛЛИЯ

Как при сих струях Клорису я узнал,
С тех пор вольность дорогую потерял,
С тех пор плачу я всечасно и грущу,
Без нее нигде утехи не сыщу.
Ах, прельщаяся, вовеки мне грустить!
Како солнцу век лучей не затмевать,
Как струям к вершине сим не протекать,
Так не можно ей вовек меня любить.

⟨1761⟩

106. ЗАГАДКА

Хоть всяк меня на свете презирает,
Однако же забав никто так не вкушает;
Между красот ликую,
Кого хочу, того целую;
А кто меня убьет,
Тот кровь свою прольет.

⟨1761⟩

107. ЭЛЕГИЯ

Чего еще теперь, судьба, ты не наслала!
Уже ты все мои утехи окончала.
О время лютое! теки, промчись скорей,
Не мучь мой томный дух, не множь тоски моей.
О рок! ах, не видать премены мне уж вечно!
Не кончится мое мучение сердечно,

Ты всё, жестокая судьбина, отняла,
На свете никому столь зла ты не была!
Хотя ты и всегда дух бедный мой терзала,
Однако же покой надежда мне давала.
Хоть суетой манил, но услаждал дух свой,
И через то имел хоть лестный я покой.
Хоть лестной мыслию, однако ж утешался,
Не столько мучился, не столько я терзался.
А ныне для меня и той отрады нет!
Всечасно страждет дух и сердце томно рвет.
Колеблющася мысль покою не находит,
Из бед судьба беды сугубые выводит
И, сердце страждуще стремясь мое терзать,
Велит мне и вперед мучений ожидать.
Любя спокойствие, как я ни рассуждаю,
Однако же нигде утех не обретаю.
На что мучительный сей век мне осужден?
На что, несчастливый, на свет я жить рожден?
Скончай, о небо, жизнь, которой я скучаю!
Того лишь я теперь единого желаю.

⟨*1761*⟩

108—109. *СТАНСЫ*

1

Судьба всё превращает,
Течет в пременах свет,
То здеся погибает,
Другое там растет.

Едва заря яви́тся,
И светлый при́дет день, —
Там солнце закатится,
Взойдет ночная тень.

Сперва весну встречаем,
Там лето вслед течет,
Там осень ожидаем,
Зима год пресечет.

На свет когда родится,
Взрастает человек,
Там старость появится,
Впоследок кончит век.

Настав, прейдет ненастье,
Наступит свет опять.
Тот, кто терпел несчастье,
Престал уж воздыхать.

Всё с временем согласно,
Себе премены ждет;
Мое лишь сердце страстно
Утехи не найдет!

Не может свободиться
И мучиться престать,
Не может отлюбиться,
Не может не вздыхать.

2

Хоть нет надежды мне любить,
Хоть я вотще тобой прельщаюсь,
Но страсть не можно истребить,
Хоть истребляти я стараюсь.
Ах, нет на то довольно сил!
Твой взор мне больше жизни мил.

Чем больше мне любить тебя
Судьбина наша запрещает,
Тем более, твой взор любя,
Моя горячность возрастает,
Тем больше рушится покой,
Тем больше я прельщен тобой.

С судьбой я мысли соглашал,
Тебя я долго удалялся;
Но тем любовь лишь умножал
И, ей противяся, терзался.
Хоть нет надежды никакой,
Однако век пребуду твой.

Любезная! то знаю я,
Что век тобой любим не буду;
Но сколь продлится жизнь моя,
Тебя, драгая, не забуду.
Хоть тщетно взор тобой прельщен,
Я для тебя на свет рожден.

⟨1761⟩

110. СОНЕТ

Где смертным обрести на свете сем блаженство?
И коим способом в покое станем жить?
В величестве ль чинов прямое благоденство?
Богатство ль может здесь утехами служить?

В познании ль вещей подробном совершенство
Мы счастья данного довлеем положить?
Иль между всех когда стояло бы равéнство,
Тогда печали бы не стали дух крушить?

Во славе ли живет, блистающей лучами?
В зажженной ли любви прелестными очами?
В полях ли Марсовых и лавровых венцах?

Во обществе ль градском и суетах приятных?
В уединении ль в бесчувственных сердцах? —
Не там — в душах оно, спокойством не превратных.

⟨1761⟩

111—114. *ПРИТЧИ*

1

ДУБ И ВЕТЕР

На холме превысоком
Великий дуб стоял,
Превозносясь над роком,
Он вихри презирал.

Далёко простирался
Обширностью корней,
И ветров не боялся
Он в гордости своей.
Надежда обольстила:
Жестокий ветр настал,
Ослабла дуба сила,
Ветр этот дуб сорвал.
О гордый! опасайся,
Услышавши сие,
Отнюдь не полагайся
На счастие свое:
Оно тотчас обманет,
В нем постоянства нет;
Когда ж оно отстанет,
Так ветр тебя сорвет.

2

МОДНЫЙ ДОКТОР

Что худо жить по моде,
А лучше по природе,
Хотя и прежде я слыхал,
А нонча сам узнал.
Вдруг новый доктор появился,
Всем доктор полюбился.
Горазд лечить,
Всяк хочет жить;
Хоть болен кто, хоть нет, но всяк лечился;
А доктор богатился.
Пословица лежит: куда де конь с ногой,
Туда и жаба со клешней.
Посадский не́какий с боярами равнялся,
Затем что откупов держался.
Умел он торговать,
Умел он деньги собирать.
Нередко то бывает,
Когда кто деньги собирает,
Того и всякий почитает.
Одна дочь у него любимая была;
А девушка чахоткой немогла.

Отец ее крушится,
И смерти дочерней боится.
Тотчас по нового он доктора послал
И дочь лечить его призвал.
Дочь вылечить отцу сей доктор обещает,
А доктора отец обогащает.
Мой доктор не ленив,
Весьма трудолюбив:
Всечасно девушку больную посещает,
Не стал и денег брать, — он славы лишь желает.
Чрез по́лгода больную излечил,
Однако же болезнь другую приключил:
Неизлечимый ей припадок приключился,
Такой, от коего никто не излечился.
Не можно и лечить,
Натура лишь сама ей может пособить.

Что ж сделалось потом, уж я того не знаю,
А басню тем мою кончаю,
Что худо жить по моде,
А лучше по природе.

8

МОРЕ И ПЛОВЕЦ

Пловца в пространном море,
Не зряща берегов,
Терзает страх и горе
Среди крутых валов;
Надежда лишь питает
Смущенный дух его:
Он бед не ожидает
От рока своего.
Как берег показался,
Мнит, больше страха нет;
Но тщетно он ласкался,
Что к брегу приплывет.
Жестокая судьбина
Бедой ему грозит,
У берега пучина
Погибелью сразит.

Он пристани не тронет,
Хоть близко приплывет;
В пучине он потонет,
Ее не перейдет.
Так тот, который чает,
Что грусть его прешла,
Что та его уж знает,
Которая мила.
Начало то напасти,
Мученью нет конца:
Знакомство в тщетной страсти —
Пучина для пловца.

4

ПАСТУХ И ВОДА

Пришед на берег речки,
У вод пастух стоит,
Текущие струечки
Он стоючи делит.
Вода не разделялась,
Напрасно труд терял:
Струя к струе сливалась,
Как он ни разделял.
Алцып так убегает,
Климены чтоб не зреть;
Но суетно он чает
Любовь преодолеть.
Красавиц хоть довольно
Он сыщет на полях,
Но сердце в нем невольно
В Климениных цепях.
Она одна прельщает,
Для ней рожден он жить,
О ней он воздыхает
И будет век любить.

⟨1761⟩

115—116. *ЭЛЕГИИ*

1

Мучительная страсть! престань меня терзать,
Престань прекрасную мне в память вображать.
Едва, проснувшися, глаза мои открою, —
Любезную мечту я вижу пред собою,
Вообразяся мне во весь опосле день,
Нейдет из памяти моей прелестна тень.
В уединении ль, между ль людей бываю,
Во всех местах в уме любезну вображаю.
Так день препроводя, когда ложуся спать,
Тут суетно я льщусь покой чрез сон сыскать:
Из памяти моей она не вылетает,
И сон от глаз моих, мечтаясь, отгоняет;
А сон хоть и придет, но не придет покой:
Я вижу и во сне любезну пред собой.
Равно как наяву, и сон меня терзает,
И сон несчастия мои воображает.
Жестокая судьба грозит бедами мне,
Я мучусь наяву, я мучусь и во сне.
Тотчас потом проснусь, постелю оставляю;
Но облегчения нигде не обретаю.
Воображается любезная моя,
Воображается то, как несчастлив я.
Ко облегчению я льщася суетою,
Ищу увидеться с моею дорогою;
Размучен мыслями, страдаю и грущу,
Вздыхаю и по всем местам ее ищу.
Мне скучно, где моей драгой не обретаю,
И пусто меж людей без ней я почитаю,
И ежели ее когда со мною нет,
Мне кажется тогда пустым и целый свет;
А ежели когда увижуся я с нею,
Свиданием себе отрады не имею:
Мучительней мой дух тоска начнет терзать
Конечно, мне вовек утехи не видать!
Она еще сто раз прелестнее мне зрится,
И во сто раз моя страсть больше становится;

Почувствуя в себе сильняе нежну страсть,
Почувствую мою жесточей я напасть:
Предвижу, что мне век не будет облегченья
И не видать конца несносного мученья.
Я знаю, что мне век любви не истреблять,
И ведаю, что век счастливым не бывать:
Жестокая судьба предел сей поставляет
И впредь сугубые беды уготовляет.
В какой прелютый день драгую я узнал!
Ах, суетно тебя я сча́стливым считал!
Ты мне мучителен! ты всех мне бед начало!
Тобой, несчастный день! в оковах сердце стало.
В единый час я в грудь заразу получил,
Но сим часом навек свободу погубил;
Единый час всю кровь любовью распаляет,
Но действия часа и жизнь не истребляет.
Виною рок тому, что я ее узнал,
Она виной тому, что вольность потерял.
Ах, нет! за что ее, за что я обвиняю?
Виной тому судьба, что мучусь и страдаю;
Мне рок определил по смерть мою страдать,
По смерть любить, по смерть утехи не видать;
Однако хоть и зреть еще ее не буду,
Где я ни стану жить, драгую не забуду.
Хотя счастливым мне вовек не можно быть,
Но буду век равно вздыхати и любить.

2

Размучен мыслями... о, вид очам прелестный!
Причина муки ты, мне прежде неизвестной.
В утехах жизнь мою я прежде провождал,
Покудова тебя, любезная! не знал.
Всё прежде в свете дух мой вольный утешало,
Но как тебя узнал, так всё пременно стало.
Противно стало всё, противен стал мне свет,
Противен свет, когда тебя со мною нет.
Не для утех я днесь между людей бываю,
От лютой я тоски и грусти убегаю;
Ищу, чтобы тебя мне где-нибудь узреть,
Чтоб утешение хотя глазам иметь;

А ежели тебя, любезная, не вижу, —
Всё скучно кажется! и всё я ненавижу!
Мне пусто без тебя в собрании людей,
И нет спокойствия нигде душе моей;
В позорищах, в садах, в гульбищах я бываю
Лишь для того, что там тебя увидеть чаю,
Лишь для того, чтоб быть, любезная, с тобой;
Коль зрю тебя, тут вся мне радость и покой.
В присутствии твоем гульбища утешают
И все позорища приятнее бывают.
Приятнее сады, нежняе в них трава,
Приятней воздух мне, пахучее древа,
Прелестней кажется тогда мне птичек пенье,
И царствует везде, мне мнится, утешенье;
А если нет тебя, любезная, со мной,
Все кажутся места наполнены тоской,
Гульбища скукою единой наполненны,
И кажутся сады всей нежности лишенны,
Природа красоту теряет в этот час,
Противен воздух мне, груб станет птичек глас,
И всё, что при тебе, драгая, утешает,
Противно станет мне, и всё мне докучает.
Хожу задумавшись, не вижу никого
И, мысля о тебе, не слышу ничего;
Не откликаюся, не то я отвечаю,
И быти без тебя я меж людей скучаю.
По всем местам ищу любезную узреть,
Чтобы хоть раз взглянуть, утеху мне иметь,
И мысля, где бы мне узреть тебя, мятуся,
Где ж, чаю, быть тебе, я в те места стремлюся,
И ежели тебя нигде не нахожу,
Так мимо тут жилищ твоих я прохожу;
Когда же я тебя день целый не увижу,
Тот день несчастным чту, кляну и ненавижу.
Приду домой, тоска и дух и сердце рвет;
Ложуся спать, но сон к глазам моим нейдет.
Что я тебя не зрел день целый, воздыхаю,
Крушась, потерянным я день тот почитаю.
Сажуся описать вздыхания и стон;
Но тщетно льщусь, перо из рук валится вон.
Не можешь вобразить, любезная, не можешь,

Как ты смущаешь дух, терзаешь и тревожишь,
И как я мучуся, когда не зрю тебя,
О, как пременен стал, тебя я полюбя!
Нигде я днесь утех себе не обретаю,
В единой лишь тебе я все их почитаю:
Драгая! ты одна лишь можешь веселить,
Я для тебя одной хочу на свете жить.

⟨1761⟩

117. ПРИТЧА
ФОРТУНА

Фортуну ты слепой хотя и называешь,
Однако же не знаешь,
Какой
Причиной сделалась она слепой.
Фортуна красотой во днях младых блистала
И многих молодцов прельщала.
Женился Рок на ней,
Имеет в свете всё во власти он своей.
В Фортуну он влюбился,
Влюбясь, на ней женился.
Женясь, он был ревнив,
И был в том справедлив,
Фортуна всех прельщала,
Ко многим и сама любовию пылала,
И страстию за страсть взаимной награждала,
Кому была мила,
К тем гордой не была.
Рок, сведавши сие, был огорчен женою.
Озлился на жену, — вредна его гроза!
И за неверность ей он выколол глаза.
Спознавшися с неверною такою,
Возможно ль на нее надежду полагать!
Любовников она привыкла пременять.
Фортуна хоть любовь к кому свою являет,
Не льститесь: верности она не наблюдает.

⟨1761⟩

118. ПИСЬМО К А⟨ЛЕКСЕЮ⟩ Н⟨АРЫШКИНУ⟩

Желаешь обо мне, Н⟨арышкин⟩, ты узнать, —
Сугубяе болезнь я начал ощущать.
Уже она меня всечасно изнуряет,
И сил моих теперь остатки отнимает;
А сил души моей не может всколебать:
Почто, жалея, нам свет здешний покидать?
Желанье умереть есть слабости подвластно;
Желанье век здесь жить безумию причастно.
Наполнен здешний свет единой суетой,
Блаженства ложною прельщаемся мечтой.
Нередко в свете сем утехи обретаем
Затем, что слабости врожденные питаем.
Потребно в жизни сей нам слабости служить,
Чтоб несколько могли себя мы веселить,
Чтоб в свете для себя утехи обретали,
Чтоб мира суетой сего мы не скучали;
Но должно нам всегда себя уготовлять
Спокойно смертию природе долг отдать.
На сей конец мы все живущи здесь рожденны:
Мы временно здесь жить судьбой определенны.
Сегодни ль, завтра ли, но до́лжны умереть.
Почто же вечности нам видеть не хотеть?
Кто долго здесь живет, кто скоро умирает,
Живет один лишь миг, в который пребывает.
Мы настоящее лишь можем жизнью чтить,
В прошедшем, в будущем не можем здесь мы жить.
Живем мы в будущем надеждою своею;
Сколь часто ж лестно мы прельщаемся и ею!
В предбудущем она утехи нам дает;
А в получении и гибелью живет.
Но пусть во временах хотя б во всех трех жили,
Лишь тленом и тогда б себя мы веселили.
Всё в свете суета, неложно льзя сказать;
Лишь должно из того три вещи исключать,
Которые нам дал к блаженству всесодетель:
Любовь ко ближнему, спокойство, добродетель.
В пороках и страстях погрязшие своих,
Сей погубили дар в желаниях худых.

Так что ж осталося в сей жизни добротою?
Единою живем объяты суетою.

Но сверх того мы все осуждены судьбой,
Чтобы на свете сем кончати век нам свой;
А роком и судьбой всевышний обладает,
И сей ли, что ни есть, неправо посылает!
О, как бы мысль сия неправедна была!
В какие бы она нас бедства завела!
Мы — тварь, бог — наш творец; всё он определяет:
Он щедр, он милостив, он правду сохраняет.
Когда изволил он по воле нас создать,
Ему ли бдить о нас когда-нибудь престать?
Недремлющим с небес на нас взирая оком,
Он бдит о твари всей в радении глубоком.
Так льзя ль, чтобы сие не он определил?
Нельзя ж, чтоб тварь свою безвинно он казнил.
На лучший всю конец бог тварь свою склоняет,
И всё то хорошо, что бог определяет.
О боже! можно ли тебя нам обвинять?
Потщимся мысль сию, любезный друг, изгнать.
Неправедно мы ей и слепо отдаемся,
Во всем мы оправдать днесь бога попечемся.
Он всех нас к лучшему невидимо ведет,
Но нам судьбы свои проникнуть не дает.
Грядущее он всё от смертных сокрывает,
Затем что чрез сие всё в свете исполняет.
Нередко самым тем, что мы бедою чтим,
Печали бо́льшей мы и бедства избежим;
Но только мы сперва того не познаваем,
Затем что мы судеб его не постигаем.
Не мни, чтоб я сие от робости вещал:
Ты часто от меня и прежде то слыхал.

Что будет здесь вперед со мною, я не знаю,
И, может быть, я бед единых ожидаю.
Коль хочешь жить еще, тут лучше умирать,
Как нежели тогда, как станет жизнь скучать.
Тот сча́стливо живет, умреть кто не желает,
Благополучен тот, кто в счастьи жизнь скончает;
А если кто свою жизнь хочет прекратить,
Знать, много мучился, и бед нет сил сносить.

Хоть слабости мои свет здешний и питает,
Но ежели судьба умреть определяет,
Я слабости борю и ей во власть вдаюсь,
Рассудок бодрствует, я смерти не боюсь.
Хоть жизнею своей доныне не крушился,
Однако ж и ничем здесь много не прельстился.
Без горести всегда готов был умереть,
И в свете не имел, о чем бы сожалеть.

Чтоб здесь не вечно жить, бог сделал справедливо:
Чтоб бога в чем винить, для нас то горделиво.
Мы тварь его, он нам рассудок с мыслью дал,
Так льзя ль, чтобы его кто лучше рассуждал?
И льзя ль, чтоб лучше часть иным кем нам далася,
Как тем, которым вся природа началася,
И кой сначала всё грядущее уж знал,
И твари участи с щедротой разделял?

Здесь, слышу, многие несчастием считают,
Что смертию конца сей жизни ожидают.
Куда вас ваша мысль затменная ведет?
Для краткой жизни лишь довольно благ сей свет.
В привычках мы своих себя не понимаем,
Предрассуждением рассудок затмеваем.

Всё в свете суета, в котором мы живем;
Всё тленность, всё ничто, мечта пустая в нем.
Мы только за одной стремимся суетою,
За нами суета, и нет душе покою.
Хотя бы лучшей кто здесь частию владел,
Пускай хотя бы он всех больше чин имел, —
Сугубою б тогда прельщался он мечтою
И за большéю бы гонялся суетою.
Пусть в поле Марсовом кто всех бы превышал,
Пускай бы целый свет меча его дрожал, —
Но всё то суета, лишь звук пустыя славы,
И только прихоти единой лишь забавы.
Пусть кто б несчетные богатства собирал,
Он в вящей суете б богатым утопал.
Мой друг! здесь тленно всё, и нечем здесь прельститься,
Нам нужно умереть, коль надобно родиться.

Коль погубили мы дар бога своего,
Так нет на свете здесь блаженства без него.

Однако хоть и с ним на свете б здешнем жили,
И свойственный покой мы нам не погубили,
Когда бы человек здесь жив, бессмертен был,
Чтоб мучиться, страдать, на то б он только жил:
Хотя кто частию счастливой обладает,
Льзя ль вечно быть тому, — рок всё здесь превращает!
Несносно есть для нас прожить в бедах век свой,
Несносняй в счастьи быть постигнуту бедой.
Души́ покой хранить во всех случа́ях должно;
Но свыше сил своих взнестися нам не можно.
Лишь богу свойственно на всё спокойно зреть,
А твари слабости не можно не иметь:
В нас страсти слабости природою врожденны
И чувства с слабостью как цепь переплетенны.
Теперь желаем мы бессмертными здесь быть;
А если б вечно мы родилися здесь жить,
Тогда бы жизнию мы здешнею скучали,
И жизнь бы окончать свою тогда желали.
Желанья — пища чувств, нельзя их утолить,
Нельзя нам не желать, как мы ни станем жить.

Быть может, скажет мне кто, гордостью надменны,
Почто те слабости и страсти в нас врожденны?
Почто желания в нас больше бог вложил,
Как нежель участей для твари осудил?
В невежестве таком вопросы кто сплетает
И хитрости своей кто сам не понимает,
Тому никак уж мне не можно доказать,
Почто не боги мы, — он может вопрошать.
О божиих судьбах как мы ни рассуждаем,
Мы знаем только то, что ничего не знаем.
Возможно ль в чем-нибудь нам бога обвинять,
Когда не можем мы судеб его понять?

Я в буйстве обличать теперь их оставляю
И речь мою к тебе, Н⟨арышкин⟩, обращаю:
Прошу, когда умру, о мне не сожалей
И в радости моей участие имей.

Почто о том жалеть, кто свет сей оставляет?
Он смертью суеты мирския убегает.
А ежели сие плод слабости моей,
Так я спокойно жил, знай, слабостию сей.
С весельем душу я днесь богу поручаю,
Которого люблю, боюсь и почитаю.
Правитель он всего, всего он и творец,
Он правый судия, но щедрый и отец.

⟨*1761*⟩

119. ЗАГАДКА

Как рассуждать мы начинаем,
С тех пор тебя мы обретаем.
Тобой утешены живем мы и в бедах,
Ты трон имеешь свой в сердцах,
Иных от горести ты избавляешь;
Иным ты горести сугубы причиняешь.

⟨*1761*⟩

120. ОДА ДОБРОДЕТЕЛИ

Кто добродетель сохраняет,
Тот прямо счастливо живет:
Ничто его не устрашает
И дух спокойный не мятет.
Пусть злость грозит ему бедою,
Но он, дщерь истины, с тобою
Пойдет не робостно всюды́,
Против напастей вооружится;
Сотрет тобой свои беды,
И ярка злоба устрашится.

Пусть Марс мечем свирепым блещет,
Нептун чудовищ изведет,
Пусть Юпитер перуны мещет, —
На всё бесстрашно он пойдет.
Еол пусть хляби разверзает
И ветром бездну возмущает,
Средь грозных будучи валов,
Дух страхом в нем не возмутится —

Как у счастливых берегов,
Равно покоем веселится.

Пускай злодеи воружатся
И гибелью ему грозят,
Все плевы те их разрушатся,
Они его не поразят.
Пусть он именье потеряет,
Пусть бедность он претерпевает,
Спокойно терпит нищету, —
Он жизнь равно ведет приятно
И презирает суету.
О, счастлив, счастлив тот стократно!

Источник истинна покою
И спутник к счастью жизни сей,
Блаженны только лишь тобою
Быть можем в жизни мы своей.
Приличное, о, свойство богу!
Едина к счастью ты дорогу
Прямую можешь нам открыть.
Тобой не ложно утешенье,
Ты можешь дух наш веселить,
Единая ты бед забвенье.

Пускай надменный вознесется,
Гордясь пустою суетой,
Пусть в страхе свет его трясется,
Но он блистает лишь мечтой.
Тобой лишь можем быть почтенны,
Мы для тебя на свет рожденны.
Тебя одну нам в дар судил
Всесильный всех вещей содетель,
Тобой себя изобразил,
Тобой, любезна добродетель.

Все бедны, счастия лишенны,
О добродетель! без тебя,
Все в свете смертны утесненны,
Тебя отвергнув от себя.
Ты счастье, пышность и именье,
Ты смертным истинно почтенье,

Души покой, приятность дум,
Ты совесть нашу утешаешь,
Увеселяешь смертных ум
И жить счастливо научаешь.

⟨1761⟩

121. ПРИТЧА О САТИРЕ

Как истину изгнали
Из града люди вон,
Пороку власть отдали,
Ему восставя трон;
Насильство и обманы
Власть стали разделять.
Когда сии тираны
Всех начали терзать,
То истина святая
В изгнании от них,
На хищну власть взирая
Губителей своих,
Пошла просить у музы,
Защитницы своей,
Чтоб разрешила узы
Несчастливых людей.
Тогда еще имели
Власть музы во сердцах,
Когда Гомеры пели
Героев на полях.
Как греков прославляли
Они в стихах своих,
И жар тем зажигали
Во юношах младых.
Та склонность показала
Любимице своей,
Сатиру ниспослала
Она в защиту ей.
Порок стал в утесненье
От справедливых муз,
Нашел и он спасенье
От сих тяжелых уз.

Он сам родил сатиру,
На зависти женясь,
И стал вторично миру
Владетель он и князь.
Так неотменно должно
То всем нам наблюдать,
Писать чтоб осторожно
И первой подражать.
Пороки утесняти,
Сатира чтоб была,
Чтоб правду защищати
Без зависти и зла.

⟨1761⟩

122. СТАНС

Прости, Москва, о град, в котором я родился,
В котором в юности я жил и возрастал,
В котором живучи, я много веселился,
И где я в первый раз любви подвластен стал.

Любви подвластен стал, и стал лишен покою,
В тебе, в тебе узнал, что прямо есть любить,
А ныне принужден расстаться я с тобою,
Злой рок мне осудил в пустынях жизнь влачить.

Но где, расставшися с тобою, жить ни буду,
Любви не истреблю к тебе я никогда,
Ни на единый час тебя я не забуду,
Ты в памяти моей пребудешь завсегда.

Приятности твои на мысли вображая,
В пустынях буду я по всякий час скучать,
Там стану воздыхать, и стану, воздыхая,
Стенящим голосом Кларису воспевать.

⟨1761⟩

123. ЭЛЕГИЯ

Наруша мой покой, лиша приятных дней
И став причиною всей горести моей,
Мучение мое еще усугубляешь,
Что всю мою любовь ты лестью почитаешь:
Неверным чтешь меня, — тебе ль неверным быть?
Тебя ль, прекрасная, обманом мне любить?
Достойна лучшей ты, достойна лучшей части,
Достойна ты прямой и неисцельной страсти.
Коль ты изменой чтешь поступок робкий мой,
Не обвиняй меня, не я тому виной.
Любовь моя к тебе не тухнет — возрастает,
Но ту любовь таить судьба повелевает.
Иль лучше так сказать: чтоб я любовь таил,
Твой нрав несклонный то ко мне определил.
Я вижу, что люблю, мой свет, тебя напрасно,
И, видя часть свою, терзаюся всечасно.
Ищу к отраде средств, и не могу найтить;
Ищу спокойствия, но льзя ли не грустить?
Хочу забыть тебя, но не в моей то воле:
Час от часу милей ты становишься боле.
И самый мне тот час, когда любовь таю,
Сугубит жар во мне и множит страсть мою.
Единый на меня твой взгляд всё прерывает
И слабости моей любови открывает.
Уж мне спокойных дней во век мой не видать,
Мне век тебя любить и вольным не бывать.
Но если б ты меня, прекрасная, любила,
Неволя бы мой дух смущенный веселила.

⟨1761⟩

124. ОДА

Всечасно дух мутится
И сердце томно рвет;
Всечасно грудь томится,
Противен стал мне свет.

Нигде себе покою,
Нигде не нахожу:

Всё полно, зрю, тоскою,
Куда ни погляжу.

Жизнь стала вся пременна,
Превратен стал и свет;
Но мысль чем возмущенна,
То радость подает.

Грущу и веселюся,
В веселье грусть моя;
И от чего крушуся,
Тем утешаюсь я.

Веселостей лишася,
Веселием горю;
Бедами отягчася,
В бедах утехи зрю.

Но, ах, того не знаю,
Чего желаю я.
Куда, не понимаю,
Стремится мысль моя.

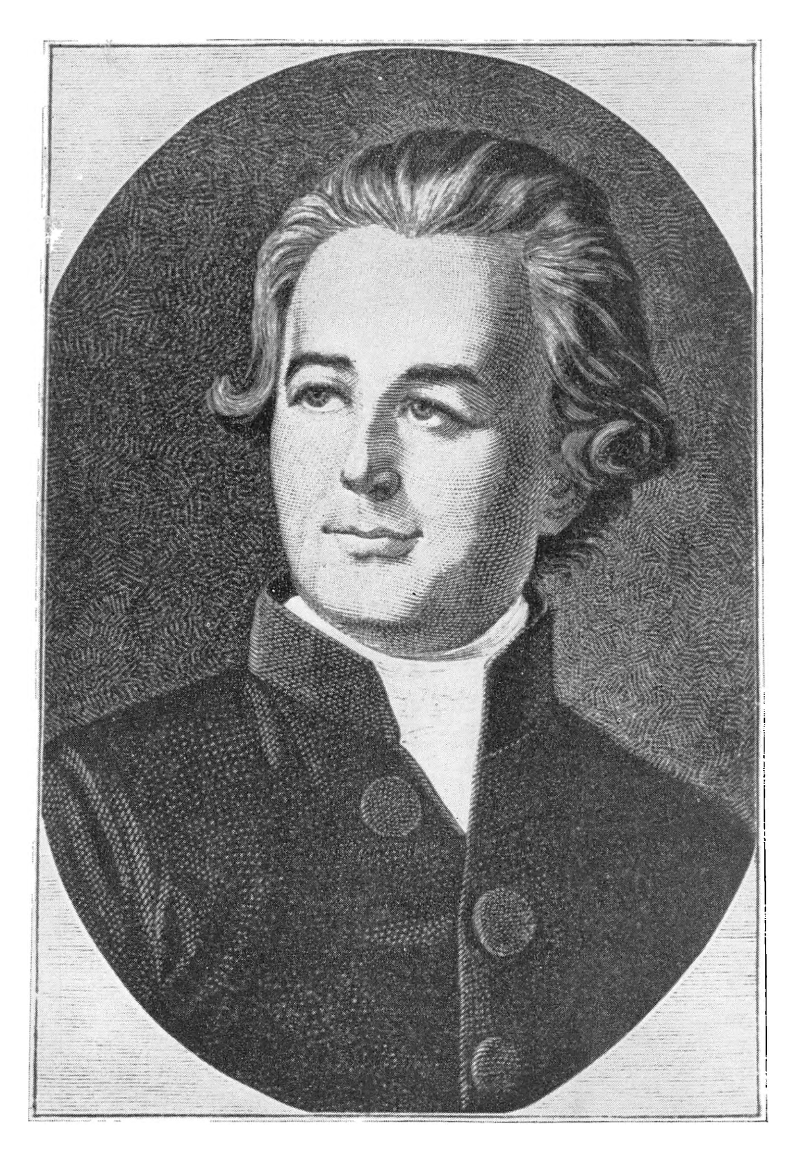
Я вольным быть не тщуся,
Любови не ищу,
Всечасно лишь мятуся,
Всечасно я грущу.

По всем местам вздыхаю,
Не зная, что начать;
Вздыхаю, и не знаю,
О чем хочу вздыхать.

От страсти убегая,
Жар чувствую в крови;
Напасти в ней считая,
Подвластен я любви.

Любовной в свете страсти
Нельзя приятней быть,
И в свете нет напасти
Жесточей, как любить.

⟨*1761*⟩



В. П. Петров

Ф. И. Дмитриев-Мамонов

125. СТАНС

Кто смертным слабости несродными считает,
Не знает истинно, не знает тот себя.
Он человечество с природой умерщвляет,
Без пользы общей дар на свете сем губя.

К привычкам приставать радетельно не должно:
Нам воспитанием они живут даны.
Природу истреблять нам трудно и не можно:
Сердечные нам все движенья врождены.

Любовь к себе, любовь ко ближнему врожденны,
И ненависть равно природа нам дала, —
Печали, радости в нас ею ж положенны,
И злобу, жалости она ж произвела.

Любить и сожалеть, веселости вкушати
Не должно, — кто закон такой нам предписал?
Противное сему чтобы одолевати,
Премудрый наш творец на то нам разум дал.

На то ли, чтоб лишь жить, мы в свет произведенны,
И чтобы, не вкуся утехи, умереть?
Не на такой конец мы, смертные, рожденны,
Чтоб милости к себе создателя не зреть.

Утехи можем мы безгрешно здесь вкушати;
Лишь дóлжны, живучи здесь, зла мы избегать
И должны гнусные пороки истребляти,
А слабостей нельзя никак нам не питать.

Природны слабости тот только отметает,
Который в жизни вкус совсем уж потерял,
И жар от старости уж в сердце погасает:
В его кровь хлад вступил, и он нечувствен стал.

Не целомудрие гнушается страстями —
Потухлый в сердце жар и холод во крови;
Но в младости почто бороться со сердцами
И в жизни не иметь к веселостям любви?

Прошедши, молодость опять не возвратится;
А стар всяк может быть, на том стоим пути.
Жар в сердце младости успеет погаситься:
Живи и веселись; лишь добродетель чти.

⟨1761⟩

126—127. *СТАНСЫ*

1

Тот, кто гоняется за светской суетою
И истины святой не тщится познавать,
Не будет никогда душе его покою,
Хоть как судьба его ни станет награждать.

Пороки, ум его всечасно омрачая,
Познати истинна блаженства не дадут,
Различным мысль его желаньем наполняя,
Различным прелестям в игру его вдадут.

Во тьме невежества свой век он провождает,
Не знает ни себя, ни пользы он своей,
Вдается слабости, вдаясь, ту почитает
И мнит, что счастие живет в единой ней.

О смертный! рассмотри, в чем польза есть прямая,
Обремени свой ум в познании себя,
Люби дщерь истины, природы глас внимая,
И следуй разуму, затменье истребя.

Но ежели твой смысл невежество стеснило,
И для того порок тебя к себе влечет, —
Наука — в темноте невежества светило:
Она тебе подаст счастливо жить совет.

Она во всем тебе дать может наставленье,
Безгрешно в счастье жить научишься от ней;
А в горестях найдешь ты ею утешенье,
И будет чрез нее покой душе твоей.

2

О, суета сует! О, смертный, слабый, страстный!
Престань превыше мер себя ты возносить,
Престань, не возносись ты гордостью напрасной,
Что будто можешь ты спокойно в свете жить,
И что ты так живешь, как ум повелевает,
И всяка страсть уму власть полну уступает.

Так должно бы нам жить, и то бы делать должно;
Но то ль мы делаем и так ли мы живем?
Нам сердцу повелеть во всем никак не можно:
Имеет действие всегда природа в нем
И, соглашаяся она с привычкой боле,
Рассудок иногда в своей имеет воле.

Надутый гордостью, невежеством надменный,
Вне естества искав премудрости светил,
Противу чувствия упрямством устремленный,
Напрасно говорит: «Я слабость победил,
Иду рассудку вслед, ругаюся страстями,
На всё спокойными взираю я очами».

Тщеславный мудростью! ты слепо рассуждаешь,
Возможно ль смертному природу одолеть?
В сугубой слабости, гордясь, ты утопаешь:
Возможно ль плотному дух божеский иметь?
Коль человечество ты умерщвлять стремишься,
Против природы ты грешить, невежа, тщишься.

Природа равные всем чувствы даровала,
Для побуждения и для ради утех,
И чувствы с слабостью, как цепь, перевязала;
В нас слабость врождена природою во всех.
От слабости в себе мы страсти ощущаем;
Движением страстей дела все исполняем.

Вотще трудится тот, кто страсти истребляет;
Довольно, чтоб нейтить порокам вслед худым.
Пороком то зову, что зло в себе питает
И что наносит вред и горести другим.

Страстям самою мы природой научении;
От злости ж к ближнему мы ею отвращенны.

Желать веселости нас чувство побуждает,
Желать других губить — худой привычки знак;
Природа зло чинить другим нам запрещает,
И для того из нас злодей и плут не всяк.
В нас добродетели, природою врожденны,
Привычкой иногда живут лишь утесненны.

Для истребленья зла потребно нам ученье,
Чинить другим добро велит природы глас:
Желанья нанести другому утесненье
Природа никогда вселить не может в нас.
Природа! ты сама тому нас научаешь,
Не делати другим, чего сам убегаешь.

Тобою ж слабости в сердцах своих питаем,
Ты учишь нас любить, ты учишь нас желать,
Тобой веселие и грусти ощущаем,
Ты тщишься нас склонять, ты тщишься отвращать,
Тобою божество нас смертными создало,
Тобой приличную и крепость нам влияло.

Тот счастлив, кто души спокойство сохраняет,
Его счастливее на свете здешнем нет.
Велик тот, кто умом все страсти обладает,
Он выше жребия всех смертных здесь живет.
Но часто так гордясь, мы хвалимся тем ложно,
Так тверду смертному едва ли быть возможно.

⟨*1761*⟩

128. ПРИТЧА

СОБАКА И СЕНО

Из короба не лезет,
А в коробе не едет,
И короба не отдает, —
Пословица у нас идет.

Собака сено охраняла,
На всех она брехала
И к сену не пускала никого;
Не ела и сама его.

Так все завистники собаке подражают,
Хоть нет в чем нужды им,
Однако ж не хотят владеть отдать другим.
На свете худо жив, всем прочим жить мешают.

⟨*1761*⟩

129. ОДА
БЛАЖЕННЫЯ И ВЕЧНО ДОСТОЙНЫЯ ПАМЯТИ ИСТИННОМУ ОТЦУ ОТЕЧЕСТВА, ИМПЕРАТОРУ ПЕРВОМУ, ГОСУДАРЮ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ

О, дух великого героя,
Что ради подданных покоя
В трудах свой век препроводил,
Для стран российских благоденства
Со злобой брань вел из младенства
И всё впоследок победил.
Коль счастлив день тебе, Россия,
Тот день, как рог твой вознесен!
Тот день, от воли как святыя
Великий Петр на свет рожден.

Во тме Россия пребывая,
Врагов своих в себе питая,
Уж зрела гибель близ себя,
Извне враги уже терзали,
Внутри раздоры расхищали;
Но бог, воззревши на тебя,
Своею волею всемочной
Твое паденье удержал:
К спасению страны полночной
Великого Петра послал.

Пришел, Россия, твой спаситель,
Пришел се твой преобразитель,

Пришел тебе дать вид иной.
Какое страшное виденье!
Вдруг ужас, трепет, удивленье
Объемлют купно разум мой:
Той час я в мыслях вображаю,
Как Петр Великий скиптр приял,
Мятусь, во страхе унываю,
Что ж зрю? — Злодеев Петр попрал.

Младенца злоба окружает,
Яряся, втайне ков сплетает
На жизнь творца российских благ.
Предшествует ей зависть всюду,
Не ведая, напасть откуду,
Трясется, носит яд в устах,
Бледнеет, алчный взор кидает
На неповинного Петра
И жало злобе изощряет,
Но власть всевышнего щедра.

С небес всевидящее око
С высот свой мещет взор глубоко,
Взглянув в Россию в оный час,
Петра от злобы защищает,
Стрельцов зловредных низлагает,
Раздался кающихся глас.
Геройство в младости являя,
Презрев свирепство и раздор,
Просящим дерзость отпуская,
Петр милосердый кажет взор.

Но сбор их милость забывает,
Еще раздоры начинает,
Льет кровь отечества сынов.
Уж храмы божьи расхищенны,
Чертоги царски окруженны,
И истребляют род Петров.
Не ярость, должность побуждает
Искоренить сей яд презлой,
Петр хищников сих истребляет,
Восставить общий чтоб покой.

Избавясь от напасти злыя,
Предвидя бедствия другия,
Что жадным оком готфы зрят
И руки хищны простирают,
Коварны умыслы сплетают,
Россией обладать хотят, —
Любя отечество драгое,
Стремится Петр его спасать,
И чтоб в правление чужое
Сынов российских не отдать,

Заводит войско, флот сряжая,
И, новы грады соружая,
Законы учреждает нам,
И, ересь отженяя веры,
Собой всем подая примеры,
Во всем предшествует рабам.
Пути пространны отверзает,
Предвидя пользу в том своим,
Прибытки, торги размножает
Своим старанием одним.

Куда я взор ни обращаю,
Везде Петра я обретаю. . .
Отечества отец прямой!
Хоть богом счесть тебя не можно,
Но послан был ты к нам, неложно,
От воли вышния святой!
Чтоб грубость нашу просветити,
От бед Россию оградить,
Чтоб жить безбедно научити
И чтоб злодеев низложить.

В дух бодрый естество влияло,
Всех выгод и блаженств начало,
Чем Петр не должен никому.
Сквозь мрачность взором проникает,
К наукам руки простирает,
Чтоб просвещенье дать уму.
Привычку Петр одолевая,
Рассудку он вослед течет,

Наукой разум свой питая,
Он сам с собою брань ведет.

О, свойство свыше смертных части!
Чтобы себя иметь во власти,
Собою Петр повелевал:
Свои утехи презирая,
В опасности себя ввергая, —
Но всё для нас претерпевал.
Ты силою своей десницы
Флот, войско, грады насадил,
Расширил, укрепил границы,
И чрез закон покой взрастил.

Но больше тем мы вознесенны,
Что здесь науки насажденны,
Чем труд твой будет сохранен:
Они союзы укрепляют,
Они жить в счастье научают,
Чрез них всяк в обществе блажен.
Судьи, законы сохраняя,
Ков хитрый познают льстецов;
Вожди, победу получая,
Брегут своих, разят врагов.

Но что еще мой ум смущает?
Куда еще мысль взор бросает?
Мечтательно виденье зрю:
Дым, пепел, пламень, мгла курится,
Багрова кровь ручьем стремится.
Желаньем петь еще горю,
Горю Петра петь под Полтавой,
Когда он готфов там попрал,
Попрал, вознесся вышней славой
И сил искусство показал.

Нептун пучину в власть ввергает,
Кровавый меч свой Марс вручает
И держит лавры над главой.
Се Петр из рук перуны мещет,
В полках российских пламень блещет
И смерть несет во шведский строй.

Уже трофеи их валя́тся,
Бегут и не брегут знамен,
Бегут, спасти себя стремятся,
Даются безупорно в плен.

То войско там торжествовало,
Что прежде юность утешало, —
Никто сих следств не ожидал.
Каким вы зреньем насладились!
Вы, кои в веке том родились,
Когда Петр лавры восприял,
Лучами как облекшись славы,
Приходом россов ободрил
И гордых шведов от Полтавы
В Москву в триумфе плен вводил.

Я в мыслях вход сей воображаю,
Мечтаньем дух свой услаждаю
И удивляю разум свой;
Он вид геройский всем являет,
Веселый взор к рабам бросает.
В делах и духе он герой.
От рук искусных образ знаю,
Известен слухом труд уму;
Но равного не обретаю
Ни в виде, ни в делах ему.

О Петр! России обновитель,
Рабам блаженства причинитель,
Тебе обязаны мы всем:
Ты век счастливый нам устроил,
Ты все мяте́жи успокоил,
Трудясь в отечестве своем.
О, как тобой мы вознесенны!
Для наших благ пришел ты в свет,
Но только ль тем мы награжденны? —
Ты нам родил Елисавет.

⟨*1761*⟩

130—131. *ЭПИГРАММЫ*

1

Когда натура в свет людей производила,
Всем разны участи делила.
Единых одарила та умом,
Других лицом.
Тебе, красавица, последню часть судила:
Прекрасна ты, мой свет,
Ума ни капли нет.

2

Я знаю, ты за что соседки ненавидишь:
Затем что пред собой достоинствы в ней
видишь.

⟨*1761*⟩

132. ПРИТЧА
СНЕГИРЬ И ЧЕРВЯК

Поймавши червячка, снегирь клевал,
А ястреб, налетев, снегирика задрал.
То ж самое и свет разумный совершает:
Коль кто кого сильняй, так тот и поражает.

⟨*1761*⟩

133—142. *ПРИТЧИ*

1

О ЭЛЕГИИ

С любовью сопрягши́сь, душа моя пылала
И Музу петь стихи печальны наставляла, —
Родилося дитя Элегия от них.
Во обстоятельствах узря меня худых,
Веселостей лишенна,
Печальна, возмущенна,
Пошла просить утех она душе моей

И чтилась умягчить печалию своей
Ту, кто мной обладает
И кто мой дух терзает.
Красавица ее с приятностью прочла
И похвалой ее довольною почла.
Но гордости своей она не пременила;
А после и совсем просителя забыла.
О бедное дитя! конечно не тобой
Удобно мне сыскать душе моей покой.

2

КОНЬ И МУЖИК

Хотя приятный взор меня твой и прельщает,
Хотя он тысячу утех мне обещает,
Но я боюсь в обман ему себя отдать,
Чтоб после не страдать.
Я к этому скажу здесь басню небольшую,
Вот слушайте, какую:
Конь по лесу ходил,
Конь вольный этот был;
А как то было, я не знаю,
И верить вам и нет я в этом дозволяю.
Мужик дрова рубить пошел,
В лесу Коня нашел.
Конь мил стал мужику, мужик Коня ласкает.
«Дай, Конь, себя поймать, — мужик Коню вещает, —
Я стану всякий день овсом тебя кормить,
Под убранным седлом ты будешь, Конь, ходить».
Но Конь тот думает: «Меня ты не обманешь,
Хоть буду убран я ходить,
Да буду я тебя, мужик, возить,
И для того меня ты убирати станешь.
А вольность милая приятнее всего,
Свободы лучше нет на свете ничего».

Но так любовники хотя и рассуждают,
Однако власть свою неволею теряют.
До тех лишь только пор свободу он хранит,
Покамест он свою возлюбленну не зрит.

3

ОСЕЛ, СВИНЬЯ И ЛИСИЦА

Осел Лисицу обмануть хотел;
Однако не умел,
Затем что был Осел.
Или ясней сказати,
Без всех обиняков,
Чего жалети дураков?
Не будет совесть угрызати,
Когда скажу: Осел
Затем не обманул, что смысла не имел.
Еще глупей того Осел мой начинает,
К воспоможению Свиньи он прибегает,
И говорит он ей: «Свинья,
Я
Перед собой тебе в обманах уступаю,
И разум своему я твой предпочитаю.
Пожалуй, помоги Лисицу обмануть,
Мне хочется ее с горы долой столкнуть;
Да только не умею».
Ответствует Свинья:
«Я
Всё дело поверну то головой моею».
Тотчас к Лисе пошла.
Как будто умная скотина выступала,
Но только хрюкать начала,
Лиса тотчас узнала,
Почто Свинья пришла.
Хвостом своим вернула,
С горы Свинью столкнула
И так сказала ей:
«Нос бойся поднимать на умных впредь зверей».

4

КОЗЕЛ И ЛИСИЦА

Козла Лисица полюбила,
И вместе завсегда с Козлом она ходила.
Дивились, для чего она всегда с Козлом:
Какой утехи быть разумной с дураком?

Однако дивом вы того не почитайте.
Я диво ваше развяжу,
Когда вам расскажу.
Послушайте и знайте:
Затем Лисица любит быть с Козлом,
Что весело шутить над дураком.

Я этаких козлов довольно в свете знаю.
А кто? Читателю приметить оставляю.

5

ЛУКАВАЯ СОБАКА

Случилось прошлой мне весной гулять ходить,
Чтоб время проводить
И чувства воздухом весенним усладить.
Собака, подошед ко мне, ласкалась,
Собака хороша мне показалась.
Не знав ее ни умысла, ни дел,
Погладить я хотел,
Она тут ласку пременила:
Лишь руку протянул, она и укусила,
И побежала прочь.

Так ты в друзья к себе льстецов не прочь,
Читатель! знай, что все льстецы ей подражают
И нас кусают.

6

ЛИСИЦА И ВОРОН

Нередко собственны глаза нас облыгают,
Хотя мы верим больше им,
Как нежели друзьям своим,
Они в погибель нас нередко повергают.
Лисице Ворона хотелося поймать,
Чтоб после перье ощипать.
Вся вымаравшись в кровь, Лисица повалилась
И мертвой притворилась;
А где она легла, тут Ворон тот летел,
До крови ласков он, — и на Лисицу сел.

Лисица Ворона поймала,
И тотчас ощипала,
И после стала хохотать
И Ворона ругать.

СОСЕД

Один что похваляет,
Другой то похуляет,
Всяк следует в том вкусу своему,
Противно многим то, что мило одному,
И если станем мы всегда другому верить,
И вкусом не своим дела на свете мерить,
Так очень будет скучно жить
И будем, живучи на свете, мы тужить.
Вчерась случилось то со мною,
Обманут похвалой вчерась я был одною.
Хвалили мне соседа моего,
Что весело с ним знаться.
Я стал о том стараться,
И был вчерась я у него;
Но дай мне боже с ним на стречи не встречаться!
Приехал я к нему, меня он посадил
И вдруг про лекарей заговорил.
Я речь чтоб перебить, — никак, он продолжает.
Уж вечер наступает;
А он не престает всё то же говорить,
Потом стал и меня лекарствами поить.
Кому приятно их без нужды пить?
«Ей-ей, не болен я», — ему я стал божиться,
Однако я никак не мог отговориться.
Скажите, весело ли с ним водиться?
С ним знаясь, надобно здоровому лечиться.

8

ПРАВДА, ПОРОК И ОБМАН

Когда Порок судьею сел
И стал вселенной всею обладати,
Тогда Обман стал Правду утесняти:

Он ссору с ней давнышнюю имел.
Как Правда меж людей святая обитала,
Всеобщего врага Обмана утесняла;
Но как Порок судьею сел,
Обман с Пороком дружество имел,
Друг друга истинно они любили
И так, как братья, жили;
Обман нашел случа́й, чтоб Правде отомстить
И Правду погубить.
На Правду ложное прошение составил;
А что в нем написать, Порок его наставил:
Подьяческих крючков в прошенье начинил,
Понежеми везде прошенье испестрил.
В суд Правда позвана, пришла, к суду предстала.
Надежно шла на суд, вины она не знала.
Порок стал Правду вопрошать,
Обман стал Правду уличать;
А Правда начала́ им отвечать,
И просто говоря, крючков она не знала,
И в оправдании *понеже* не сказала.
За то судья тут Правду обвинил,
И приговор он так скрепил:
«Понеже де она понеже презирает,
Так тем она весь штиль приказный наш ругает».
И то вина, когда нельзя другой найтить:
Винна она иль нет, да надо обвинить.

Нередко не дела нас обвиняют,
И правость не дела, судьи нам причиняют.
Скажу вам прямо я:
На дело не смотри, смотри лишь, кто судья.

9

КРОТ, ГОРНОСТАЙ И ЯСТРЕБ

Зимою Горностай весьма оголодал;
А пищу как сыскал,
И начал он за пищу приниматься.
Увидел Крот,
Разинул рот
И, ноздрю раздувая, сей урод
За пищу с Горностаем начал драться;

Но Ястреб, налетев, тотчас их помирил:
Оставил драться их, а мясо ухватил.

Читатель! при́клад сей
Тебе изображает
Завистливых людей:
Нередко с ними так бывает.

10

СВЕРЧКИ И КЛЕВЕТНИКИ

Мешают часто мне сверчки писать:
Лишь я писать,
Они летать,
Кричать
И мне писать мешать.
Хоть всё сие не больно,
Однако же от них досады мне довольно.
Хотя б казалося и жалко тварь губить,
Но скучно с ними жить.
Так все клеветники сверчкам сим подражают
И весело нам жить мешают.
Так, как сверчков нельзя не бить,
И их нельзя щадить.

⟨*1761*⟩

143. СОНЕТ

Надеждой, суетой, сном смертный награжден,
Сие тебя, сие на свете утешает;
И то же самое тебя и сокрушает:
Ты оным к гибели бываешь побежден.

О смертный! к бедной ты жить участи рожден:
Тебе здесь суета познать себя мешает,
Надежда льстит к бедам, сон времени лишает.
Чем счастлив, тем же ты и гибнуть принужден!

Однако сон тебе не счастия забвенье,
Надежда в гибели приятно утешенье,
Ты счастлив, весел здесь бываешь суетой.

Чтоб участию сей тебе не сокрушаться,
Умерен быв, стремись за истиной святой, —
Ты в краткой жизни сей возможешь утешаться.

⟨*1761*⟩

144. СОНЕТ,
СОЧИНЕННЫЙ НА РИФМЫ, НАБРАННЫЕ НАПЕРЕД

На то ль глаза твои везде меня встречали,
Чтобы, смертельно мне любя тебя, страдать,
Чтоб в горести моей отрады не видать
И чтобы мне сносить жестокие печали?

Прелестные глаза хотя не отвечали,
Что буду жизнь, любя, в утехах провождать,
Я тщился радости себе от время ждать,
Чтобы несклонности часы с собой промчали;

Но временем узнал, что тщетно я люблю,
Что тщетно для тебя утехи я гублю
И страстью суетной терзаюся всечасно;

Однако я о том не буду век тужить:
Любить прекрасную приятно и несчастно,
Приятно зреть ее и для нее мне жить.

⟨*1761*⟩

145. СТАНС
СОЧИНЕН 1761 ГОДА ИЮЛЯ 19 ДНЯ ПО ВЫЕЗДЕ ИЗ ДЕРЕВНИ Г⟨ОСПОДИНА⟩ Х⟨ЕРАСКОВА⟩

Прости, приятное теперь уединенье,
　　　　Расстался я с тобой,
В тебе я чувствовал прямое утешенье,
　　　　Свободу и покой.

Гражданска суета мой дух не возмущала,
　　　　Любезна простота
Селян незлобивых меня там утешала,
　　　　И ме́ста красота.

Сколь мило слушать то, как птички воспевают
По рощам меж кустов!
Миляй, что люди все без злости пребывают;
Там нет клеветников.

Там злоба с завистью меж них не обитает,
И царствует покой.
Едина истина сердцами обладает,
Там век цветет златой.

Там нет насилия, там нет и утесненья
От общих всем врагов.
В равéнстве все живут, от сильных нет грабленья,
Не слышно стону вдов.

Херасков! разлучась со мной, ты там остался,
Где век златой цветет;
А я, жалеючи, мой друг, с тобой расстался,
Чтоб жить, утех где нет.

Играти мыслями, играть моей душою
Угодно, знать, судьбе.
Ища спокойствия, лишенны здесь покою,
Завидую тебе.

19 июля 1761

146—165. *ЭПИГРАММЫ*

1

Коль вести кто к тебе приносит обо всем,
Пожалуй же, и ты не верь ему ни в чем.
И о тебе равно он всех уведомляет,
Тем вестоносец страсть свою питает.

2

Не радуйся, хотя тебя и похваляет
Тот, кто и сам аза в глаза не знает.

3

Пороки мы в других ругаем,
А собственных своих не знаем.
Но лучше нам других пороков не замать,
Да только лишь свои пороки исправлять.

4

Не дивно то, что ты осла нарек быком,
Затем что сам рожден на свет ты сей скотом.

5

Не то ведь хорошо, чтоб много написать.
Чтоб хорошо писать, лишь то льзя похвалять.
Хоть в десять стоп ты что ни есть составишь,
Да если худо, то себя тем не прославишь.

6

Мы дивом то считаем,
Что редко обретаем.
А диво всякое мы похваляем.
Зоил толь редкий человек,
Что первый может быть еще во весь он век —
Он всё в себя вмещает,
Всё то, что порознь лишь бывает:
Лжив, зол, трус, пьяница, плут, глуп и клеветник, —
Ты редкий человек, так в свете ты велик.

7

Когда плачевные стихи твои читаю,
Ты сердишься, что я тут слез не проливаю.
Сердиться на меня, спроси у всех, грешно.
Виновен ли я тем, что плачешь ты смешно?

8

Кто хуже в обществе — дурак иль клеветник?
Дурак молчит
И не вредит,
Но вреден обществу клеветников язык.

9

Похвально, много кто умеет говорить.
Да только чтоб не лгать, не ссорить, не бранить.

10

Любовь мне да друзья стихи писать мешают,
Но, может быть, меня стыда они лишают:
Полезней и пера не брать,
Как вздор писать.

11

За вымыслы творцов великими считают,
Так для чего же все, Зоил, тебя ругают?
Ты больше вымыслов пиитов всех чинишь,
Ты правды никогда, Зоил, не говоришь.

12

Дамон пиитов всех на свете презирает,
Когда стихи читает,
Он всех стихи ругает.
Причина вот тому, что он не понимает
Того, что он читает.

13

Кто скромен правильно, того льзя похвалить,
Да только кто молчит, умея говорить.
А ты вотще за то хвалы днесь ожидаешь,
Ты для того молчишь, что ничего не знаешь.

14

Не дивно, что Дамон охотник так к ослам,
Затем что он осел и сам.

15

Нарцисса ты изображаешь,
Ты так же всех, как сей цветок, собой
прельщаешь,
Но больше на него ты тем похож,
Что так же ты, как он, без мозгу, а хорош.

16

Похвально то, что ты науки почитаешь,
Похвальнее еще, что сам ты сочиняешь,
Похвальней и того, что много ты писал,
Похвальнее всего, что всё то изодрал.

17

Тот счастлив, кто тебя, красавица, узнал,
Счастливей, кто любовь к тебе в груди питает.
А тот счастливей всех, тебя кто не видал, —
Спокойно он живет, не рвется, не вздыхает.

18

Красавица, ты мне когда-то говорила,
Что всё на свете льзя сыскать.
Но я хочу тому противное сказать.
Вот первое нельзя, чтоб ты меня любила!

19

Литое сердце мне из сахару дала,
А у меня мое ты сердце отняла.

20

Как в карты я с тобой, красавица, играл,
Я деньги выиграл, а сердце потерял.

⟨1762⟩

166. ИДИЛЛИЯ

На брегах текущих рек
Пастушок мне тако рек:
«Не видал прелестнее твоего я стану,
Глаз твоих, лица и век.
Знай, доколь продлится век,
Верно я, мой свет, тебя, верь, любити стану».

Вздохи взор его мой зрел.
Разум был еще не зрел.
Согласилась мысль моя с лестной мыслью с тою.
Я сказала: «Будешь мой,
Ты лица́ в слезах не мой,
Только будь лишь верен мне, коль того я сто́ю».

Страсть на лесть днесь променя,
И не мыслит про меня.
О неверный! ныне стал пленен ты иною.
Мне сказал: «Поди ты прочь
И себе другого прочь».
Как несносно стражду днесь, рвуся я и ною.

⟨*1762*⟩

167—168. *СТАНСЫ*

1

Я счастия сего на свете не желаю,
Чтоб чином был большим когда-нибудь почтен,
Я не стараюся быть славой вознесен,
И всё то получить я случаи теряю.

Ни злато, ни сребро меня не обольщает,
Хоть буду беден я, не буду я тужить.
Не тем прельщаюсь я, не так хочу я жить,
Не эта часть меня на свете сем пленяет.

Ищу единого я в жизни сей покою,
А более ничто мой дух не веселит.
Покой мой только в том едином состоит,
Чтоб был драгой любим и вместе жил с драгою.

2

Ах, с чем теперь, ах, с чем, судьба, я расстаюся!
Любезная Москва! Прекрасный град, с тобой!
О, как я мучуся! колико я мятуся!
Почто остался дух прискорбный в тебе мой?

Источник всех забав, жилище утешенья!
В тебе владычица души моей живет.
Окроме лишь тебя, нигде увеселенья,
Нигде, любезный град, нигде уже мне нет!

С любезною своей в тебе я, жив, видался,
Котору осужден по смерть мою любить,
И зрением на то, что мило, наслаждался,
Я только тем одним могу утешен быть.

(1762)

169—170. *СОНЕТЫ*

1

Три разные системы заключающий: читай сперва весь по порядку, потом первые полустишии, а наконец последние полустишии

Престанем рассуждать: добра во многом нет.
Не зрим худого здесь, в том должно согласиться.
Худ, тягостен свет весь, возможно ль утвердиться?
Нам должно заключать, что весь исправен свет.

Почтимся рассуждать: здесь счастие растет,
Мы справедливо днесь возможем веселиться.
Бед, ссор, болезней смесь, — всё к доброму стремится,
«Худым то должно звать», — безумец изречет.

Худого в свете нет, здесь утешаться можно.
Невежа изречет: «И счастие есть ложно».
Не смысля, говорит, нельзя всего хвалить.

Всё должно презирать, хоть можно утешаться.
В незнании кричит: «Есть, есть что похулить»,
Долг инак рассуждать, в том должно утверждаться.

2

Я горести мои тобой лишь умягчаю,
Живу я для тебя, тобою дух пленя,
Ты только веселишь единая меня,
Но мысли я свои тобой же отягчаю —

Тобой что заплачен в любови быть не чаю,
Затем что, ласку ты нередко пременя,
Суровостью мой дух терзаешь, вспламеня,
Однако мысли те надеждой облегчаю.

Смягчится, может быть, ожесточенный рок,
Ты, не почтя мою горячность за порок,
Которую во мне ничто не умаляет,

Узная, что меня не льстит уж взор ничей,
Что и несклонность страсть твоя не утоляет,
Смягчишь суровый нрав и взор твоих очей.

⟨1762⟩

171—172. *ЭЛЕГИИ*

1

На то ли осудил мне рок тебя любить,
Чтоб только все мои утехи погубить?
В жестокие часы разгневанной судьбою
Спознаться было мне назначено с тобою.
Рассеян разум мой, разрушен весь покой,
И нет надежды мне к отраде никакой!
На свете уж ничто меня не утешает,
Всечасно грудь моя мученье ощущает.
Любезная моя! Ты, дух воспламеня,
Несклонностью своей терзаешь ты меня.
Или, прекрасная, того не вображаешь,
Как жестоќо мое ты сердце поражаешь?
Покою нет нигде, нигде утех мне нет,
И, может быть, мой стон вовеки не минет.
Тем радости свои и весь покой гублю,
Кого я более души моей люблю!

Ах, вечно в горести жестокой мне страдать,
И вечно мне в любви утехи не видать!
Прекрасные глаза, на то ль меня встречали,
Чтоб только причинить несносные печали,
Спокойных чтоб ночей и сладких дней лишить,
Чтоб сердцем обладать и, обладав, крушить?
Но пусть хотя любить вовеки тщетно буду,
Доколе не умру, тебя не позабуду.

2

Сбылося всё, что я себе ни предвещал,
На то ль тебя, любовь, я в сердце ощущал?
Сбылася часть моя, я вижу рок мой ныне,
Сбылося всё, и се конец моей судьбине.
Прости, прелестный град, о град, где я рожден!
Любезная Москва, я роком осужден
Расстатися с тобой, так он повелевает
И всё намеренье мое тем прерывает.
В пустынях ныне жить мне велено судьбой.
Прости, любезный град, расстанусь я с тобой!
В уделе я своем иду искать покою,
В деревне, где мой дом весь окружен рекою.
Там стану на брегах жизнь скучну провождать,
С струями буду слез потоки сообщать.
Пристанищем моим едины будут рощи,
Отрадой гласы птиц среди весенней нощи.
Но, ах! удобно ль что отраду мне подать?
Всечасно день и нощь я стану там страдать,
Любезна тень, всегда мечтаясь предо мною,
Мой будет томный дух терзать всегда тоскою.
Однако только лишь осталось сделать мне,
Чтоб больше мне не жить в прекрасной сей стране,
Чтобы на прелести несклонной не взирати
И в сердце ран любви моей не растравляти.
Что в том, что я могу, что мило мне, то зреть,
Коль не могу в любви успехов я иметь?
Я воображаю, зря, к мучению презлому,
Что прелести ее цветут в удел другому!
Пусть ласки от нее к себе могу я зреть,
Утеха слабая, коль только то иметь, —

Толь искренней любви, толь сердцу распаленну
Любовью равной быть приятно заплаченну.
Но ласки без любви для сердца пущий яд.
Свидании мне с ней погибель мне сулят.
Сокроюсь от нее, коль то судьбе угодно,
Чтоб ран не умножать любви моей бесплодно:
Сокроюсь от ее прелестных я очей,
Которыми лишен спокойных я ночей.
А ты, жестокая, когда меня вспомянешь,
Хотя чрез слух, когда о мне что слышать станешь,
Воспомяни и то, что я тебя люблю,
И что я всё, что есть, тобой одной гублю.
Воспомяни о мне, хотя душа не страстна,
И пожалей тогда любовника несчастна.
Вообрази себе, колико стражду я,
Почувствуй, сколько жизнь мучительна моя.
Лишен сообщества, друзей, забав, покою,
За то ли, что люблю, несчастлив я тобою?

⟨*1762*⟩

173—182. *ПРИТЧИ*

1
ВОЛК-ОТКУПЩИК

Волк денег накопил
И шерсть у пастуха овечью откупил;
Дороже пастуху за шерсть он заплатил,
Лишь только б по своей он мог овец стричь воле, —
При откупе он в договоре положил.
Пастух тот думает: чего ж желати боле?
Считает откуп сей за клад,
И волк не меньше рад.
Пастух обманутым продажей волка числит,
А волк: «Обманут мной пастух, конечно», — мыслит.
Как ты себя, пастух, ни нудь,
Волк сам ведь у себя, его не обмануть.
Он дело всё уж смыслит
И лучше твоего свои прибытки счислит.
Я бьюся об заклад,
Что ты напрасно рад;

Где деньги волк заплотит,
Тут вдвое поворотит.
Волк сам ведь не дурак,
Когда он откупает,
Знать, в откупе прибытка чает.
Конечно, это так,
И деньги он свои хотя тебе заплотит,
С тебя ж их поворотит.
Послушайте, что было наконец:
Волк летом откупных два раза стриг овец,
Его то не смущает,
Что тем овец он сокрушает, —
Карман лишь смотрит свой.
О пользе общества совсем он не трудится,
Лишь был бы он богат, весь свет хоть разорится:
Он пользу общества чтит пользой не своей.
Настали лютые морозы,
Все овцы померли, одни остались козы,
А с коз ведь шерсти нет,
О том известен свет.
Пастух откупщику в обмане упрекает,
А откупщик ему вот тако отвечает:
«Мой друг, я шерсть на то и откупал,
Чтоб я разбогател, а ты бы беден стал.
Я ту-то откупом и пользу получаю,
Что сам я богачусь, а прочих разоряю.
Не будешь шерсти ты теперь уж продавать,
Так я уж впятеро за шерсть-то буду брать».

2

ПТИЦЫ И ЛОВЕЦ

Пошел мужик в поля сетями птиц ловить:
Обман употребляет,
Пшеницу рассыпает,
Чтоб птичек обольстить.
Он манит кормом птиц под утаенну сетку
И хочет запереть, поймав, навек во клетку.
Летят со всех сторон,
Кричат все: «Кормит он».

Мужик пшена для птиц и более таскает
И кормом птиц ласкает.
Но как несмысленных потом он обольстил,
Под сетку приманя, птиц сеткою покрыл.
Иных он в клетку птиц сажает,
Иных на торг несет продать, и убивает.
Хороших перьем птиц стремится ощипать,
Чтоб перья распродать.
Познавши птицы лесть, раскаялись, да поздно:
Сначала отвращать потребно время грозно.

Приятной лести вид потребно презирать,
Покрытый медом яд не надобно вкушать.
Когда льстецы приятный вид являют,
Брегитесь: самым тем они вас уязвляют.

8

ОСЕЛ В БОГАТОМ СЕДЛЕ

По виду одному о всем не можно мыслить,
Нас видом иногда и лютый змей прельстит,
А, сердцем злобен, он и всякого язвит.
Хоть кто лицом хорош, однако льзя ли числить,
Что он во всем хорош
И на лицо свое душою он похож?
Не всё полезно то, что нежный вид являет;
Яд вред нам причиняет,
Хотя из золота его кто выпивает.
Иной язы́ком льстит, а в сердце злость скрывает.
Льстец более всегда старается ласкать.
По виду ни о чем не можно рассуждать.
Что вид нас облыгает,
Пример случился сей с ослом.
Осел богатым убран был седлом.
Седло, всё золотом покрытое, блистает,
Осел на то глядит, осла то утешает.
И мыслит сей осел:
«Я счастие нашел.
Конечно, мой меня хозяин обожает,
Что тако наряжает».
Несмысленный, не ври, то всё не для тебя,

Хозяин рядит так тебя
Твой для себя.
Устав под седоком, осел не то уж мыслит,
Богатый он убор погибелию числит.
Узнал, что весь убор и он для седока,
Когда седок набил за лень ему бока.
Безумно сей осел нарядом веселился,
Наряд его ему в напасти обратился.

4

СОБАКА И ТЕНЬ

Чужого кто себе имения желает,
Свое нередко тот теряет.
Я это вам примером докажу,
В пример вам басню расскажу
Чужую,
Послушайте какую.

По берегу собака шла,
И мяса краденый в роту кусок несла.
Вода ее в себе изображает,
Величину ее и с мясом умножает.
Свербит собакин ус,
Приятен кажется в воде ей мнимый кус.
Собака в мнении своим кусок сей числит,
Насилием его отнять у тени мыслит.
И с жадностью своей
Прыгну́ла в воду к ней,
Прыгну́ла и не зрит уж прелести своей,
А из роту кусок с задору упустила,
Вода кусок тот поглотила,
И так она
Осталась голодна.

5

СВЕРЧОК И МЕДВЕДЬ

В деревне живучи, я по лесу гулял,
Гуляньем скуку прогонял.
В лесу нашел сверчка, а я сверчков боюся.

Не знаю, как
Зашел сверчок туда, однако ж было так,
Хоть я тому и сам дивлюся,
И сбыться, кажется, нельзя тому никак,
Да было так.
Но это рассуждать другому оставляю,
Нет нужды до того,
Как занесло туда его.
Я басню вот о чем свою вам предлагаю:
Сверчок меня тот испужал,
Хотя не вреден он, да прочь я побежал.
Бежавши, на медведя я попал.
Медведь и пуще испужал:
Медведь ведь не сверчок, и шуток он не знает,
Тотчас он изломает.
Старался от него, спасаяся, уйтить,
Ушел, и больше в лес не стал потом ходить.

Но сем оставим мы химеры,
И в городе сему мы часто зрим примеры:
Незнанием себя несчастью мы вдаем,
Спасаясь от беды, в сугубую идем.

6

ЛИСИЦА, ОСЕЛ И МЕДВЕДЬ

Лисица и Осел когда-то подружились,
Все звери этому дивились,
Что сделались друзья разумный и дурак.
Однако ж было это так,
Хотя и чудом почитали.
Все сча́стливым Осла сей дружбой называли.
Лисице хочется Медведя обмануть,
Да только к этому немножко труден путь.
Однако же Лиса на это не взирает,
На свой Лисица смысл надежно уповает.
К Медведю подошла, и производит лесть.
Пред ним погоду похваляет,
Из лесу погулять Медведя вызывает,
Чтоб в сеть его завесть.
Медведь мой догадался,
Медведь в обман ей не отдался.

Лисице сделать он за вымысл хочет месть,
А попросту сказать, Лисицу хочет съесть.
Лисица плутовством себя спасает,
За то, чтоб отпустил,
Осла Медведю обещает;
Медведь Лису простил.
Лисица данных слов своих не пременила,
Осла гулять подговорила;
Подговоря гулять, к Медведю привела
И друга своего на жертву отдала.

Читатель! надобно и нам льстецов бояться:
Лукавые и с нами так дружатся.

7

ВОЛК И ЛИСИЦА

Лисица с Волком побранилась,
Лисица очень осердилась
И хочет Волку мстить,
Лукавством хочет Волка погубить.
Охотников она послыша близко в поле,
«Теперь-то, — думает, — злодей в моей уж воле».
Пошла к охотникам, о Волке чтоб сказать
И где он, указать.
Из лесу только лишь к собакам появилась,
То выдумка совсем ее переменилась.
Ее
Собаки самое
Поймали
И растерзали.

Рва недругу не рой, в ров сам ты попадешь,
Искав другим беды, беду себе найдешь.

8

СПЕСИВЫЙ ДУРАК

Я некогда спесивого увидел,
Иль так его я почитал
За то, что он молчал

И тем меня обидел,
Что на вопросы мне не отвечал.
Однако ж то не так,
Спесивый не спесив, а только был дурак.
От глупости всему он улыбался,
И тем спесив мне показался.
Не для того молчал, что молвить не хотел,
А для того молчал, что молвить не умел.

9

ОСЕЛ-САМОХВАЛ

Был некакой Осел,
И прыгать он умел;
Иль нет, он чаял так, что прыгать он умеет:
Всечасно прыгает, и прыгавши потеет.
За то никто Осла на свете не хулит,
Затем что про Осла никто не говорит.
Про глупых говорить — терять слова напрасно.
Презрен Осел, о нем никто не хочет знать,
И некому дурачиться мешать.
Он прыгает всечасно.
Стал сам хвалиться он:
«Куда как я умен!
Всё сделать я умею,
Всё в свете разумею».
То слушая, дивятся простаки,
Такие же ослы, такие ж дураки,
Такие ж дураки Осла все почитают.
За что?
Про то
Не знают.

Нередко видывал подобных я ослов;
А попросту сказать, таких же дураков.

10

КОЗА И ЛЬВИЦА

Коза козляток родила
И лучше всех детей чужих их почитала:
«Вот то-то родила я деток!» — всем болтала.
Как некогда в поля гулять их повела,
Навстречу ей попалась Львица;
А Львица не Козе сестрица:
Получше, кажется, Козы она была,
И львенка за собой вела;
А львенок красотой козляток превышает.
Увидевши Коза тут львенка, рассуждает
И так от зависти болтает:
«Куда годится он?
И гадок и смешон.
Когда бы я таких родила,
Я всех детей своих бы била.
Хоть он моих детей и перерос,
Однако ж он курнос.
К тому же он без рог, и шерсть на нем клочками,
Козляточки мои и гладки и с рожками,
Да он же и дурак».
Престань ты с зависти, Коза, болтати так.
Козлятам век твоим Льва лучше не бывать.
Все Львом Льва, а Козла Козлом век будут звать.

⟨1762⟩

183. СТАНС

Всё на свете сем минется:
Всё на свете суета,
Всё, чем дух наш ни мятется,
Всё то тленность, всё мечта.

Гордый, пышен ты напрасно:
Ты такой же человек,
Жди ты, жди премен всечасно:
Счастлив будешь ты не век.

Ты ж, несчастный, не терзайся:
Время горести промчит,
И надеждою питайся,
Дух отраду получит.

Сей желании оставит;
Оный скучит, веселясь:
Сей от бед себя избавит,
Оный будет жить крушась.

Рок здесь всё преобращает,
Всё пременно в свете сем:
И желаньи пременяет
В сердце человек своем.

Но о том ли сокрушаться
Долженствует человек?
Тем он счастливым назваться
Должен в сей короткий век.

То на свете всех равняет,
Что премены всякий ждет,
То несчастных утешает
И надежду подает.

Если б были не пременны
Мы в желаниях своих,
Были б мы определенны
Жить в несчастиях презлых.

Человек всего желает;
Ах, но льзя ль всё получить!
Но чего не получает,
Может то он отложить.

Но когда б он устремился
Невозможного искать,
Он вовеки бы крушился,
Если б мысль не пременять.

Не гордясь неосторожно
Крепостью души своей,
Нам в желаниях не можно
Положити рубежей.

Больше все мы здесь желаем,
Нежель можем получать;
Если страсти ощущаем,
Льзя ль умеренно желать?

Пусть кто много получает,
Но желанья не прервет:
Коль едино совершает,
То другое настает.

И дотоль оно стремится,
Что не можно получить:
Так бы век пришло крушиться,
Коль его не пременить.

Кто б как много ни гордился
Во тщеславии своем,
Одинако всяк родился,
Схожи, схожи мы во всем.

Лишь в привычках бесконечным
Видом мы различены,
А движением сердечным
Все подобны рождены.

Ненасытны всех желаньи,
Слаб и дерзок человек,
Тщетны лестны упованьи,
Жизнь бедна и краток век.

И когда б не пременяли
Мы желанья своего,
Так вовек бы мы страдали
Неутешно от него.

Только тем мы здесь счастливы,
Страстные имев умы,
Что хотя и прихотливы,
Но во всем пременны мы.

Не неверность причитаю
Сродной нашим я сердцам,
В том премену похваляю,
Чем нельзя владети нам.

⟨*1763*⟩

184. СОНЕТ

Или я тем тебе, драгая, досаждаю,
Что более души своей тебя люблю?
Что всё я для тебя теряю и гублю?
Но той любовию тебя не повреждаю.

Несклонности твоей ничем не побеждаю!
Исканием моим я только лишь грублю;
Однако страсти я по смерть не истреблю:
Я истреблением страсть больше возбуждаю.

На то я жить рожден, чтобы твоим мне быть,
Но и возможно ли тебя мне позабыть?
Так часто зря тебя, страсть больше возрастает.

Надежда лестная утехи мне сулит,
Рассудок истребя, любовь мою питает:
От время склонности мне ожидать велит.

⟨*1763*⟩

185. ЭЛЕГИЯ

Ты запрещаешь мне себя, мой свет, любить,
И тем стараешься ты жизнь мою губить.
Я знаю то, что я люблю тебя напрасно,
Что суетно мое тобою сердце страстно,

Что быть тебе моей запрещено судьбой,
Что мы разделены препятствием с тобой.
Но сердце страстное тех прав не принимает,
Которые один обычай учреждает.
Обычай говорит: престань ты страстен быть,
А сердце говорит: нельзя ее забыть.
Ты в памяти моей летаешь повсеместно,
Нейдет из мысли вон лице твое прелестно;
Воображаются прелестны взоры глаз,
Воспоминаю я тебя по всякий час,
Тобой и сердце я, и мысль мою питаю,
И для себя забав иных не обретаю.
Так можно ль не любить себе мне повелеть?
И сердцу страстному возможно ли не тлеть?
Когда лишь тем тебе я только досаждаю,
Что я нередко здесь тебя, мой свет, видаю,
Я удалюсь сих мест, не буду зреть тебя,
Но буду, и не зря, равно гореть, любя.
Равно прельщатися тобою, свет мой, буду,
И страсть питав, по смерть тебя не позабуду;
И, только тем, что я с тобою разлучусь,
Еще несноснее, драгая, огорчусь.
Теперь хоть зрением единым веселюся,
А разлучась с тобой, я и того лишуся.
Всечасно буду я, не зря тебя, страдать,
Всеместно буду я там плакать и рыдать.
Нигде не будет мне малейшего покою,
Я буду мучиться прелютою тоскою,
Я стану от тоски места переменять,
И буду жизнь хотеть я сам свою отнять;
И если слух дойдет к тебе о том, как стражду
И тщетно я тоске своей отрады жажду,
Что мучусь, не живу, что век мой цепь лишь бед,
Что я скучаю всем, и тягостен мне свет;
И что моей тоски одна лишь ты причиной,
И будешь, может быть, и жизни мне кончиной;
И что терзаешь ты без жалости того,
Кому миляе ты и жизни, и всего,—
Хоть пожалей меня тогда ты, дорогая,
И дай мне знать о том, что тужишь ты, терзая.
Ищи своих утех, не возмущу тебя:

Я удалюсь отсель и погублю себя.
Мне слабости своей скрывати невозможно,
И коль исполнишь то, так удалиться должно.
Я удалюсь отсель, тебя чтоб не видать,
А разлучась с тобой, я буду век страдать.

⟨1763⟩

186. ЭЛЕГИЯ

От той, которая души миляе,
Досаду мне сносить — что может быти зляе?
Досада такова мучительней всего,
И нет ее горчай на свете ничего.
Жестокая! пусть ты меня не любишь,
Пусть к бедствию тебя смертельно я люблю,
И пусть, любя тебя, утехи лишь гублю,
Но ты еще мое мученье и сугубишь!
Несчастлив я судьбой,
Что для ради тебя на свет я жить родился;
Но, ах, еще несчастнее тобой,
Что я тебе не мил, а я в тебя влюбился!
Судьба меня с тобой навеки разлучает;
Твоя несклонность мне мученья приключает.
Я не виню тебя,
Что я не мил, любя:
Судьба моей то бедной части,
Чтобы мне мучиться во тщетной страсти.
Но винен ли и я,
Что вся тобой душа распалена моя?
Твое лице прекрасно
На памяти моей мечтается всечасно:
Вся мысль наполнена и чувство всё тобой,
Рассеян разум мой;
Всечасно мучуся прелютою тоскою,
Ни на минуту нет покою,
Всегда жестокое мучение терплю,
Тоскуя всякий час, ни веселюсь, ни сплю;
А ты еще мое мученье умножаешь,
И сердце ты еще жесточей поражаешь:

Досады мне чинишь, стараяся крушить,
Иль жизни ты меня стараешься лишить?
Лиша меня утех, покою, счастья вечно,
И жалости не знать;
Но и старатися мне муки умножать —
Бесчеловечно!
Мучь сердце ты мое, мучь, можешь ты терзать!
Когда ты в том себе утехи обретаешь,
Мучь сердце то, которым обладаешь!
Однако можешь ли ты после то сказать,
Что ты права передо мною?
Не будет ли тебя в том совесть угрызать,
Как будешь смерти ты моей виною?
Гнусна мне жизнь моя, коль так она бедна!
Я с радостию с нею разлучуся:
Я ею только лишь горчуся.
Коль жизнь мучительна, так смерть сладка одна.

⟨*1763*⟩

187. СКАЗКА

Я сказочку хочу теперь вам рассказать,
Не помню, где-то мне случилося читать,
Не помню, где, когда и как то приключилось,
Лишь помню только то, что это впрямь случилось.

Приметя жены все, что худа им дожить,
Когда из города догадки не избыть:
Догадка находить утехи им мешает,
Догадка дома быть одних их заставляет,
Догадка долго им в гостях сидеть претит,
Догадка ничего им делать не велит,
Догадка в том виной, что к ним мужья ревнуют,
Свекрови иногда не ласково целуют.
Собравшися, пришли просить они в приказ:
Велите выгнать вон догадку вы от нас.
Судьи прошения от них не принимают:
От челобитчиков посулов ожидают.
Чтоб выбить от себя злодея своего,
Догадку скучную, не жаль им ничего.

В случа́е таковом наряды презирают,
И серьги из ушей и перлы с шей сбирают.
Идут к судьям они с дарами на поклон,
Чтоб только выгнать им скоряй догадку вон.
Чего не сделаешь на свете через злато?
Лишь кстати не жалей, прося, дарить богато.
Судьи́ прельстилися ценой подарков сих,
Сулят им отогнать догадку прочь от них,
И на прошении вот тако подписали:
Понеже де мы все судящи предузнали,
Что в городе грозит догадка всем бедой,
Чтоб не было от ней и язвы моровой.
В предосторожности того определили
Догадку выгнать вон, и тако закрепили;
Однако был старик в приказе прокурор,
Любя догадку, он вступил с судьями в спор:
Затем что сам имел жену он молодую,
Красавицу собой иль паче таковую,
Для коей надобно догадочку иметь,
Коль под рогами он не хочет попотеть.
Прочтя сей приговор, главою покачая,
Он предлагает им, парик свой поправляя:
«Всем лучше, — говорит, — на свете помереть,
А нежель при себе догадки не иметь.
Иль вы не хочете вовеки быть мужьями?
Иль хочете, женясь, сертети под рогами?
Пусть будет два года здесь хлеба недород
И челобитчиков не будет у ворот;
Лишь только бы жила всегда догадка с нами,
А без нее нельзя и сладить нам с жена́ми.
Несносно, господа, женою не владеть,
Жениться и жену не для себя иметь».
Судьи на то ему согласно говорили:
«Да как же, де, нам быть: нас жены подарили».
Ответствовал на то искусный прокурор,
Что лучше всё отдать, и начался раздор.
Тут взятками ему судьи так упрекали:
«Как ты, де, взятки брал, так мы дела скрепляли,
А ты для нас теперь не хочешь подписать».

Услыша, секретарь спор и́дет разбирать,
И так им говорит: «Вы прибыль получили,
А дела спорного еще не совершили.
О чем же вам теперь осталось хлопотать?
Ведь это не беда, взяв деньги, отказать».
Судьи́ и прокурор совет сей похвалили
И дело по его совету учинили.
Отказано жена́м, клянут свой случай злой,
Но способ от беды сыскался и другой:
Догадка же и им в час оный послужила,
Что в свете от нее увертка есть, открыла.
Утешила она и жен тем и мужей,
И жены и мужья благодарят все ей.
Уж тщетно там мужья к догадке прибегают,
Где жены при себе увертку собрегают.

⟨*1763*⟩

188—189. *ПРИТЧИ*

1
ВОЛК-ПЕВЕЦ

Невежа захотел письмом разбогатеть,
Однако надобно немного попотеть;
Не только чтоб хотеть
Письмом разбогатеть;
Когда ж не хочет кто, трудяся, попотеть,
Бесплодно без труда хотеть
Письмом разбогатеть;
А как отведаешь, учася, попотеть,
Не будешь ты хотеть
Письмом разбогатеть.
Случилось Волку захотеть,
Чтоб нежно голосом запеть
И оной лестию ко стаду подлететь,
Чтоб волчьей до́бычью чрез то разбогатеть;

Но чуть разинул пасть, чтоб сладостно запеть,
Да не запел, а стал по-волчьему реветь.
Узнал пастух, что Волк овечку стибрить ладит,
Дубиной Волка гладит.

Отнюдь не надобно хотеть
Искусством не своим разбогатеть.
Коль не отведал ты, учася, попотеть,
Брегись и ты хотеть
Письмом разбогатеть,
Чтоб и тебе, как Волку, не запеть.

2
УЧЕНЫХ СПОР

Случилося двоим
Ученым ехати в дороги;
А по дорогам тем случились рвы, пороги.
Так скучно ехать им:
Спешить никак не можно;
А если поскакать, так то не осторожно:
В минуту упадешь,
И тут толчок найдешь;
А ехати не спешно,
Так очень неутешно,
А чтобы скуку им промчать,
Так лучше не молчать,
И стали
Говорить,
Чтоб скуку заморить.
Ученые умы в минуту возблистали,
Пошло учение учению в упор,
Довóды сильные довóдами встречали,
Вошед ученые в горячность, воскричали,
И начался тут спор.
Один вещает тако:
«На равный все конец сотворены,
Все твари меж собой соравнены,
И люди и скоты взаимно сплетены,
Служить друг другу все осуждены».
Другой инако

Рассуждает
И мнение свое примером утверждает:
«Смотри, — он говорит, — что конь для седока, —
Толкнул коня в бока,
Конь, чувствуя толчки, во все пустился ноги,
И не взирает он на ямы и пороги.
Седок поводья дал, а конь всей прытью нес;
А впереди коня случился лес:
Не остерегся мой седок, беды не видя,
Медведю встречу он попал;
Медведь его, поймав, немного потрепал;
Медведь ли для тебя иль сам ты для медведя?»
А я скажу вам так: коль кто кого смога́,
Так тот того в рога.

190. ПРИТЧА
КУПЕЦ ВО ДВОРЯНАХ

Купчина,
Иль иначе купец,
Дворянского добился чина,
Да то и не великая причина,
Когда скажу: купец
Был не скупец
И не глупец;
Да притча-то не в том, что мой богат купчина
И что дворянского добился чина:
Железом режется лучина,
А серебром — препятство чина.
Напала на него незапная кручина,
Понравилась ему прекрасная девчина;
А он уже боярин, не купец,
Так надобна ему того ж невеста чина,
Сей выбор удался: дворянка та девчина.
А мой богат купец,
И не скупец,
И не глупец.
Подбился к бабушке, склонилась и девчина:
Женился мой купчина;

Да сделалась причина:
Ошибся мой купец,
Ему слывет женой девчина,
А муж у ней прямой сторонний молодец.
К тому же, что ему женитьба дорога,
Он за издержки взял в приданые рога.

Не приобщайтеся жиды ко самарянам,
А вы, посадские, к дворянам.

⟨1763⟩

191—192. *ЭЛЕГИИ*

1

Престрогою судьбою
Я стражду огорчен,
И ею я с тобою
Навеки разлучен.
Чем боле я прельщаюсь,
Тем боле я грущу,
И боле тем лишаюсь
Того, чего ищу;
Но боле чем лишаюсь
Надежды я судьбой,
Тем боле я прельщаюсь,
Любезная, тобой.
Тебе моей не быти,
Я знаю, никогда,
Тебя мне не забыти,
Я знаю, навсегда.
Лице твое прекрасно
Из мысли вон нейдет,
Мечтаяся всечасно,
Покою не дает.
Когда тебя не вижу,
Смущаюсь и грущу,
Я всё возненавижу,
Везде тебя ищу;
Но ежели с тобою
Когда увижусь я,

Представлю, что судьбою
Плачевна жизнь моя:
Весь ум мой возмутится,
И сердце обомрет,
Всё чувствие затмится,
В глазах померкнет свет.
Я от тебя скрываюсь;
Но, скрывшися, грущу,
И мыслей порываюсь,
Опять тебя ищу.
Опять тебя увижу,
Опять грущу, узря,
Опять возненавижу
Я жизнь, тобой горя.
Нигде мне нет покою,
Я всем его гублю,
Но, мучася тоскою,
Еще сильняй люблю.
Я знаю, что не буду
Утешен я, любя;
Но вечно не забуду,
Любезная, тебя.
Мне то сужденно частью,
Чтобы, любя, страдать
И чтоб, терзаясь страстью,
Отрады не видать.

2

Иль я столь ненавидим, драгая, тобой,
Что тебе в отягченье и быти со мной?
Лишь с тобою увижусь, ты станешь смущаться,
И стремишься оттуда, где я, удаляться,
И не хочешь на речи мои отвечать.
Что ж из этого должен, скажи, заключать?
«Убегай повсеместно, — твердишь ты всечасно, —
Мне видаться с тобою, ты ведай, ужасно».
Но когда не увидишь ты долго меня,
Так досаду являешь тогда мне, стеня.
Что я делал, где был я, тогда вопрошаешь;
А увижусь с тобою, меня убегаешь.

Иль намерена этим ты дух мой терзать,
Чрез премену желаний покой отнимать?
Но когда меня любишь, почто то скрываешь
И, сама тем терзаясь, меня разрываешь?
Перестань дух крушити и тайну открой,
И мучение злое ты тем успокой.
Прекрати ты, драгая, мученье сердечно,
Я, любя тебя верно, любить буду вечно.

⟨1763⟩

193. ПРИТЧА
НЕКСТАТИ

Пословица лежит, чему де посмеешься,
Сам в то же попадешься.
Со мной
Был случай таковой:
Некстати что узря, нередко я смеялся,
И сам некстати я попался.
На этих днях
Некстати был в гостях.
Как в гости занесло меня, я сам не знаю.
Приехав к воротам, слугу я вопрошаю:
«Хозяйка дома ли?» Ответ был: «У себя».
Поехал я на двор, а на дворе карета;
Лишь я к крыльцу — другой слуга ко мне бежит
И говорит:
«Хозяйка не одета».
— «Так я и подожду».
Он, зря свою беду,
Мне отвечает:
«Она недомогает,
Нельзя увидети вам госпожи моей».
Я с сердцем говорил: «Да гости вон у ней!»
Слуга ответствовал: «Есть гости, то не ложно,
Да для того-то вам увидеть и не можно».
Она хоть у себя,
Да то не для тебя.

⟨1763⟩

194—195. *СОНЕТЫ*

1

Любовник некогда любезной в уверенье
Любви, которую он в сердце ощущал,
Престол вселенныя отдати обещал,
Когда бы получил над светом он правленье.

Изображаючи другой свое мученье,
Все нежные на то слова он истощал:
«Ты сердце отняла мое, — он ей вещал, —
Желаний всех моих едина ты влеченье.

Я, трона не имев, не смею обещать,
Ты сердце отняла, не тщуся я вещать,
Владеешь волею моею ты, вещаю:

Так рассуждай теперь, внимая сей ответ,
В твоей ли области я сердце ощущаю;
И трон бы отдал ли, имев во власти свет?»

2

Когда я осужден на то моей судьбою,
Чтобы не зрети мне утехи, полюбя,
И чтобы мучиться, покой и жизнь губя,
И за любовь мою терзатися тоскою, —

Так удалюсь тебя, чтоб ближе зреть с тобою,
Любезная моя Сильви́я, мне себя.
Когда со мною ты, я удален тебя,
Но близок я к тебе, не зря тебя с собою.

Счастливым существо утех в любви дано,
Несчастливым в любви мечтанье их одно:
Воображеньем я тебя своей имею,

В объятиях моих зрю красоту твою,
В присутствии ж твоем и льститься тем не смею,
Зрю прелести твои, но муку зрю свою.

⟨1763⟩

196. СТАНС

Что в том утехи мне, что я всегда с тобою?
К мученью одному пред мной краса твоя,
Ты запрещаеши владети над собою,
Лишь властен взор в тебе, но то мой взор, не я.

Мой взор, пленясь тобой, красы твои лобзает,
Ему препятствия ты в том и не чинишь,
Прельщен и я тобой, меня любовь терзает,
Так для чего же мне лобзать себя претишь?

Совместник счастливый! она тебе подвластна,
А ты подвластен мне, так я вас разлучу.
Тебе открылася душа в любови страстна,
Ты изменил, я ту измену отплачу.

Я отврачу тебя от прелестей подвластных,
Которым суетно подвластен ныне я,
И будет власть иметь потом в устах прекрасных
Воображением уже душа моя.

⟨1763⟩

197. МАДРИГАЛ

Цветком я некогда любезну подарил,
Она его, приняв, на грудь свою взложила,
Прекрасна грудь ее за трон ему служила.
Ах! лучше б я цветком, цветок бы мною был:
Не я б его, а он меня ей подарил.

⟨1763⟩

198. ПОРТРЕТ

Желать, чтоб день прошел, собраний убегать,
Скучать наедине, с тоской ложиться спать,
Лечь спать, не засыпать, сжимать насильно очи,
Потом желать, чтоб мрак сокрылся темной ночи,
Не спав, с постели встать; а встав, желать уснуть,

Взад и вперед ходить, задуматься, вздохнуть
И с утомленными глазами потягаться,
Спешить во всех делах, опять остановляться,
Всё делать начинав, не сделать ничего,
Желать; желав, не знать желанья своего.
Что мило, то узреть всечасно торопиться;
Не видя, воздыхать; увидевши, крушиться.
Внимав, что говорят, речей не понимать;
Нескладно говорить, некстати отвечать,
И много говоря, ни слова не сказать;
Ийти, чтоб говорить, прийти — и всё молчать.
Волненье чувствовать жестокое в крови:
Се! зрак любовника, несчастного в любви.

⟨*1763*⟩

199—201. *Оды анакреонтические*

1

Ты прекрасняй всех мне зришься,
Всех на свете мне миляе.
Что в тебе, мой свет, ни вижу,
Всё мне кажется прелестно.
Нет очей твоих прекрасняй,
Всех лице твое нежняе,
Лучше всех твои наряды;
Но на что тебе рядиться:
Красоты наряд не множит,
Ты наряды украшаешь.
Те цветы, что ты, драгая,
Мне, сорвавши, подарила,
Зрились всех цветов прекрасняй,
И приятняй дух давали,
Что тобой они рвалися.
Ты к чему лишь прикоснешься,
То прекрасняй становится.
На музыке коль играешь,
Струны тон дают приятняй:
Что твой палец в них ударит;
Если запоешь ты песню,

Песни голос лучше станет,
И стихи, мной сочиненны,
Сто раз лучше становятся,
Если ты читать их станешь.

2

Узря твой взгляд суровый,
Весь дух мой возмутился,
Расстроилися чувствы,
Природа пременилась,
Сады, гульби́щи, рощи,
Поля противны стали;
Для глаз моих завяли
Среди весны лилеи,
И розы перестали
Приятный дух давати.
Взгляни ко мне приятно,
Так всё переменится,
Мне всё приятно будет,
Я стану веселиться.

3

Других стихи приятно
Писати научают
Красавицы парнасски;
Меня стихи приятно
Писати научает
Красавица московска.
Мне токи Иппокрены
Искусства не вливают;
Мне токи рек московских
Писать дают охоту.
Приятны взгляды сердцу
К стихам дают способность;
А сердце научает
Уста мои воспети.
Твоим приятным взглядом
Растет мое искусство:
Приди ж ко мне, драгая,
Учить меня писати,

Но нет, как я увижу
Стихов моих источник,
Я брошу тут бумагу,
И, выбежав навстречу,
Я руку поцелую:
Мне руки целовати
Сто раз стихов приятняй.

⟨1763⟩

202—203. *СОНЕТ И ЭПИГРАММА НА ЗАДАННЫЕ РИФМЫ*

1

СОНЕТ

Что в сердце я твоем нередко пременяюсь,
Хотя скрываешь ты, не можно не видать.
Я всякий час тобой, любезная, пленяюсь,
И должен всякий час, премены ждав, страдать.
Я в мыслях иногда твоих с душей равняюсь,
Ты сердце мне свое и руку хочешь дать;
Но вдруг тогда же я тобою обвиняюсь,
Что мыслей не могу твоих я отгадать.
Знать, мне назначено несчастну быть судьбою
И, зря пременной нрав, всегда гореть тобою.
Не знав судьбы своей, несчастлив человек:
Я, может быть, еще вздыхаю не напрасно,
Иль презрено мое тобою сердце страстно, —
Того мне знать нельзя, прекрасная, вовек.

2

ЭПИГРАММА

Ты часто говоришь, что я тебя гублю,
И слыша вздохи я твои, тобой скучаю,
Что я на страсть твою бесстрастно отвечаю,
И всякий терпит то ж, кого я не люблю.

⟨1763⟩

204—205. *АНАКРЕОНТИЧЕСКИЕ ОДЫ*

1

О, властитель нежна сердца,
Ты целуй меня стократно,
И еще целуй ты столько,
Столько и еще немного.
Поднеси вина мне рюмку,
Поднеси, опять целуйся,
В жизни пить и целоваться —
Настоящая утеха.
Что мы будем впредь — не знаю;
Как я пью, когда целую —
То бываю очень весел.

2

Когда меня ты видеть
В веселом хочешь духе,
Так дай вина мне рюмку,
Мне дай прекрасну девку —
Тогда я на свирелях,
Тогда на сладкой лире
Приятно заиграю.
Коль нет вина и девки,
Так чем и веселиться!
Кто хочет, мне рассмейся:
Я с девкой и с стаканом
Пляшу и не краснею.

⟨1763⟩

206. ЭПИГРАММА

Коль справедливо то сказанье,
Что терпим за дела мы предков наказанье, —
За прародительски, конечно, ты грехи
Писать охотник стал стихи.

⟨1763⟩

207. ПРИТЧА
ЛЮБОВЬ СЛЕПАЯ

Как сделалась слепою
Любовь, я сам не знал;
Но притчей вот какою
Фонтен мне то сказал.
Со Глупостью играла
Любовь, резвясь, мечем
И в Глупость меч метала,
Она — в Любовь потом.
А Глупость, ведь неложно,
Глупа так, как коза:
Швырнув неосторожно,
Ей вышибла глаза.
Пришла Любовь просити
На Глупость ко богам;
Чем то ей заплатити,
Не знал Юпитер сам;
Но боги рассудили
Обиду наградить:
Повинну осудили
Вовек Любовь водить.

⟨1763⟩

208. ЦИДУЛКА КО КЛЕВЕТНИКАМ

О вы, которые обыкли клеветать
И выдумки на всех неправые сплетать,
Скажите, что́ вас, что́ на злобу побуждает,
И чем безвинный свет, скажите, досаждает?
Что чаете во мзду за то вы получить?
Иль то, что вас весь свет уже начнет бранить?
Но что я говорю! Вы срам, позор, презренье,
И чтите за ничто к себе вы омерзенье.
Возможно ли сносить, возможно ль в свете жить,
Когда оплеванным всегда от честных быть
И зреть, когда от вас все будут удаляться,
Чтобы нечаянно от вас не замараться!

Конечно, в языке восца у вас сидит,
И чтоб его чесать, вам должно всех бранить.
Но нет, не то виной, — теперь я понимаю
И злобы вашей днесь причину познаваю.
Я понял, для чего вы чтитеся ругать
И всех честны́х людей стремитесь облыгать.
Всему единая лишь зависть есть виною:
Чтоб ложной клеветой сравнять вам всех с собою.
Но можно ль чистое без грязи замарать
Иль неповинного кого оклеветать?
Отнюдь не мыслите, что вам и все подобны,
И не старайтесь лгать: лжи в свете неудобны.
Когда что клеветник, яряся злобой, лжет —
И злоба та и ложь ему ж живет во вред.
Честно́й порочному всегда одним отмщает,
Что брань его и с ним в презреньи забывает.
Честны́х вредна нам брань, полезна похвала;
А злых — во вред хвала и в пользу есть хула.
Издревле было то, и будет то вовеки,
Что злые на честны́х клевещут человеки.

⟨1763⟩

209. СОВЕТ

Лишася всех утех, надежды не иметь, —
Спроси премудрых кто, что делать остается.
Ответ их будет так: то надобно терпеть.
Когда судьбою часть несчастная дается,
Терпеньем все беды возможно одолеть.
Но надобно узнать, легко ль беды терпеть, —
Но мудрый только тот так гордо рассуждает,
Кого судьба терпеть еще не заставляет,
И ведомо, терпеть нельзя коль пременить,
Однако тяжело себя тем бременить.
Хоть от терпения никто не умирает,
Но и терпеть вовек никто не привыкает.

⟨1763⟩

210. РОНДО

Чтоб книги нам читать,
И их, читая, понимать,
И красоту их познавать,
И чтобы самому писать,
Чтоб звезды на небе считать
И меру им определять,
Или природу испытать, —
Лишь потрудись, то может всяк,
Никак.
Но букли хорошо чесать,
И чтоб наряды вымышлять,
Чтоб моды точно наблюдать,
Согласие в цветах познать,
И чтоб нарядам вкус давать,
Или по моде поступать,
Чтоб в людях скуку прогонять,
Забавны речи вымышлять,
Шутить, резвиться и скакать,
И беспрестанно чтоб кричать,
Но, говоря, и не сказать, —
Того не может сделать всяк
Никак.

⟨1763⟩

211. ОДА АНАКРЕОНТИЧЕСКАЯ

Я пел, гуляя в роще:
«Сильвия дорогая!»
И эхо повторяло:
«Сильвия дорогая!»
Забывшись, я подумал:
«Уж не другой ли это
Любовник воспевает?
Ах, может быть, счастливяй
Меня другой в Сильвии!»
Исполнилося сердце
Тут ревностью к Сильвии,
Но в самое то время
Увидел я Сильвию.

Как ко прекрасной розе
Летят отвсюда пчелы,
Любовники к Сильвии
Подобно так стремятся:
Нет счастья в свете больше
Любить любви достойну.
Пусть кто, как хочет, судит,
Как хочет, полагает,
Пусть счастие, в чем хочет,
Свое он почитает,
А я скажу: нет счастья
На свете без любови;
Где истинна утеха,
Тут истинно и счастье;
А в здешнем свете боле
Всего любовь утешна,
Так первое и счастье
Любовь во здешнем свете;
Но чем любезна лучше,
То тем любовь утешняй;
А чем любовь утешняй,
То счастие тем боле.

⟨1763⟩

212. ЭЛЕГИЯ

Не знаю, отчего весь дух мой унывает
И грудь мою тоска несносна разрывает.
Не знаю, что меня смущает и мятет
И сердцу ни на час покоя не дает.
Куда я ни пойду, нигде утех не вижу,
На что ни погляжу, то всё я ненавижу.
Не знаю, отчего скорбит душа моя,
Лишь знаю только то, что повсечасно я
Тоскую, рвусь, стеню, грущу, страдаю, ною,
Вздыхаю, мучуся, печаль владеет мною,
Скучаю, слезы лью, стараюсь и терплю,
Желаю, тщусь, ищу. . . Неужто я люблю?
Ах, нет! . . Льзя ль быть тому? Любить весьма опасно.
Любовь. . . О чувствие приятно и напастно!

Беги ты от меня и духа не смущай,
И сердца моего утехой не прельщай,
Чтоб сладости твои мученья не намчали:
За радостьми в любви всегда идут печали...
Но отчего ж сие? Из мысли вон нейдет
Прелестное лице и спать мне не дает,
Сон сладкий от очей всеночно отгоняет
И мысли все мои мятет и утомляет,
Настанет день — встаю, стремлюсь, спешу, ищу
Узреть прелестный взор, и, не нашед, грущу,
И где не зрю его, я там везде скучаю,
И всё мне тягостно, что взором ни встречаю,
Противны зрятся все места душе моей,
И пусто кажется в собрании людей;
Но если зрю его, тут все игры́ и смехи,
С ним радости мои, с ним сладкие утехи,
С ним рассуждение, с ним мысли, разговор,
Издевки нежные и с ним приятный спор.
Люблю... Конечно так... Но, ах, любить не смею!
Однако не любить, что мило, не умею!
Люблю... Мила... Нельзя, что мило, не любить.
Умела ты мою свободу погубить!
Я сердцем не могу владети и собою,
Оно и я всегда стремимся за тобою.
Уже не властен я стал ныне, полюбя,
И жити не могу на свете без тебя.
Ты будешь мне мила, доколе не увяну,
Доколе буду жить, любити не престану.

⟨1763⟩

213. СТИХИ К ДЕВИЦЕ НЕЛИДОВОЙ
НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ОПЕРЕ, НАЗЫВАЕМОЙ «Servante et Maitresse» [1], РОЛИ СЕРБИНИНОЙ

Как ты, Нелидова, Сербину представляла,
Ты маску Талии самой в лице являла,
И, соглашая глас с движением лица,
Приятность с действием и с чувствиями взоры,

[1] «Служанка и госпожа» (франц.). — *Ред.*

Пандолфу делая то ласки, то укоры,
Пленила пением и мысли и сердца.
Игра твоя жива, естественна, пристойна;
Ты к зрителям в сердца и к славе путь нашла —
Нелестной славы ты, Нелидова, достойна;
Иль паче всякую хвалу ты превзошла!
Не меньше мы твоей игрою восхищенны,
Как чувствии прельщенны
В нас
Приятностью лица и остротою глаз.
Естественной игрой ты всех ввела в забвенье:
Всяк действие твое за истину считал;
Всяк зависть ощущал к Пандолфу в то мгновенье,
И всякий в месте быть Пандолфовом желал.

⟨*1773*⟩

214. СТИХИ ДЕВИЦЕ БОРЩОВОЙ
НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ОПЕРЕ, НАЗЫВАЕМОЙ «Servante et Maitresse», РОЛИ ПАНДОЛФОВОЙ

Борщова, в опере с Нелидовой играя
И ей подобным же талантом обладая,
Подобну похвалу себе приобрела,
И в зрителях сердца ты пением зажгла;
Хоть ролю ты себе противну представляла,
Но тем и более искусство ты являла,
Что нежность лет и пол умела претворить
И несогласность ту искусству покорить.
Всем зрителям своим ты делая забаву,
Приобрела себе хвалу, и честь, и славу.

⟨*1773*⟩

Д. И. ФОНВИЗИН

Денис Иванович Фонвизин (1743—1792) первоначальное образование получил в гимназии при Московском университете (1755—1760), а затем до 1762 года учился на философском факультете университета. В 1762—1763 годах Фонвизин служил переводчиком при Коллегии иностранных дел, а затем был переведен в штат И. П. Елагина, фактического директора государственных театров.

В 1769 году по предложению Н. И. Панина Фонвизин вновь перешел на службу в Коллегию иностранных дел и сделался его секретарем и ближайшим сотрудником. В 1777—1778 годах Фонвизин путешествовал по Европе и побывал во Франции. В 1783 году, после смерти Панина, Фонвизин ушел в отставку. В 1785 году писатель был разбит параличом.

Свою литературную работу Фонвизин начал с переводов и стихотворных сатир. Он перевел «Басни» (1761) популярного тогда датского сатирика Гольберга, роман французского просветителя Террасона «Геройская добродетель, или Жизнь Сифа̄, царя Египетского» (1762—1766), трагедию Вольтера «Альзира» (1762) (последний перевод не был напечатан). В 1764 году он переделал драму Грессе «Сидней» и напечатал ее под названием «Корион». В 1766 году он издал перевод политического исследования аббата Куайе «Торгующее дворянство, противоположное дворянству военному». Весной 1769 года Фонвизин написал «Бригадира». Следующее десятилетие Фонвизин был занят главным образом дипломатической работой.

Во время путешествия по Франции Фонвизин пишет письма П. И. Панину, брату Н. И. Панина, в которых талантливо изображает жизнь предреволюционной Франции. В 1781 году Фонвизин заканчивает сатирическую комедию «Недоросль», в следующем году поставленную на сцене с огромным успехом.

В 1783 году, после нашумевшей полемики с Екатериной в журнале «Собеседник любителей российского слова», литературная деятельность Фонвизина натолкнулась на упорное сопротивление властей. Задуманный им в 1788 году журнал «Стародум, или Друг честных людей» был запрещен, переводить древнеримского историка Тацита ему не разрешили. Все это, несомненно, тяжело отразилось на его душевном состоянии и, быть может, ускорило кончину.

Поэтические произведения Фонвизина созданы им в начале его творческого пути. Как он позднее вспоминал: «Весьма рано появилась во мне склонность к сатире. Острые слова мои носились по Москве; а как они были для многих язвительны, то обиженные оглашали меня злым и опасным мальчишкою... Сочинения мои были острые ругательства: много было в них сатирической соли...»[1]

Недоброжелательство обиженных сатирами Фонвизина людей беспокоило его сестру и родителей. В одном из писем к сестре по приезде в Петербург он обещает больше не писать колких сатир и уничтожить только что написанные. Однако этого обещания он не сдержал. Именно в Петербурге, в результате сближения с кружком молодых вольнодумцев-безбожников, написано одно из лучших произведений русской стихотворной сатиры «Послание к слугам моим».

Появление этой сатиры в печати позволило Новикову в 1770 году выразить мнение, что «если обстоятельствы автору сему позволят упражняться во словесных науках, то небезосновательно и справедливо многие ожидают увидеть в нем российского Боало».[2]

Однако к концу 1760-х годов Фонвизин почти прекращает свою поэтическую деятельность. Отказ же от сатиры, по позднейшему объяснению самого писателя, был результатом отказа от религиозного вольномыслия.

Стихотворные сатиры Фонвизина широко распространялись в списках и вызывали недоброжелательное отношение к их автору. Какая-то часть его стихотворного наследия до нас не дошла и известна только по названиям.

Ранние стихотворные драматические переводы Фонвизина, особенно «Корион», в свое время имели серьезное значение для выработки стихотворного языка русской комедии.

---

[1] Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях — Д. И. Фонвизин, Собр. соч., т. 2, М.—Л., 1959, с. 90.

[2] Н. И. Новиков, Избр. соч., М.—Л., 1951, с. 273.

215. ПОСЛАНИЕ К СЛУГАМ МОИМ
ШУМИЛОВУ, ВАНЬКЕ И ПЕТРУШКЕ

Скажи, Шумилов, мне: на что сей создан свет?
И как мне в оном жить, подай ты мне совет.
Любезный дядька мой, наставник и учитель,
И денег, и белья, и дел моих рачитель!
Боишься бога ты, боишься сатаны,
Скажи, прошу тебя, на что мы созданы?
На что сотворены медведь, сова, лягушка?
На что сотворены и Ванька и Петрушка?
На что ты создан сам? Скажи, Шумилов, мне!
На то ли, чтоб свой век провел ты в крепком сне?
О, таинство, от нас сокрытое судьбою!
Трясешь, Шумилов, ты седой своей главою:
«Не знаю, — говоришь, — не знаю я того,
Мы созданы на свет и кем и для чего.
Я знаю то, что нам быть должно век слугами
И век работать нам руками и ногами,
Что должен я смотреть за всей твоей казной,
И помню только то, что власть твоя со мной.
Я знаю, что я муж твоей любезной няньки;
На что сей создан свет, изволь спросить у Ваньки».

К тебе я обращу теперь мои слова,
Широкие плеча, большая голова,
Малейшего ума пространная столица!
Во области твоей кони́ и колесница,[1]
И стало наконец угодно небесам,
Чтоб слушался тебя извозчик мой и сам.
На светску суету вседневно ты взираешь
И, стоя назади, Петрополь[2] обтекаешь;
Готовься на вопрос премудрый дать ответ,
Вещай, великий муж, на что сей создан свет?

Как тучи ясный день внезапно помрачают,
Так Ванькин ясный взор слова мои смущают.
Сумнение его тревожить начало́,
Наморщились его и харя и чело.

---

[1] Ваньке поручено было смотрение над каретою и лошадьми.
[2] Сие послание писано в Петербурге.

Вещает с гневом мне: «На все твои затеи
Не могут отвечать и сами грамотеи.
И мне ль о том судить, когда мои глаза
Не могут различить от ижицы аза!
С утра до вечера держася на карете,
Мне тряско рассуждать о боге и о свете;
Неловко помышлять о том и во дворце,
Где часто я стою смиренно на крыльце,
Откуда каждый час друзей моих гоняют
И палочьем гостей к каретам провожают;
Но если на вопрос мне должно дать ответ,
Так слушайте ж, каков мне кажется сей свет.

Москва и Петербург довольно мне знакомы,
Я знаю в них почти все улицы и домы.
Шатаясь по свету и вдоль и поперек,
Что́ мог увидеть, я того не простерег,
Видал и трусов я, видал я и нахалов,
Видал простых господ, видал и генералов;
А чтоб не завести напрасный с вами спор,
Так знайте, что весь свет считаю я за вздор.
Довольно на веку я свой живот помучил,
И ездить назади я истинно наскучил.
Извозчик, лошади, карета, хомуты
И всё, мне кажется, на свете суеты.
Здесь вижу мотовство, а там я вижу скупость;
Куда ни обернусь, везде я вижу глупость.
Да, сверх того, еще приметил я, что свет
Столь много времени неправдою живет,
Что нет уже таких кащеев на примете,
Которы б истину запомнили на свете.
Попы стараются обманывать народ,
Слуги́ — дворецкого, дворецкие — господ,
Друг друга — господа, а знатные бояря
Нередко обмануть хотят и государя;
И всякий, чтоб набить потуже свой карман,
За благо рассудил приняться за обман.
До денег лакомы посадские, дворяне,
Судьи́, подьячие, солдаты и крестьяне.
Смиренны пастыри душ наших и сердец
Изволят собирать оброк с своих овец.

Овечки женятся, плодятся, умирают,
А пастыри притом карманы набивают.
За деньги чистые прощают всякий грех,
За деньги множество в раю сулят утех.
Но если говорить на свете правду можно,
Так мнение мое скажу я вам неложно:
За деньги самого всевышнего творца
Готовы обмануть и пастырь и овца!
Что дурен здешний свет, то всякий понимает,
Да для чего он есть, того никто не знает.
Довольно я молол, пора и помолчать;
Петрушка, может быть, вам станет отвечать».

«Я мысль мою скажу, — вещает мне Петрушка, —
Весь свет, мне кажется, ребятская игрушка;
Лишь только надобно потверже то узнать,
Как лучше, живучи, игрушкой той играть.
Что нужды, хоть потом и во́зьмут душу черти,
Лишь только б удалось получше жить до смерти!
На что молиться нам, чтоб дал бог видеть рай?
Жить весело и здесь, лишь ближними играй.
Играй, хоть от игры и плакать ближний будет,
Щечи его казну, — твоя казна прибудет;
А чтоб приятнее еще казался свет,
Бери, лови, хватай всё, что ни попадет.
Всяк должен своему последовать рассудку:
Что ставишь в дело ты, другой то ставит
в шутку.
Не часто ль от того родится всем беда,
Чем тешиться хотят большие господа,
Которы нашими играют господами
Так точно, как они играть изволят нами?
Создатель твари всей, себе на похвалу,
По свету нас пустил, как кукол по столу.
Иные ре́звятся, хохочут, пляшут, скачут,
Другие морщатся, грустят, тоскуют, плачут.
Вот как вертится свет! А для чего он так,
Не ведает того ни умный, ни дурак.
Однако, ежели какими чудесами
Изволили спознать вы ту причину сами,
Скажите нам ее. . .» Сим речь окончил он,
За речию его последовал поклон.

Шумилов с Ванькою, хваля догадку ону,
Отвесили за ним мне также по поклону;
И трое все они, возвыся громкий глас,
Вещали: «Не скрывай ты таинства от нас;
Яви ты нам свою в решениях удачу,
Реши ты нам свою премудрую задачу!»

А вы внемлите мой, друзья мои, ответ:
«И сам не знаю я, на что сей создан свет!»

1760-е годы

216. БАСНЬ
ЛИСИЦА-КОЗНОДЕЙ

В Ливийской стороне правдивый слух промчался,
Что Лев, звериный царь, в большом лесу скончался.
Стекалися туда скоты со всех сторон
Свидетелями быть огромных похорон.
Лисица-Кознодей, при мрачном сем обряде,
С смиренной харею, в монашеском наряде,
Взмостясь на кафедру, с восторгом вопиет:
«О рок! лютейший рок! кого лишился свет!
Кончиной кроткого владыки пораженный,
Восплачь и возрыдай, зверей собор почтенный!
Се царь, премудрейший из всех лесных царей,
Достойный вечных слез, достойный алтарей,
Своим рабам отец, своим врагам ужасен,
Пред нами распростерт, бесчувствен и безгласен!
Чей ум постигнуть мог число его доброт?
Пучину благости, величие щедрот?
В его правление невинность не страдала
И правда на суде бесстрашно председала;
Он скотолюбие в душе своей питал,
В нем трона своего подпору почитал;
Был в области своей порядка насадитель,
Художеств и наук был друг и покровитель».
«О, лесть подлейшая! — шепнул Собаке Крот. —
Я Льва коро́тко знал: он был пресущий скот,
И зол. . . и бестолков, и силой вышней власти
Он только насыщал свои тирански страсти.

Трон кроткого царя, достойна алтарей,
Был сплочен из костей растерзанных зверей!
В его правление любимцы и вельможи
Сдирали без чинов с зверей невинных кожи;
И словом, так была юстиция строга,
Что кто кого смогá, так тот того в рога.
Благоразумный Слон из леса в степь сокрылся,
Домостроитель Бобр от пошлин разорился,
И Пифик-слабоум, списатель зверских лиц,
Служивший у двора честняе всех Лисиц,
Который, посвятя работе дни и ночи,
Искусной кистию прельщая зверски очи,
Портретов написал с царя зверей лесных
Пятнадцать в целый рост и двадцать поясных;
Да сверх того еще, по новому манеру,
Альфреско[1] расписал монаршую пещеру, —
За то, что в жизнь свою трудился сколько мог,
С тоски и с голоду третьего дни издох.
Вот мудрого царя правление похвально!
Возможно ль ложь сплетать столь явно и нахально!»
Собака молвила: «Чему дивишься ты,
Что знатному скоту льстят подлые скоты?
Когда ж и то тебя так сильно изумляет,
Что низка тварь корысть всему предпочитает
И к счастию бредет презренными путьми, —
Так видно, никогда ты не жил меж людьми».

Между 1774 и 1787

[1] Al fresco (итал.) — буквально: по сырому; фресковая живопись. — *Ред.*

П. И. ФОНВИЗИН

Павел Иванович Фонвизин (1744—1803) — младший брат Дениса Ивановича Фонвизина — еще ребенком, в 1754 году, живя в родительском доме, был записан солдатом в гвардейский Семеновский полк. В 1755 году, когда в Москве был открыт университет, братья Фонвизины поступили в созданную при университете гимназию. Павел Фонвизин в числе ее лучших учеников был представлен директором университета Н. И. Мелиссино его куратору, фавориту Елизаветы Петровны, И. И. Шувалову. По ходатайству последнего П. И. Фонвизин за хорошие успехи, оставаясь студентом, был произведен в 1760 году в капралы Семеновского полка. В 1762 году П. И. Фонвизин окончил университет, в полку он уже получил сержантский чин и был откомандирован в Коллегию иностранных дел, где служил дипломатическим курьером пять лет.

Еще в гимназии П. И. Фонвизин начал писать стихи. Его стихотворные произведения и прозаические переводы печатались в московских журналах начала 1760-х годов: в «Полезном увеселении» (1760—1762), «Собрании лучших сочинений» (1762), «Добром намерении» (1764). Отдельно были им изданы «Нравоучительные сказки» Мармонтеля в двух частях (1764), повесть госпожи Гомец «Сила родства» (1764), «Друг девиц» Грайар де Гравиля (1765).

Сложная, интересная и разнообразная военно-дипломатическая служба отвлекла его от литературных занятий. Он много ездит с дипломатической почтой за границу. Позднее прикомандировывается к Г. Г. Орлову во время мирных переговоров в Фокшанах в 1772 году, до заключения Кучук-Кайнарджийского мира (1774).

В 1781 году Фонвизин, произведенный уже в бригадиры, сменил военную службу на штатскую, был назначен товарищем москов-

ского губернатора, в 1782 году — председателем московской палаты уголовного суда.

С 1784 до 1796 года П. И. Фонвизин был директором Московского университета. При нем было построено новое здание университета; он заботился о студентах, поддерживал устроенный при университете театр и вообще содействовал сближению студентов и профессуры с московской дворянской интеллигенцией. В 1787—1788 году он переиздал в расширенном виде (в трех частях) «Нравоучительные сказки» Мармонтеля. В 1796 году он был назначен во второй московский департамент Сената, а 19 февраля 1801 года ушел в отставку с чином действительного тайного советника.

217. ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО ЖИВОПИСЕЦ, ВЛЮБИВШИЙСЯ В ПОРТРЕТ, ИМ САМИМ РИСОВАННЫЙ

Прекрасной девушки портрет я написал,
И ах, к несчастью, сам в него влюблен я стал;
Но не Венерина краса меня пленила,
Моя наука, ах! всю кровь во мне вспалила.
Рукою собственной несносно ранен я,
К чему ты служишь мне, наука вся моя?
Почто искусным я художником родился?
В худой бы я портрет вовеки не влюбился.
Все будут об моей судьбине сожалеть
И с удивлением на мой портрет глядеть.
Искусным буду всем художником казаться,
Но буду через то я внутренно терзаться.
К чему же мне теперь столь жестокó страдать,
И для чего свою мне руку обвинять?
Любовь Пази́фаи, и Федры, и Нарцисса,
Довольны ль для меня примеры в них нашлися?
Пази́фаи любовь с природой несходна́,
И быть примером в том довольна бы одна;
Но Федру мы возьмем, котора повсечасно
На амазонкина взирала сына страстно.
Что ж до Нарциссовой любови надлежит,
Когда б мог осязать ему приятный вид,

И если б он своей рукой воды коснулся,
Тогда бы он в своей надежде обманулся,
И скрылся бы его желания предмет,
Оставя по себе его руки лишь след.
В источнике вода Нарцисса представляла
И в красоте его неложно уверяла.
Изображение то представляет нам,
Что в красоту свою Нарцисс влюбился сам.
Но я любезную всяк час зрю пред собою,
Сияющу всегда одною красотою.
Не кроется от глаз, как стану осязать,
И красоты своей не может потерять.
С приятной на меня усмешкою взирает
И, кажется, уста прелестны открывает.
Всяк скажет, что она начати хочет речь,
Но, ах! молчаньем ту старается пресечь.
Я часто, подходя, в любви ей открываюсь
И получить ответ надеждою ласкаюсь.
Но, ах! ни слова, ах! не слыша в оный час,
Целую я ее, целую я сто раз.
В объятия ее свои я принимаю,
В ответ я слов ее на то не обретаю.
И слышать их мне нет надежды никакой,
Она подобится любовнице такой,
Котора своего любовника молчаньем
Не допускает зреть конца его желаньям.
Ласкаю я ее, целую всякий час,
Влюбляюся в нее тем больше во сто раз.
И слабости свои всегда я порицаю,
И в тот же самый час бояться начинаю,
Чтобы любовью той мне жизнь не потерять,
Котору для нее стараюсь сохранять.
Приятные уста! вы всех сердца плените,
Но в поцелуях вы совсем утех не зрите.
К чему вы служите, прекрасные власы?
Неложно вы свои имеете красы;
Но вещества совсем я в вас не обретаю,
Хоть мучуся о том, грущу и унываю.
И находясь теперь в несчастьи и бедах,
Оплакивая их, тону я во слезах,
Тогда как сей портрет несчастья не внимает
И только на меня с усмешкою взирает,

Невинен будучи в несчастиях он сих,
Не может горьких слез отерть с очей моих.
О вы, Венерины прекраснейшие дети,
С златыми крыльями вы можете лететь,
Вы наградите мя любовницей такой,
Которая б и жизнь имела, и покой,
Чтоб рассуждая я по правилам искусства,
Мог зреть, что красота, имеющая чувства,
Бесспорно первенство пред тою может взять,
Которую я сам могу изображать,
И, сравнивая ту с природой совершенной,
Хоть тем спокою я свой дух обремененной,
Что я такие же найду черты и в ней,
Как в посланной от вас к отраде днесь моей.

⟨1764⟩

218. БАСНЬ
ПАСТУХ И СИРЕНА

Пастух златых времян на пастве веселился,
В спокойстве живучи, он горестей не знал,
Тоску, печаль и грусть в свободе презирал,
И дух его в любви доселе не мутился.
Он часто стадо всё к морским брегам гонял,
Играючи в свирель, свободу воспевал.
Пастушки красотой не трогали своею,
И Дафна нравилась, когда играл он с нею.
Однако выиграть та сердце не могла
И только временем была ему мила.
Но редко то бывает,
Что, быв с пастушками, пастух любви не знает,
А сердцу Тирсиса опасность угрожает.
Сирена с прелестью к морским брегам плывет,
И только лишь Тирсис увидел сей предмет,
То сердце встрепетало,
Опасность и любовь ему тем предвещало.
Он от брегов, спеша, не может уж бежать
И только на нее лишь смотрит с удивленьем,
Стараясь от воды овечек отогнать.
Он гонит их опять к морским брегам с стремленьем:

Гуляйте вы теперь, овечки, здесь одни,
Для Тирсиса уж все прошли веселы дни,
И более пастух об вас не сожалеет,
Беречь вас времени он больше не имеет,
Оказывая страсть красавице своей,
Поет он песенки и жалуется ей:
«За что, любезная, меня ты презираешь?
И на любовь мою равно не отвечаешь?
За что ты на меня с суровостью глядишь?
И чем теперь меня перед собой винишь?»
Сирена пастуха не слышит, притворяясь,
И плещется в воде, руками умываясь,
Не хочет говорить
И нудит пастуха любовь свою открыть.
Тирсис не престает терзаться и грустить;
Но слышит, наконец, прелестной глас Сирены,
Не ожидая столь приятной перемены:
«Не властна, — говорит, — отсюда выйти я.
Проси Нептуна, чтоб я мо́ря свободилась,
Зависит от него, чтоб я была твоя
И чтоб в спокойствии с тобой я веселилась».
Пастух пошел просить
И просьбой думает Нептуна убедить.
Бог моря пастуху так начал говорить:
«Коль просьбы зреть свои исполненными льстишься,
То и последнего веселья ты лишишься.
Не можешь никогда в любви ты к ней гореть
И вместо счастия несчастье будешь зреть».
Пастух пошел тогда в несноснейшей печали,
Нептуном огорчен чрезмерно Тирсис был.
В долины больше он с свирелью не ходил,
И птички пением его не услаждали.
Но, видя всякий раз Нептуна на брегах,
Прошения свои он повторял в слезах:
«Нептун, великий бог! когда тебе противно,
Что я не престаю в любови к ней гореть
И что прекрасную свою люблю нельстивно,
Ты сделай, чтоб ее не мог я боле зреть.
И тот прелестный стан, чем я всегда пленялся,
В земные недра ты скоряе сохрани
И более меня надеждой не мани,
Чтобы с сего часа́ мой дух не возмущался».

Нептун на те слова Тирсису отвечал:
«Я не хочу, чтоб ты был более в страданье,
Увидишь всё свое исполненно старанье», —
И плыть Сирене он к брегам повелевал.

Сколь скоро приплыла прекрасная Сирена,
И сколь прелестно та красавица поет!
В любови пастуха совсем препятства нет,
Приближась он к воде, ей руку подает.
Но, ах! какая вдруг для Тирсиса премена!
Надежда более его уж не бодрит,
В любезной он своей полчеловека зрит,
А вместо ног ее он рыбий хвост увидел,
Надежду потеряв, себя возненавидел,
И с трепетом бежал он со брегов морских,
Всетщетные свои желанья проклиная
И в собственном своем примере утверждая,
Сколь неумеренны в желаньях мы своих.

⟨*1764*⟩

219. ЭЛЕГИЯ

Что делать я хочу? И что предпринимаю?
Писать с дражайшею разлуку начинаю;
Но чувствую в себе, что сил недостает
И что разлука дух и разум мой мятет.
Сберитесь, мысли все, писать мне помощь дайте,
Намеренье мое вотще не оставляйте.
О, день несчастия, день горести моей!
В сей день расстался я с возлюбленной своей.
Сей день есть сборище жестоких мне мучений,
Сей день всех более терплю я огорчений.
Не приходи на мысль ты мне, жестокий час!
И слез не извлекай неволею из глаз.
Но можно ль позабыть, что в жизни веселило
И что любезнее всего на свете было?
Не знаю, для чего с любезной разлучен,
Разлукой таковой я боле огорчен.
Возможно ль вобразить, что с нею я простился,
И что прелестных я очей ее лишился,
Что случай сча́стливый судьба открыла мне,

Но, ах! к несчастию то было как во сне,
И в тех веселиях, чем сердце наслаждалось,
Несчастий всех моих собрание скрывалось.
Я страсть свою открыть ей всякий день хотел;
Но, видя всякий день, открыться ей не смел
И думал, что еще довольно будет время, —
Я, мысля так, теперь сношу несносно бремя,
Несчастие свое считаю только в том,
И кроме я сего не мучусь о ином,
Что о любви моей дражайшая не знает,
О том я слезы лью, и дух мой унывает.
Когда б я страсть свою возлюбленной открыл,
Я б ею, может быть, благополучен был.
Но что начну теперь? Куды я обращуся?
В какой я горести и муке нахожуся!
Любезный мне сей град оставила она,
Прекрасная Москва, приятная страна!
В тебе уж никакой утехи не осталось,
И всё веселие с любезной миновалось.
Ничто уже меня к тебе не привлечет,
Коль более в тебе драгая не живет.
Нигде отрады дух себе не обретает,
Москва, прелестный град, меня уж не прельщает.
Когда бывало то, чтоб столько я терпел?
И чтоб в своей любви страданья столько зрел?
Но что я говорю? Я с ней не разлучался.
И в первый раз еще в сей день я с ней расстался.
В сей день простился я с драгой в последний раз.
Минута горестна! О ты, жестокий час,
В который я, ее целуя нежну руку,
Почувствовал в себе еще тем боле муку!
Она в невинности не знала страсти той,
Котора рушила тот сладкий мой покой,
Которым до сего я с нею наслаждался,
Когда с любезной я по всякий день видался.
Далеко ль от меня теперь, драгая, ты?
Надолго ли твои сокрылись красоты?
Того не знаю я. И только буду рваться, —
В разлуке будучи, возможно ль не терзаться?
Не знаю, скоро ли несносный срок пройдет,
Когда надежды мне ничто не подает.

Но, может, уменьшу хоть мало тем страданья,
Когда я буду ждать приятного свиданья;
И тем я пресеку тоску и грусть мою,
Когда увижу здесь любезную свою.
А если буду я с драгою неразлучен,
Одним я тем могу быть век благополучен.

⟨1764⟩

220. МАДРИГАЛ

Природа всех равно дарами наградила,
Порядок положить стараясь в свете сем,
Тебе разумной быть она определила,
Произведя тебя с приятнейшим лицем.
А я из всех людей несчастнейшим родился
И от природы был ничем не одарен,
Но если я тебе, драгая, полюбился,
Я всем стал награжден.

⟨1764⟩

221—222. *ЭЛЕГИИ*

1

Чтобы избавиться жестокого мученья
И чтоб не зреть в любви мне боле огорченья,
Спешу скоряе прочь от мест приятных сих
И удаляюся от прелестей твоих,
Которые мой дух навеки полонили
И пленом сим меня спокойствия лишили.
Не знаю я и сам, снесу ль такой удар?
Могу ль с разлукой сей пресечь любовный жар,
Который ты сама тем боле размножала,
Что страстные слова охотно принимала?
Могу ль тебя тронýть, неверная, теперь?
Иль ты против меня жесточе, нежель зверь?
Подвигнет ли тебя на жалость то мученье,
Которо сделает с тобою разлученье?
Оковы наложа своею красотой
И пользуясь моей свободой отнятой,
Хоть жизни пожалей, к концу уж приведенной,

Спокой смущенный дух, тоской обремененной.
Престань терзати грудь, тиранство отложи,
Хотя тяжеле сих оковы наложи.
Я их носить готов, доколе жизнь скончаю,
И сердце верное тебе я поручаю.
Коль не гнушаешься владеть ты им навек,
Я буду счастливяй всех в свете человек.
Но если ты меня освободишь неволи,
Ничто не может быть моей жесточе доли.
Все пленники хотят избавиться оков,
А я в оковах быть по смерть свою готов,
Считая оные за счастие безмерно.
О, счастье в свете сем! О, счастье беспримерно!
Когда б достигнути я мог опять тебя,
В веселье бы я жил, печали истребя.
Но можно ли уж мне тем счастьем наслаждаться?
И можно ль мне твоей любовию ласкаться,
Коль ты любовником другого избрала,
Коль сердце ты его во власть свою взяла,
Имея во своей уж власти сердце верно,
Которо не было в сей страсти лицемерно?
Надеялся ли я то зреть когда-нибудь,
Чтоб к сердцу ты его себе открыла путь?
Чтобы, не чувствуя нимало огорченья,
Смотреть ты возмогла на все мои мученья?
И чтобы наконец, к скончанью муки всей,
Причиною была и смерти ты моей?
Коль ты не тронута несчастного словами,
Коль сердце я твое не умягчил слезами,
Узришь, неверная, отчаянья конец.
Не думай, чтоб я был перед тобою льстец.
От мест сих удалюсь, тебя не буду зреть,
На счастье не могу соперника смотреть.
Из града выехав, расставшися с тобою,
Расстанусь с жизнью я, расстанусь и с душою.

2

Какой готовится удар меня сразить?
Или судьба мой век тем хочет прекратить,
Что все жестокости на одного сбирает,
С любезною меня навеки разлучает?

Велит покинуть ту, кто жизни мне миляй,
Велит покинути как можно мне скоряй.
Я духом по тебе теперь изнемогая,
Лишаюся тебя навеки, дорогая:
Лишаюся всего, что в жизни мило мне;
А ты останешься в приятной сей стране,
С которою теперь навеки я прощаюсь,
Котору зреть опять совсем отчаяваюсь.
Возможно ль было то тогда мне вобразить,
Что тщилась нас судьба с тобою разлучить,
Когда приятности несчетны мы вкушали,
Как оба равной мы любовию пылали?
Не мыслив ни о чем, свидания я ждал
И только зреть тебя по всякий час желал.
Иное в мыслях мне ничто не вображалось,
И сердце страстию тем боле наполнялось.
Несчастия сего предвидеть я не мог,
Когда сильней меня любовный пламень жег.
Но ах! К несчастию, в приятное то время
Готовилося мне ужаснейшее бремя.
Судьба, завидуя спокойной жизни сей,
Мой прекращает век жестокостью своей,
Тебя лишиться мне навек определила
И дни оставшие в слезах провесть судила.
Кому я жалобы свои могу принесть?
И кто за смерть мою ей сделать может месть?
Сколь ни несносно мне с тобою разлучаться,
Однако принужден судьбе повиноваться.
Не думай, чтоб еще на свете мог я жить,
Когда могла судьба навеки той лишить,
Которая во всем участье принимала,
Кто все мои беды своими почитала.
Возможно ли сего несчастья больше ждать?
И можно ли меня чем боле наказать,
Когда, лишив приятств, забав и утешенья,
Оставить вместо их жестокие мученья?
Но как бы жестока́ разлука ни была
И сколько б грудь мою тоскою ни рвала,
Не может уж любви моей к тебе разрушить:
Я клятвы не могу тебе своей нарушить.
Несносно мне, что я тебя не стану зреть;
Но верь, что буду той любовию гореть,

В которой до сего к тебе не пременялся,
И век, кроме тебя, никем я не пленялся.
Одна владела ты и днесь владеешь мной;
Я сердца своего не поручал иной.
К тебе одной оно вовек пребудет страстно:
Тебе одной оно век, стало быть, подвластно.
Не думай, чтоб могло меня что веселить,
Когда с тобою я в разлуке буду жить.
Недолго дни мои оставшие продлятся,
Не буду более я смерти устрашаться,
Которой я тогда страшился и робел,
Как жизнь приятную с тобою вместе вел.
Но, ах! лишаяся любви моей предмета,
Скончаю бедну жизнь и удалюсь от света.
Век бедный прекратя, разлуку я снесу
И жизнь своей любви на жертву принесу,
Оставя по себе одно воспоминанье,
Что для одной тебя я кончил век в страданье.
А ты за то на гроб хоть мысленно взгляни
И верность тем мою к себе воспомяни.

⟨1764⟩

223. ЭПИГРАММА

Олени всякий год рога переменяют,
А у Клитандера по всякий день взрастают.

⟨1764⟩

224. БАСНЬ
ПОРТНОЙ И ОБЕЗЬЯНА

Был некто из портных искусный человек;
Искусство в воровстве портные почитают,
А и́наче они портным не называют;
Портной мой крал весь век.
Каким-то случаем достал он обезьяну,
Купил или украл, я спрашивать не стану.
Довольно мне того, что он ее имел,
И, сделав ей кафтан, мартышку приодел.

Гордясь, мартышка в нем портного дух пленяет,
Портной и день и ночь мартышку лобызает,
Покинув ремесло, он только лишь зевает
И всё веселие свое считает в ней,
Зовя ее всегда любезною своей.
Что нажил ремеслом, что крал он без разбору,
Лишь только б нравилось его завистну взору,
То всё он полагал к мартышкиной красе,
Которая ему приятней всех казалась,
Которую любя, пренебрегал он все,
Чем вся его семья весь век бы пропиталась.
Мартышка так жила, нельзя как лучше жить,
Мартышку все в дому старалися любить
Во угождение искусному портному,
Который своему хозяином был дому.
Что нам приятнее на свете сем всего,
Обыкновенно мы лишаемся того.
Так точно с честным сим портным тогда случилось,
Несносное ему несчастье приключилось:
Болезнь мартышкина с ума его свела
И к совершенному несчастью привела.
Мартышка умирает
И жизнь свою кончает.
Веселье всё его с мартышкой погибает.
«Что делать, — говорит, — когда несчастлив я,
Теперь уж кончится утеха вся моя».
Мартышка жалоб тех нимало не внимает
И, страждя долго, дух последний испущает,
Оставя в праздности портного по себе,
Который стал пенять за смерть ее судьбе.
И жалобы свои он к небу воссылает,
Виною смерти сей себя он признавает.
«Конечно, — говорит, — за то наказан я,
И отнята за то утеха вся моя,
Что всё имение мне воровством досталось,
Что я у всякого кафтана крал сукно,
И кражу ту я клал отчасти на вино,
А прочее моей мартышке оставалось.
Конечно, от того мартышка умерла,
Которая одна утехой мне была.
Я стану честно жить и красть уж перестану,
Опять примуся шить.

О! если б не украл я эту обезьяну,
Мне было бы еще чем дом свой прокормить».
Ты поздо воздыхать теперь уже хватился,
И поздо уж теперь не хочешь воровать.
Когда б чужого ты добра не льстился взять,
То б и с богатством ты мартышки не лишился.

⟨1764⟩

225. МУЗЫКА

Приятна песнь та, что Клориса воспевала,
Нередко разум мой и сердце вспламеняла.
Но ежели бы к ней стакан с вином звенел,
За совершенную б музы́ку я почел.

⟨1764⟩

В. П. ПЕТРОВ

Сын московского священника Василий Петрович Петров (1736—1799) в раннем детстве потерял отца и жил в большой бедности с матерью и сестрой, занимаясь самообразованием. После смерти матери, по-видимому в 1752 году, он был принят в Московскую славяно-греко-латинскую академию. Какой-то проступок восстановил против него префекта Академии Константина Бродского, и Петров был жестоко выпорот. После столь тяжелого наказания пострадавший, которому было уже семнадцать лет, бежал в Петербург и поселился у одного из своих родственников, но в 1754 году был назначен новый префект, Петров вернулся в Москву и, благодаря своим блестящим способностям и прежним успехам, особенно в риторике и языках, был снова принят в Академию, которую окончил в 1760 году. В следующем году Петров был оставлен при Академии учителем синтаксиса (1761), затем — с 1763 года — стал читать курс поэзии, а в 1767 году — риторику. Кроме основных предметов, Петрову приходилось вести ряд дополнительных предметов (арифметику, географию, историю) и произносить публичные проповеди по воскресным дням.

Академическое классическое образование, длительные занятия поэзией и ораторским искусством способствовали тому, что первое же выступление Петрова в литературе получило очень широкий отклик и коренным образом изменило его жизнь. Написанная в 1766 году по совету его соученика по Академии Н. Н. Бантыша-Каменского «Ода на карусель» чрезвычайно понравилась Екатерине II. Петров получил за нее золотую табакерку с 200 червонцами, а Сумароков откликнулся пародийным «Дифирамвом Пегасу». Несомненная поэтическая одаренность Петрова, проявившаяся в одах 1766—1767 годов, наряду с его уменьем удачно перефразировать в стихи положения манифестов и указов Екатерины, были

причиной вызова его ко двору, которым, по наиболее правдоподобному предположению Г. А. Гуковского, Петров был обязан тогдашнему фавориту Екатерины, Г. Г. Орлову.

В 1768 году Петров был сделан переводчиком при кабинете ее величества и чтецом императрицы. В это время у него устанавливаются дружеские отношения с Г. А. Потемкиным. Через Петрова Потемкин с театра военных действий русско-турецкой войны ведет переписку с Екатериной II. Одно из писем того времени дает представление о характере отношений придворного поэта и будущего фаворита императрицы: «Друг мой, Василий Петрович! Третий день как все пишу и так устал, что нет мочи к тебе много писать, затем прости ж меня, да спасибо, ты и того не пишешь. Верный ваш слуга Потемкин... Кланяйся Василию Ильичу, Алексею Ильичу, Льву Александровичу и всем, кто меня любит, отчего шея у тебя не заболит, потому что их немного».[1] В 1769—1772 годы Петров систематически выступает с одами, обращенными к Екатерине, тогдашнему ее фавориту Григорию Григорьевичу Орлову и его брату Алексею, и только иногда к Потемкину.

В 1769 году Петров приступил к важному литературному труду — переводу «Энеиды» Вергилия, и выпустил в начале 1770 года первую песню под названием «Еней». Перевод Петрова сделался известен в литературной среде еще в рукописи, и потому в сатирических журналах Н. И. Новикова («Трутень») и Ф. Эмина («Смесь») уже в 1769 году началась ожесточенная борьба с поэтом, воспринимавшимся в качестве официозного автора. Критики Петрова вспомнили его «Оду на карусель» (1766) и использовали снова против него те упреки, которые были сделаны сразу по выходе «Оды на карусель» Сумароковым в его «Дифирамве Пегасу». Петров отвечал критикам в пространном предисловии к своему переводу первой песни «Энеиды». Это предисловие Петрова еще больше обострило полемику, так как автор его довольно прозрачно намекнул на высочайшее одобрение своей поэтической работы.

В борьбу вокруг Петрова включались все новые и новые лица. В 1770 году за границей на французском языке было издано сочинение Екатерины II под названием «Антидот» (опровержение), посвященное полемике с французским писателем Шапп д'Отерошем, автором «Путешествия в Сибирь» (1768). Среди суждений автора «Антидота» находится глубоко поразившая русских литераторов

---

[1] И. А. Шляпкин, Василий Петрович Петров, «карманный» стихотворец Екатерины II. — «Исторический вестник», 1885, № 11, с. 388.

оценка творчества Петрова. Екатерина писала: «Особенно в последние годы, когда литература, искусства и науки особенно поощрялись, не проходит недели, чтобы из печати не вышло бы несколько книг, переводных или иных. Среди наших молодых авторов невозможно пройти молчанием имя В. П. Петрова, библиотекаря собственной библиотеки императрицы. Сила поэзии этого молодого автора уже приближается к силе Ломоносова, и у него более гармонии: стиль его прозы исполнен красноречия и приятности; не говоря о других его сочинениях, следует отметить его перевод в стихах «Энеиды», первая песнь которой вышла недавно; этот перевод его обессмертит». [1]

Столь высокое заступничество, однако, не остановило противников Петрова. Василий Майков в своей «ирои-комической» поэме «Елисей, или Раздраженный Вакх» (1771) высмеивал не только стиль Петрова, — это делали до него многие, — но сделал объектом пародии самое содержание «Енея» — рассказ о любви Дидоны к Енею. Но особенно чувствительный удар нанес Петрову Новиков. Несомненно имея в виду слова Екатерины, Новиков писал о Петрове: «Вообще о сочинениях его сказать можно, что он напрягается идти по следам российского лирика; и хотя некоторые и называют уже его вторым Ломоносовым, но для сего сравнения надлежит ожидать важного какого-нибудь сочинения и после того заключительно сказать, будет ли он второй Ломоносов или останется только Петровым и будет иметь честь слыть подражателем Ломоносова». [2]

Взбешенный этим обвинением в подражательстве, Петров отвечал Новикову уже из Лондона, куда был откомандирован для дальнейшего образования в 1772 году и откуда вернулся в 1774 году.

Петров провел время в Англии с большой пользой для себя. Он основательно изучил английский язык, заинтересовался английской поэзией и, вскоре по возвращении, напечатал в 1777 году прозаический перевод трех песен поэмы Мильтона «Потерянный рай». В Лондоне Петров продолжал внимательно следить за политическими и литературными событиями в России и откликался в своих стихах на все, что его так или иначе задевало. Он восхваляет Григория Орлова за усмирение так называемого чумного бунта в Москве в 1771 году, ведет стихотворную полемику со своими литера-

---

[1] Екатерина II, Соч., т. 7, СПб., 1901, с. 256.

[2] «Опыт исторического словаря о российских писателях» (1772). — Н. И. Новиков, Избр. соч., М.—Л., 1951, с. 334—335.

турными врагами, пишет своему приятелю Г. И. Силову дидактические послания о пользе наук, в которых повторяет ходячие рассуждения о естественном равенстве людей на поприще науки.

В 1774 году Петров и Силов через Францию, Италию и Германию вместе отправились в путь и прибыли в Петербург. По возвращении Петров вернулся на прежнюю службу в библиотеку императрицы с жалованьем в 1200 рублей и приступил к исполнению своих основных обязанностей — к прямому, а не косвенному воспеванию императрицы, и написал оду Екатерине по случаю заключения Кучук-Кайнарджийского мира в 1775 году.

К этому времени Потемкин стал всесильным фаворитом императрицы, и с тех пор Петров посвящает свои оды в равной степени ему и Екатерине. Петров скоро становится доверенным человеком у Потемкина и входит в круг приближенных светлейшего князя. К Петрову начинают обращаться с просьбами похлопотать перед Потемкиным, предполагая, что поэт имеет некоторое влияние на вельможу.

В 1780 году Петров по болезни вышел в отставку с чином надворного советника и с сохранением жалованья в виде пенсии. Он поселился в своей деревне в Орловской губернии, каждую зиму ездил в Москву и занимался в библиотеке Славяно-греко-латинской академии. В деревне он вел жизнь сельского помещика, выписывал инструменты из Англии, вел судебные тяжбы с соседями, учил крестьянских детей и заботился о воспитании своих. В письме его к семье из деревни, куда приехал он из Москвы, содержатся некоторые характерные подробности помещичьей жизни и, в том числе, обещание навести «порядок» к приезду остальных домочадцев: «Дом я приготовлю. Я еще никого не высек, а многих пересечь надобно, поберегу до вас».[1]

Помимо од Екатерине и Потемкину, которые сочинялись им регулярно, Петров в 1780-е годы был занят главным литературным трудом своей жизни — переводом «Энеиды», законченным в 1786 году. Какое значение придавал он этому переводу, видно из его ответа на приглашение участвовать в трудах Российской академии, куда Петров был избран 11 ноября 1783 года по предложению княгини Е. Р. Дашковой. Как и другие писатели, избранные в Академию, Петров был приглашен участвовать в составлении словаря. В своем ответе Петров писал: «Как я имею довольно важный труд на руках, каков есть преложение Вергилия, который всего меня занимает, прошу... объяснить Академии мою невозможность быть ей в сочи-

---

[1] И. А. Шляпкин, В. П. Петров, с. 396.

нении словаря соучастником... И кто знает, может быть сочинять словарь многие умеют, а перевесть Вергилия стихами, с некоторою исправностию, я один удобен». И далее Петров подчеркнул, что к его переводу с особенным вниманием относится сама Екатерина II: «Притом вообразите, что мой труд благоугоден ее императорскому величеству... которая доставляет мне возможные способы к беспомешному оного продолжению... Похвала уст ее — мой лавр». И в полном убеждении, что монаршее «внимание» не может не вызвать зависти к нему со стороны академиков, он прибавляет: «Не завидьте моему счастию».[1]

Перевод «Энеиды», как и все творчество Петрова, не принес ему тех лавров, на которые он рассчитывал, и слова, сказанные Радищевым в «Путешествии из Петербурга в Москву» о его переводе, что это «древний треух, надетый на Вергилия ломоносовским покроем», выражали, по-видимому, мнение многих. Но Петров, как и в пору самых ожесточенных против него литературных выступлений, продолжал опираться на поддержку Екатерины и особенно Потемкина. Он очень внимательно следил за всеми оттенками настроений двора и, в случае необходимости, покидал одические высоты для политической сатиры.

В 1788 году, в связи с началом русско-шведской войны, Петров написал сатирическую поэму «Приключение Густава III, короля шведского». Он пользовался каждым мало-мальски удобным случаем для того, чтобы напомнить о себе императрице. События русско-турецкой войны 1787—1791 годов послужили ему материалом для новых безудержно преувеличенных восхвалений Потемкина и Екатерины. Военные действия в течение целого года развивались медленно и без всяких успехов. Русское общественное мнение осуждало Потемкина за плохую подготовку войск и нерешительность в осаде Очакова. Когда наконец 5 декабря 1788 года Очаков был взят, Петров сочинил оду, в которой превознес Потемкина как полководца. А для триумфальных ворот в честь победителя при Очакове было, как писал современник, «приказано в Царском селе иллюминовать мраморные ворота и, украся морскими и военными арматурами, написать в транспаранте стихи, кои выбрать изволила из оды на Очаков Петрова. Тут при венце лавровом будет вверху: „Ты в плесках внидешь в храм Софии“».[2]

---

[1] М. И. Сухомлинов, История Российской академии, т. 7, СПб., 1885, с. 42.

[2] А. В. Храповицкий, Дневник. — «Русский архив», 1901, кн. 3, с. 142.

Не преминул Петров по-своему откликнуться и на взятие Измаила, изобразив Потемкина участником и предводителем штурма этой крепости, тогда как им командовал Суворов.

Посылая эту оду Потемкину, Петров писал ему 9 марта 1791 года, рассчитывая на соответствующее его усердию вознаграждение: «Представляю вашей светлости оду, которую я сделать покусился сквозь старость и болезнь. Признаюсь необыкновенно, что мне труднее было оную сочинить, нежели предводимым вашей светлостью воинам взять Измаил. Они в шесть часов все дело решили; я сотней насилу расплатился». [1]

После смерти Потемкина, на которую Петров откликнулся одним из немногих его стихотворений, проникнутых искренним чувством, поэт продолжал считать себя на литературной службе у императрицы и каждый свой новый отклик на политические и военные события посылал к ней с письмом, и обычно получал благосклонный ответ. В письмах этих он пользовался каждым случаем, чтобы намекнуть о своих нуждах, об увеличивающемся семействе и надеждах на «земного бога, дабы благоволил поправить надо мной милости небесного, которые без того могут подавить меня, и я, увы! лягу погребен под собственным моим счастием» [2] (письмо от 5 декабря 1793 г.).

В ноябре 1796 года умерла Екатерина II. Это известие так потрясло Петрова, что с ним сделался удар. Однако он быстро оправился и в декабре написал «Плач и утешение России», в котором прославил нового царя с таким же усердием, с каким прославлял его мать. У Павла оды Петрова успеха не имели, да и сам поэт не рассчитывал на особенно теплый прием. Одному из приближенных Павла, скорей всего Ю. А. Нелединскому-Мелецкому, он с грустью писал в 1797 году: «Его величество, сказывают, стихов читать не изволит», — и объяснял, что в его оде «нет оказания ума или искусства, а изъявляется одно только чувствование сердца и приносится жертва чистой души, не ищущей ни корысти, ни славы». [3] И только в самом конце письма была названа истинная цель преподнесения оды: «Я стар и болезнен; мне надобен только покой, и ежели... возмогу я провести остаток дней моих в том же самом состоянии, каким я доныне пользовался, я сие почту за особливое

---

[1] «Русский архив», 1871, № 2, с. 73.
[2] И. А. Шляпкин, В. П. Петров, с. 401.
[3] Там же, с. 403.

неба ко мне благоволение».[1] Иными словами, Петров просил сохранить за ним то жалованье, которое он продолжал получать, выйдя в отставку. В письме к жене, написанном в то же время, Петров высказывает менее скромные надежды, хотя и сомневается в их осуществимости. Так, он думает о возможности лично представиться новому царю: «Может быть, я в пользу свою растворю императора, сподобясь его увидеть: не лучше ли подействует Цицероновщина, когда не помчит Вергилиевщина, ведь муженек твой удал и на то. Кабы мне волю дали, я б, кажется, смог прослыть царским витием, так как я некогда слывал карманным Екатерининым стихотворцем».[2]

Петров умер, так и не добившись расположения нового царя, не любившего приближенных своей матери. Вскоре после смерти Петрова его сочинения были дважды изданы (в 1802 и 1811 годах), что говорит о популярности его среди определенного круга читателей. И позднее предпринимались попытки оживить память о Петрове. Последний опыт такого возрождения Петрова сделал П. А. Плетнев, поместивший подробный разбор оды Петрова Мордвинову как отклик на спор об оде, поднятый в 1824 году Кюхельбекером.

Борьба против Петрова поэтов разных поколений 1760—1770-х годов с очевидностью свидетельствует о значительности его творческих исканий. Петров противопоставил идущим от Сумарокова нормам ясности и логичности опыт поэтов старшего поколения — Ломоносова и Тредиаковского. Он соединил эмоциональную напряженность и лирический «беспорядок» ломоносовских од с прихотливым расположением слов и намеренной архаизацией поэтической лексики Тредиаковского. Именно эти элементы стилистики Петрова являлись поводом для насмешек и пародий. Но кроме этих элементов определенных поэтических традиций Петров привнес в поэзию своего времени интерес к созданию картин природы и движений человеческих масс, особенно батальных. Эта «картинность» поэзии Петрова была высоко оценена Державиным и послужила ему примером при создании собственного поэтического стиля, хотя общественная позиция Петрова часто вызывала возражения даже у представителей умеренно-либеральной дворянской мысли.

---

[1] Там же, с. 403.
[2] Там же, с. 404.

226. ОДА НА ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ КАРУСЕЛЬ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 1766 ГОДА[1]

Молчите, шумны плесков громы,
Что слышны в Пиндара устах,
Взмущенны прахом ипподромы,
От коих в Тибра стон брегах,
И вы, поторы Олимпийски,
Вы в равенстве стать с оным низки,
Что нам в зефирны дни открыть
Екатерининой державы,
Когда среди утех, забавы
В россиян дух геройства лить.

Я странный слышу рев музы́ки!
То дух мой нежит и бодрит;
Я разных зрю народов лики!
То взор мой тешит и дивит;
В порфирах Рим, Стамбул, Инди́я
И славы под венцом Россия
Открыли мыслям тьму отрад!
И зависть, став вдали, чудится,
Что наш толь весел век катится,
Забыла пить змеиный яд.

Отверз Плутон сокровищ недра,
И Пактол златом пролился;
Натура, что родить всещедра,
Ее краса предстала вся:
Сапфиры, адаманты блещут,
Рубин с смарагдом искры мещут
И поражают взор очей.
Низвед зеницы, Феб дивится,
Что в многих толь зерцалах зрится,
И утрояет свет лучей.

Убором дорогим покрыты,
Дают мах кони грив на ветр;

[1] Первая редакция оды; ср. № 235.

Бразды их пеною облиты,
Встает прах вихрем из-под бедр:
На них подвижники избранны
Несутся в путь, песком устланный,
И кровь в предсердии кипит
Душевный дар изнесть на внешность,
Явить нетрепетну поспешность;
Их честь, их царский взор крепит.

Но что за красоты сияют
С гремящих верха колесниц,
Что рук искусством превышают
Диану и ее стрелиц?
Не храбрые ль спартански девы,
Точащи пену вепрей зевы
Презрев, хотят их гнать по мхам?
Природные российски дщери,
В дозволенны вшед чести двери,
Оспорить тщатся лавр мужам.

Подняв главу из теней мрака,
Позорищный услышав шум,
Со устремленьем томна зрака
Стоит во мгле смущенных дум
Бледнеюща Пентезилея,
Прискорбный дух и вид имея,
Прерывным голосом рекла:
«Все б греки в Илионе пали,
Коль сии б девы их сражали;
Ручьями б кровь их в понт текла.

И тщетно было б то коварство,
Что плел с Уликсом Диомид:
Поднесь стояло б Трои царство
И гордый стен Пергамских вид.
Те стрелы в крови ядовитой
Гнилой бы были им защитой;
Тот грозный в шлеме Ахиллес,
Кем Гектор сам влачен был долу,
От рук прекрасного б здесь полу
Сражен, лег труп, достойный слез».

Сие изрекши, амазонка
Упала в прежню теней тьму,
И ветра глас движеньем тонка
Кончился в зрелищном шуму.
Там всадники взаим пылают,
И бегом Евра упреждают,
Крутят коней, звучат броньми,
Во рвении, в пыли и в поте
В восторгшей их сердца охоте
Мечом сверкают и локтьми.

Герой, во блеск славян одеян,
О, как мой дух к себе влечет!
Коль храбр и чуден вождь индеян,
Коль бодро в подвиге течет!
Но как тот взор мой восхищает,
Кой грозным видом представляет
Пустынного изгнанца плод!
Взглянув на мужество такое,
Себя б самого в сем герое
Ужасся чалмоносцев род!

А в том, покрыт кто скачет шлемом,
Жив тех героев дух и взгляд,
Которы Ромула со Ремом
Своими праотцами чтят;
Его десница скородвижна,
Видению едва постижна,
И мещет и пронзает вдруг!
Камилл, что быв в несчастьи Рима
Стена, врагом непреборима,
Такой имел и взор и дух.

Таков был Декий, что в средину
Ярящихся врагов вскочил,
И Курций, общества судьбину
Своей что смертью отвратил;
Таков в Маркелле вид, проворство,
Когда держал единоборство,
Как галл под ним ревел пронзен;

Так все спешат себя прославить,
Разить медведей, гидр безглавить;
Их в подвиг ум и взор вперен.

Я в восхищении глубоком
Театр войны бескровной зрю,
Бегущих провождая оком,
Я разными страстьми горю:
То дух во мне, боясь, трепещет,
То в радости героям плещет,
Они скорее стрел летят
И рвение в сердцах сугубят
На гласы, что им почесть трубят,
Друг пред другом взять лавр спешат.

Орел когда, томимый гладом,
Шумя на воздухе, парит,
Узревши птиц, летящих стадом,
Вослед за ними гнать горит,
И, вдруг пустясь полетом встречным
И крыл движеньем быстротечным,
Уже их постигает близ
И, алчными усты зияя
И остры когти простирая,
Дает по ним круг вверх и вниз.

Подобный здесь царю пернатых
Полет в героях вижу двух,
Желанием хвалы объятых,
Подвижнических мзды заслуг.
Сияя видом благородным,
Являют вдруг очам народным
Соперничество и родство;
Хребты и выи исклоняя
И сильны мышцы напрягая,
Взять упреждают торжество.

Так быстро воины Петровы
Скакали в Марсовых полях,

Такие в них сердца орловы,
Такой чела и рук был взмах;
И легка членов преобратность,
Над мыслей деюща понятность;
Когда в жару кровавых сеч
Летали молнией по строю
И безошибочной рукою
Сжинали главы с шведских плеч.

Умолкли труб воинских звуки
И огнедышных ко́ней скок,
Спокоились геройски руки,
Лишь мутный кажет след песок.
Он пылью весь покрыт густою,
Как в летню поле ночь росою,
Как налетает пар водам.
Уже течение скончали,
Уж в новом зрелище предстали
Моим подвижники очам.

Не столь сияют в небе звезды,
Не столь красе́н денницы всход,
Не столь торжественные въезды
Верх римских в древности высот
Блистательны и пышны были,
Коль мысль и сердце мне пленили
Различны вкупе красоты.
Сиял там воин увязенный,
Здесь девы, потом орошенны,
Всея их выше лепоты.

И се подвижнейших героев
И дев победоносный хор
В чертог вожди приемлют воев,
Судей избраннейших собор.
Там муж, украшен сединою,
Той лавры раздает рукою,
Из коей в бранях гром метал;
Луна от тех метаний тмилась,
Как против солнца ополчилась,
И Понт волн черных встрепетал.

О! как тот лавр зелен, прелестен,
Который лавроносцем дан!
Кой тот герой велик и честен,
Кой от героя увенчан!
Коль славны подвига награды,
Что при очах самой Паллады
Вам, героини, дарены!
Колькратно око ваше взглянет
На мзду, толькратно в мысль предстанет,
И труд, за что вы почтены.

Где ныне роскошь и богатство
Тех стоном растворенных игр?
То с плачем смешано приятство,
Как пленных лев терзал иль тигр?
Те зрелища краснообразны,
Где, от оружия непраздны
Девиц зря руки и мужей,
Враги рыкать не смеют львами,
Змеиными зиять к нам ртами;
Им страх — утеха наших дней.

Кто мраморны столбы возводит
Туда, где Зевс обык греметь,
В том славы верх своей находит
Египту в дивах предоспеть
Чрез сродную великим пышность,
В порочну падает излишность,
Величие в роскошстве чтя;
Другой, вослед Пигмалиону,
Сияющу мрачит корону,
Себе всё жертвой предая.

Сверх многих божеству приличеств,
Екатерина новый путь
Открыла достигать величеств,
Свой дух вливая в верных грудь.
Как солнце в целом светит мире,
Всем виден блеск в ее порфире,
Без ужасу своих громка,
Без гордости превознесенна,

Без унижения смиренна,
Без всех надмений высока.

Благополучен я стократно,
Что в сем живу златом веку,
Где мал, велик, все безызъятно
Щедрот монарших пьют реку.
Я видел Исфм, Олимп, Пифию,
Великолепный Рим, Нимию
В иных огромности чудес;
Я зрел Демоклов и Феронов,
Которых шумом лирных звонов
Парящий фивянин вознес.

1766

227. ДОЛЖНОСТИ ОБЩЕЖИТИЯ

Из сочинений господина Томаса

Проснись, о смертный человек!
И сделайся полезным свету;
Последуй истины совету:
В беспечности не трать свой век.
Летит не возвращаясь время, —
Спеши пороков свергнуть бремя:
Заутра смерть тебя ссечет,
Во гроб заутра вовлечет.

Ты ль хочешь слыть словесна тварь,
Весь в подлу праздность погруженный!
Твой ею ум изнеможенный
Страстей твоих коль слабый царь!
Не с тем ли человек родится,
Да в жизни действует, трудится?
В бездействии порочном жить
Есть прежде смерти мертвым быть.

Взведи, беспечный, о́крест взор
На мира здание прекрасно;

Коль твари в нем текут согласно!
Коль строен оных зрится хор!
Не все ли тщатся совокупно
Свой долг исполнить непреступно?
На месте всё своем стоит;
Союз взаимный всё крепит.

Воздушну густость чистит ветр,
Но воздух жмет в пределах воды;
Чтоб жатвой угобзить народы,
Бьет влага из подземных недр;
Браздами восприято семя
Приносит плод в урочно время;
Огнь есть питание всему,
Огню всё пища самому.

Но ты, что дар поемлешь свой,
Ты, тварь, всем тварям предпочтенна,
Душей бессмертной одаренна,
Мечтаешь, что на круг земной
Ты брошен на конец безвестный,
Лишь праздный зритель поднебесной!
Един вне общей связи ты,
Вне всех томящей суеты!

Еще как не был ты рожден,
Тебе заслуги показали,
Законы предки написали,
В твой щит воздвигли крепость стен;
Чрез попечения несчетны,
Чрез труд и опыт долголетны,
Приуготовили, любя
Свой род, науки для тебя.

Тот кров, где ты без страху спишь,
Спокойность твоего жилища,
И хлеб, твоя всегдашня пища,
Чем мочь утраченну крепишь,
Твои довольствия, утехи
И самы нужды, неуспехи

Тебе немолчно вопиют,
Чтоб ты любил полезный труд.

Скажи мне, отчество заслуг
Твоих сколь много ощутило?
О, если б хоть сие пронзило
Воспоминание твой дух!
Иль ждешь, чтобы гражданства члены,
Отчаясь твоея премены,
Живого плакали тебя,
О том, что у́мрешь, не скорбя.

О, срам и студ Европы всей,
Плачевна наших дней судьбина!
Любезна должность гражданина
Забвенна ныне у людей!
Источник общих благ и сила,
Священна титла, что родила
Великих свету душ, увы!
У нас презреннее плевы.

Отечества воспомни труд,
Питало как тебя в младенстве;
Печется о твоем блаженстве
Законов страж, что пишет суд;
Герои, тучей стрел покрыты,
Падут для твоея защиты,
Не зря на ток кровей своих.
Скажи, что сделал ты для них?

То имя сына и отца,
Что толь всем мило и прелестно,
Тебе ли будет неизвестно!
Где толь бесчувственны сердца?
Воззри на варваров примеры:
Гурон среди своей пещеры,
Внутрь обагренных кровью стен,
Вкушает сладость сих имен.

Любви его предлог драгой
К нему веселы мещет взгляды,

Усмешкой множит в нем отрады,
Дарит по трудностях покой;
Отец, покрытый сединою,
Лежит, склонясь к нему главою:
Взгляни, как сын невинных лет
Его, лобзая, к персям жмет!

А ты, натуры отщетясь,
Народных бегая соборов
И кроясь в темноте затворов,
Прервал с собой всю мира связь.
Сквозь знаки на лице угрюмы
В тебе бесплодны видны думы;
Без упражнения и дел,
О, как твой дух оледенел!

Хотя б огнь дружбы распалил
Сию во стоике холодность
И жизни строгия бесплодность
На пользу ближних преклонил!
Что сердцу каждого противно,
Ты снесть то можешь терпеливно,
Оставить свет и не вкусить
Драгих утех, любиму быть!

Ты знай, что дружба ищет душ,
К похвальным действам устремленных;
Не любит мест уединенных
Ее от сердца чтущий муж.
Кто друг, бесчувственность пустынна
Творит того тяжчайше винна;
Без действа мыслей правота
Пустая только есть мечта.

Наш долг друг другу помогать,
На возраст не смотря и чи́ны;
Правдивы движут нас причины
Единокровных подкреплять.
Богач! ты нищего насы́ти,
Могущий, слабого защи́ти,

Мудрец, невежду умудри,
Щадите подданных, цари.

Ты спишь, а вкруг тебя обстав,
Несчастны тяжко воздыхают,
Беды́ отечество терзают,
Пороки топчут святость прав!
Ты спишь, мы сетуем и просим,
Мы скорбный глас к тебе возносим!
Простри твой слух: от всех сторон
Плачевный слышен вопль и стон.

Коль много жалостных сирот!
Вдовиц, близ врат стоящих ада,
И старцев, тающих от глада,
Предавших отчеству живот!
В оковы тяжки заключенных,
Страдать безвинно осужденных!
Коль много слезной нищеты
И хлад терпящей наготы!

Ах! ужаснися, трепещи,
Чтоб раздраженные их тени,
Восстав из преисподней сени,
Во дни являясь и в нощи,
Рыдать не стали пред тобою,
Что ты кончины их виною.
Убойся фурий ты лица,
Что мучат злобные сердца.

«Как? мне стать жертвовать собой
Блаженству душ неблагодарных,
Льстецов, угодников коварных,
Корысти ищущих одной!
Они, исполненные злобы,
Пронзают тех самых утробы,
Что их питают и щедря́т;
Они отцов своих губят.

Всё в мире жертва иль тиран;
Невинность силе уступает;

Таланты злато помрачает;
Закон от счастия попран.
Людей преступных от успеха
Добро́те там моей помеха.
Дай мне в пещере сей умреть,
Я света не могу терпеть».

Итак, тебя порок страшит,
Не терпишь ты сердец развратных!
Увы, для следствий неприятных
Из света праведник бежит!
Но если мудрость преселится
И честь от смертных удалится,
Каков, скажи мне, будет свет,
Добро́та в коем не живет?

Должна ль она себя скрывать
В пещеры мрачны и глубоки,
Тогда как царствуют пороки,
Права осуждены молчать?
Ах! верь, нет лучшего предмета,
Служаща к украшенью света,
Как непорочный человек,
Кой злости вход к себе пресек.

Вожди и мудрые земли,
Прямые человеков други,
Являли им свои заслуги,
Хоть в них достоинств не нашли.
Ты, вместо чтоб кого оставить,
Потщись щедротой злых исправить,
Без исключенья всем служи,
Неблагодарных обяжи.

Что нужды дани ждать от них?
Твоя прехвальна добродетель,
И бог души твоей свидетель,
Мала ли мзда заслуг твоих?
Тем вящще честь твоя блистает,
Что низкость платы презирает;

И злость бесчувственных сердец
Твой краше делает венец.

На злая человек течет,
Деяний множеством бесстудных
Небес удары правосудных
Вседневно на себя влечет.
Но сколь творца ни огорчает,
Творец нань милость расточает;
Дождит на плод земный из туч
И проливает солнца луч.

⟨*1769*⟩

228. НА ВОЙНУ С ТУРКАМИ

Султан ярится! ада дщери,
В нем фурии раздули гнев.
Дубравные завыли звери,
И волк и пес разинул зев;
И криками нощные враны
Предвозвещая кровь и раны,
Все полнят ужасом места;
И над Сералию комета
Беды на часть полночну света
Трясет со пламенна хвоста!

Война, война висит ужасна,
Россия, над твоей главой,
Секване мочь твоя опасна:
Она рог стерти хочет твой.
Ты в том винна пред ней едином,
Что ты ей зришься исполином;
Ты кедр, а прочи царства — трость.
Так ты должна болеть, сражаться,
И в силах ты должна теряться,
Чтоб ей твоею тратой рость.

Так часто гады ядовиты,
Залегши в лесе под кустом,

Кудрявой зеленью закрыты
И палым со древес листом,
Когда кто мимо понесется,
И куст, им тронут, затрясется,
Грозя полудню их открыть,
Да мнимую напасть умалят,
Прохожего от страху жалят,
Чтоб им раздавленным не быть.

Чудовища всеродны ада,
Всё злое, кроме лишь себя,
Она бы выставити рада,
Россия, супротив тебя.
Но турк пошлет свои знамена,
А аду казнь ее замена —
То жаляща меж трав змея.
Да скроет зависть от Европы,
Она лишь будет весть подкопы:
Мощь турков — умыслы ея.

Так тать, да путника ограбит,
Воссед на резвого коня,
Бодет его, и повод слабит,
Ко бегу силой всей гоня.
И буйный скот, не зная кова,
Орудие греха чужого,
Привыкший по полям ристать,
Узде послушен властелина,
Не зря, что холм или долина,
Течет невинного стоптать.

От юга, запада, востока,
Из Мекки и Каира врат,
Где хвально имя лжепророка,
Где Нил шумит, где Тигр, Евфрат,
Уже противники России
Стекаются ко Византии,
Как кровь из всех ко сердцу жил.
Во бешенстве, в трясеньи яром
Войну решить одним ударом
Султан на сердце положил.

Уже послушны грозной воле,
Серальный кою рек герой,
На Марсово со шумом поле
Износятся, за роем рой;
Чрез Гем, через верхи Родопы
Несут стремительные стопы,
Несчетны, горды не вотще.
Теснятся предни́м над Дунаем,
Но задним воинства их краем
В Стамбуле движутся еще.

Коликие толпы! Народы!
Протяглася предлинна цепь!
Как насыпь разорвавши воды,
Шумят и стелются на степь.
Свирепы, как кони́ взоржавши,
Ярма и у́дил не познавши,
Ступают борзо по земле.
Уж в мысли всё стоптали, сперли,
Свой ход внутр Севера простерли;
Нога их стала во Кремле.

Их мчат кони́, превозят челны,
Путем господствуют сухим;
Покрыты их судами волны,
Текущими в союзный Крым.
Чтоб их была верняй победа,
Оттоль поклонник Магомеда
Шлет нову в Север саранчу.
Секвана ту исчесть бессильна.
Колико жатва тут обильна,
О россы! вашему мечу!

Лишь в поле выступите ратно,
Трофей вам будет каждый шаг;
Сразитеся коликократно,
Толь крат падет под вами враг.
Как грозны молнии летучи
Густые рассекают тучи,
Сверкая по простертой мгле,
Вы тако, тако потеките,

И тако турков рассеките;
Ваш жар вам молнийны крыле.

Да снидет на главы их кара
Во громе, в пламени, в дыму;
Да треск им данного удара
В Стамбуле слышен и в Крыму,
Во целом свете слышен будет;
Да гордый, зря их казнь, забудет
Смущати ближнего покой;
Да кто законов не боится,
Законы нарушать страшится,
Удержан вашею рукой.

Поправши тако мощь зверину
И миром увенчавши брань,
Венчайте вы Екатерину:
Сия ей почесть должна дань.
Да, зря мать вашу лавроносну,
Секвана в грудь ударит злостну;
Во нестерпиму пад тоску,
О тщетной хитрости воздо́хнет,
От зависти в струях усохнет
И чуть влачится по песку.

1768 или 1769

229. ⟨ПОСВЯЩЕНИЕ ПАВЛУ ПЕТРОВИЧУ⟩

Маронова ума вовеки хвальный плод,
Пречудный образец витийственных красот,
Во стих российскаго переложённый слова,
Прими, великий князь, под ону тень покрова,
Какую сам ему Октавий подавал,
Кой музам жизнь, себе бессмертье даровал;
Какую мать твоя простерла на науки,
Звук славы новыми всегда сугубя звуки.
Хоть римского орла парение и шум
Постигнуть впо́лне мой оскудевает ум —

Любовь познать красы, чем блещет в слоге
древность,
Рожденна от тоя ко подражанью ревность
Приводит робкое в движение перо.
О, если б то текло, как жар велит, быстро́,
Я, мыслей в высоте Марону подражая,
И вящим, нежель он, усердием пылая,
Потщился бы пред всей вселенной показать,
Чем выше Августа твоя Авгу́ста мать!
Пусть силам моего то духа необъятно,
Мне лик ее доброт воображать приятно;
Приятно вображать о будущей судьбе,
Готовящей открыть нам зрелый плод в тебе:
Как рождшия вослед россиян честь умножишь!
Как гордых под пяту противников положишь!
Как будешь подданным щедроты проливать!
Гряди, куда тебе, как солнце, светит мать,
Куда стремит тебя природы превосходство,
Премудра Ментора премудро руководство.
Уже нам зримые в лице твоем черты
Являют рай твоей душевной красоты.
Ты тени твоея труд слабый удостоишь,
Снисшествием к нему злых ропот успокоишь;
Ты станешь с кротостью внимать Маронов тон;
Внемли, внемли, и тем мой буди Аполлон.

1 января 1770

230. ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ ГРАФУ ГРИГОРЬЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ ОРЛОВУ

ГЕНВАРЯ 25 ДНЯ 1771

Защитник строгого Зинонова закона,
О стоик посреди великолепий трона!
Которого душа со счастием равна,
И жизнь полезными для отчества трудами
И дел благих плодами,
Не пышностью славна.

Сквозь гласы искренних и ревностных желаний,
Сквозь тысящи к тебе усердных восклицаний

Возносит ныне свой весела муза тон;
Та муза, что благой ущедрена судьбою,
Представлена тобою
Премудрости пред трон.

Заприте днесь ваш слух, пугливые невежды,
Которых вечным сном отягощенны вежды:
С героем я в сей день беседовать хощу;
Не розы, не луга, не красные дубровы,
Я истины суровы
Днесь свету возвещу.

Богатство, пышность, власть — всё с нами умирает,
Преходит всё, как сон, всё вечность пожирает,
Рожденье смертных есть ко смерти первый шаг;
Едина тлению добро́та непричастна,
Едина не подвластна
Мгновенных року благ.

Уже Рим древний пал, подобно слабой трости,
Уже Катоновы во прах истлели кости,
Сократов пепл давно в ничто преобращен;
Но добродетель их поныне процветает,
Как солнце, к нам блистает
Из мрачности времен.

Отцы отечества, всего гражда́не света,
Великие сердца, не мысливши навета,
Спокойные в себе, спасительны другим;
Они для жития примеры показали,
И смертных обязали
Сожитием своим.

Тот изверг естества, кто ближних ненавидит,
Тот мал, чтоб честным быть, кто только не обидит, —
По правде человек, кто всем благотворит;
Дыхания его немолчный есть свидетель
Споспешна добродетель;
Он жив, коль всех живит.

Чтоб быть не одному, он многих созидает,
Растит, содействует и жертв не ожидает,
Безмездный счастия и радостей творец,
Живое божества предвечного зерцало,
Что туне всё создало,
Множайших луч сердец.

Те златом и сребром блистающи кумиры,
Которым предстоят вотще с слезами сиры,
Что тяжку с низших дань за свой взыскуют взор,
И щедро лишь сирен, им льстящих, награждают,
Те век препровождают
Природы всей позор.

Или прямой конец им жизни неизвестен,
С высоким са́ном дух Сократов не совместен,
И должно причитать беспечность их судьбе?
Коль так, почто ж тому, что в гордых ненавидим,
Орлов! почто мы видим
Противное в тебе?

Ты титлами почтен, и благосерден купно,
Кто честен, всем твое достоинство приступно,
Друг истины, сердец ценитель, не пород;
Полна намерений для отчества полезных
Душа твоя, любезных
Хранилище доброт.

Ты радость оныя чрез то усугубляешь,
Что радости свои с другими разделяешь,
Для всех во обществе, не для себя счастлив;
Податель помощи и жизней безнаветных
Во существах несчетных,
Не во едином жив.

Течет в свой солнце путь, природы внемля чину,
Орлов! ты в свой теки, подобясь исполину;
Начни, скончай, начни и паки соверши;
Твой труд всегда един и почести не новы,
Венцы твои лавровы
Покой твоей души.

Январь 1771

231. ГАЛАКТИОНУ ИВАНОВИЧУ СИЛОВУ

Так, Силов! рассвело, воспрянем ото сна,
Нас бодрствовать манит прекрасная весна;
Растворим чувствия, способности разбудим
И размышленьем мысль быстряе течь принудим.
Сильна привычка всех успехом наделять;
Стреляньем учатся без промаху стрелять.
Талантам надобны возделанья всегдашни,
Произращают терн оброшенные пашни.
Теряет прытость конь, в поездах не служа,
Меч праздный, сколь ни остр, снедает вредна ржа.
Ум пищи требует, и знать его стремленье;
Самой души душа есть хвально упражненье.
Всё можно одолеть упорностью труда,
Берут высокие приступом города.
Коль станем спать, или сидеть поджав мы руки,
Не канут с небеси нам сами в мозг науки;
Пот нужен, пот сего к снисканию добра,
Оно нетленнее и злата и сребра.
Есть всем вещам цена, богатый в чин доступит,
Но просвещения он пенязьми не купит.
Царь вотчины дарит и гордый блеск честей,
Но царь не даст ума и живости страстей.
Свет мыслей бдением приобретают люди,
От нашей собственной здесь всё зависит груди.
Пускай науки сей протек, как исполин,
Проник во глубину безвестных нам причин,
Раченьем знаменит он сделался и славен;
Но вспять озрися: он нам некогда был равен.
Взгляни, как учатся орлиные птенцы
Летать, куда ведут предтечи их отцы:
Сперва со дерева на древо прелетают
И круги в воздухе недлинны содевают;
По сем, со возрастом, оставя низкость гнезд,
Дерзают выше туч и горних ищут звезд;
По возмужании, паря под небесами,
Взирают бодрыми на солнце очесами.
Не вдруг великие свершаются дела,
Для предприятий грудь колико ни смела:
К высокому наук прекрасен путь чертогу,
Но труден; восходить пристоит понемногу.

Устанешь коль бежать, сколь ни был бы охоч,
Почий, и отдых вновь твою восставит мочь.
В отворенны наук нас время вводит двери;
Науки времени, а не мгновенья дщери.
Не прочны ранние на дереве плоды,
Так прежде своея созревший ум чреды.
От торопливости успеха нет безмерной;
Здесь лучше много крат шаг медленный, но верный.
Рассудна быть должна к премудрости любовь,
Что чтеши, превращать, как пищу в сок и кровь.
От углубленья дум мы в знаньи возмогаем,
Болтливы без ума суть равны с попугаем.
Кто речи лишь плодит, не мыслити привык,
Тот пекся изострить не разум, но язык.
Сама с собою мысль беседовати любит
И, напряжась, успех в молчании сугубит.
В уединении быть мило соловью,
И упражнять гортань во мраке древ свою.
Внимание наук препоны побеждает,
И лишь восторженный ум важное рождает.
Так, Силов, ободрясь, восчувствуем наш жар
И изнесем души во благо время дар.
Нам тот же дышит ветр, и то же солнце светит,
Коснемся точки той, к которой дух наш метит.
Природа, небеси вседаровита дщерь,
Без зависти делит, как прежде, и теперь;
Убогие и те, что носят титлы славны,
При всей их разности друг с другом часто равны.
Нередко тот, на ком сияет предков герб,
Как месяц полн извне, терпя внутри ущерб.
В том смысел счастия обиды заменяет;
Так хитрая судьба всех навсе нас равняет.
Естественного в ком огня не достает,
Сколь много помощи наука ни дает,
Не силен вознестись до горней дух степéни;
Тельцы не бегают так быстро, как елени;
Однако тот всегда во сверстниках велик,
Кто много приобрел рачением отлик;
И нет такой души во свете бесталанной,
Труд коея б успех не увенчал желанный.
Кого бессмыслию несчастный рок обрек,
По крайней мере тот вне общества упрек.

Что делать? он ему служити не способен;
Как без руля корабль, он плавать не удобен.
Но те, которые ни сеют, ни орут,
А со жнецами сплошь плоды земные жрут,
Те, гнусна саранча, как некакий гнев неба,
Не сто́ят, кажется, ядома ими хлеба.
О, сколько изойдет по всякий год кулей
На бесполезных сих отечества нулей!
Велика истинно, велика то утрата;
А вся ему от них вес тучных тел отплата.
Их мысль, рука, нога, во благо не скора,
Для чувствованья грудь — дубовая кора;
Равны движения лишившейся скотине,
Увязшей по уши в неисходимой тине.
Ах, смертный сам собой как в пагубу грядет,
И ниже своего достоинства падет;
Во гнусного себя преобратив урода,
Бесстыдно вопиет: скупа к нему природа!
Природа обща мать; нет пасынков у ней,
Бесчисленных меж нас не та причина пней.
Коль многих грубости объемлет тьма проклята:
Отцы — больши ослы, а дети их — ослята.
Коль многих тяготит дебелых мыслей груз,
Что дядька их ханжа, иль подлый был француз!
В иных с младенчества яд странных дум посеян,
Нрав кроткий во других беседой злой развеян;
Как воздух спершийся взять сил огню не даст,
Лишь воскурится, вдруг и тухнет слабый хвраст:
Так нежные души младенственной таланы
Сквозь налегающи не сильны встать туманы.
Лишь искра щедрыя природы в ней блеснет,
Сгустится снова мгла, вдруг искра и заснет,
Доколе тлясь умрет, и место возьмет холод.
То важно строить дух, пока еще он молод,
Усилясь иногда без дядек он парит,
Но редко таковы таланты рок дарит:
Образованью всё и навыку покорно,
Но тем всеместие природы не оспорно.
Летая от конца вселенной до конца,
Она всещедрой льет рукою жар в сердца.
От юга Александр, огнем души не скрытен,
Течет победами Востока ненасытен;

Борея шумного из ледовитых недр,
Чистейших полон плам, возник великий Петр,
Наполня кой чудес неслыханных вселенну,
Оставил оную надолго изумленну;
Тогда, что своили себе лишь смысла честь,
Признались, спесь сложа: и в Норде люди есть.
Есть, есть, приди и видь: там те ж поднесь герои,
Гремящи теми же побед хвалами строи.
В душах детей живет там истый жар отцов,
В Екатерининой там плоти дух Петров.
Что Северу дары природы неотъемны,
То суша вопиет и волны Средиземны;
Оттоле звук доброт готовься, свет, внимать,
Где в прадеда растет и в дивну Павел мать.
Кто смеет пригвождать дар щедра неба к месту,
Душевный огнь лепить к климáту, будто к тесту?
Довóды, философ, на воздухе лови,
Созвездия и дол в подкрепу дум зови,
Узь наших поры тел, и ожещай нам жилы,
Строеньем мозга мерь воображенья силы,
Для вожделения, сколь хочешь, кровь хлади,
Лишь льду в нее для дел похвальных не клади;
Полночны жители тебя смиренно просят,
Что шубы на плечах, а в теле души носят:
От жару стран других дай нашим часть сердцам,
И не подобься тем во древности жрецам,
Которые на нутр в гаданиях взирали,
А в прореченияx без милосердья врали.
И ты, что, высоко свою взнимая бровь,
Кричишь: «Молчите все, во мне дворянска кровь!» —
Не полагайся ты без меры на породу,
Ведь мы не лошади, не разного приплоду;
Аравский, правда, конь жарчае, де, других,
Но ты не конь; отмен не кажешь нам таких.
Иль мнишь, за душу пар вложен в простолюдина,
Во место крови деготь, и вместо сердца льдина?
Увы, по сих ты пор невежества во тьме,
Дач много у тебя, а пустоши в уме.
Скажи, почто твоим людьми не слыть крестьянам?
Архангелу ты свой, те ровня обезьянам?
Чего для, сосунок природы дорогой,
Ты чувствуешь в ней мать, всяк мачеху другой?

Как жид, которому свет верит без поруки,
Всё хочет откупить, в свои всё грабит руки,
И вводит тем купцов безденежных в скуду́, —
Сему подобны те завистливцы жиду,
Что, мнясь одни небес законными детями,
Кромсают для себя всем общий дар ломтями,
Не ущербляя нам, несчастным, ни крохи.
Но чем виновны мы, какие в нас грехи?
Не то ль, что бабки нас простые повивали,
И алогубых нимф отцы не призывали?
Своими матери кормили нас грудьми;
Неужто для сего не можно быть людьми?
Что вотчин нет у нас, какое то бесчестье?
Добро́та лучшее во всех землях поместье.
Что в том, что у тебя орда велика слуг?
Но много ль показал ты отчеству заслуг?
Веди, как древний грек, ты племя от Зевеса;
Без добродетели всё будешь слыть повеса;
И родословьем нам сколь слухи ни труди,
Архива не спасет, коль искры нет в груди;
И пращур твой Приам с прабабушкой Гекубой
Лишь повод над тобой насмешки нам сугубой.
Так, царик маленький, ты спесь большу сложи,
И огнь твоей души, не предков, нам кажи.
Глас истины, и глас то божий и народа,
Всех старе в свете титл и почестей природа.
Таланты в обществах наделали вельмож, —
Так ими поддержи ты рода блеск и множь.
Коль в черни малы суть познания степе́ни
И добродетелей одне лишь видны тени,
В рожденных счастливо мысль здрава цвесть должна:
Ошибка всякая в сановнике важна.
О боже сохрани! чтоб души были узки
Во некоих из тех, что знают по-французски
И числят всех изусть учения светил:
Толь дух премудрости их свыше посетил.
Не срам ли, коль тебя порода к сану близит,
А поведение до челядинцев низит;
Иль ежели, чему стыжуся верить я,
Душ много за тобой, а хуже всех твоя;

Не укоризна ли безграмотные предки,
Где опыты доброт сияли толь нередки?
Язы́кам изучась, пив мудрости от струй,
Блюдись, чтоб не был ты на всех язы́ках буй
И, презираючи всеобщу мать природу,
Не стался извергу подобен иль уроду,
Кой мощен лишь людских ко умноженью зол:
Бодет, как бешеный, кого ни встретит, вол.
Те огненны сердца, те царствия подпоры,
Что жертвовать собой в его защиту скоры,
Верховно на земли блаженство ставят в нем
И в тысячах родят огонь своим огнем,
Подвижники доброт, другим лишь в пользу сильны,
Те духи, к отчеству любовью многокрильны,
Взлетающи похвал на крилу выше мер, —
Те будут пусть тебе, сын счастия, пример.
Подобная в тебе ко общу благу ревность
Докажет твоего скоряе рода древность, —
Не пудра, гордый шаг и тщетный платья блеск;
Достоинством хвалы, не златом купят плеск.

1772 (?)

232. К... ИЗ ЛОНДОНА

Монархи меж собой нередко брань творят,
Военным духом все писатели горят;
Коль так, пииты суть те власти остроумны,
Что для таких же вин войны́ заводят шумны;
Впоследок о царях дают потомки суд,
Ту ж с ними честь певцы и жеребий несут.
Не всякий славу царь мог в вечность распростерти,
Не всякий и пиит был славен с год по смерти,
Хоть в жизни принимал от многих плески рук,
Как царь, приветства в знак, — из многих пушек звук.
Хвал наших в жизнь труба, знакомых нам ватага
Ревет, что мы уже бессмертия у прага,
Руками что уже касаемся верей.
Мы пишем, умерли — верст со сто от дверей.
Честь наша после нас подвержена опале,
Что больше дней, то мы от храма славы дале;

Со мрущей так хвалой сквозь время чуть бредем,
Пока в бездонну хлябь забвенья упадем.
Вот наше кончится чем в свете стихотворство.
Певцы! чем отвратить в потомках к нам презорство:
Сатиру ли, наш меч, на них употребить
Или заранее их имном ухлебить?
О просвещенные веков грядущих роды,
Примите вы мои всемилостиво оды!
Не баснословный бред, не обща то дрема,
Препоручаю вам — сокровище ума.
Я пел; струны мои казались очень звонки;
Приятелей моих рассудки сильно тонки.
Бывало, как стихи прочту я в их кругу,
Свидетель Аполлон, все хвалят, я не лгу.
Я в жизни не с одним имел знакомство домом,
Где ни обедывал, меня зывали громом;
Я прах теперь, моя жива ль то в свете честь;
Молю, стихи мои не дайте моли съесть.
Но до́йдет ли сия к потомкам челобитна,
То тайна, никому из смертных неиспытна.
Коль стихотворну плоть червь в гробе мог поясть,
Диковинка ль стихам от червя же пропасть?
То правда, в разные идут они потребы:
Их под испод кладут, как в печь сажают хлебы;
Купцы, что продают различный смертным злак,
Завертывают в них хрен, перец и табак.
Идут они в дела, идут и в забобоны,
На мерки для портных и войску на патроны;
Ребятам на змеи, хлопушки и пыжи,
Свечам, окорокам копченым, на брыжи;
Плод разума, стихи ко всячине пригодны;
Со жребием людей судьбой своею сходны.
Всем общ нам к жизни вход; в ней разны тьмы смертей;
Стихам в свет путь один; из света — сто путей.
Я признаюсь, в стихах я сам жужжу, как муха —
Но это моего не оскорбляет уха;
Не всякий папою быть может кардинал;
Всяк ждет, чтоб на него сей жеребий упал.
Спроси писца стихов, желает ли он славы, —
Смиренный даст ответ: он пишет для забавы,
Избыток в том лишь дней препроводить хотя;

Он меж парнасских чад невинное дитя;
Но загляни сему ты в сердце отрочати —
Там на́йдешь: «Я пиит: стихи мои в печати».
Но если дело всё в печати состоит,
То всякий грамотей вмиг может быть пиит;
Поставь слова твои в пристойные шеренги,
Поди в печатный дом и заплати там деньги,
Там вмиг твой тиснут слог, и выйдет мокрый лист,
Ты в ту ж минуту стал сатирщик иль лирист;
Пошел в дом с вечною в своем кармане славой;
Дерзай, ты деньги дал, ты стихотворец правый.
Теперь друзей своих к обеду пригласи
И слог твой по большим боярам разнеси;
Блаженства твоего и воссияло время,
Смотри, и канул лавр на стихотворче темя.
Вот тайна вся стихов: рука да голова,
Чернилица, перо, бумага да слова;
И диво ль, что у нас пииты столь плодятся,
Как от дождя грибы в березнике родятся?
Однако мне жалка таких пиит судьба,
Что их и слог стоит не долее гриба.
Когда же все мы толь недолговечны крайне,
Другой какой-нибудь тут должно крыться тайне;
Знать, не от рифм одних и точных стоп числа
Зависит нашего удача ремесла.
Как те, что зрелища в театре представляют,
Людьми со стороны лиц скудость добавляют, —
Я зрел, толпился в них безграмотный игрок,
Но что он значит там? какой его урок?
Пусть он в театре был и в платье наряжался,
Стоял с копьем в руках и раза с два сражался,
С Дмитревским рядом шел; кто ж скажет: он игрец?
Он силы действ не знал; так точно и писец:
Как путный, на театр он рифменный выходит,
Берет перо меж перст и по бумаге водит.
«Вот етто, — говорит, — поставил я *творог*,
Так должен уж стоять в другой строке *пирог*».
Прибравши так слова, он мыслит: сделал чудо,
Что пред читателя вдруг выставил он блюдо.
Со всею худобой нескладицы, бредни́,
Слывет он у своей писателем родни;
Великий умница и со смеха уморец, —

У знатоков прямых он жалкий рифмотворец.
Меж ним и игроком в том только разность вся:
Тот кликнут в дело был, а этот сам вплелся.
Обоим, станется, им быть в театре любо,
Тот, милой, спроста рад, наш писарь буй — сугубо.
Природа, видит всяк, в дарах к нему скупа;
Он мыслит: голова других людей тупа,
И, не сошлясь на свет, себя всех выше ставит;
Другой кто стань писать, он к буйству злость прибавит,
Вдруг вышлет на тебя сто надписей, сатир:
Ты смел потрясть его в умах людских кумир.
Даст жалом знать, кто он; он колокол зазвонный,
Гораций он в Морской и Пиндар в Миллионной;
В приказах и в рядах, где Мойка, где Нева,
Неугомонная шумит об нем молва;
Ходя из дома в дом, он сам ее сугубит;
Всем чтет свои стихи, чужих насмéрть не любит.
И то сказать: он прав, кому не мил свой труд?
Стихи нам вместо чад; мы мозг ломаем тут.
Кто знает? может быть, при каждой он странице
Пыхтел и мучился, подобно роженице;
Так пусть, когда он чад с таким трудом родит,
Пусть матерски на них любуется, глядит.
Гляди! лишь не кричи: «Мои другой породы!
Мои — как ангелы; у всех других — уроды».
Коль ты б за ангелов мне их не навязал,
Я детушек твоих за обезьян бы взял.
В чужих они глазах толико некрасивы,
Горбаты, сплющены, и хворы, и паршивы,
И живости-то нет, и в каждом три бельма,
И мысль-то сви́хнута, и рифма-то хрома.
Совсем увечные и гнусные калеки;
От совершенства миль на тысячу далеки;
Иной бы от людских в подполье крыл их глаз —
А ты нарочно их всем су́ешь на показ.
«Да как же? — скажешь ты. — Мой люди слог читают
И хвалят; толку в нем, знать, много обретают».
Я, чаю, хаживал ты в театральный дом,
Комедиантов в честь слыхал в нем плесков гром;
Как скоро князь иль граф ударит там в ладони,

То каждый из простых, подобием догони,
Без пощаженья рук сугубит общий треск,
Хотя не знает сам, чему сей платит плеск.
Спроси, зачем он бьет? — ударил, де, вельможа;
Толпа твоих чтецов на чернь сию похожа.
Какой-то там живет на Мойке меценат,
Что пестует твой слог, а ты тому и рад,
И думаешь, что в нем неведь какая сдоба,
Но истинных красот не знаете вы оба;
Не видит проку он, кроме тебя, ни в ком;
Причина вся тому, что ты ему знаком.
Так с богом успевай, пленяй, брат, пресны души,
Бесхитростны сердца, где Мидасовы уши.
«Как так, — ты говоришь, — я шлюсь на словаря,
В нем имя ты мое найдешь без фонаря;
Смотри-тко, тамо я, как солнышко, блистаю,
На самой маковке Парнаса превитаю!»
То правда, косна желвь там сделана орлом,
Кокушка — лебедем, ворона — соколо́м;
Там монастырские запечны лежебо́ки
Пожалованы все в искусники глубоки;
Коль верить словарю, то сколько есть дворов,
Столь много на Руси великих авторо́в;
Там подлый наряду с писцом стоит алырщик,
Игумен тут с клюкой, тут с мацами батырщик;
Здесь дьякон с ладаном, там пономарь с кутьей;
С баклагой сбитенщик и водолив с бадьей;
А всё-то авторы, всё мужи имениты,
Да были до сих пор оплошностью забыты —
Теперь свет умному обязан молодцу,
Что полну их имен составил памятцу́;
В дни древни, в старину жил-был, де, царь
Ватуто,
Он был, да жил, да был, и сказка-то вся туто.
Такой-то в эдаком писатель жил году;
Ни строчки на своем не издал он роду;
При всем том слог имел, поверьте, молодецкий,
Знал греческий язык, китайский и турецкий.
Тот умных столько-то наткал проповедей,
Да их в печати нет. О! был он грамотей.
В сем годе цвел Фома, а в эдаком Ерема;
Какая же по нем осталася поэма?

Слог пылок у сего и разум так летуч,
Как молния, в эфир сверкающа из туч.
Сей первый издал в свет шутливую пиесу,
По точным правилам и хохота по весу.
Сей надпись начертал, а этот патерик;
В том разума был пуд, а в этом четверик.
Тот истину хранил, чтил сердцем добродетель,
Друзьям был верный друг и бедным благодетель;
В великом теле дух великий же имел,
И, видя смерть в глазах, был мужествен и смел.
Словарник знает всё, в ком ум глубок, в ком мелок;
Рассудков и доброт он верный есть осéлок.
Кто с ним ватажился, был друг ему и брат,
Во святцах тот его не меньше, как Сократ.
О други, что своим дивитеся работам,
Сию вы памятцу читайте по субботам!
Когда ж возлюбленный всероссийский наш словарь
Плох разумов судья, плох наших хвал звонарь:
Кто ж будет ценовщик сложений стихотворных,
Кто силен различить хорошие от вздорных?
Бери сто раз перо и по бумаге мычь,
Со всех концев земли к себе идеи кличь,
Три лоб свой, пружься, рвись — вмиг скажут наши строки,
Лжевдохновенны мы иль истинны пророки.
Оставь читателей судьями дум твоих,
Есть Аполлоновы наперсники и в них;
Им шепчет в уши Феб, чей лучше слог, чей хуже,
Кто в Иппокрене пил, кто черпал в мутной луже.
Прямой стихов творец и тáинственник муз
Есть тот, что в жизнь блюдет с добротами союз,
Из сердца истины в других сердца преносит
И никого, чтоб чел стихи его, не просит.
Свет знает и без нас, полезно что ему,
Где сердце зиждется, где пища есть уму;
Пчела не чересчур виется круг навоза,
Любимы ей места — нарцисс, пион иль роза.
Купцы товар лицем, не горлом продают,
И только лишь в набат, коль нездорово, бьют.

1772 (?)

233. ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ ГРАФУ ПЕТРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ РУМЯНЦЕВУ-ЗАДУНАЙСКОМУ

Герою, муза, будь послушна,
Не медля в звонку желвь ударь;
Твой глас пространства царь воздушна,
Сердечных глас движений царь.
О отрасль красная Латоны,
Что строишь слух пленящи тоны;
Твой арфа, твой кифара, дар,
Лаврова ветвь твой, Дафна, жар;
Под росским небом дышит воин,
Всеродных почестей достоин;
Он имя, туркам гром, им вестных ужас гроз,
Заемлет от зари румяной, иль от роз;
Он роза нам, он терн Махмету;
Он, как заря, известен свету.
Ты сам его венчай!

Где, льясь, шумят струи Днепровы,
Эдем златочешуйных рыб;
Убежища зверей, дубровы
Цветут среди взоранных глыб:
Как ангел гор и рек хранитель,
Тут крылся Колберга теснитель,
Стрегущ не дремля свой округ,
Ко счастью смертным вождь и друг,
Во знаньи разум плодоносен,
И сообщать свой свет не косен;
Коль непрерывен ток хранима им Днепра,
Толь вечен о́крест лил источник он добра;
Всем нрава тихостию равен,
И более щедротой явен,
Как сана высотой.

Веселости его: святилище Минервы
И книга естества, премудрый кою чтет,
Которого ни честь, ни зависть не мятет.
Как души он селян, так села прерождает:
Здесь бить велит ключам, тут рощи насаждает,
Бесчисленным семья́м суд пишущ гражданин,
Домостроитель вдруг, герой и селянин.

Так древле Цинцинат, нив собственных оратай,
На бранном поле был неустрашимый ратай.
Но вертоградарь наш есть редкий дар небес,
Он сведеньем Уликс, геройством Ахиллес,
Могущ своим умом сограждан вразумити,
Защитить их рукой и сильных рог сломити.
Ловитва днесь его: вепрь, заяц и елень;
Утеха вся — древес, садит которы, тень;
Во жительстве собой дает пример изрядства,
И, как отец среди обильна домочадства,
Всех равно любит, всех объемлет, как детей,
И кажет тысячи к блаженству им путей:
«Не беззаконнуйте; то небо запрещает;
Оно карает злых, мзду правым обещает,
И множит жита их, и чада, и лета».

Он суд им тако возвещает,
Среди избытка их потреб;
Немудрых тако просвещает,
Себе врученной сферы Феб;
Как страшна буря вдруг дохнула
И брани молнией блеснула
С полдневной в тихий норд страны;
Султан облекся в гром войны,
Достигнуть Киева в надежду;
Гордыня дмит и галл невежду.
Коль мног во древни дни тек в южны гот краи,
Толики Мустафа во север шлет рои;
То рать вселенной равноспорна,
То пруг голодных туча черна,
То лютых фурий тьма!

Ногами бурный конь топочет,
Зовущу к бегу вняв трубу,
Рвучись опять отведать хочет
Знакома подвига судьбу;
Возняв главу, протягши выю,
В воздушну ржанье шлет стихию;
Пустясь несется, как Борей,
Лья дым и пламень из ноздрей;
Стреле подобен успевает,
И ветер гриву возвевает;

Всё бодр и смел и быстр, хоть пеною покрыт,
Стремится вдаль; дрожит от звонких дол копыт.
И се уж поприще кончает;
Стяжавца плесками венчает
Победоносен сам!

Так бодрый страж Днепра, вняв Марсов глас, воздвигся;
Кипит в его груди геройска гневом кровь,
Кипит, напрягшися, отечества любовь:
«Коль не по нашему сей свет течет желанью,
И должно ставить грудь, и брань свергати бранью,
Так пóйдем поражать, и нам бог стрел знаком.
Подвигнемся, и свой в напутье вóзьмем гром».
То рекши, молнии летел в поля скорея;
И первого застиг, корысть мечу, Гирея,
Звиздяща со стремнин, средь скатов и окоп;
Несет против него геройских быстрость стоп.
Отвсюду заревев, орудья громометны
Воспламенившейся открыли ужас Этны;
Летящи сквозь эфир железные шары
Росят на злостных месть, колеблют нутр горы;
Густится мгла черняй, как ночи тень безлунной;
Ад адом сперт, умолк снаряд врагов перунный;
Их вождь и бодрости и стана обнажен,
Бежит с остатком сил, толпой пугливых жен;
Предстал пред очи холм, плачевна холм кладбища;
Лежат тела вокруг, волков и вранов пища,
Когда бы, сжалясь, росс не предал их земле.

Дымясь кровей татарских паром,
Едва обсох российский меч;
Всех молний ополчен ударом,
Визирь тот нудит вновь извлечь.
Сугубы силы чалмоносцов
Сугубят жар в ведущем россов.
Так Финикс тем сильняй растет,
Чем вяща тяжесть сверху жмет.
Сперлись, ударились друг с другом,
Часть севера со целым югом!
Как в море, страх судов, не молкнет хлябь, урча,
Так жерла бранные рев дали воззвуча;
Земля и воздух потряслися,

Огней геенны разлилися
И крови, как вода!

В груди ведуща их героя
Геройства россы черпля дух,
Несут сомкнута ужас строя,
Стеной палящей движась вдруг;
Горами трудностей преяты,
Воспять не обращают пяты;
Ни чел, ни персей не щадят,
Смертьми дождимы, смерть дождят;
Сквозь вражьи проломясь засады,
Их топчут, как скудель, преграды.
Ни крепки и на брань рожденные чресла́,
Ни тела страшный рост, ни множество числа,
Ни изощренный меч как бритва,
Ни в Мекку теплая молитва —
Не может их спасти.

Как волк, что тек на лов, но льву попался в когти,
Коль ребра унесет, вон выкрутясь, свои,
Бежит и по тропе кровавы льет ручьи;
Так львиной крепостью от россов турок встречен,
Побег; до Истра путь кровьми его замечен.
Там тонет отягчен свинцом кагульских ран;
Крутит раздутый труп Дунай, его тиран;
Во чести мстить врагам бездушные стихии
Участвовать спешат с поборником России.
И се за Истром он! коль грозен туркам плен!
Всяк жизни час им смерть, гроб кажда крепость стен!
С высот Фракийских гор то видя, Марс чудится,
Ровнять с собой вождя россиян не стыдится.
«Сколь долго я, — речет, — с людьми ни обитал,
Не зрел, кто б так побед на крылиях летал.
Отныне на моей я ввек вселюсь планете,
Румянцев — Марс; почто двоим быть в том же свете?
Взгляни: лишь токмо он возложит брани шлем,
Пылает всюду месть, и сяжет смерть за Гем.
Я знаю, шлет его сюда Екатерина;
Она ему, а ей споспешница судьбина».
Марс рек, и новый Марс вдруг миром брань венчал.

⟨1775⟩

234. ЕНЕЙ

Героическая поэма Публия Вергилия Марона

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Пою оружий звук и подвиги героя,
Что первый, как легла во прах от греков Троя,
Судьбой гоним, достиг Италии брегов;
От ополченных нань Юноною богов
По морю и земли был вержен беспрестани,
И много пострадал во кроволитной брани,
Желанный дондеже в Латии град воздвиг,
И в оный внес богов по странствии своих,
Отколь возникла мощь латин необорима,
Албанские отцы и горды стены Рима.
Повеждь, о муза, мне, чем тако горних сил
Великий праотец чад римских раздражил?
За что превыспренних владычица всемочна
Восстала мщением на мужа непорочна
И столько бед его принудила понесть?
Толико ль, небеса, преклонны вы на месть!
Против Италии на бреге удаленном,
От устий Тибровых пучиной отделенном,
Богатый древле цвел и бранноносный град,
Зовомый Карфаген, селенье тирских чад,
Кой, повести рекут, всех паче царствий мира
Любила, предпочет Самосу даже, Ира.
Сей град оружия, щита и копия,
И колесницы был хранилище ея.
При самом стен его и башен возниченьи,
Во ревностном о нем богиня попеченьи,
Решилась, если рок не сделает препон,
Вселенныя всея воздвигнути в нем трон.
Но известяся, что вождей троянских племя
Разрушит твердь сию в последующе время;
Владетельный народ, носяй венцы побед,
По целой Африке проложит пагуб след;
Что, тако пишет рок, сих должно ждати следствий, —
Боялась таковых своим грядущих бедствий.
Еще недавна брань ей памятна была,
Которую за Арг возлюбленный вела.
Коликих ей трудов, колика грекам вре́да,
Та поздна стоила над Троею победа.

Еще старинный в ней не вовсе гнев потух,
Всечасно лютою досадой рвался дух.
Лежал глубоко скрыт во сердце суд Парида,
Презренной красоты несносная обида,
И восхищенный звезд превыше Ганимед,
И любодейчищ род, достойный всяких бед.
От толь далекого производя истока
Пыл ярости своей и мщения жестока,
Троян, плачевнейший остаток после сеч,
Где грек их кровию упоевал свой меч,
От Ахиллесова исторгшихся тиранства,
Блудящих середи безвестных морь пространства,
Возможной силою гнала не престая,
Латийских им брегов коснутись не дая.
Они, предлоги бурь, игралища судьбины,
Носились много лет из края в край пучины.
Толиких стоило борений и труда
Власть Рима основать цветущу навсегда!
Из недр Сицилии лишь в радостной отваге
Трояне понеслись по пенящейся влаге,
Юнона, кою месть несытая влекла,
Зря плавание их, сама в себе рекла:
«Так я должна престать, я прюся безуспешно!
И беглых вождь троян достигнет беспомешно
Той области, куда он царствовать летит!
Мне путь его пресечь упорный рок претит!
Аяксу мстя за храм единому, Паллада,
Когда в ней вспыхнула против него досада,
Флот целый возмогла средь моря сожещи,
Сопутников его в пучину вповрещи.
Она перунами весь воздух сотрясала,
Зевесовы огни из облак в дол бросала,
Рассыпала суда, понт ветрами смутя,
И, вихря силою Аякса подхватя,
Ударила стремглав на острый в море камень, —
Его пронзенна грудь рыгала кровь и пламень.
Владычица богинь, владычица богов,
Супруга и сестра метателя громов,
С одним народом я толико лет воюю!
Отныне кто почтит богиню таковую?
Кто станет впредь мольбы к Юноне воссылать,
И жертвы будут ли ей должные пылать?»

Так мысля во душе, отмщеньем распаленной,
Юнона с высоты, от смертных удале́нной,
Летит в Еолию, гроз отчество и бурь,
Густою кроющих небесну мглой лазурь,
Где внутрь безмерныя и мрачныя темницы
Еол могуществом властительной десницы
Тревожных ветров жмет и звучных непогод,
Обуздывая их из тьмы во свет исход;
Они со треском гор, пустых внизу вертепов,
Рвучись изыти вон, шумят вокруг заклепов.
Еол со скипетром превознесен сидит
И дуновения подвластные кротит.
Когда бы не смирял он их по вся минуты,
Сложа бы мощь, сии заклепанники люты
И реки, и моря, и горы, и леса,
Всю дола тяготу, и дальны небеса,
Восторгнув, повлекли по воздуху с собою,
Непостижимою стремяся быстротою.
Но Зевс премудрый их в пещеры заключил
И преогромными горами отягчил;
Царя поставил, кой, державствуя законно,
Их жал бы и пускал в час нужды беспрепонно.
К сему владыке бурь Юнона притекла
И со смирением так оному рекла:
«Еол, тебе Зевес изволил область дати
Пространные моря кротить и воздымати;
Враждебно племя мне плывет меж водных лон,
В Латий неся богов и падший Илион.
Ты ветры устреми, да волны вдруг восстонут,
Да жрут и мечут флот, да плаватели тонут.
Четырнадцать есть нимф прекрасных у меня;
Когда услужиши ты мне не изменя,
Дейопа, коя всех их краше и моложе,
Твой будет дар, к тебе на брачно взыдет ложе,
И народит тебе, заслуге сей в возврат,
Прекрасных, коль она сама прекрасна, чад».
Еол в ответ: «Тебе размыслить токмо стоит,
Чего желаешь ты, мне то свершать достоит.
Тобой я царь, тобой скипетроносный бог,
Юпитеру любим, доступен в той чертог,
Со пренебесными где жительми пирую,
Тобой над бурными дыханьми торжествую».

Он рек, и скипетра одним ударом вмиг
Бок тощия горы властительно раздвиг.
Отверстьем ветры сим, рать нагла, вылетают,
Свистят и от земли пыль вихрем возметают;
С востока дующий и с запада тиран
И южных бурь отец терзают океан.
Под пеной вóлны, как под вечным горы снегом,
Перестязающи одна другую бегом,
Всё море из предел на сушу вон несут
И тяжкими брега ударами трясут.
Возносят крик пловцы средь общия напасти,
Трещат и ломятся натрученные снасти.
Туч густость облежит небесный свод кругом,
Гремит из края в край катающийся гром,
От черной ночи день в полудни померкает,
И молния сквозь мглу за молнией сверкает.
Там ужас очеса и слухи всем разит,
И очевидная отвсюду смерть грозит.
Еней сквозь моря рев, сквозь страшны грома звуки,
Простря ко небесам трепещущие руки:
«Блаженны вы, — гласит, — блаженны много крат,
Которые, исшед из гордой Трои врат,
Близ стен отечества вели кровавы бóи
И при очах отцов скончались, как герои!
О храбрый Диомид, зачем, биясь, зачем
Во Илионе я не пал твоим мечем!
Где Гектор поражен рукою Ахиллеса,
Где свержен Сарпедон, великий сын Зевеса,
Где трупов Симоенд геройских полон тек
И шлемы и щиты крутя во море влек!»
Гласящу то ему, вдруг буря с новым стоном
Рвет парусы спреди, несома Аквилоном;
По скачущим до звезд дыхаючи валам,
С обеих ломит стран все весла пополам.
Корабль, вратясь, куда дух бури порывает,
Свой бок биению волн ярых открывает
И вержется меж них во образе пера.
Се вал крутый летит, как тяжкая гора;
Те взброшены висят на оного вершине,
Другим раскрылось дно в разинувшей пучине.

Хлебещет огущен от ила мутна ток,
Кипит со влагою смесившийся песок.
Три судна сильным Нот восхитя дуновеньем
На потаенные мчит камни со стремленьем,
Те камни, посреди чернеющи морей,
От римлян именем зовомы алтарей;
Ужасный той хребет и чрезвычайно длинный,
Стоящий наравне с поверхностью пучинной.
Три Евр, позорище достойнейшее слез,
Толкнув на мель, песков громадою обнес.
В корабль, где ликяне неслися, рать Оронта,
В виду Енеевом, отторгшийся от понта,
Ударив сопреди кормы, достигнул вал,
Сраженный кормчий тем стремглав во бездну пал.
Там вихрем хлябь корабль три раза вкруг вращает,
Урча и клокоча, со щоглой поглощает.
Едва кто спасся вплавь от алчного жерла,
Где в миг единый смерть толь многих заперла.
Сокровищи троян, уборы их военны,
Дски суден носятся по морю расточенны.
Уже истерзаны и ребра и крыле
В Илионеевом от бури корабле;
Уже Ахатов ей в бореньи уступает,
Авантов такожде едва не утопает,
И в коем сединой украшенный Алет
По бездне правил свой с сообщники полет.
Весь рушат флот, сложась, весь волны рвут свирепы;
Во скважни льется смерть, трещат железны скрепы.
Меж тем ужасный рев мятежных непогод
И возмущение со дна глубока вод
С негодованием владетель моря внемля,
И промысл свой Нептун над оным восприемля,
Кротчайшую главу из-под валов вознес
И окрест моря взор возвел своих очес.
Созерцевая флот Енеев бурей зельной
Растерзан, разомчен по бездне беспредельной,
Без умолкания разящий во троян
Гром с неба, дождь и град, а с долу океян,

Наветы познает сестры своей Юноны,
Гнев коея сии воздвигнул им препоны.
Зовя, дабы к нему Борей и Евр притек,
Притекшим в ярости велицей тако рек:
«Отколе, ветры, в вас толикая кичливость?
Уж власть мою презрев, чрез наглу вы бурливость
Хотите меж собой стихии все смесить,
Толь страшны горы волн дерзаете взносить!
Я вас! .. Но наперед да море успокою,
Впредь знати дам себя вам казнью не такою.
Направьтеся во путь, летите не косня,
И вашему царю скажите от меня:
Владычество морей и сей трезубец грозный
Мне предан, не ему; нам жребий выпал розный.
Огромных каменных властитель он холмов,
Тех мрачных, в коих, Евр, вы заперты, домов;
Да в том дворе гремит величие Еола;
Царь узников он там сиди поверх престола».
Едва скончал слова, прогнавый густость туч
Кротит надменье морь, возводит солнца луч;
Изскачущи из волн Тритон и Кимофоя
С гор пхают корабли, спасение им строя;
Подъемлет острогóй своею сам их бог,
И сквозь пески дари́т широкость им дорог;
Подвластную себе стихию умеряет,
На легких по водáм колесах пролетает.
И яко же когда меж тысячи невеж,
Меж черни бешеной воздвигнется мятеж,
Уж тучами летят дреколья и каменья,
Оружие дает пыл буйного ей рвенья;
Коль скоро важный муж, заслугой знаменит,
Предстанет — все молчат, прияв послушный вид;
Он ярые сердца беседой умягчает
И мудрой кротостью безумцев укрочает, —
Подобным образом утих весь моря рев,
Когда пучин отец, на оное воззрев,
При солнечном простер поезд веселый свете
И вожжи послаблял коням своим в полете.
Во истощаньи сил, чуть правя корабли,
Трояне силятся коснутися земли,
Могущей даровать скоряй конец их бегу,
И к африканскому причаливают брегу.

Далече там простерт во сушу есть залив
Оплотом острова лежаща супротив,
Как пристань, огражден. Со моря волны яры,
Во ребра оного твердя свои удары,
Преламываются и, сквозь сугубый вход,
Втекают, зыбяся, в собор заливных вод.
По острова краям стоят кремнисты горы;
Два мыса зрятся быть самых небес подпоры;
При их подножии, широко разлиян,
Вне шумных непогод, спит тихий окиян.
Дремучим высоты приосененны лесом,
От ветра над водой колеблемым навесом;
Против венчанного древами гор чела,
В конце губы лежит огромная скала,
Под ней пещера, где журчат потоки водны,
Для отдыха места, каменья самородны,
Обитель красных нимф; усталы от труда,
Без котв и вервей здесь покоятся суда.
Во внутренность сего вступил Еней оплота
С оставшими семью судами ото флота.
Пловцы, со радостью желанны зря луга,
Друг за́ другом спешат и скачут на брега;
В одеждах, влагою тягчеющих соленой,
Ложатся по траве для отдыха зеленой.
Ахат посредством искр немногих из кремня
Во хврастии сухом рождает пыл огня.
По сем, да подкрепят в них силу изнуренну,
Износят из судов на сушу вожделенну
Цереры щедрый дар, нив сча́стливых плоды,
Во бурю от морской намокшие воды,
Сосуды, из сребра соделанны и меди;
Потребные себе уготовляют снеди.
Меж тем Еней, восшед на мыса высоту,
Объемлет зрением всю моря широту,
Не встретится ль Анфей, носимый где по влаге,
Капис иль при своем корабль Каика флаге.
Не видя меж валов сообщников своих,
Еленей созерцал на береге троих;
Другие созади толпятся целым стадом
И долгим меж долин в траве пасутся рядом.
Остановився тут, из верна друга рук
Со стрелы быстрыми ловитвен вземлет лук,

И спéрва трем вождям, что ветвистые роги
Гордяся вверх несли, подстреливает ноги;
Потом, весь диких сонм животных распугав
И по дубравам их и рощам разогнав,
Дотоле продолжал грозу стреляний лучных,
Пока на землю седмь поверг еленей тучных
И, счастливый ловец, во кратких мзду трудов,
Добычу уравнил числу своих судов.
По возвращеньи в сень пристанищного крова,
Богатую корысть нечаянного лова
И вина, коими соплéменный Ацест
При расставаньи их напутствовал отъезд,
На всех сообщников порáвну разделяет,
И тяжку скорбь их душ беседой утоляет.
«О други, — им гласит, — грядущи мне вослед,
Нам памятен еще минувших ужас бед.
О вы, которые горчайшу пили чашу,
Скончают небеса и днешню горесть нашу.
Вы мимо Скиллиных промчались жрущих скал,
И слышали, кий лай там каждый зев пускал;
Вы зрели оный брег, где грозные Циклопы
По каменным горам ужасны носят стопы.
Мужайтесь и печаль потщитеся разгнать,
Приятно будет нам несчастья вспоминать.
Сквозь разны бедствия, сквозь ужас беспрестанный,
Мы должны достизать в Латúй обетованный,
Где рок покойные жилища строит нам;
Державствующа вновь возникнет Троя там.
Колико можно, все препятства премогайте,
И к будущему вас блаженству сберегайте».
Сим образом Еней к сопутникам гласят
И бремя беспокойств в душе своей нося,
Притворну на лице надежду проливает,
Во сердца глубине тяжчайшу скорбь скрывает.
Троянские пловцы из лова строя пир,
Рвут кожи со зверей, и острием секир
Разъемля их мясá, делят на многи пласти,
Вонзают на рожны трепещущие части.
Сухие сучья древ огня питают жар,
Кипящие котлы шлют кверху теплый пар.

Пришельцы на лугу под воздухом прохладным
Крепятся пищею и соком виноградным.
По окончании довольственна стола
О том беседа вся, вся жалоба была,
Где странствуют теперь несчастные их други,
Которых разнесли дыхания упруги.
То вдруг вселяется надежда в них, то страх,
Не все ль они уже погребены в волнах.
Еней, участвуя во общем оном плаче,
О содругах своих терзается всех паче.
Скорбит, усердного Амика вобразя,
О Гие, Ликасе болезнует слезя;
Жалеет сердцем всем о гибели Оронта,
Который поглощен несытой хлябью понта.
Уже ослабевал от мрака дневный свет,
Как зрение Зевес с превыспренней низвед
На холмы, на брега, на судоносны воды
И на рассеянны по всей земле народы,
В сем кротком виде стал на высоте небес
И устремил своих к Ливи́и взор очес.
К нему, взирающу на часть сию вселенны
И мысли в оную имущу углубленны,
С печалию лица, мрачившею красы,
С наполненными слез горчайших очесы,
Венера, подступя, прискорбный глас возносит
И тако, за троян предстательствуя, просит:
«О вечный и богов и человеков царь,
Который громами колеблеши всю тварь!
Чем винен мой Еней перед тобой толико,
И чем трояне тя прогневали, владыко!
Что им по сицевых болезнях и трудах,
По толь бесчисленных погибелях, бедах,
Дабы не властвовать Италии пределом,
Для опочития нет места в свете целом?
Не собственными ли устами ты вещал
И со торжественной то клятвой обещал,
Что некогда от чад поверженныя Трои,
От крови Тевкровой произойдут герои,
Имущи распростерть во весь державу свет.
Почто переменил ты, отче, свой совет?
Я сим одним себя в несчастьи услаждала,
Противный рок в уме противным награждала;

Но горестна троян не кончилась чреда;
Почиют ли они, всесильный царь, когда?
Исторгшись Антенор враг лютых из средины,
В залив Иллирии пронесся чрез пучины
И безопасно внутрь Либурнии доспел,
Свирепого исток Тимава одолел,
Который девятью отверстьми в косогоре,
С ужасным ревом, как прорвавшееся море,
Исходит и шумит, разлившись по полям;
Однако Антенор воздвиг Патавий там;
Нарек, и поселил с собой пришедше войско,
Повесил в капище оружие геройско;
Желанна днесь его питает тишина:
Мы кровь твоя, небес которым честь дана,
Лишенные судов, о гибели плачевной!
Во угождение одной богине гневной,
Оставлены, увы, и вовсе забвены,
От вожделенных нам брегов отдалены!
Так сею почестью добро́ту ты венчаешь?
И тако должный скиптр, о отче, нам вручаешь!»
Зевес с усмешкою, возвед ко дщери зрак,
Обычно каковым он гонит с неба мрак,
Со нежностью ее объемля, лобызает,
«Отрини всю боязнь, Венера, — ей вещает, —
Предписанный твоим предел ненарушен,
Обетованный град ты у́зришь совершен;
Енея вознесешь в селенья горня света:
Поставленного я не пременил совета.
И се, когда ты толь печешися о нем,
Отверзу книгу тайн о сыне я твоем.
Народы гордые в Латии он низложит,
Воздвигнет жительства, законы им положит;
Принудя рутулян работы под ярем,
Три лета будет там господствовать царем.
Асканий, сын его, Иул зовомый ныне,
По тридесяти лет владычии в Лавине,
Трон в Албу пренесет и множеством оград
Сей новый укрепит, врагам во ужас, град.
Три века царствовать здесь племени Приама;
Доколе Вестина служительница храма,
От крови царския влекущая свой род,
Двоих родит сынов, счастливый Марсов плод.

Красуясь кожею волчицы желтовидной,
Величия отцев преемник непостыдный,
Ромýл в честь Марса град высокий вознесет,
И римлянами в нем живущих наречет.
Не назначаю сим пределов я известных,
Поставлю их царей и вечных и всеместных.
И даже гневная Юнона, кая днесь
Дол, небо, море, свет колеблет страхом весь,
С судьбою братися и злобствовать престанет,
Подобно, аки я, любити римлян станет,
Носящий тогу род, владык земли всея;
Так будет, так душа благоволит моя.
Приидут оны дни, что троевы потомки
Под иго приведут Мицены, славой громки,
Пленят оружием стен фтийских высоту,
Положат под свою сотренный Арг пяту.
Имущий до небес возвысить Рима славу
И до последних морь простерть его державу,
Возникнет Цесарь, вождь, троянами рожден,
Иулий, именем Иула наречен.
Отягощенного корыстию востока
Ты примеши его в селения высока,
Со полной радостью, без всяких внутрь тревог;
Во сонме он богов почтется, аки бог.
Тогда кротчайшие провоссияют веки,
И водворится мир везде меж человеки;
Со Вестой Правота свой долу трон снесут,
И с Ремом сам Квирин давати станет суд.
Навек врата войны суровой заключатся
И крепких тысящью заклепов отягчатся.
Там Злоба, жаждуще чудовище кровей,
Сидя поверх костра стрел, копий и мечей,
Имуща созади окованные руки,
При чувствовании лютейшей в сердце муки,
Вотще яритися, и силы созывать,
Трястися, и звуча железны цепи рвать,
Вотще зиять, водя окровавленным зевом,
И воздух колебать всегдашним будет ревом».
То рекши, с высоты Ермия долу шлет,
Да свой во Карфаген направит он полет
И ко приятию пришельцев всё устроит;
Да град их пристаней и кровов удостоит;

Да от неведущей о промысле небес,
Приемлет каковый во пользу их Зевес,
Недавно в Африке вселившейся царицы
Не возбранится им в ливийски вход границы.
Он кри́ла распростер, по воздуху летит,
И в африканских стать пределах не коснит.
Уже веление Зевесово свершает,
Свирепость во сердцах сидонских утушает;
Дидона паче всех с высот вдохновена́,
К благоволению троян преклонена.
Еней, препроводя всю ночь во попеченьи,
Животворящия зари при востеченьи,
Исходит осмотреть места тоя земли,
В какую света часть их бури занесли;
Единых ли зверей пустынных логовища,
Иль обретаются людские тут жилища;
(Возделания там не зрелося стезей),
Да известит своих, коль на́йдет что, друзей.
Сопрятавый свой флот во пристань безопасну,
Где горы и леса бросали тень ужасну,
В десницу сам свою два вземлет копия,
Широки коих блеск метали острия,
И во намереньи не косен предприятом,
Единым шествует препровожден Ахатом.
Лишь только далее простерся в частый лес,
Венера сретилась в средине с ним древес,
Во одеянии и образе девицы,
Под ополчением спартанския ловицы,
Или как оная фракийска бодра дщерь,
Котора, к подвигу отверсту видя дверь,
Гордящася коня ко бегу понуждает
И быстротечного им Евра упреждает.
Висящий лук с рамен все делал в ней красы,
На ветер длинные распущены власы;
Колени голые; по веющей хламиде
Шел пояс вкруг; была ловицы в истом виде.
«Не сретили ли вы, — речет им дева вдруг, —
Едину из моих, о юноши, подруг,
Стрелами так, как я, и луком ополченну
И кожей, съятою со рыси, оболченну?
Иль не гналася ли со криком по пятам
За пышущим она тут вепрем или там?»

Еней ответствует: «Во целом здесь округе
Я даже не слыхал о сей твоей подруге.
О дева! О себе поведай нам, кто ты;
Твой зрак обычныя превыше красоты,
И голос существо не смертно образует;
Величество в тебе богиню показует.
Диана ты, или сих красна нимфа рощ?
Кто ты ни есть, простри спасительную мощь!
Потщися облегчить тяжчайши нам напасти;
Повеждь, в которой мы влачимся света части.
Мы странствуем, ни мест не зная, ни людей,
Сюда занесены волнением морей.
Пред алтарем твоим моей падут рукою
Со агнцами волы, и кровь прольют рекою».
Венера вопреки: «Чтоб жертву мне принесть,
Превыше моего достоинства та честь.
Дщерей сидонских лук обычно воруженье,
Котурн червленый — их всегдашне обувенье.
Ты зришь селение и град финикиян,
Воздвигнутый среди Ливийских диких стран.
Дидоне надлежит трон, скипетр и порфира,
От братней лютости убегшей втай из Тира.
Пространна повесть вточь беседовать о сем,
Но оную тебе вократце я повем.
Сихей, с кем чувствия делила все Дидона,
Меж знаменитыми болярами Сидона
Превыше всех блистал имуществом своим,
Несчастною вельми супругою любим.
Сам Вил, ее отец, к сему ее вельможе
Во цвете младости возвел на брачно ложе.
По нем Пигмалион наследовал престол —
Тиран, чудовище, составленно из зол.
Сей варвар, лютою враждою распаленный
И сребролюбием несытым ослепленный,
Во храме, где Сихей втай жертву приносил,
Нечестия рукой кинжал в него вонзил,
Не уважая, коль от сицева урона
Восплакати должна сестра его Дидона.
И многи дни свое убийство сокрывал,
Надеждой ложной льстец сестру упоевал.
Впоследок спящей ей средь сонного виденья
Является супруг, лишенный погребенья.

Представ пред одр ее, подъемлет томный зрак,
На коем мертвости напечатлен был мрак;
Утаеваемый студ дому ей сказует,
Кроваву грудь, мечем пронзенну, показует,
И роковый алтарь, священно место жертв,
При коем от руки злодея пал он мертв.
Советует навек ей отчество оставить
И в чуждые краи течение направить;
Сокрыто под землей сокровище свое
Творя ей вестно, тем напутствует ее.
Встревоженная сим видением Дидона,
Готовит спутников бежать Пигмалиона.
Собщаются с ней те в исканьи чуждых стран,
Кому опасен был иль мерзостен тиран.
Случившися суда отягощают златом;
Несет по глубине на флоте ветр крылатом
Богатство, чем душа царева разжжена.
Отважно действие; вождь оного — жена.
По трудном плаваньи сея страны достигли,
И град, кой узришь днесь, на месте том воздвигли,
Названье *Бирзою* которому дала
Окрестность, кожею обмеренна вола».
Начату повесть сим Венера прекратила.
«Но вы из коих стран? Куда ваш путь?» — спросила.
При слове сем Еней от сердца стон извлек.
«О, если б с самого начала, — рождьшей рек, —
Несчастия мои я стал повествовати,
И время бы тебе дозволило внимати,
Вечерня бы скоряй возникнула звезда,
Я нежели б скончать мог повесть всю труда.
Из древней Трои мы, от греков коя пала,
(До слуху вашего коль Троя достизала),
По грозной странствуя морь разных глубине,
Случайной бурей к сей привержены стране.
Я есмь Еней, о ком молва гремит трубою,
Спасенных кой богов влачу средь вод с собою.
Ищу Италии, где праотец мой жил,
Которого Зевес с Електрою родил.
В двадесяти судах предался я пучине,
Последуя судьбам и рождьшей мя богине;

Теперь остались седмь, сокрушены от волн,
Сам нищ и никому незнаем, скорби полн,
Скитаюсь по степям ливийским, чужестранец,
Европы отчужден, из Азии изгнанец».
Венера, речь преяв: «Кто б ни был ты таков,
Не вовсе ты, — рекла, — оставлен от богов,
Когда возмог в сии достигнути границы:
Предстани пред лице Тирийския царицы.
Предвозвещаю я: друзья твои спаслись,
Неложным коль меня учила мать приметам
По птичьим прорицать о будущих полетам.
Взгляни на сих вверху двенадцать лебедей,
На их смыкание во прежний строй грудей.
Ниспад с превыспренней Зевесова перната
И вринясь во среду полка сего крылата,
По воздуху его пространну разгнала;
Чуть лебеди корысть не сделались орла.
Днесь ищут места сесть, и, не теряя строя,
Друг за другом они садятся для покоя.
Как крылием они взыграли закружась,
Пустили сладкий глас, опять во сонм сложась.
Флот тако твой достиг пристанища чрез волны,
Иль парусы его в то вносят ветра полны.
Ты точию дерзай и благодушен будь,
С поспешностью гряди во предлежащий путь».
Рекла, и выею, отвращшися, блеснула,
Глава ее воней божественной дохнула;
Спустяся по пятам, одежда повлеклась,
Шаг зрети дал, коль вся в богиню облеклась.
Что мать его — сия, уверясь чудесами,
Сопровождал ее он сими словесами:
«Почто и ты толь крат, сретаяся со мной,
Мечтою льстиши мне, жестокая, одной?
Почто со сыном сплесть руки не удостоишь,
Обманчивое с ним беседованье строишь?»
В роптаньи сицевом, Ахатом провожден,
Как повелела мать, грядет во Карфаген.
Венера мглою их густою одевает,
И тем от зрения народного скрывает,
Дабы никто не мог их шествия пресечь,
Иль, любопытствуя, вступити с ними в речь.

Сама, вознесшися в селения эфирны,
Летит во Паф, где ей благоухают смирны;
Венками алтари украшены стоят,
Далече кои свой шлют óкрест аромат.
Два путника, несясь ведущей их тропою,
Восходят спешною на верх горы стопою,
Котора к строимой столице прилегла
И ону очесам открыти всю могла.
Чудится вождь троян великолепью града:
Где прежде кущ был ряд, там здания громада;
Чудится врат красе и башен высоте,
И улиц камнями устланных чистоте,
Беспрерывному работающих шуму,
Которых упразднял и руки труд и думу.
Иные стены, твердь их жительства, кладут,
Другие к облакам верх крепости ведут,
Катают по земли потребны для строенья
Или подъемлют вверх огромные каменья.
Здесь ров, где каждого быть храмине, ведом;
Там зиждут пристань, там для зрелищ пышный дом;
Иссечены из гор матерых камнем диким,
Влекут столбы красу театрам превеликим.
Так пчелы в летний день, как солнце востечет
И трудолюбье их из улий извлечет,
Под чистым воздухом, приятно растворенным,
Летают по лугам, цветами испещренным,
И члены бременят корыстию свои;
Жужжат со старыми там юные рои.
Одни в влагалищах мед, тиская, сдавляют,
Другие нéктаром их новым добавляют.
Те, с поля общников сретаючи своих,
От приобретений облегчевают их,
Иль, праведной шумя противу трутней бранью,
Напрасной не дают им пользоваться данью.
Кипит работа их, не тщетен труд и пот,
Далече в воздухе благоухает сот.
Еней, на здания взирая, восклицает:
«Блаженны, коих град до облак возницает!»
Мглы мраком сам одет, народа во толпы,
Невидим никому, несет свои стопы.
Стоял зеленый лес во сердце нова града,
Которого была тень жителям прохлада.

Преплыв сидонцы понт, где ветр лютел стоня,
В сем лесе под землей нашли главу коня,
В прознаменóванье обильных недер оной
И доблести людей, явленну им Юноной.
Дидона в честь сея владычицы небес
Воздвигла пышный храм в средине сих древес;
Обвешен дáры, где сиял кумир богини,
Великолепия был полон дом святыни.
Там праг со верей под медию блистал,
Преклады той же крыл и створы все металл.
Здесь зрелище очам Енеевым предстало,
Которо мрак его уныния разгнало;
Впервые счастьем здесь польститься он дерзнул,
В душе его живой надежды луч блеснул.
Меж тем, как, ждя во храм пришествия царицы,
Он óкрест возводил испытные зеницы;
Чудился хитрости художничиих рук,
Многообразному стечению наук:
Увидел на стенах великие картины,
Где кисть представила троянской злость судьбины,
Десятилетной все сражения войны,
Которы уж молвой везде разглашены.
Написан был Приам с двумя Атрея чады,
И грозный Ахиллес, на всех их полн досады.
Остановяся тут, «О друже мой, — гласит
(Ток слезный лик его при слове сем росит), —
Куда не пронеслось троянское несчастье?
Свет полон наших бед: все емлют в них участье.
Се наш Приам! и здесь мзду должну úмать честь,
И сострадание к напаствуемым есть.
Отринь, Ахате, страх: кто славен, тот не тужит:
Слух наших бедствий нам в спасение послужит».
Глася и в живопись вперяя взор очес,
Питает ею дух и льет потоки слез.
Он видит, как на тех сраженьях óкрест Трои
Тут греков в тыл разят фригийские герои;
Там в шлеме под пером, жмя фригов, Ахиллес,
Как вихрь, летит сквозь брань на быстроте колес.
По белизне шатров, во близости оттоле,
Слезя распознает фракийский стан на поле,
Где нощью Диомид рать Резову посек
И роковых коней завременно увлек,

Не дав коснуться им лугов при Трое злачных,
Ниже напитися от Ксанфа струй прозрачных.
Обезоруженный там виден был Троил,
Несчастный юноша, соперник слабых сил,
От Ахиллесовой низринутый десницы
И навзничь с праздныя висящий колесницы,
Влеком свирепыми по полю битв коньми,
Имущий персты рук препутаны вожжьми;
Растрепанны власы влачатся срамно долу,
Кровавая глава о землю бьется голу;
Пробивше грудь копье и вышедше в хребет,
Пыль режа острием, черту по ней ведет.
С заплаканными се троянки очесами,
Со распуще́нными, в знак горести, власами,
Биюще в перси, вопль пускающе и стон,
Грядут к Палладе в храм, неся ей в дар пеплон;
Потупивша свой взор, во знамение гнева,
Стоит, не внемля их, оружемощна дева.
Представлен Ахиллес, кем о́крест Трои стен
Бездушный Гектор был три раза овлачен,
И кой, содеянна к усугубленью срама,
За выкуп оного мзды требовал с Приама.
Но тут уж восстенал всей внутренней Еней,
Как колесницу, щит и дружний меч с броней,
Доставшийся врагу жалчайшею корыстью,
Труп Гектора, живой изображенный кистью,
И с распростертьем рук, с слезами по лицу,
Приама созерцал, притекша зол к творцу!
Меж греков и себя познал военачальных,
И страшные полки от стран востока дальных,
Которых, подкрепить Приамов зыбкий трон,
Во Фригию привел чернеющий Мемнон.
Там, истинным огнем геройства пламенея,
Прекрасных ратниц вождь течет, Пентесилея;
По образу рога смыкающей луны
У воинства ее щиты изогбены;
Не покровен сосец всем о́крест показует,
Златое ткание ей грудь опоясует;
Видна меж тысячей, вращает бурну длань,
И дева, не страшась, с мужами деет брань.
Енею, в капище недвижиму стоящу
И в изумлении на живопись смотрящу,

Дидона се во храм, в сопутствии своих,
Восходит, шаг ее величественно тих.
Диана коль красна, когда девиц в средине,
Евроты на брегу иль Кинфа на вершине,
Плясаний стройных вождь, веселый водит хор;
Теснятся круг нее несчетны нимфы гор;
Она с трясущимся за рамены калчаном
Всех высит, шествуя, величественным станом;
Созерцевая дщерь и зрак свой в ней любя,
От зельной радости Латона вне себя.
Толикой красотой царица знаменита,
Толь зрелась в шествии, меж прочих, сановита,
Споспешествующа воздвижению стен
Державе, коею цвесть должен Карфаген.
Внесяся дале в храм, исполненный народом,
При дверях алтаря, под распростертым сводом,
Со стражей близ нее, на свой воссела трон
И стала подданным предписывать закон;
По произволу им делить труды на части
Или по жребию, как той восхощет пасти.
Во долге сицевом труждающейся ей,
Се зрит вдруг странное видение Еней:
Сергест, Анфей, Клоанф и прочие трояне,
Соплававши ему пред сим во океяне,
По дальным бурею рассыпанны краям,
За сонмом сонм, текут во Карфагенский храм.
Во духе, страхом вдруг и радостью объятом,
Желал бы тут Еней их сретити с Ахатом,
Объять и дланями со други соплестись,
Но, полн сомнения, к ним медлит понестись;
Сокрытый в облак, ждет познати их судьбину,
Их место кораблей, и входа в храм причину.
Со каждa корабля известное число
Старейшин вопль во храм и жалобы несло.
Коль скоро пред лице Дидонино предстали
И дозволение к вещанию прияли,
Великий словом муж тогда Илионей
С спокойным духом стал беседовати с ней:
«Царица, кою Зевс ущедрил град создати
И дики племена законом обуздати!
Трояне, жалости достойные и слез,
Которых бурный ветр сквозь все моря пронес,

Тя молим, в бедственном нас случае защи́ти
И от огня наш флот грозящего исхити;
К благочестивому твой роду слух простри
И милосердия очами нань воззри.
Мы прибыли сюда не с помыслом набега,
Чтоб, вас ограбя, плыть с корыстию от брега.
Нет, наглость сицева не внидет в нашу грудь,
И низложе́нным льзя ль далеко толь дерзнуть.
Предел есть гречески, Есперия слывущий,
Обилен туком нив и бранию могущий,
Питавый разные от века племена,
Енотрян в древние жилище времена,
Днесь новых повнегда в нем дом родов основан,
Глаголют, что по их вождю преименован
Италиею сей потомками предел;
Во оный по волнам троянский флот летел:
Как буря, дунута внезапу Орионом,
Сопровожденная стихий ужасным стоном,
Вдруг нашим налегла опасна кораблям
И разметала их по бездне и мелям.
Мы, кои от хлябей по счастию спаслися,
Ко брегу вашему, сонм малый, принеслися.
Но кий вселяется в сей области народ:
Не человеческий, звереподобный род;
Совместна ль такова словесным лютость нрава?
Гостеприемства нам не дозволяют права;
С дреколием на нас, со бранию летят
И при последнем стать прибрежии претят.
Коль смертных меч вдохнуть не силен в вас боязни,
Вы праведных небес вострепещите казни.
Вождем нам был Еней, и верой, и войной,
И праводушием прославленный герой.
Коль рок его хранит в пределах горня мира,
Под животворного простертием эфира,
И он еще не пал ко теням в недра тьмы,
Под солнцем ничего не убоимся мы;
И ты познаеши, что человеков другу
Явила ты свою, монархиня, заслугу.
И во Сицилии для нас довольно мест
И выгод к житию: там правит наш Ацест.

Дозвольте лишь суда на береге поставить
И разрушённые в них части переправить;
Да если возвратим сообщников, царя,
Со радостью в Лати́й простремся чрез моря;
Но ежели вконец, о горе, мы погибли,
И средь дыханий тех, наш кои флот ра́сшибли,
Тебя, всещедрый царь, дражайший вождь троян,
И юного пожрал Иула океян, —
Да вспять в Сицилию к Ацесту возвратимся,
От коего стяжать готовы домы льстимся».
Так рек Илионей; троян всеобщий шум
Последовал его изображенью дум.
С лицем, исполненным стыденья и привета,
Царица ждущим им из уст ее ответа:
«Возблагодушствуйте, о странники, — речет, —
Да всяка прочь печаль от ваших душ течет.
Вселение мое средь незнакома дола
И новозданного колеблемость престола
Мя нудят мой предел толь строго защищать
И всяким вход к нему пришельцам воспящать.
Кому Енеев род и честь не вестна Трои,
Войны ужасной гром и славны в ней герои?
Не вовсе в тирянах бесчувственны сердца,
Не столь от них далек свет солнцева лица.
В Гесперию ли вы, Сатурна древле в царство,
Иль в Сицилийское влечетесь государство,
Во безопасьи вас туда препровожду
И всем к напутию потребным награжду.
Не согласитесь ли со мной в сем сести ските:
Се град, что зижду, ваш; суда на брег влеките.
Вы будете мои: на тирян и троян
Щедроты равный дух мной будет пролиян.
О, если б гневны вас примчавши к нам стихии
И вашего царя привергли ко Ливи́и!
Но я по взморию наро́чных разошлю,
Все Африки концы исследить повелю,
Не сретится ль, блудяй где в граде иль в дубраве,
По сча́стливой из волн на берег наш избаве».
Герой и друг его, толь лестный вняв привет,
Стремятся исскочить из-подо мглы на свет.
Богинин сын, Ахат, речет к Енею сице:

«Что мыслишь днесь, почто коснишь предстать царице?
Всё видишь в целости, сопутников и флот;
Лишь нет единого, которого средь вод,
Нам зрящим, алчна хлябь с урчаньем поглотила;
Всё прочее сбылось, как мать предвозвестила».
Он рек, и абие над ними висша тень
Преходит, отончав, во светлый ясный день;
Еней стояй был зрим сияющ по премногу,
Лицем и рамены подобящийся богу.
Сама ему тогда вдохнула мать красы:
Блистали лепотой небесною власы;
В лице румяная начертавалась младость,
Дух бодрый во очах, лиющий смертным радость.
Как ищуще снискать хвалы всеобщей плеск
Искусство придает слоновой кости блеск;
Как злато, круг сребра иль мрамора сияя,
Желтеет, их красу собою удвояя, —
Венерин тако сын, средь храма возблистав
И пред тирийскую царицу вдруг представ:
«Се здесь, — возопиял, — Еней, искомый вами,
Спасенный от хлябей с троянскими сынами.
О ты, которая одна под небесем
О бедствии троян подвиглась сердцем всем,
Котора нас, позор всех в свете человеков,
Остаток жалостный от кровопийства греков,
Ведущих слезны дни во гнусной нищете,
Влачимых по земли и моря широте
И из несчастия ввергаемых в несчастье,
Приемлешь твоего сожития в участье!
Благодарение достойное принесть
Не в силах я тебе, и все, колико есть
Троян, рассыпанных по земноводну кругу,
Не могут отплатить толикую заслугу.
Да небо, ежели есть кое от высот
Цветущих на земли призрение доброт,
Коль правда ймать где меж человек успехи
И совесть чистая, мать истинной утехи,
Тебе, услышавшей болезни нашей глас,
Достойно сотворят возмездие за нас.
Коль счастлива во мир ввела тебя планета!
Кто был отец и мать такой отрады света!

Доколь источники во море бег кончать,
Высоких гор верхи древесна тень венчать,
Доколь созвездьями сияти небо станет —
Дотоле честь твоя и слава не увянет.
В кий света край меня ни повлечет судьба,
Везде мои уста похвал твоих труба».
То рекши, на друзей взор радости кидает,
Илионею длань десную простирает,
Сергесту шуюю, дав Гию свой привет,
Клоанфа и других в объятия зовет.
Дидона, созерцав внезапу пред собою
Героя, строгою гонимого судьбою,
От изумления безмолвна пребыла;
Опомняся, ему: «Богинин сын, — рекла, —
Кий толь суровый рок подвижника терзает
И сицевы на тя зол бури воздвизает, —
Какая к варварам враждебна гонит мощь?
Так ты, Еней! тебя среди Идейских рощ
Венера, преклонясь к любовной с смертным неге,
Анхизу родила на Симоенда бреге!
Мне памятно, как Тевкр, изгнанец от отца,
Прибег в Сидон искать в чужой земле венца;
От Вила, рождьша мя, ждя помощи в том сильной,
Пленивша в оны дни Кипр жатвами обильный.
С тех пор уведала и Трои в плен взятье,
И греческих царей, и имя я твое.
Враг будучи троян, он мужество их славил,
И в честь себе свой род влещи из Трои ставил.
И тако, странники, труд коих облегчить
Я рада, внидьте к нам под кровы опочить.
Подобный вашему рок верг меня поныне,
Впоследок дал мне в сей спокоиться пустыне,
Бедами, коими сама искушена,
О бедствующих я жалеть научена».
Вещаньем сицевым Енея утешает
И во чертоги с ним монарши поспешает;
В знак радости велит отверзти каждый храм
И жертвы приносить торжественны богам.
Шлет двадесять волов ко краю волн пучинных,
На флот его, и сто свиний хребтощетинных,
Одеянных волной сто с агнцами овец;

Довольство шлет вина, веселия сердец.
В чертогах, блещущих великолепьем злата,
Для пиру средняя назначена палата,
На хитротканных где обоях и коврах
Горит червленый цвет, рожденный во морях;
Сосуды по столам сияют драгоценны,
На коих мудрою рукой напечатленны
Тирийских зрелися владетелей дела,
От коих пышна свой Дидона род вела.
Асканий первый тут втекает в мысль Енея;
Он, отчею к нему любовью пламенея,
Ахата шлет на флот, да вестник сих отрад
Не медля приведет он детище во град:
Родителева в нем о сыне мысль не дремлет;
Иул весь ум его и сердце всё заемлет,
Повелевает им несть да́ры не косня,
Из илионского исторжены огня:
Златоистканную великолепну ризу,
От верха швением пестреющу до низу;
Покров, на коем вкруг алелися листы,
Аканфа чем в полях кудрявеют кусты;
Убор, из Греции Геленой увезенный
Тогда, как дух ее, любовию пронзенный,
Занес ее в Пергам на беззаконный брак,
Пречудный Леды дар, в усердия к ней знак;
Венец драгой цены, блистали где совместны
И злато чистое, и ка́мения честны;
Монисто, от страны восточныя жемчуг,
И скипетр, бисером сияющий вокруг;
Убранство, что во дни цветуща фригов трона
Царева старша дщерь носила Илиона.
Да повеление героя совершит,
Не тратя времени, Ахат на флот спешит.
Но новые меж тем коварства составляет
И новы хитрости Венера умышляет,
Да Купидон, прияв Иулов рост и взор,
Грядет тирийския владычицы во двор,
И, да́ры предложив троянские пред нею,
Воспламенит в ней грудь любовию к Енею.
Страшит сомнительный любви богиню дом,
Народ, ко хитрости природою ведом,

Наветующия Юноны гнев тревожит,
Тьма нощи сверх того печальны думы множит;
К Ероту убо взем прибежище свое:
«О сыне, щит, — речет, — могущество мое,
Мой сыне, кой един пренебрегаешь стрелы,
Чем сверг Тифея Зевс во адовы пределы!
К тебе, о божество, прибегнуть нужусь я,
И помощи молю смиренно твоея.
Как носится Еней, твой брат одноутробный,
Среди жестоких волн, гоним Юноной злобной,
Не безызвестен ты, о сыне мой, о сем,
Ты часто состенал мне, плачущей о нем.
Днесь он у тирской дни царицы провождает,
Что всякими его приветствы услаждает.
Меня сомнение колеблет и боязнь,
Чем кончится сия Юнонина приязнь.
Богиня, кая мстить нам всюду предприемлет,
В сии толь важные минуты не воздремлет.
И тако, да удар ударом упрежду,
Дидону заразить любовью я сужду;
Любовью зельною, всяк час сильняе жгущей,
Никоим божеством смягчитись не могущей.
Внемли, о сыне мой, днесь мнение мое,
Ким образом тебе исполнити сие.
Асканий, коего благоцветуща младость
Предлог моей любви и вечна сердцу радость,
Зовом отцем, во град простерть свой должен ход
Со да́ры от огней спасенными и вод.
Сего на время сном глубоким усыпленна
И нежным сил своих нечувствованьем пленна
В Идалию, холмов и зелени красу,
Иль злачной я на верх Киферы пренесу,
И в роще где-либо священной препокою, —
Да не возможет нам препоной быть какою.
На нощь едину ты в него преобразись,
И как дитя в лице дитяти покажись.
Когда средь роскоши во пире бесприкладной,
Средь питий, от лозы рожденных виноградной,
Дидона тя начнет, любуясь, обымать,
Лобзати с нежностью и к персям прижимать, —
Потщись во грудь ее вдохнути огнь любови
И сладкий яд по всей распространити крови».

Ерот, вняв рождшия всевожделенный глас,
Велению ее послушен, в той же час
Крыле с себя и тул с поспешностью слагает,
Веселым шествием Иулу подражает,
Венера коему во члены сон влияв
И в собственны его объятия прияв,
На идалийские вершины всеприятны
Почити во кусты преносит ароматны,
Где лик его, со всех приосеняя стран,
Благоухающий объемлет майеран.
Уже со кораблей во Карфаген преходит
Со да́ры Купидон; Ахат его предводит.
По достижении чертога о́на стен,
Великолепному кой пиру посвящен,
Уже посереди одра златокованна,
Преиспрещенными коврами изустланна,
Под сению, где блеск величий не мерцал,
Царицу Тира он сидящу созерцал;
Уже Еней и с ним троянские вельможи
На горды возлегли под червлению ложи.
Раби, как древним был обычай областям,
Для умовенья рук пред вечере́й гостям
Разносят воду вкруг и для отертья дланей
Убрусы мягкие из тонких лена тканей.
Из кошниц вземлемый раскладывают хлеб;
Для разных слуг толпы назначены потреб.
Пятидесяти долг рабынь был стол чредити
И благовония во честь богов курити.
Кроме заемлемых сей должностью девиц,
Сто бодрых отроков и сто отроковиц
Трапезу снедными вещьми обременяют
И винами златы сосуды наполняют.
Сидонских такожде великий сонм вельмож
Заяти приглашен остаток пестрых лож.
Дивит Енеев дар, дивит Иул их взоры,
Горящий в боге зрак, притворны разговоры;
Хламида, кажуща черчения златы;
Покров, где алые виются вкруг листы.
Дидона паче всех, определенна роком
К грядущей гибели, на всё зрит жадным оком,
И зрением в себе сугубит страсти жар;
Пленит ее дитя и драгоценный дар.

Объяв родителя, и тысячу ласканий
Как сын ему явя, мечтательный Асканий
К царице подступил; она взирает нань,
И сердце шлет ему при каждом взгляде в дань;
Целует, на свои колена воспримает
И нежных ласк в жару ко груди прижимает;
Не видит, коль ее грядущий жребий строг,
Колико страшный днесь ей полнит недро бог.
Ерот, по матерью произволенью дея,
Из мыслей гонит вон Дидониных Сихея
И покушается любовну страсть вдохнуть
Во праздну и любить давно отвыкшу грудь.
По снятьи брашн, на стол потиры поставляют
И виноградными те соками венчают.
Возник приветственный по всем чертогам шум,
За гласом слышен глас, веселых вестник дум.
Лампады сыплют свет со свода позлащенна,
И светочами ночь во полдень превращенна.
Царица Тирская, обращься ко своим,
Златого, каменьем сияюща драгим,
Востребовала тут перед себя потира,
Кой древле Вил и все по нем монархи Тира
Употребляли в честь всевышним на пирах,
При возлиянии жертвоприносных влаг.
Наполнив той вином и выспрь держа в деснице,
Безмолствующим всем провозгласила сице:
«О Зевс, даяй покров пришельцам чуждых стран!
Благоволи, да сонм сидонян и троян
Сей день во радости велицей препроводит;
Да память оного из рода в род преходит.
Присутствуй с нами, Вакх, веселия творец,
И Ира кроткая, спокойных мать сердец.
Вы, подданны мои, любезны чада Тира,
Явите средь сего приязнь возможну пира».
Рекла и, восклоня златую чашу в дол,
Капль мало возлила, всевышним дань, на стол.
Сей жертвой повнегда трапезу оросила,
Сама от чаши той устами лишь вкусила,
Вкусив, к стоящу близ Битию подает,
Со приглашением, да бодрственно пиет.
Он, чашу от нее прияв рукою смелой,
Где пеною вино еще мутилось белой,

Приблизить ко устам минуты не коснил
И разом всю до дна, как начал, испразднил.
По нем участники торжественного пира
Друг за́ другом пиют из блещуща потира.
Во время пития, их радостей в часы,
Ио́пас, длинными гордящийся власы,
Во позлащенную кифару ударяя
И ударениям свой глас соразмеряя,
Гортанью громкою те таинства поет,
Которые Атлант великий вывел в свет.
Он бег поет луны, и солнечно затменье,
Словесной твари, птиц, зверей происхожденье;
Причины, в облаках родящи грома треск,
Дожди, и снег, и град, и быстрых молний блеск;
Гиад, сугубого Триона, и Арктура,
Какими свойствами снабдила их натура;
Почто толь спешно в понт катится зимний день,
И летом нощь почто толь косно сыплет тень.
Во честь гремящих струн и сладкия гортани
Сонм тирян и троян согласно плещут в длани.
Дидона к страннику вещать не престает
И жадно яд любви, несчастная, пиет.
То, в жалости, его о Гекторе вопросит,
То бедствующего во речь Приама вносит;
Знать хощет, с каковым оружием Мемнон
Защи́тить притекал фригиян зыбкий трон;
Коль бодры кони те и каковых призна́ков,
Которых Диомид увел из стана фраков;
И како по кострам поверженных телес
Сквозь вражий строй летал свирепый Ахиллес.
Так, страстью движима, беседу распложала,
«Иль паче с самого, — рекла меж тем, — начала
Во всей подробности, о вожделенный гость,
Поведай нам теперь судьбины вашей злость,
Несчастной Трои плен, кознь греков и тиранство,
Твое и спутников плачевнейшее странство:
Блудяй из края в край, седьмой уже ты год
Влачишься по брегам и по пучинам вод».

⟨1770⟩, ⟨1781⟩

235. НА КАРУСЕЛЬ

Молчите, звучны плесков громы,
Пинда́ра слышные в устах;
Под прахом горды ипподромы,
От коих Тибр стонал в брегах,
До облак восходили клики,
Коль вы пред оным не велики,
Кой нам открыт в прекрасный век
Екатерининой державы;
Когда, питомец вечной славы,
Геройства росс на подвиг тек!

Я слышу странной шум музы́ки!
То слух мой нежит и живит.
Я разных зрю народов лики!
То взор мой тешит и дивит.
Во славе древняя Россия,
Рим, Индия и Византия
Являют оку рай отрад!
Стояща одаль зависть рдится,
Смотря на зрелище, чудится,
Забывшись, свой воздержит яд.

Отверз Плутон сокровищ недра,
Подземный свет вдруг выник весь;
Натура что родит всещедра,
Красот ее предстала смесь.
Сафиры, адаманты блещут,
Рубин с смарагдом искры мещут
И поражают взор очей.
Низвед зеницы, Феб дивится,
Что в зеркалах несчетных зрится,
И умножает свет лучей.

Драгим убором покровенны,
Летят быстряе стрел кони́;
Бразды их пеной умовенны,
Сверкают из ноздрей огни.
Крутятся, топают бурливы,
По ветру долги веют гривы,
Копыта мещут вихрем персть.

На них подвижники избранны,
Теча в стези, песком устланны,
Стремятся чести храм отверзть.

В присутствии самой Минервы,
Талантов зрящей их на блеск,
Все рвутся быть искусством первы,
Снискать ее, верх счастья, плеск.
Безмерной славы нудим жаждой,
Все силы напрягает каждый
Свой подвиг счастливо протечь.
Коль всадник сей удал, поспешен!
Коль оный волен и успешен!
Коль быстр того взор, мышца, меч!

Но кие красоты блистают
С великолепных колесниц,
Которы поле пролетают,
Живяй Дианиных стрелиц?
Не храбрые ль спартански девы,
Презрев ужасны вепрей зевы,
Сложились гнати их по мхам?
Природные российски дщери,
В дозволенны вшед чести двери,
Преяти тщатся лавр мужам.

В шуму, в стремительном полете,
Сверкая зрящих в очеса,
Пока приближатся ко мете,
Колики деют чудеса!
Геройству должной алча дани,
Как бурны изгибают длани
На разный опыт жарких душ!
Сколь кажда зрится благозрачна,
Столь в подвиге смела, удачна;
Убранством дева, духом муж.

Шум зрелища услышав, рада
Пентесилеи горда тень
Встает, с копьем в руке, из ада;
Рок паки дал ей видеть день.
Зря пола мужество прекрасна,

Стоит недвижима, безгласна,
Во исступлении ума.
Геройством снова вся пылает,
И, если б было льзя, желает
Тещи во подвиге сама.

По сем: «Цвела б поныне Троя, —
Прервав молчание, рекла, —
Когда б, сего прекрасна строя
Я вождь, ей в помощь притекла.
От рук бы наших пали греки,
И я б, сгустив их кровью реки,
Во лучших лаврах умерла.
Почто я дев не общна лику?
Почто смерть тень мою велику
Толь рано в аде заперла?»

Промолвя тако, амазонка
Ниспала паки в ада тьму,
И речь ее, доселе звонка,
Исчезла зрелища в шуму.
Там рицари взаим пылают
И жар за жаром иссылают,
Крутят коней, звучат броньми;
Во рвении, в пыли и поте,
В не знающей устать охоте
Сверкают златом и мечьми.

Герой, славян во блеск одеян,
Мой како дух к себе влечет!
Коль бодр и чуден вождь индеян!
Коль славно подвиг свой течет!
Но как мя витязь изумляет,
Кой грозным видом представляет
Пустыннаго изгнанца плод!
Взглянув на мужество такое,
Себя б само́го в сем герое
Затрясся чалмоносцев род.

А в оном, кой летит под шлемом,
Вожди те явны и вдали,

Которы Ромула со Ремом
Своими праотцами чли.
Его десница скородвижна,
Почти виденью непостижна,
Со взмахами ссекает вдруг!
Камилл, во злоключеньи Рима
Стена врагам необорима,
Таков имел и взор и дух.

Таков был Декий, кой в средину
Врагов ярящихся вскочил,
И сына ту ж вкусить судьбину
Своим примером научил.
В Маркелле таково проворство,
Когда держал единоборство,
Как галл под ним ревел пронзен.
Так всяк спешит себя прославить,
Разить медведей, гидр безглавить,
И быти лавром увязен.

Во изумлении глубоком
Театр подвижничий я зрю,
Бегущих провождая оком,
Я разными страстьми горю.
То сердце бьется мне от страху,
Чтоб сей герой, теча с размаху,
Чем не был в беге преткновен;
То вдруг, лишь он мечем заблещет,
Его успеху совосплещет, —
Чужим я счастьем оживлен.

Но что не слышен топот боле,
Утих геройских жар сердец?
И для кого пространно поле
Осталось праздно наконец?
Еще не кончилась потеха;
Еще отведати успеха
В несмесной с прочими красе
Со римлянином турк исходит.
Их та же снова честь предводит.
Два выступили; смотрят все.

Предлоги общия беседы
К себе усердья всех влекут.
Кому из них желать победы?
Свой оба славно путь текут.
У обоих кони́ послушны,
Как вихри движутся воздушны,
Неся их быстро к мете хвал.
Одежда, поступь их особа,
Но жаром одинаки оба,
И римлянин, и турк удал.

Орел когда, томимый гладом,
Шумя на воздухе парит,
Узревый птиц, летящих стадом,
Разить, постигнуть их горит;
И вдруг, пустясь полетом встречным,
И крил движеньем быстротечным,
Уже за ними гонит близ,
И алчну челюсть раздвигая,
И остры когти протягая,
Кружит по ним и вверх и вниз.

Подобный здесь царю пернатых
Полет в героях вижу двух,
Желанием хвалы объятых;
То мзда подвижничьих заслуг.
Сияя видом благородным,
Являют очесам народным
Соперничество и родство.
Бодя, коней ко бегу нудят,
Весь жар сердец, все силы будят
Взять друг над другом торжество.

Так быстро воины Петровы
Скакали в Марсовых полях,
Такие в них сердца орловы,
Таков был чел и дланей взмах;
И крепки мышцы, легки члены,
Рожденные пленити плены,
Когда в жару кровавых сеч
Летали молнией по строю

И безошибочной рукою
Сжинали главы с вражьих плеч.

Умолкли труб войнских звуки,
И потный конь пресек свой скок;
Спокоились геройски руки,
Лишь мутный кажет след песок.
Он пылью весь покрыт густою,
Как поле в летню ночь росою,
Как налегает пар воде.
Уже течение скончали,
Уж новой славой воссияли
Герои храбры по труде.

Не столь сияют в небе звезды,
Не красен столь зари восход,
Ни римлян в град преславны въезды,
Побед гремящих лестный плод,
Вовеки тако не блистали,
Коль красны россы днесь предстали.
Вожди в уборах там своих
Везлися, лавром украшенны, —
Здесь девы, потом орошенны,
Не бесконечно ль краше их?

И се подвижнейших героев
И дев победоносный хор
В чертог вожди приемлют воев,
Судей, ценителей собор.
Там муж, украшен сединою,
Той лавры раздает рукою,
Из коей в бранях гром метал.
Луна от стрел его мрачилась,
Когда на россов ополчилась,
И Понт волн черных встрепетал.

О, како зелен лавр, прелестен,
Который лавроносцем дан!
Коль тот герой велик и честен,
Кой стал героем увенчан!
Коль славны подвига награды,

Которы при очах Паллады,
Вам, красны девы, дарены!
Колькратно око ваше взглянет
На мзду, толькратно в мысль предстанет
И труд, чем вы отличены.

Ты мало, Рим, себя прославил,
Что мечебитцев ты полки
Перед народны очи ставил
И кровью их багрил пески.
Чтоб честь позорища умножить,
Ты рад был целый свет встревожить,
И из-за да́льнейших морей,
Из Африки дубрав дремучих,
Из внутренности блат зыбучих
Влачил чудовищных зверей.

Но сколь ты быть ни мнился пышен,
В когтях у льва несчастных стон,
Кой нам сквозь стольки веки слышен,
Гласит в тебе ума урон.
Сие увеселенье наше
Твоих колико зрелищ краше!
То вечна невских честь брегов.
Кто в свете россов ненавидит,
Да росских дев в оружьи видит.
Потеха наша — страх врагов.

К великолепию пристрастье
Царя не сильно отменить.
К пороку часто повод счастье,
В нем трудно меру сохранить.
Коль крат владетели чрез пышность
В позорну падают излишность,
Творя беспрочны чудеса!
Египт венчал ли труд наградой,
Что камней мертвою громадой
Подперть стремился небеса?

Сверх многих божеству приличий
Екатерина новый путь

Открыла достигать величий,
Свой дух лия подвластным в грудь.
Чрез игры, кои показует,
Она в них души образует,
Их в новый облекая вид.
Весь мир содержится движеньем:
Геройство живо упражненьем
Недвижных выше пирамид.

Благополучен я стократно,
Что в сей златой мне жити век
Судило небо благодатно,
В кой всякий весел человек.
Я видел Исфм, Олимп, Пифи́ю,
Великолепный Рим, Ними́ю
Во больших красоте чудес.
Я зрел Диа́горов, Феронов,
Которых шумом лирных звонов
Парящий фивянин вознес.

1782

236. НА СОЧИНЕНИЕ НОВОГО УЛОЖЕНИЯ

Что тако злость и ков трепещет,
Мятется лютая вражда,
Раздор в отчаяньи скрежещет,
Бегущ во тигровы стада;
Хула и умысл беззаконный
В ад хочет свергнуться бездонный,
Не зная долу, где спастись?
Не паки ль небеса Фемиде
Во человеческом к нам виде
Велят на крылиях снестись?

Не баснословная богиня
Пороки сокрушить грозит,
Премудра россов героиня,
Живая правда, их разит.
Ударил страшный гром закона
С Екатеринина в них трона,
И стрелы многи, яко град.

Нечестье, фурия земная,
Куда от молнии Синая
Теперь укроешься? — Во ад.

Средь райского красуясь дола,
Меж градов, как меж звезд луна,
Блистая древностью престола,
Веселием восхищена,
Москва главу, венцем покрыту,
Бессмертья лаврами обвиту,
Возносит к горним облакам,
Пресветлы мещет окрест взоры,
В подверженны поля и горы,
К далеким разных морь брегам.

Во звучны славою пределы,
Во весь полунощи округ,
В града, в блаженны миром селы
С трубой парящий видит слух.
Он роды все зовет в участье
Писати собственно их счастье,
Их душу жительства, закон.
Чтоб всяк был жребием доволен,
Всяк дати глас свой будет волен,
Всяк пользы собственной тектон.

Там разным племена языком
Ко господу взывают сил,
Велик господь в Петре Великом,
Велик в Елисавете был, —
Но коль прославлен, дивен ныне
В возлюбленной Екатерине,
Орудии твоих чудес;
Ты ими насаждал в нас крины,
Законом ты Екатерины
Преложишь землю в вид небес.

«Иной достигнув жизни краю,
Обрадованный вестью сей,
Теперь спокойно умираю, —
Гласит воззревый на детей, —

Мне в томной смерти та отрада,
Что вам, мои любезны чада,
Отныне промысл положил
Монаршей милости под кровом
Цвести во благоденстве новом,
О, коль нас скипетр одолжил!»

Кто лютостью, как тигр, пылая,
Стремится в бурных мыслей путь,
Ногами трупы попирая,
Спешит лавр лестный досягнуть,
Плывя в реке кровавой пены,
Готовит чуждым тронам плены
И сирым тяготу желез, —
Внезапным счастлив вероломством,
Пред поздным льстится быть потомством
Достойный песней Ахиллес.

Екатерина в недрах мира,
Покоя сладкого в тени,
В дыханьи нежного зефира
Дает вкушать златые дни:
Ее кротчайшая держава
Жизнь подданным, ей — вечна слава;
Ее лавр оный краше всех,
Что ей подвластны без премены,
Как лавры все цветут зелены,
Не зная в счастии помех.

Хотя пред сча́стливым солдатом
Пасть должен слабый иль бежать,
Трудняй во свете быть Сократом
И молча смертных одолжать,
Без страха ближним быти сильну,
Благодеяньями обильну.
Монархиня воюет злость;
Хотя молчат ее перуны
И спят орлы в подножьи юны,
Страшна ее порокам трость.

О древность, чудная делами,
Вещей различных бытием,

Которы жадными очами
В нетлеющих скрижалях чтем!
Открой земного мне державца,
Отца, вождя, законодавца,
Таких исполнена доброт,
Какие зрим в Екатерине,
Разящей злобу героине,
Живом источнике щедрот.

Сквозь грозны в свете перемены,
Сквозь отдаленных мглу веков
Я древнего Египта стены
И счастье бывших зрю родов;
Там мудры Озирид уставы
В пределы своея державы,
Отец подвластных, тщится ввесть,
Во чин прехвальный всё устроить
И первого себе присвоить
Законодавца в свете честь.

По нем Кандии обладатель,
Примеру следуя сему,
Ревнует быть законодатель,
Отец народу своему:
Ликург огнем военным дышит,
Пером соседству страшным пишет
Суровость для спартан одну;
Чрез тяжко им самим геройство
Домашне утвердить спокойство,
Чрез брань ввесть хочет тишину.

Жестокость странну умеряет,
Которой буйствовал Дракон,
Черты кровавы заглаждает
В его преданиях Солон;
И утомленному народу
Подать желанную свободу,
Восставить тщится в нем покой;
Споспешники всеобща блага,
Преносят суд ареопага
Во град квириты мудри свой.

Но ах! Кий вопль, коль тяжки муки
Там чадам, матерям, отцам,
Не слышны в них похвальны звуки,
Законов должные творцам.
Младенцы тамо неповинны
Казнь терпят, как раби злочинны;
Последню бедных кровь пиет
Корыстолюбие несыто;
И милосердие забыто
Несчастным крова не дает.

Монархиня благоутробна,
Противной шествуя стезей,
Без грому небесам подобна,
Щадя, как мать, своих людей,
Во основание закона
Любовь со высоты шлет трона;
Любовью начинает суд;
Дарует своему народу
Писать, что чувствуют, свободу, —
Да сами облегчат свой труд.

О ты, который земнородных
Счастливо общество нарек,
Где царь, исполнен превосходных
Даров, ведет свой мудро век,
Иль где в сиянии короны
Премудрость подает законы,
Восстань, Платон, и посмотри:
У нас Минерва на престоле,
Ее покорствуем мы воле,
Ей ставим с верой алтари.

Отверзлись светлостей небесных
Бессмертным входные врата!
Мой дух, видений полн чудесных,
Со страхом горни зрит места.
Преславен в сонме венценосцов
Открылся обновитель россов,
Законодавец и герой,
И купно с ним Елисавета,

Исполненна подобна света,
Пречудна равной красотой.

«Приникни на Екатерину, —
Речет ко дщери Петр своей, —
Отраду по тебе едину
Сраженных скорбию людей;
Избранну в нашу кровь тобою,
Что тою ж, как тебя, рукою
Небесный промысл увенчал.
Сия ли даст умолкнуть звуку, —
Гласит, простерши перст на внуку, —
Моих, твоих великих хвал?

Не уснет та, ниже воздремлет,
Храня монарший чтящих трон;
Единой их рукой объемлет,
Другою пишет им закон.
Как я, завистным угрожает,
Как ты, щедроты изливает
На все земные племена;
Врагам страшна, молниевидна;
Своим надежда непостыдна;
Во всей подсолнечной дивна.

Низзри, как Павел весь облекся
В геройства вид, в надежды свет!
Кто б самым взором не привлекся
Желать ему счастливых лет?
Орлом взлетит высокопарным,
В ряд станет с солнцем лучезарным,
На что ни взглянет, оживит,
Науки разумом проникнет,
Премудро царствовать навыкнет,
Как мать, вселенну удивит».

Но что в уме моем скрывает
Видений райских красоту?
Кий шум во уши ударяет
И гонит сладку прочь мечту?
Согласно разные народы,

Грядущи представляя годы,
Взывают светов ко отцу:
Да счастье наше бог умножит,
Царице дни на дни приложит,
Привесть начатое к концу.

А те, которые недавно
Стеклись в Россию пришлецы
И орлими крылами равно
Покрыты с нами, как птенцы,
Внезапно вняв шум славы звучной,
Гласящей век благополучный,
Восстановляемый для нас,
Иль паче счастья совершенство,
Воспомнив и свое блаженство,
Своим сугубят общий глас.

Благословен, под росским небом
Свое дыханье кто влечет,
Не столь весенним в полдень Фебом,
Коль в недрах матери согрет;
Во дни изведали мы кратки,
Коль здешних стран плоды суть сладки,
Коль сладки волжские струи;
Хотя здесь дышат ветры хладны,
Но мразы больше нам отрадны,
Как, Зе́фир, нежности твои.

Но кие лики всюду зрятся
Мужей, что шествуют во храм?
Все смирной алтари дымятся,
Восходят гласы к небесам.
Царица, свыше вдохновенна,
Во всех путях благословенна,
С высот делам заемлет свет.
Начало са́мо показует,
Начало нам преобразует,
Как росс под солнцем процветет!

Вдовы́, от радости воспряньте;
Отрите слезы, сироты́;

Убоги, сетовать престаньте,
Забудьте сильных тяготы́;
Всех дух и мысли, успокойтесь;
А вы, преступники, убойтесь
Сплетать на ближних злобный ков;
Иль месть исправой упредите,
Отныне истинных явите
В себе отечества сынов.

Но кто толико своевольну
Предпримет мысль, так будет жить,
Чтоб мать, всем равно сердобольну,
Враждой на братей раздражить?
Чье сердце толь во злобе твердо,
Ее чтоб око милосердо
Склонить к добро́там не могло?
Где правда хо́щет воцариться,
Там кто посмеет устремиться
На ненавистно оной зло?

Небесны коль светила стройно
Текут в предписанных кругах,
Согласно столь же и пристойно
В земных течение делах,
В своем вещь кажду у́зрим чине:
Угодно так Екатерине;
Земное божество велит;
Так суд поставлен непреложно;
Что нам быть мнится невозможно,
Всесильный ею совершит.

Премудростью многоочита,
Щедротами обильна мать,
Утеха россов и защита,
Небес к нам промысла печать,
Живи, цвети и долголетствуй,
С престолом тишину наследствуй,
Чем цвел Елисаветин век.
Но твой да тем пребудет тише,
Чем счастием народным выше,
Всех благ сокровищем востек.

⟨1767⟩, ⟨1782⟩

237. ПЛАЧ
НА КОНЧИНУ ЕГО СВЕТЛОСТИ КНЯЗЯ ГРИГОРЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПОТЕМКИНА-ТАВРИЧЕСКОГО, 1791 ГОДА, ОКТЯБРЯ 5 ДНЯ ПРЕДСТАВЛЬШЕГОСЯ В ВЕРЕ К БОГУ, В ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ, В ЖЕЛАНИИ БЛАГ РОДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ; МУЖА, ВСЕМИ ВЫСОКИМИ ТИТЛАМИ, НО ПАЧЕ КРОТОСТИЮ СИЯВШЕГО; ПОКРОВИТЕЛЯ НАУК, ПОБЕДОНОСЦА, МИРОТВОРЦА; ВСЕМ ПРОСВЕЩЕННЫМ, ВСЕМ БЛАГОРОДНЫМ ДУШАМ ВОЖДЕЛЕННОГО, ПОЧТЕННОГО, ПРИСНОПАМЯТНОГО

Потемкин скрылся в гроб! о, слезная судьбина!
Россия! какова́ лишилася ты сына?
Се той, что вечный дать желал тебе покой,
Крым отнял разумом, защи́тил Крым рукой;
И громами престол отманов сотрясая
И зависть чуждых стран успехом ужасая,
Носился, как его дух выспренний водил,
И славный мир тебе победами родил!
Уж матерь, коею суть россы толь счастливы,
С главой, увитою во лавры и оливы,
Ждала его к себе (о сладкая мечта!),
Стояли уж ему торжественны врата.
Уже прекрасного побед и мира блеском,
Сопровождаема народным всюду плеском,
Усердьем искренним, правдивых шумом хвал,
В пути, где шествовать он вспять долженствовал,
Спешили музы сресть, свой к песням глас настроя, —
Как вдруг, о лютый боль! постигла смерть героя,
И радования преобратила в плач,
Всю сладость огорча толь многих нам удач.
Со лавром кипарис, трофей смесив с гробницей
И утварь торжества с печальной плащаницей.
Так для сего-то ты в край оный течь рачил
И сим все действия, муж дивный, заключил,
Чтоб мир твой с турками, незыблемый, нетленный,
Был вечен, смертию твоей запечатленный?
Но кто? какой Селим, на пагубу себе,
Нарушить оный смел, дыхающу тебе?
Увы! почто сей свет толь рано ты оставил,
И тысячи тобой терзатися заставил?
Твой мужественный вид не то друзьям вещал,
И исполинский стан иное обещал.
Цвел разум, во плещах являлась сила многа,
Величествен был взор, и образ полубога;

Венчала седина не все еще власы, —
Куда геройские девалися красы?
Увы! померкли все; всё стало смерти жертва;
Достойна долго жить, о, како видим мертва?
Рыдайте, музы, днесь из глубины сердец:
Осиротели вы: во гробе ваш отец!
Что мило вам теперь среди земного круга,
Лишившимся сего защитника и друга?
Проклятая война! кто выдумал тебя?
Природы гнусный враг, враг обществ и себя.
Ты, ты естественна рушительница чина,
Толь тяжкого для нас урона ты причина!
Герои, вняв твой зов, к тебе из стен бегут,
Дерзают на беды, о жизни не брегут;
Далекие пути и трудные подъемлют;
Томятся день и ночь, едва когда воздремлют;
Нездравы воды пьют, зной терпят, бури, мраз,
И дышут воздухом, исполненным зараз.
Когда б труба твоя, о брань! не возгремела,
Россия бы поднесь Потемкина имела.
Пред мужем сим лежал путь к славе не един:
Он был и без тебя великий гражданин.
Но, ах! не брань сего атланта утомила;
Не тягость ратных дел в нем силы преломила.
Но славой брань его сдержали рамена:
В мир рушилась сия российских стран стена.
Тогда нас рок потряс, как бури перестали;
Тогда ударил гром, как тучи миновали.
Сияния творец померк среди планет!
Кто россов одолжил, того меж россов нет!
О строги небеса! о злость завистна рока!
Зачем дражайшее отъемлешь нам до срока?
Еще ему умреть не выпала чреда;
Почто безвременна объемлет нас беда?
Нарочно жизненны в нем смерть преторгла узы,
Чтоб вы терпели казнь незаслужену, музы!
Зри! в свете кий преврат! беспрочные живут;
Спасителей судьбы из света силой рвут!
Поди теперь, и плачь, что люди умирают,
Когда Потемкина во гробе полагают!
Но что, в расстрое дум, я хульны словеса
Мечу на брань, на мир, на самы небеса?

Я скорби тем в душе моей не утоляю,
Лишь, может быть, тебя, тень кротка, оскорбляю.
Не тако мыслил ты, когда меж нами цвел,
Беседы меж друзей не таковые вел.
Еще в очах моих твой зрак пресветлый зрится,
Еще сладчайший глас в ушах моих твердится.
Послушный неба сын, ты вечно не роптал,
И смерти не ища, ее не трепетал.
Полн весь любовию к отечеству и богом,
Неустрашим был с сим в душе твоей залогом;
И сей и будущий объемля сердцем век,
Сквозь краткость в вечности, как воскрыленный, тек.
Ступив на оный край, мне то ж, что здесь, вещаешь,
И плакать о тебе из гроба запрещаешь.
Премудростью твоей я разум мой креплю,
Но в сердце тяжкий боль еще, еще терплю.
И можно ль быть, тебя утратя, веледушным
И разуму, среди смятений сих, послушным?
Мне мнится, смерть твоя противу естества;
Чтоб ты во гробе лег, нет воли божества;
Что встанешь ты опять, ты лег почить на время;
Ты встанешь облегчить моей печали бремя.
В миг, только лишь мечта толь сладка пропадет,
Под тяжестию зла мой томный дух падет.
Креплюся, но когда на твой я гроб взираю,
Сам, кажется, с тобой до срока умираю.
Остановляется и мысль моя и кровь;
Всё мертво, лишь жива одна к тебе любовь.

В последний раз тебя живого созерцая,
Как здравием блистал ты бодрым, не мерцая,
Я мнил ли, чтоб мое сей счастье год унес,
И в том поверил ли б и ангелу с небес?

О, сколь обманчивы, сколь тщетны суть надежды,
Чем мы на свете сем ласкаемся, невежды!
Высока промысла не знающи стезей,
Во уповании спим полном на князей.
Я первый, я пример, сколь смертные суть слепы,
Колико о вещах мечтанья их нелепы.
Быв смертною в одре не раз объят грозой,
Я мнил, что ты, герой, почтишь мой гроб слезой;

Что прежде я умру, то мне казали лета.
Я скорбен был; ты здрав, ты крепок, полон цвета;
Судьба, казалось, с тем в живых меня блюла,
Чтоб было петь кому твои, герой, дела.
Как се, впреки моим и мыслям и желанью,
Я должен чтить тебя, чтить слез, не песней данью;
Прежив тебя, болезнь по смерть в душе питать
И утешения нигде не обретать!
Кто силен днесь того дополнить мне утрату,
Что я предпочитал всему на свете злату?

Я зрел (поведают уста мои не ложь)
Венчанных счастием и славою вельмож;
Но зрел сквозь неку тень, иль облак, издалека, —
Ты мне един в тебе дал видеть человека
Со слабостьми, но в нем блистательных отли́к
И превосходств каких созерцевался лик!
Сие кого живой не поразит печалью?
Чье сердце не пронзит неизреченной жалью?
Превыспрення душа, парящий мой орел,
Для обществу добра куда б не возлетел?
Он явных благ искать край света бы достигнул;
Он пользы скрытые из мрака бы воздвигнул.
Любя монархиню, бесценный дар небес,
Во все б концы свое к ней рвение пронес.
Велики суть твои к отечеству заслуги, —
Но бо́льших от тебя престола ждали слуги,
Те слуги, что, доброт обилуя лучем,
Не склонны ближнему завидовать ни в чем.
В Евксин к тебе свои усердия пускали
И подвигам твоим со мной рукоплескали;
Днесь сетуют, зачем ты, в летах не созрев,
Как светлая свеща, погас, не догорев.
Погас, затмился, ах! сверх чаяния всяка,
Погас, и всех твоих оставил вдруг средь мрака.
Постигла бедную внезапна музу ночь,
И отлетела вся ее утеха прочь.

О! промысла умам неведома пучина,
Где все вращаются созданьи до единa,
Где мудрии рекут, и подданный, и царь,
И всяка дышуща, мала ль, велика ль тварь;

Герои, робкие ль, презренны иль преславны, —
Все смесь едина, суть пред божьим взором равны;
Где долу лишь с высот суд снидет и печать,
Всяк смертный должен быть покорен и молчать.
Но творче, господи! ты дал мне душу слабу,
Недоумениям ты даждь моим ослабу,
И ропот мой прости, прости сию печаль,
Из смертных одному что смертного так жаль.
Что нет к поправе зла, я кое стражду, средства,
Могу ли для сего не чувствовати бедства?
И ежели слеза есть неба дар, сию
На труп, Потемкин, твой как всю не пролию?
И како, сколь тебе рок жизнь отъять ни властен,
Скорбя не возглашу: почто я так несчастен?
В чем винны пред судьбой толь многи сироты,
Которых оживлял благотвореньем ты?
Или под солнцем те всех боле ей мешали,
Которые тобой, отец щедрот, дышали?
О! сколько есть людей, под разным небесем,
Таких, которые желали б сердцем всем,
Ущербом лет своих твой краткий век пробавить,
Иль паче, жизньми их от гроба тя восставить!
Но рок, что рок решил, переменить нельзя;
Осталось лишь терпеть в молчании, слезя.
Так сии за покой нам бурь отмщают грозы?
Такое терние венчает нас за розы?
Ах! лучше вовсе благ бесценных не вкусить,
Чем, их утратя, боль по век в груди носить!

Вообразя бесед уединенных сладость
И проливанну мне от отчих взоров радость,
Источники утех, которым дружба мать,
Что должен в сиром днесь я сердце ощущать?
Ты пренья вел со мной о промысле и роке,
О смерти, бытии, и целом мира токе.
Премудрая главо! мой днесь вопрос реши:
Какому должно быть той жребию души,
Что, с лучшею себя расставшись половиной,
Живет и движется печалию единой,
И утешения ту только имать тень,
Что зрит в гадании, коль светел твой там день?
Не в истину ли ты блаженней нас стократно,

Которые тебя теряем невозвратно,
Которы днесь, всяк час рыдая по тебе,
Приносим жалобы беспрочные судьбе?
Что смерть как жизни край? и жизнь как путь ко смерти?
Тот жил, кто имя мог за жизнь свою простерти.
Твое на целую ты вечность распростер:
Ты ковы чуждых стран, ты гордых варвар стер,
Науки ободрил, чин воинства устроил,
Россию оградил, расширил, успокоил;
И сам, увы! заснул сном вечным наконец;
Блаженна жизнь твоя и жизни, смерть, венец!
Ты в поле кончил дни, хотяй почити мало:
Воинский плащ твой одр, и небо покрывало.
Не слышен был твой стон, не слышен смертный вздох;
Взор к небу обращен, куда тя позвал бог;
Глава восклонена на распростерты персты;
Умильно томен зрак, уста едва отверсты.
Взвевает плачущий власы твои зефир,
Любя творца побед, воздвигша скорый мир.
Вокруг тебя стоит рать, маниям послушна,
И повелителя рыдает зря бездушна.
Лишь только дале слух печальный разглашен,
Что воинства отец дыхания лишен,
Во градех по тебе, средь моря, рек и суши,
Каким жалением подвиглись храбрых души?
Восставый стон и вопль средь каждого полка
Являет, коль твоя кончина им жалка.
Крушатся по тебе и малы и велики,
Болезнуют свои и чуждые язы́ки:
Молдавец, армянин, и влах, и галл, и грек,
И турок, позабыв отъятье морь и рек,
На непритворну скорбь дух твердый разрешает;
Твоя добро́та всех в печали соглашает;
Все плачут, жид ли кто или самаряни́н, —
Ты умер, матери природы общий сын.
Круг общего отца народы все виются;
Из варварских очей российски слезы льются.
Со частым от тоски вздыманьем тяжких ребр
Рыдает о своем изба́вителе Днепр;
Рыдает о тебе с далеким юг востоком,
Евксин с Кубанию и Каспий со Моздоком.

Воспоминая тьмы твоих к себе услуг,
Все воды превратить во слезы хочет Буг.
Тебя Меот, Тамань и Крымские оплоты,
Тебя все всадники и Черноморски флоты,
Тебя рыдают сонм художеств и наук,
Сугубя воплями ревущих пушек звук;
И муза им моя, и муза им состонет,
И вся в слезах, твой труп препровождая, тонет;
Кто будет ей, увы! защита и покров,
И ободрение, хоть слабых, в ней даров?
Кто голосу ее с таким усердьем внимет?
Так дружбой озарит и так ее объимет?
Ко персям так прижмет? о, горе! о, напасть!
О, нестерпимая невинну сердцу часть!
Но если небесам отъять тебя угодно,
И всё тужение души моей бесплодно,
Во облегчение болезни моея,
И во свидетельство всем истины сея,
Что, как живому нес хвалы нелестны в жертву,
Так искренний я плач несу тебе и мертву, —
Ты миро слез моих, сла́дчайша тень, прими;
Последний мой к тебе из гроба глас вонми;
Уважь меня еще, дозволь сквозь слезны токи
На гробе начертать твоем мне сии строки:
Потемкин здесь лежит, Екатеринин друг,
Не полон дней числом, бессмертен тьмой заслуг.

Октябрь 1791

238. СМЕРТЬ МОЕГО СЫНА

МАРТА 1795 ГОДА

Так нет тебя, дитя любезно!
Сомкнул ты очи навсегда
И лег, всем зрелище преслезно,
О, скорбь! о, лютая беда!

Страдалец, мук не заслуживший,
За что ты горьку чашу пил?
Меж человеков ангел живший,
Чем тако небо оскорбил?

Не ты, не ты, отец твой грешен,
Отец несносен твой судьбе.
Затем он был тобой потешен,
Чтоб после плакал о тебе.

Я плачу, глаз не осушая,
И стоном надрываю грудь.
И льзя ль, себя не сокрушая,
Николеньку воспомянуть?

Душа велика в теле малом,
О, как он люту скорбь сносил,
И коим огражден забралом,
Явил в борьбе с ней столько сил?

Не вышла вздоха ни едина,
Боль тщился в сердце запереть.
Седый отец! учись у сына,
Как должно мужу умереть.

Расстанься мудрых ты с собором;
Оставь все книги наконец.
В дому твоем, твоим под взором,
Взрастал безграмотный мудрец.

Читай его, и помни вечно,
Как умер он, и как он жил:
Он жизнию своей, конечно,
Тебя и смертью одолжил.

Учися быть ему подобен:
Печаль внутрь сердца ты запри;
Живи, как он, правдив, незлобен;
Как он, нетрепетно умри.

О ангел, существо бесплотно,
Предтеча мой во оный свет!
Иду туда, иду охотно,
Куда меня твой взгляд зовет.

Ах! .. ты еще ко мне взираешь,
В мой одр твой тихий ход клоня!

Ко мне ты руки простираешь,
Объяти силишься меня!

Иду, от смертных устранюся;
Теку с поспешностью в твой след:
Да там с тобой соединюся,
Где нет печалей, страхов, бед.

Мы станем тамо наеди́не
Беседовать, в садах гулять;
Я буду там тебя, мой сыне!
А ты меня увеселять.

За радостию по́йдет радость,
За лирным шумом — новый шум;
Со сладостью сплетется сладость:
Плененья чувств, восторги дум!

Но как?.. я грешен, ты невинен;
Я вихрь, ты сладка тишина;
Я буй, ты ангел благочинен —
Часть наша будет ли равна?

Хотя всем милы круги звездны,
И я достигнуть в оны льщусь,
Но, меж тобой и мною бездны
Чтобы не пролегли, страшусь.

Ты будешь в цвето⟨но⟩сном поле,
Во недрах самого творца;
Взгляни, дитя, ко мне оттоле,
Утешь улыбкою отца.

Утешь его улыбкой тою,
Какой ты тешил здесь его;
Зарею облачен златою
Кинь нань луч блеска твоего.

Ты рад меня одеть всем светом;
Ты рад, моя о иста кровь!
Так в сердце, от родства согретом,
Найду и тамо я любовь!

Когда все ставят твердь защиты
В героях из своей семьи,
И мне врата в Эдем открыты:
Там блещут сынове мои.

Но я доколе пресмыкаюсь,
Болезнен, в бренном телеси,
Покровом я твоим ласкаюсь:
Сияй мне, сыне, с небеси.

Ты благ, ты ангелом быть стоишь,
Будь страж, хранитель буди мой.
Ты всё во благо мне устроишь,
Души и сердца вождь прямой.

Ты знаешь, в чем моя потреба,
Куда желанье я простер:
Тебе блюсти дано от неба
Меня, мать, братьев и сестер.

239. ОДА

ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА ГОСПОДИНУ ВИЦЕ-АДМИРАЛУ И ОРДЕНОВ СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, СВ. КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ И СВ. АННЫ КАВАЛЕРУ НИКОЛАЮ СЕМЕНОВИЧУ МОРДВИНОВУ

Под небом дышим мы, чудясь его лазорю
И пестрости пресветлых звезд;
Мы ходим по земле и плаваем по морю,
Далече от природных гнезд;
Со слабым бренным телом,
Во духе гордо смелом
Пускаемся на вред
И ищем оком бед.

Среди огней и льдов, искатель тайн в натуре
Многоопасный правит путь.
Герой летит на брань, подобен шумной буре,
Под рок, под пушки ставит грудь;
Забыв о плоти тленной,
Противу стать вселенной,

Против тьмы тем врагов,
За отчество готов.

К отликам много стезь, и люди и стихии
На опыт ду́ши в нас зовут;
Россия, обща мать, для всех сынов России,
Святой, величественный труд.
То рвение любезно,
Что множеству полезно;
Такого сердца жар
Есть смертным с неба дар.

Что я вещаю, то поемлешь ты, Мордвинов!
То голос мой, а мысль твоя.
Дух делает, не плоть огромна, исполинов;
Дово́д ты истины сея.
Кто вступит в спор со мною,
Как солнцем, я тобою
Снищу победы честь;
Мне стоит перст возвесть.

Ты, крила распростря усердия широко,
Чтоб кинуть на множайших тень,
Паришь, куда тех душ не досягает око,
Одебелила кои лень.
Твой подвиг безотдышен;
Лишь шум полета слышен,
И гений меж стремнин
Сопутник твой един.

Любители доброт тебе под облаками
Соплещут с дола тьмами рук;
Лишь зависть, лютыми терзаема тосками,
Грызома целым адом мук,
Бросает остры стрелы
В подоблачны пределы
И сыплет клевету,
Сразити налету;

Сразить тебя, и в прах твои рассыпать кости.
Достоинств вечная судьба
Противу черныя и ядовитой злости,
Противу клеветы борьба.

Но любо, как с змиею,
Обвит безвредно ею,
Летит орел когтист,
Глуша крыл шумом свист!

Гнетома пальма вниз, сквозь тяжесть крепня, спея,
Сильняе кверху восстает;
И благородный конь, препоной свирепея,
Порывней поскоки дает.
Чем ветер стиснут уже,
Тем дует, злясь, упруже.
Биенье из кремня
Рождает блеск огня.

Так бодрственный твой дух, препятством раздражаясь,
Встает превыше сам себя;
И зависти к тебе злой стрелы приражаясь,
Родят лишь искры вкруг тебя.
Как злато по горниле
Сияет в вящей силе —
Твоей доброты цвет
Ярчает от клевет.

Добра виновно зло! Но жало сколь ни больно,
Чем любит зависть лучших бость,
Великосердия в груди твоей довольно
Простить безропотно и злость.
Честного человека
Свет чтит красою века;
Завидливых число —
Необходимо зло.

Не нами начат свет, не нами и свершится.
Змий яд сосет, вран любит труп;
О счастье ближнего завистливый крушится,
К себе немилостив и груб.
О! как он милый сохнет!
Ах, сколько раз в день вздохнет!
Полн желчи, ей не рад;
Зрак мутен, в сердце ад.

Жалея о таком друзей несовершенстве
И заблуждении сердец,
Ты смертных друг, ты рад всех видеть в благоденстве;
Чужи успехи твой венец.
Усердьем многокрылен,
Талантами обилен,
Красой и блеском их
Любуешься в других.

И с тем тебе судьба власть многих поручила,
Чтобы пример твой им светил;
Чтоб без грозы твоя их бдительность учила
Трудиться, не жалея сил.
Чтобы на гордом флоте
Все двигались чел в поте,
Как бдящи муравьи
Иль шумны пчел рои.

Сколь звезды неба свод, пестрея, украшают,
Столь сине море корабли:
Они величие державы разглашают
И безопасье суть земли.
Пернаты исполины
Летают чрез пучины!
Пустясь Невы с брегов,
Во Чесме жгут врагов.

О, грозны по валам блудящие планеты,
Где скрыт огнь злобе роковой!
Из Буга вы свои днесь во́зьмете полеты;
Сравнится в славе Буг с Невой.
Лишь змий на брань воспрянет,
С Евксина вдруг месть грянет;
Прольется в виде рек,
Он ляжет мертв навек.

Две сильные реки, со Бугом Днепр, без шуму,
Струи в то ж озеро неся,
И день и ночь ведут против дракона думу,
Героя в ону приглася;
И совещают трое
Против него стать в строе:

Герою предводить,
Рекам огнь с треском лить.

Он станет рек среди, и глас его, глас грома,
Раздастся вдоль морских зыбей;
Ударит та и та им в брань река ведома,
И заревет лиман огней.
По дыме, шуме, треске,
Герой явится в блеске:
Металл его копья
Во челюстях змия!

Так! так! он мужествен; он выдержит надежду;
Царицы оправдает суд;
И облечет друзей во радости одежду,
Себя во славу, зависть в студ.
Уж музами готовы
Венки ему лавровы!
Пророчит так Парнас,
И сбывчив божий глас.

Но если змий, страшась готовых кар, утихнет
И станет про себя шипеть,
Герою должныя тем славы не улихнет;
И в мир под ним труд может спеть.
Как кормчий, долгу внемлющ,
Средь тишины не дремлющ,
Он будет запасать,
Чем бурь противу стать.

Во напряженьи мысль, на страже бдящи очи,
С стрелой натянут лук в руке,
Он будет назирать дракона дни и ночи,
Как Феб, стоящий вдалеке.
Сразить врага сил махом
Или сковати страхом,
Чтоб яду не рыгал,
Есть равных дело хвал.

Почтенно храбрым быть, и осторожным хвально,
И страхи отводить страша;
Мысль зорка козни зрит на расстоянье дально;

Успеха в деле ум душа.
Кого сие светило
Со неба посетило,
Всегда умреть решен;
Кто трус, не довершен.

Природный разум твой, твой нрав, твои науки,
Твоя к отечеству любовь,
Мордвинов! по тебе суть верные поруки,
Что вся твоя нам жертва кровь.
Героя дух прямаго
Есть общественно благо;
Достоинства его
Честь племени всего.

Так в добродетели души твоей прекрасной
Есть часть, почтенный друг! и мне?
И мне не заперт ты, как образ тверди ясной
И неги, сродныя весне.
Не обща в море служба,
Но дар небесный, дружба,
Творит, что есть твое,
Как собственно мое.

Мое наследие — молва приятна óна,
Котора о тебе, теча,
Распространяется и паче лирна звона
Пленяет сердце мне, звуча.
Мое наследье — всяки
Твоя отлика, знаки:
Красой твоих рамен
Красуюсь я надмен.

Твоя, о друг! еще во цвете раннем младость,
Обильный обещая плод,
Лила во мысли мне живу, предвестну радость:
Ты будешь отчества оплот.
Свершение надежды
Моими зря днесь вежды
И славу сбытия,
Не возыграю ль я?

Неси ко мне, весна, днесь розы и лилеи!
Есть смертный, нравом схож с тобой;
Невинной радости уважь, о Феб! затеи;
Приди, мой праздник скрась собой.
Приди венчать, в ком, муже,
Я вижу кротость ту же,
Что отрок он казал,
Что сердцем я лобзал.

Он отрок и теперь; он искренен, невинен;
Науки любит он, как ты.
Не бог, но краткий век умеет сделать длинен
Трудом и славой правоты.
Мудр, участью доволен;
К несчастным сердоболен,
И подавати скор
Им помощь и призор.

Полезным быть — его желания всечасны;
Сон малый, трезвенна глава;
Чело его и взгляд с душой его согласны,
С сердечным чувствием слова.
Во сердце одинаков,
В лице не носит знаков,
Какие кажет ложь, —
То зеркало всё то ж.

Катясь беседна речь лишь важному коснется,
В нем жарка закипит душа,
И просвещенна вмиг чувствительность проснется,
Наружу изнестись спеша.
Вмиг мысли благородны
Через уста свободны,
Сердечну жару вслед,
Польются, яко мед;

И слухи усладят; поставят дух в покое.
Не ищет истина прикрас,
Но слышится сильняй в устах вития вдвое,
Чей был не предустроен глас.
Он вдруг ее отрыгнул,
И слушающих двигнул

Единой простотой
И сердца теплотой.

Коль истинно когда друг друга смертны любят,
Душами сладкий нéктар пьют,
И существо свое чрез дружество сугубят,
Из сердца в сердце чувства льют.
Расширь мне, Феб, дух тесный,
Прославить дар небесный;
Направь мою гортань
Воздати дружбе дань.

Так! дружба дар небес, мне тако Феб вещает,
Та грудь с биеньем жил мертва,
Которая в себе сих искр не ощущает:
Жизнь смертных дружбою жива.
Твой друг глас сердца внимет,
С природной лаской примет
Твоих сложенье строк
За дружества венок.

⟨1796⟩

240. ПЛАЧ И УТЕШЕНИЕ РОССИИ

К ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ПАВЛУ ПЕРВОМУ, САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССИЙСКОМУ

Россия, матери лишенна,
Внезапной смертию ея,
Как страшным громом оглушенна,
Не помня своего во свете бытия,
Стоит оцепенев; пресветлы меркнут очи,
Восходит на чело печальной сумрак ночи;
Остановляется всех жил биенье вдруг,
И запирается во персях томный дух;
Бесчувственна, полмертва,
Несносной скорби жертва,
Падет.
Опомнясь, — зрелище плачевно, — восстает:
С увядшими красами,

С растрепанными вдоль широких плеч власами,
Со перстью на главе, бледна,
Прежалостна, бедна:
Как бури силою от листвий обнаженный,
И молниями обожженный,
Великолепный прежде кедр,
Днесь корнем внутрь земных едва держайся недр.
Со чувствованием в душе тоски и муки,
Колени преклоня, простря вверх обе руки
И омраченных взор очей,
В которых заперся болезнью слез ручей,
«О боже! — вопиет, — мой боже милосердый!
Поднесь спасение, надежда, щит мой твердый!
Внуши
Вопль страшным бедствием объятыя души;
Се черна надо мной развесясь туча смерти
Грозит на мя упасть! К кому мне ток простерти,
Как, творче, не к тебе?
По неиспытанной кой правишь всё судьбе;
Кой, всё храня, не дремлешь;
Сквозь бури глас к тебе из бездн зовущий
внемлешь.
Из бездны я к тебе зову,
Болезненну едва подъемлюща главу;
Едва, едва моя стенанье грудь изводит,
Из сердца теплота естественна уходит,
Катится из очей с слезами вместе свет.
Увы! (то мысль моя воображать отмещет,
Язык мой вымолвить трепещет)
Екатерины больше нет?
Екатерины нет! о горе, о беда!
Привыкшей славы к блескам,
Ко торжествам и плескам,
Сраженной тако ль быть вдруг вышла мне чреда!
Так нет тебя, о благ сокровище бесценных,
Царица бодрых душ, живых и просвещенных;
Тебя, которой жертв курились алтари
И поклонялися с почтением цари!
Закрылись очеса, что радость проливали;
Умолкли ввек уста, что разум возвещали;
Окрепли персты рук, писавы мне закон
И счастье тысячам: о, беспробудный сон!

Лежит недвижима, кем двигана вселенна,
От мощи всей ее лишь плоть осталась тленна.
На сей великий труп, на мертво божество,
Слез миро льет со мной днесь тварей естество,
Мне горы, мне леса, мне морь состонут волны,
Во бреги бьют, ревя, слезами реки полны.
Ах! дола красоту насильный рок увлек,
Достойна вечно жить толь рано кончит век.
Ах! бездыханна та, я коею дыхала,
И коей нежима, как крин, благоухала;
Во гроб нисходит, дней не выполня числа,
Котора царств меня всех выше вознесла,
Расширила мои, не лья кровей, пределы,
И миллионы чад приобрела мне целы;
Искала мне влиять свет высших мыслей в грудь,
Свой тихий, нежный нрав, свой истый дух вдохнуть;
Небесные в душе достоинства вмещая
И беззавистно их мне с трона сообщая,
Как солнце миру луч,
С высот превыше туч,
По мере, сколько я в вид лучший прерождалась,
Добро́тами во мне своими услаждалась;
Считала мой успех
За верх своих утех,
Мое в талантах совершенство
За собственное благоденство —
Мать истинна моя.
И нет ее, увы! осиротела я!
Ты, боже, мне ее печать щедрот пославый
И дух ее к себе днесь взявый,
Оставя плоть,
Царей и подданных господь!
Ты мне помощник буди,
И сей болезненной пошли отраду груди».
Рекла, и к вышнему достигли словеса;
Разверзлись небеса,
Открылся бог, сидящ во славе на престоле,
И луч оттоле,
Краснейший солнечна, на град Петров простяпсь,
Сошел молниебыстр и, в Павлов лик упрясь,
Остановился;

В небесном блеске он величествен явился.
И в той же час
Услышен свыше глас:
«О Павел! облекись во праотцев порфиру
И, не косня, покрой Россию оной сиру;
Покрой, и покажи, что в сыне мать жива.
Ты счастья к ней залог, ты телу днесь глава.
Чтоб свет узрел, кто ты, во грудь твою едину
С великим я Петром вмещу Екатерину;
Иль паче сам
Мою святую волю
Тобой России возглаголю,
Тобой исполню, что угодно небесам.
Упадшее восставлю,
Недокончáнное исправлю,
Где внéдрился порок иль злоба, — изгоню,
Добрóты вкореню.
Твой разум был судеб покорен произволу,
Твой дух днесь лучшее святилище мне долу.
Начни, и новою трон славой уясни;
Начни, и милостью во все концы блесни;
Уверь вселенную, что я тебе сопутствен,
Что я в тебе присутствен.
Бог есть любовь;
О сем познают все, что ты мой образ истый,
Что ты мой сын, небесна кровь,
Щедрот источник чистый,
Поящий всех;
Творец утех;
Отец народа;
В дарах неистощим, как общая природа,
Перворожденна дщерь моя;
Как ангел, кроток, тих и милосерд, как я».
Бог рек, и Павел, вмиг надев, распростирает
Порфиры широту, Россию кроет той;
Ее ко груди жмет, ей слезы отирает,
Как сердобольный друг и как отец прямой.
«Не плачь, — вещает ей, — вкуси меня и види:
Я радостей залог.
За мной во храм блаженства вниди,
Я вождь тебе, мне — бог.
Мои способности, мои желанья, мысли,

К тебе обращены,
Тебе посвящены:
В подсолнечной меня ты лучшим другом числи.
Я раннюю зарю
Для пользы твоея восстаньем предварю,
Я в полдень для тебя на подвиг обрекуся,
Я в вечер о тебе, болея, попекуся.
При солнце, при свеще
Тобой займусь, и труд мой будет не вотще.
И даже как на одр возлягу,
Потщуся твоему споспешен быти благу.
Не вдруг очам
Дреманье дам;
И дремля о тебе мечтати живо стану,
С тобой засну, с тобой восстану.
Покой тебе моим бессоньем устелю
И чувства все мои с тобою разделю.
Не буду следовать мечтам героев диким,
Искать в победах высоты:
Сочту себя великим,
Когда счастлива ты».
То рекши, тщится он воздвигнути Россию,
И преклоняет к ней главу свою и выю,
Под плечи сильну ей десницу подложа
И твердо ног стопу уперту в дол держа,
В подпору крепко ей подставливает рамо,
Она на то опрядся, прямо
На быстры ноги восстает —
Встает величественна паки:
Ей Павел бытие дает,
И возвращаются к ней прежней жизни знаки.
Лице цветет румянцем вновь,
Сверкают бодры очи,
Свидетели внутри и здравия и мочи;
По жилам быстро льется кровь.
В ней орля обновилась младость,
От нового ее подъявшего орла,
И распростерлась радость
Из сердца теплого на белизну чела.
Коль быстро к вод струям текут во зной елени,
Стремится тако днесь душа ее к нему,
Ко воскресителю и богу своему.

Во ревности, в жару, преклонь пред ним колени,
«Клянуся господем, кой зрит на нас с небес,
Клянусь, — речет, — тобой, днесь светом сих очес,
Клянуся совестью моею,
Моих всех мыслей судиею,
Что, как служила я Великому Петру,
Премудрой как Екатерине,
Служить так Павлу буду ныне,
И силы крайние простру
Ходити, как ему угодно,
Творить и мыслить благородно,
Его достойно и меня,
Честь, веру и закон храня.
Куда ни повелишь стопы мои мне двигнуть,
На огнь, на меч, на смерть, —
Готова всюду их простерть,
Тобой желанного достигнуть.
Велишь, и грозной бурей гряну,
Сверкая и гремя!
Велишь, и тихим морем стану
Не тронясь, не шумя.
Земные все концы уверю,
Что я тебя люблю,
Что пред тобой не лицемерю,
Я жертвой всю себя тебе употреблю.
На мышцы силою упруги,
На сии перси ты взгляни:
Для должныя царю услуги
Чего не сделают они?
Тебе под грудью сей велико сердце бьется,
Тебе в сих жилах кровь лиется,
Тебе пылает дух мой, рвясь.
Меж нами помню я, священну помню связь:
Я тело, ты душа: мы оба неразлучны,
Иль вместе счастливы, иль вместе злополучны.
Дыша тобой, должна я стать
Тебе во мыслях сообразна,
И совершенства почерпать
В твоем примере без соблазна.
Зерцало действий ты моих,
Ты будешь созерцаем в них.
Объимешь тело всё России,

Простря повсюду равну власть,
Как бог, кой все хранит стихии,
Ни коей не дая упасть.
Исправишь части искаженны,
Чтоб в вящей мне красе цвести;
Отторгнешь члены зараженны,
Чтоб целость прочих соблюсти.
Взираючи во мне на благородну лепость,
На здравие и крепость,
В восторге красотой красуясь сам моей,
Взыграешь ты душей.
Взирая на тебя, виновника мне счастья,
Полна в тебе участья,
Благодарение я буду изъявлять
И громкими тебя устами прославлять,
Не хитрым голос мой струнам соразмеряя,
Но сердца в простоте, вдруг с жаром повторяя:
Мой царь мне мил, моя надежда, радость, свет!
Он царствует, моей любовью безопасен,
Он ходит иль сидит, — величествен, прекрасен,
Меж дщерей, меж сынов, как солнце меж планет.
Дражайшая его супруга,
Любя и чтя душей монарха в нем и друга,
Сияет круг него, как ясная луна,
Всегда щедротами и милостьми полна».
— «Я верю, — Павел рек, Россию вновь объемля, —
Я верю, искрення любовь ко мне твоя:
Но верь, любви твоей ответствует моя».
Всевышний, с высоты их жарки речи внемля
И по вселенной всей безмолвье распростря,
На пренье их любви любуется смотря.
По сем божественный зрак вмале преклоняет,
Благословящими их дланьми осеняет:
«Примером, Павел, ты царям земным свети,
В объятиях Павловых, Россия, ты цвети».
То рек, и эмпирей опять сомкнул, составил,
Но, благодати знак, при Павле луч оставил,
Небесный луч, всех почестей венец,
Россиян честь и утешенье их сердец.

Ноябрь — декабрь 1796

Ф. И. ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ

Федор Иванович Дмитриев-Мамонов (1727—1805) происходил из старинного дворянского рода, ведущего свое начало от Александра Юрьевича Нетши, внука князя Смоленского Константина Ростиславовича (XIII в.). Он получил хорошее домашнее образование, служил в армии, в 1769 году уже в чине бригадира; в 1771 году участвовал в подавлении «чумного бунта» в Москве, в том же году вышел в отставку и жил в Москве или в своем смоленском имении Баранове, занимаясь литературой, коллекционируя медали и редкости, сочиняя новую теорию строения солнечной системы.

Как литератор Дмитриев-Мамонов начал печататься с 1769 года, когда вышел его перевод романа Ж. Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона», а затем в течение двух следующих лет он напечатал дидактическую «Эпистолу от генерала к его подчиненным, или Генерал в поле со своим войском» и большую поэму в семи песнях «Любовь». Переведенные им с французского прозою «Овидиевы превращения» остались ненапечатанными. Все эти сочинения Дмитриева-Мамонова, по-видимому, не имели никакого литературного успеха. Во всяком случае отзыв Н. И. Новикова о нем в «Опыте исторического словаря» предельно лаконичен и сух; он содержит только фактическую информацию о вышедших сочинениях Дмитриева-Мамонова, что можно понимать как выражение совершенного безразличия Новикова к литературной продукции этого автора или очень невысокую его оценку. Сдержанность Новикова могла быть вызвана еще и тем обстоятельством, что Дмитриев-Мамонов в своем безудержном славолюбии не гнушался никакими средствами самовосхваления. В своих изданиях он публиковал собственный портрет и похвальные стихи доброжелателей — и то и другое не было принято делать в русской литературе XVIII века.

После того как Дмитриев-Мамонов в 1770 году выпустил гравированное издание «Слава России, или Собрание медалей дел Петра Великого» (переиздано в 1783 году), не довольствуясь славословием безвестных сочинителей, он отчеканил в 1773 году медаль с собственным портретом и с такой надписью на обороте: «Освети свет родом, разумом, честию и великолепием». В том же году он печатает сочинение, якобы принадлежащее сельскому священнику «церкви похвалы Богородицы — что в Башмакове» Василию Ивановичу Соловью, «Панегирик дворянину и философу, господину бригадиру Ф. И. Дмитриеву-Мамонову» (1773), на самом же деле написанное Дмитриевым-Мамоновым. Каких именно похвал хотел «дворянин-философ» от своих доброжелателей, можно догадываться по стихам студента П. Денбовцева в «Эпистоле», упоминаемой в «Опыте» Новикова.[1] В ней Дмитриев-Мамонов превозносится как герой добродетели, не имеющий себе равных.

Высоко оценивая собственное поэтическое творчество, Дмитриев-Мамонов главным своим сочинением считал аллегорически-философскую повесть «Дворянин-философ», напечатанную вместе с переводом романа Лафонтена под одним переплетом.

Аллегорическая повесть Дмитриева-Мамонова представляет собой антиклерикальный памфлет, написанный с использованием некоторых приемов и мотивов из философской повести Вольтера «Микромегас». В своей повести Дмитриев-Мамонов высказывается в защиту теории о множественности миров в пределах солнечной системы, населенных разумными существами. В повести описана модель солнечной системы, устроенная ее главным героем, «дворянином-философом», в своем имении, а разговоры существ, населяющих планеты, подслушанные с помощью волшебного перстня, составляют содержание этой повести. Высказывая свои антиклерикальные взгляды и несомненное сочувствие деизму, Дмитриев-Мамонов своей аллегорической повестью включился в то движение официального антиклерикализма, которое Екатерина II все 1760-е годы поддерживала и поощряла. Появление «Дворянина-философа» не причинило его автору никаких неприятностей; неудовольствие московских властей, а затем и императрицы он возбудил другими своими сочинениями и поступками, к литературной его деятельности не имеющими никакого отношения.

Раздосадованный, видимо, равнодушием современников к своим литературным опытам, Дмитриев-Мамонов отдается собиранию

[1] Н. И. Новиков, Избр. соч., М.—Л., 1951, с. 297.

редкостей, рукописей, монет, оружия и т. д. Свое собрание, размещенное в его московском доме, он сделал открытым музеем для всех желающих, о чем сообщал в статье «Для известия от бригадира Дмитриева-Мамонова», напечатанной в 1773 году в «Санкт-Петербургских ведомостях». Подобную статью он хотел напечатать и в «Московских ведомостях», но московский генерал-губернатор М. Н. Волконский запретил эту публикацию, а Екатерина II, к которой Дмитриев-Мамонов обратился с жалобой на Волконского, нашла эти действия правильными из-за усмотренных ею в тексте статьи «непристойностей».

Поведение Дмитриева-Мамонова, видимо, уже в это время казалось не совсем обычным и нормальным, поэтому Екатерина просила М. Н. Волконского сообщить о нем более подробные сведения, так как «многие рассказывают об нем такие дела, которые ему мало похвалы приносят».[1] На свои издания и коллекции Дмитриев-Мамонов тратил большие деньги, поэтому в 1778 году его жена подала прошение императрице, в котором писала, что ее муж, «лишася разума, как всей Москве известно»,[2] растратил большую часть своего имения, и из 2000 душ у него осталось только 500. Екатерина II писала Волконскому, что до нее дошли сведения «о жестокостях и мучительствах Федора Дмитриева-Мамонова над людьми его» и что «все поступки его являют повреждение в уме».[3] Она приказала отправить к Мамонову для проверки двух чиновников из Юстиц-коллегии. Следователи пришли к заключению, что поступки Мамонова, и особенно учиненные им «жестокости» «являют его человеком вне здравого рассудка, разоряющим имение свое».[4] 4 марта 1779 года, на основе доклада следователей, Екатерина приказала отстранить Мамонова от управления его имуществом и взять имение в опеку.

В том же году Дмитриев-Мамонов издает свою «новую систему» мира в виде двухлистной гравюры. На этой гравюре были изображены космогонические системы Птолемея, Тихо Браге, Декарта, Коперника и целых две системы «дворянина-философа», то есть самого Дмитриева-Мамонова. Обе «новые системы» не представляют никакого научного интереса. В одной из этих систем автор убеждает,

[1] Письмо Екатерины II к М. Н. Волконскому от 31 октября 1773 г. — «Осьмнадцатый век», изд. 2, т. 1, М., 1869, с. 126.

[2] Письмо к Волконскому от 4 марта 1779 г. — Там же, с. 174.

[3] Письмо к Волконскому от 1 июня 1778 г. — Там же, с. 171.

[4] Там же, с. 174.

что солнце и земля движутся не друг около друга, а время от времени сближаются и удаляются, отчего и происходит смена времен года. В другой системе «доказывается», что ветры возникают от движения земли.

Собственно литературная деятельность Дмитриева-Мамонова относится к той эпохе его жизни, когда никакой психической неуравновешанности в нем не замечалось. Его стихотворные произведения конца 1760 — начала 1770-х годов с их дидактическим пафосом и ориентацией на язык «хорошего» общества представляют собой характерное явление поэзии того времени.

241—246. ⟨*ИЗ ПОВЕСТИ ЛАФОНТЕНА «ЛЮБОВЬ ПСИШИ И КУПИДОНА»*⟩

1

Сей бог, которого любовью называем,
Не может из любви он сам быть исключаем,
От юности своих неосторожных лет
Он часто сам себя свещой своею жжет.
И если ранен им и Марс, и Геркулес,
Нептун, Плутон, великий сам Зевес,
То часто он, резвясь с завязанны очами,
Сам ранит грудь свою своими же стрелами.
Но в мире как всему чудесному льзя быть,
То бог любви не мог минуть, чтоб не любить.
Свидетель Психше в том, прекрасная богиня,
Преславна красотой, в несчастьях героиня.

2

Да больше царства вод приятность ощущаем,
Се ради сих причин мы рифмами вещаем·
Вослед богини сей тритонов тмы плывут, —
Одни, звуча в рога жемчужные, зовут,

Другие вкруг ее плывут, в водах играя,
Скрываются, резвясь в волнах морских, ныряя.
Наяд и нереид полк тщится ей служить.
Одни снисходят вглубь сокровищ находить,
Коральи и жемчу́г со дна морей износят
И с набожностью то богине сей подносят;
Другие перед ней несут блестящ кристалл,
Который на брегах восточных просиял;
Он должность зеркала богине исполняет,
И всю ее красу в себе изображает.
Но солнца чтоб лучей отвесть от ней прочь зной,
Развившися, покров летит ей над главой,
Из флёра легкого и цвета роз прелестных,
Ревнуя, кроет он ее от глаз небесных;
Лишь самый нежный ветр взвевает нежно кров,
Но прочих держит всех Нептун среди оков;
Эола и с детьми в пещеру заключает,
Один зефир дыша богиню лишь ласкает;
Дышаньем влю́бленным он дует на власы,
На щеки и на все прелестные красы;
Одежда легкая богини сей крутится,
Вскрывает тму красот, чтоб больше всем влюбиться.
Но Палемон, вождь морь, в волнах пред ней плывет,
Чтоб камни миновать, он путь пред ней кладет,
И звуком глас трубы моря все наполняет;
Тетисса ей сирен петь песни представляет.
Вода, волнуяся у ног богини сей,
Коснуться хощет им в горячности своей,
И каждая волна чин ряда соблюдает:
Подходит к божеству и ноги лобызает.

8

Текущие ручьи, источники вод ясных,
Не кроется ль мой муж в местах ваших прекрасных?
Скажите мне, где он, откройте его след,
И где сокрылся он, когда его здесь нет.
Не спит ли где он здесь, в пещерах ваших темных,
Платя Морфею дань от жарких зноев дневных;
Прохладна тень древес, и шум приятный вод,
Вам власть дана вливать сон сладкий в всякий род.
Скажите: где мой муж и где сыскать мне должно?

Ах! тщетно вас прошу, от вас то знать не можно.
Тому ль вам изменить, кто любит ночи тень,
Кто ненавидит свет и враг кому есть день.
Я тщетно здесь ищу и тщетно воздыхаю,
И рок несчастный мой напрасно к вам вещаю.
Но зря мучение и жалостный мой вид,
Мучитель, может быть, со смехом видя зрит.
Он в темность завсегда, жестокий, отлетает,
Хоть кликаю его, меня он оставляет,
Не чувствует к себе, тиран, мой жалкий стон.
Но что я говорю, что отлетает он;
Есть крылья у него иль нет — мне знать не можно.
И так чрез целый день мне мучиться лишь должно
И, ходя по брегам, всечасно воздыхать,
Надежды не имев найти, что тщусь сыскать.
Пещеры темные, в которы чрез все веки
От света крыть себя приходят человеки,
И где прохладна тень смягчает темный страх,
Я в ваших нахожу супруга лишь местах.
Я света и сама и дня уж ненавижу,
Затем что зрака мне любезного не вижу.
О, час, в который он уходит! лютый час!
Что мне миляй всего, то кроется от глаз.

4

«Забавы прежних дней, сколь множите напасти,
Сколь трудно вспоминать утехи прежней страсти,
И несть потом беднейшу часть!
Возможно ль в счастьи быть, не быв прежде несчастным?
О, если, Купидон, ты был мне сладострастным,
Почто оставил нежну страсть!
Почто то полюбил, что после взненавидел!
Ты знал меня, желал и, как хотел, так видел, —
Почто устроил мне напасть!
Почто не предварил меня карать в то время,
Когда не знала я любови еще бремя,
И в сердце как имела власть!
Но, ах! когда бы я твоих красот не знала, —

Но видела я всё, и кровь во мне вспылала,
Она пылает и доднесь!
Тут в собственном лице краса опочивала,
Приятности все с ним, — о, сколько я вздыхала,
И буду воздыхать век весь!
Приятна память мне вещей столько прекрасных
Преследует меня во всех местах несчастных,
В горах, в пустынях и в лесах!
И всюду мне твердит в жестокой столь судьбине:
«Как, Псише, ты жива, жива еще и ныне?
Во всех несчастнейших судьбах?»
Мне должно, стало, жить, любовь того желает,
Он средства к смерти всё жестокой отнимает,
И зреть конца не хощет мук!
Хоть сколько к смерти жизнь отчаянна стремится,
Он мне претит всегда сей жизни злой лишиться
И мне не разрешает рук!»
Природа нежная всю жалость ощущала,
И мрамор трескался, как Псише так вещала
Внутри лесов, пещер, зараз.
О, горы каменны, коль в жалость вы входили!
Воспомните ручьи, которы вас мочили,
Лиясь из столь прекрасных глаз!

5

О змей, прекрасный змей, хоть кажешь рот разверстый,
Но я посланница богов,
Чтоб ты к веселью был готов.
Они велели вас поздравствовать невестой.
С такою ж чешуей, как ты блестишь в свет дневный,
Придёт с тобой сама здесь жить.
Тебе чтоб скуку уменьши́ть,
Любовь тебе дает сей столько дар полезный.
О змей, прекрасный змей, к тебе еще вещаю:
Где льзя такой хребет найтить,
Чтоб столько златом мог блестить?
Довольно ли я сим, о змей, вас утешаю?
Как в зеркале свещи, глаза твои пылают,

Ты вечно можешь юным быть, —
Какой прибыток здесь есть жить:
Струи сих вод живых всем юность возвращают.
О, если б каждому давал воды ты чашку,
Ты дань какую б ни желал,
Всяк с радостью тебе бы дал,
Я знаю, что б иной последню дал рубашку.

6

О Роскошь, сладостна во свете,
Без коей бы мы в наших днях,
Зимой, весною, в осень, в лете,
Все гибнули б во всех землях.
Как древо, погубивши плод,
Скончался б без тебя наш род,
Кой и́дет от начала веков.
Без Роскоши коль смертным жить,
Есть всё равно, что тенью быть,
Она утеха человеков.

Магнит людей ты и животных,
Всех силой ты влечешь к себе.
Премножество родов несчетных
Живут и движутся в тебе.
Для ней мы всякий труд взимаем,
Беды, напасти презираем;
Солдат и каждый капитан,
Министр, невольник и владетель
В твою лишь целят добродетель,
Чрез твой путь всем дух жизни дан.

Приятным тоном слух пленится,
И песни нежные поют,
И слава в свете где ни мчится,
Едина ты предметом тут.
Во всех забавах олимпийских,
В плясаньях, гласах мусикийских
Бываешь цель всё ты одна.
Но чувства силу с чем сравняю,
Где сладость всю твою вкушаю,
Что лучше жизни нам дана.

На что цветы дает нам Флора,
Помона все свои плоды;
За чем восходит в мир Аврора,
И кончит дневный Феб труды;
Вином Эван нам пищу здравит,
Наука смертных разум славит;
К чему леса, луга, вода,
Зараз, пещер столь много темных;
Сокровищи внутрь недр подземных? —
Всё ради твоего плода.

Се зрю Кларис я с красотою,
Их прежде цвет был нежен, бел,
И прежестокою судьбою
Лишить их рок забав хотел.
Но как он их ни заключает,
Натура всё превозмогает,
И роскошь вводит к ним рукой;
Вкушать забавы им внушает,
И юность вдруг их расцветает,
Довольны стали все собой.

О Роскошь, божество всесильно!
Ты всем прекраснейшим умам
Излила благодать обильно;
Но паче греческим странам.
Излей свой дар ко мне на лиру!
Да чувство дам всему я миру
Узнать твою всесильну власть.
Коль корень есть ты всей природы,
Тобой живут коль всяки роды,
Твоя мне драгоценна страсть.

Склонись на лиру велегласну,
Со мной нескучно будет жить;
Я жизнь над всем чту сладострастну;
Но с книгами люблю всё быть.
Они душа, мне жизнь и радость,
Раскрою их — и чту мне сладость,
От них не отвращаю глаз.
Игры́ люблю я и музы́ку;

Но страсть имею превелику
Веселым быть во всякий раз.

Последним словом я вещаю:
О Роскошь, сладость всех живых!
Тебя я где ни ощущаю,
В весельях ли я есмь твоих,
Иль в мысли тя воображаю, —
В тебе всё счастье заключаю,
В деревне, в граде ль, где б ни жил,
Приди, со мной потщись побыти, —
И много тридцать лет мне жити,
Но век бы сей мне сладок был.

⟨1769⟩

247. ЭПИСТОЛА К КРАСАВИЦАМ

Кому я припишу, красавицы, мой труд?
Кому здесь яблоко вручит Парисов суд?
О, вам! которые красою столь прелестны;
Которы в нежности имеют дар небесный.

К дурному завсегда то зло кладут на счет,
Кто нравом есть тяжел и страшный есть урод:
Урод есть свету страх, что всех он ужасает;
Но нежный нрав сердца́ как хощет обращает.
Нрав ангельский есть всем приличен красотам,
В утеху здесь писал я нежным лишь сердцам.
Законы в свете всем тому суть все свидетель,
Что истинна любовь есть точно добродетель.
Жестокости в любви нельзя быть никакой,
Кровь нежная душе прилична лишь одной.
Пылает кто к кому любови всей душею,
Там будет верность жить и с честию со всею.
Всем должно то желать, чтоб всякий был любим,
Любови есть всегда нрав зверский нетерпим:
Коль бросясь лютый зверь кого в куски терзает,
Нельзя сказать тогда: он нежность ощущает;
Но слёзы где текут, узря любви предмет,
Возможно всем сказать, что варварства тут нет.

Любовь ведет всех нас к тишайшему всех чувству,
То чувство враг всегда суровости и буйству.
Почтение и тьма усерднейших услуг,
Любови должность есть; не враг Купидо — друг.
В нем есть ли кое зло? Пусть будет свет судьею!
Пленяйте, красоты, любовью нас своею!
Вы наши суть звезды́, блистайте так собой
И зверский нрав людей мягчите красотой.
Красавица моя красавица есть станом;
Красавица лицом,
Красавица умом;
А более всего, красавица и нравом.

⟨1771⟩

248—249. *ПОЭМА ЛЮБОВЪ*

ПЕСНЬ I

О вы! которые вкусили страсть любви,
Вам память навсегда осталася в крови,
Хоть случай иль рок злой скончал вам дни любезны,
Но вспомните об них — польются токи слезны.

О вы! в которых столь кипит и ныне кровь,
Которые равно питаете любовь,
Счастливее вы тем всех счастьев во вселенной,
Склоните слух ко мне в сей слог непринужденный.
Не грубых для сердец я песнь ону пою;
Не в сонме я бакхант иль си́лвянов стою;
Купидо, нежный бог, вокруг меня летает
И лиру всю мою цветами убирает.
Давно она уже под лаврами висит,
И око к ней мое давно без страсти зрит,
Но в самый оный час зефир к ней в струны вея,
Дал слышать нежный тон, всего что есть нежнее.
Приятный голос тем по рощам простонал,
Как будто б человек вздыхая умирал,
Раскрылась вся душа днесь нежности петь чувство!
Веди, о Купидон, я чту твое искусство:
Ты хитрости есть бог, исполнен сильных дел,
Нет в свете никого, кто б против тебя шел.

Ты хочешь, чтоб я пел и силу твою славил, —
За лиру я берусь, ты путь к тому направил.

Предмет о прелести! кем кровь есть возжжена,
Та будет кровь вовек покоя лишена,
И будет мучима без всякия отрады,
Когда мученье то жечь будет без пощады.
Любезную хоть зришь, но счастьем ли то звать,
Где воли нет тебе той руки целовать,
Где воли нет мочить их теплыми слезами,
Держать в своих руках; любезну зреть очами,
И, воздыхаючи, читать в ее очах,
В поступках всех ее, во всех ее речах,
Что в истину ль она в любви к тебе пылает,
Участно ль сердце в том, иль только лишь прельщает.
О, счастлив человек! Стократно ты счастлив,
Коль зришь любезныя нутрь сéрдца ты раскрыв!
И видишь, что ты в нем один лишь обитаешь,
Не тщетно что горишь, не тщетно воздыхаешь.
Се к вам, любовники, склоняю речь я днесь,
Вам ведом и любви, и муки жар сей весь;
Сей жар, несчастливых что мукой столь терзает,
А счастливых что столь в утехах погружает,
Чем сделалося то, что в всю ночь и в весь день
Стоит всё пред очми одна любезна тень?
Чему то приписать, и где сыскать причину,
Что выбрал ты любить не сто, но лишь едину?
О, истина есть то! хоть тьмы красот блестят,
Но те все красоты собою не прельстят.
Прелестна лишь одна из всех живет красою,
Она весь свет тогда в ничто вменит собою.
Противно всё тебе, о всём не хочешь мнить,
Но хочешь лишь с одним любезным зраком быть.
Не так мил светлый день, как Феб свой луч являет,
И в вечер как звезда Венеры возблистает,
Как мил тебе тот час, где ты любезну зришь, —
Ты в оный час рожден во свете снова, мнишь.
Весь стан ее, власы, лице, прекрасна шея
В восторг ведут тебя, и зришь ты всё то млея.
Белейших нежных рук чем больше зрак раскрыт,
Тем больше к оным зря, твоя вся кровь кипит;

И ноги стройные где статно столь ступают,
Следы ее тебе любезными являют.
Прекрасные слова, прекрасная столь речь
Внутрь сердца все идут, хотят и слезы течь,
Которых воздержать пристойности вещают,
Но падают из глаз и щеки окропляют.
О вы, любовники! Каков вам оный час,
Как встретятся глаза со зреньем милых глаз?
Которые с трудом зрак милой оставляют,
Как зеркало они страсть сердца обличают!
Когда без страсти кто взирает на людей,
В естественности тут бывает кровь своей;
Поступки вольны тут, и речь и мысль свободны;
Но влюбленных сердец те действа неподобны.
Узря любезной зрак, придет в волненье кровь,
И жар произведет в любовниках любовь.
Кровь, зря любезну кровь, с ней вместе быть желает,
И тем из сердца вдруг в лице и в взор вступает.
Биется сердце тем и должно есть страдать,
Что крепость вся его вдруг хочет оставлять;
Но грудь вздымается и сердцу помогает;
Но жизни дух влюблен, не ту он помощь чает.
О сила, страсть любви, превыше всех ты сил!
Не можно, чтобы кто в любви умерен был.
И кто себя в любви умеренным являет,
Тот прямо не влюблен, но слыть лишь так желает.
Любовь есть точно огнь, и где он в двух горит,
Превыше силы всей он действие явит.
Как стухнута свеща другой свещи огнь тянет
И сила в ней огня без помощи престанет,
Так точно огнь любви быть ищет съединен,
Коль есть препятство в том, огнь будет изнурен.
Любовник, коль претим, столь мукою страдает,
Что часто, муки той не снесши, умирает.
Все ль знают, что любовь такое в свете есть?
Поверьте, что не все: одни то мнят быть лесть,
Другие страстию позорной называют,
Другие паки то всей честью почитают,
Одни ее зовут весельем больше всех,
Другие паки чтут погибелью утех;
Но я скажу, что те любовь одни лишь знают,
Которые душей и сердцем в ней страдают.

ПЕСНЬ VII

Ад — темные места, жилище сил подземных,
Не знают, что там свет, и нет часов там дневных.
Всё вечная там ночь, не видят там планет,
Не видят там луны, печальный там лишь свет,
От множества лампад, возжженных пред Плутоном;
Печальны тени там шатаются пред троном.
Без всяких все одежд, не так, как в гроб кладут,
Снисшедши души в ад, нарядов не берут.
Из мертвых лишь костей устроен трон Плутона,
В ад сходят тьма живых; но выйти им — препона.
Цербер терзает их, лишь слышит дух живой,
А кости их на трон сбираются святой.
Премного окружен Плутонов трон столпами,
Столпы увешаны все мертвыми костями.
И черный балдахин в приличных всех местах
Унизан в множестве всё в мертвых же главах.
Плутона зрят тут все в порфире облеченна,
Одежда мщения в крови вся омоченна.
Ад сводами покрыт над множеством пещер,
Пещеры темны все, и все суть разных мер.
Но в тех, что столь вдали стоят от адска трона,
Там ощупом идут, идя до Флегетона.
Река сия горит от серных сил своих;
Четыре там реки́ несчастных таковых.
Там горький Ахерон, Коцит есть полн слезами,
Стикс с ужасом есть чтим и самыми богами.
Пространство всех пещер подобно царств странам,
А своды темные подобны небесам.
Разверстия пещер с обширными дугами
Тут служат для пути у всех пещер вратами.
Смешенна с тихостью глубока темнота
Плачевными чинит вход в всякие врата.
В ад много снисходя, вон паки возвращались,
Но те небесною рукою провождались.
Таков был Геркулес, он волей в ад снисшел,
Алцесту паки он из ада в свет извел.
Поступок дружеский! О, как мой ум пленяет!
Для друга идет в ад и ужас презирает!
Поистине пример Орфею сей был льстив,
Любовью он водим был также в аде жив.

Он Эвридицию узреть там уповает;
Не силою руки себя он вооружает,
Но жалостью любви, и чрез плачевный стон
Был тронут страшный ад и с оным сам Плутон.
Взяв скрыпку он свою, тон жалкий устрояет,
И строя скрыпку, он к слезам уж ад склоняет.
Потом, когда играть подобно стал слезам,
Из глаз его ручьи лилися по щекам.
Лилися и у всех, на жалость ту взирая,
Весь слушал ад его ту песню, воздыхая.
Взяв за руку Плутон царицу адских сил,
На трон ее к себе он ближе посадил.
Он первый раз в глаза к ней с жалостью взирает,
И, слезы отирав, к супруге так вещает:
«Вот весь пример любви; всем должно так любить;
Стенящему тотчас велите возвратить
Прекрасную его и верную супругу.
Но я к тебе, Орфей, вещаю так, как к другу, —
Речет к нему Плутон, — поди ты с нею в свет,
Во аде не страшись себе никоих бед,
Весь тронут ад тобой, и всем ты жалок стался,
Но надо, чтоб в пути ты к той не обращался,
Которую во ад снисшел ты получить;
Вослед будет она шагов твоих иттить,
А если обратишь к ней влюбленные очи,
Вторично ввергнешь ты ее в жизнь вечной ночи;
Нет власти в том моей, так ей быть рок судил,
Но я б того желал, чтоб ты послушен был».
Вот проба; сколь легко не зреть того, что мило!
Вещание к нему Плутона как ни было;
Пред самым входом в свет, лишь в день ступить ногой,
Забыл он весь приказ, воззрел к своей драгой.
Но только лишь он к ней в любови обратился,
Жестоким роком он опять ее лишился;
Супруга, от него летя как легка тень,
В слезах лиясь, рекла: «Прости ввек паки, день,
Прости, любезный мой, я в том не сомневаюсь,
Что верен мне ты ввек, хоть я тебя лишаюсь».
Стесненный горестью и бедный столь Орфей,
Вторично что лишен любезныя своей,
В последние себя он тем лишь утешает —
Огромный мозолей он ей сооружает;

На нем он надписал своею сам рукой:
«О ты, с которою остался ввек дух мой,
Кто смертный в ад сойдет, от всех уразумеешь,
Что ты хоть не жива, но всем ты мной владеешь.
А как оставлю я несносный свет и злой,
Во аде съединен опять буду с тобой».
Две верные любви нам смерть здесь представляет.
Орфея в верности и ад не устрашает.
Алцесты нежна страсть похвальна столько есть,
Что верным всем любвям она ввек будет честь.
Адмет Фересский царь супруг был сей Алцесте,
Плененные в любви душею жили вместе.
Но бедствием как впал во злу болезнь Адмет,
Алцеста в храм в слезах и горести идет.
Оракула она, рыдая, вопрошает,
Какую рок судьбу супругу устрояет?
Оракул, к ней склонясь, слова сии речет, —
Но что то за слова! О, у́жасный ответ! —
Что если ляжет в гроб сама она Адмета,
Супруг пребудет жив, она сойдет лишь с света.
Достойная любви красавица сия
На жертву принесла в тот самый час себя.
Но к счастию царя, в тот самый же злой час,
Алцесты нежна жизнь как злой прияла раз
От страшного ножа, и ад ее взимает, —
К Адмету Геркулес, друг верный, пребывает.
Услышав всю печаль несчастного столь дня,
Ничуть не устрашась геенны всей огня,
Снисходит он во ад, дубиной воруженный
И кожею лишь льва Нумидска покровенный.
Содро́гнулся весь ад, узря его впервой;
Плутона скипетр пал на землю костяной.
Страшилища все там попрятались в мгновенье,
И винные тем все прияли облегченье.
Никто ему впротив ни слова не речет,
Алцесту там нашел и вон ее ведет.
Один Цербер к нему лишь пасти разверзает,
Он взял его за хвост, из ада извлекает.
Любовники в любви таких же нежных мер,
Алцеста и Орфей да будет вам пример.
Я мог бы ад списать с пространным изъясненьем,
Но горько будет тем, кто винны согрешеньем.

Там многие свой вид мук в тысящах узрят,
Зажи́во злостным там готовят мук снаряд.
Заране им места́ там всем определяют,
И к фуриям презлым во список их включают.
Лишь со́йдут души в ад, нет спросу ни о чем,
Их гонят фурии на муку всех бичем.
А то неправда есть, что три царя ад судят;
Три оные царя лишь фуриев злых будят.
Как в лености они не мучат ад никак,
За ними Радамант, Минос зрит и Эак.
И фуриев они злых также принуждают,
Что к злостному труду бичем же их гоняют.
Там есть река Лете́, кто пьет ее воды́,
Забудет прежни тот заботы и труды,
В которых, быв живой, он столько упражнялся,
Там надо, чтоб всяк дух и мыслей всех лишался.
Но всем любовникам власть есть тех вод не пить,
И воля им дана по смерти то любить,
Тот зрак, которым дух был в свете утешаем,
Им в памяти держать всегда есть позволяем.
Где мучат души, то злым Тартаром зовут,
Горящих волны вод вокруг его текут;
И там скупой Харон в жизнь злую столь и гадку
Всех возит на плоту из пакостного взятку.
Там чу́довищ есть тьма в преу́жасных лица́х,
И духов, что собой чинят столь сильный страх.
Там Парки жизнь прядут, но то не рассуждая,
Что часто жизнь кратят, нить важну прерывая.
И множество там есть отменно знатных мук,
Которых коль писать, наделаешь лишь скук.
Я нежным всем сердцам страх делать не намерен,
Любовник нежный всяк по смерти будет верен.
Однако есть поля́ там праведным душам,
Которо есть житье всем в нежности любвям:
Покрыты те поля с хрустальным дном морями,
И солнце светит сквозь своими к ним лучами.
Как снидет Феб в моря, как ночь у нас живет,
Он к счастливым душам и больше свет лиет.
Пререзаны луга млечными там реками,
И множество древес с приятными плодами.
Из оных рек нектар кто в жажду почерпнет,
Вся сладость не пример, какую испиет.

Се там любовники, объявшися руками,
Довольны столь лежат под райскими древами.
Хоть тела уж они в час смерти лишены,
Но верных всех сердец там души спряжены.

⟨1771⟩

250. ОДА КРАСАВИЦЕ

Светляе солнце среди лета,
О разум, мысльми озарись.
Сбери красы все, дух мой, с света,
И с ними к музам вознесись;
Сколь можешь, столь потщись представить
Приятность, нежность, юность лет.
Внемли мою песнь жарку, свет!
Красавицу хочу прославить.

Союзняй лира соглашает
На песнь сию свой стройный звон.
Согласняй ум стихи слагает.
В жару всхожу на Геликон;
Оттуда зрю на всё собранье
Красот в красавице одной;
Восторг объял весь разум мой,
Приятное столь зря созданье!

Твой знатный род я петь не буду,
Довольно ты знатна красой,
Краса твоя гремит повсюду
И возбуждает петь дух мой;
Краса приятней всяка рода,
И драгоценней ее нет,
Пленяется тобою свет
И вся влюбляется природа.

Глаза твои прелестна цвета,
Небесных звезд огнем горят;
И средь всего все звезды света
Не так еще огнем блестят.
Куда приятный взор склоняешь,
Везде твой взор победы жнет.

О, где, скажи ты, смертный тот,
Себя что ею не пленяешь!

Чело ни низко, ни высоко,
И нос приятно сотворен,
Чтоб видеть сердце нежестоко,
Свирепством дух не заражен.
В чертах чела столь разум зрится,
Чтоб, кто тебя впервые зрел,
Тот правду бы мою нашел,
Что в том не можно ошибиться.

Прелестный рот, прекрасны губы,
Натуры хитрой лучша вещь,
Как кость слонова, белы зубы, —
Я рад бы их красу изрещь;
Но можно ль прямо то прославить,
Что хитрой живопись рукой,
Сложа в искусство труд весь свой,
Не может лучше сих составить.

Возьми сокровища морския,
Кораль в востоке и жемчуг, —
Не зрю я в них красы такия,
Каких в тебе тьму вижу вдруг.
Не столь кораль есть в цвете алый,
Сколь губ твоих прекрасен цвет,
Красы в жемчу́ге столько нет,
Прекрасных зуб пример сей малый.

Но что прекрасней в свете зрится,
Как цвет в красе твоей во всей,
Тут роза в цвете постыдится,
Лилея в белизне своей.
Где взять могу пример нелживо,
Чтоб цвет лица всего зреть дать,
Одной тебе то льзя сказать:
Лице твое есть прямо живо.

Коль, взяв слонову кость белейшу,
Тончайшим цветом роз покрыть,

То можно плоть твою нежнейшу
В красе себе изобразить.
Хоть сколь Борей во мразе строгом
Румянец тщился б истребить,
Но то не может повредить,
Что есть в лице в числе во многом.

Не столь прелестно солнце в лете,
В лучах его нет столь красы,
Как сколь в твоем прекрасном цвете
Прекрасны брови и власы.
Хоть их красу не умножаешь
Искусством от земель чуждых,
Прекрасна ты в власах своих,
Хоть их никак не убираешь.

Когда вкруг их влюбясь летает
Зефир на крылышках своих,
Целует их и возвевает,
Сколь зреть тогда прелестно их.
Власы то нежно в воздух вьются,
То кроют стройный стан собой;
О, сколь счастлив зефир тобой:
Ласкать ему красы даются!

Высока грудь и нежна шея,
Прелестный зрак для смертных глаз,
Что в свете есть всего белея,
Где взять пример могу для вас!
Коль сад измыслен в Геспериде,
Златы где яблоки росли,
То можно ль, там чтоб не нашли
Тот нежный плод в сребренном виде.

Таких плодов два грудь нам кажет,
От нас одни верхи не скрыв;
Союзом их любовь хоть вяжет,
Но делает им грудь разрыв.
Плоды, чрез твердость разделяясь,
То нежно вверх дышат вздымаясь,
То книзу паки опустясь,
Но можно ль петь то, не смущаясь.

Безмерну нежность белых рук
Я с тем могу лишь соравнить,
Как Купидон взимает лук,
Чтоб нежно им сердца разить,
То зрим его с твоими равны,
И нежны, полны, белы так,
Со вкусом их целует всяк,
В красе толико руки славны.

Коль на ноги твои взираю,
На легкость и на стройность их,
Дианы ноги вображаю,
Когда на береге сидит
И, в чистый ключ спустив их, моет.
Там ноги тонки зрим в струях,
Но круглы, полны в их икрах,
Прозрачность вод красу не кроет.

О, если б за́веса не крыла
Бесчисленность твоих красот,
Моя бы песнь распространила
Всех прелестей безмерный счет.
Ревниво света поведенье,
Почто ввело красы те крыть,
Чем можно больше ум пленить
И разжигать всех смертных зренье?

Счастлив, о князь из Илиона!
Тогда как был ты в пастухах,
Как Паллас, Венус и Юнона
Представились в твоих очах,
Как ты желал, в том самом виде.
Ты тем лишь мог то рассудить,
Что боги не могли решить,
И Венус бы была в обиде.

Но если б к сим красам небесным,
Красавица, предстала ты,
Своим предметом ты прелестным
Затмила б всех их красоты.
Нелестный самый суд Париса

Не мог бы инако решить,
Как яблоко тебе вручить;
Но, муза, петь еще потщися.

Прекрасный столь твой стан и стройный
Дивиться принуждает всех.
Твой дух и нежный и спокойный
Веселья полон и утех.
Красавица! где ты сияешь,
В поступках вид столь знатен твой,
Что всех пленит умы собой;
Ты всех к почтенью привлекаешь.

Охота всех девиц к уборам
Коснуться не могла к тебе;
Являться любишь всем ты взорам
Всегда в природной красоте.
Не в камнях красотой блистаешь,
Не златом ты сердца пленишь,
Красой красы всех смертных тмишь,
Как солнце средь планет, сияешь.

Наряды столь к тебе пристали,
Чтоб ты желала лишь надеть.
Красу, какую лишь видали,
Ты можешь завсегда иметь.
Но ты наряд такой лишь любишь,
В котором нежность простоты
Блестит от силы красоты,
Ты всяк наряд собой сугубишь.

Но коль сказать тебе прямея,
Тебе нет в свете, что желать.
В поступках нет тебя нежнея,
Разумняй можно ль где сыскать.
Ты столько же в красе сияешь,
Сколь добродетельна в делах;
Прелестна столько ты в речах;
Сердца, как хочешь, обращаешь.

Приятну поступь ты имеешь,
Но принуждения в ней нет.

Речьми веселыми ты сеешь,
Но не обижен всяк живет.
В забаве ль время провождаешь,
Пристойность вся сохранена,
Но строгость вся истреблена,
Где добродетелью сияешь.

Твой ангельский столь нрав и тихой
Так тих, как есть весной зефир,
Трепещешь тут, где зришь нрав ли́хой,
И жалок твой всем образ сир.
Как бабочку страшит вид зверской
И ноет нежно сердце в ней,
Так в нежности ты есть своей,
Где нрав людей ты видишь дерзкой.

Коль видишь, бедно кто вздыхает,
И ты вздыхаешь вместе с ним;
И если кто в слезах рыдает,
Тут страждешь сердцем ты своим;
Текут из нежных глаз потоки;
Ты зреть не можешь всех печаль,
Чтоб то тебе душой не жаль:
Вот вам пример, сердца жестоки!

Любезный нрав всю тварь ласкает,
Но зверский нрав всю тварь страшит;
Жестокость всякий ощущает,
И в страхе от него бежит,
Но звери, к людям став привычны,
Уж злом опасны не живут,
Вслед с кротостью людей идут
И нрав бросают злообычный.

Красавицу вся тварь внимает,
Нрав ангельский есть щедр ко всем;
Она ко птичкам так вещает,
Дав волю им в дому своем:
«Я быть могу без ваша пенья,
Забава та вам грусть чинит,
Мне тварь жалка, когда сидит
Внутри жестока заключенья».

И зайчики, и тьма зверочков
Свободны все в поля идут;
Там птички, сидя средь кусточков,
Красавице хвалу поют;
И рыбы, внутрь сетей плескаясь,
Избавясь нежною рукой,
Сбираются к брегам толпой,
Являют радость, вверх бросаясь.

Вот нежный нрав сколь всё пленяет,
И сколь природе мил он всей;
Когда краса в садах гуляет,
Летят все птички сами к ней,
Своей к ней волей и́дут в руки,
Ее прекрасный зная нрав,
Что, в руки их она прияв,
Не сделает никоей муки.

Последним словом заключаю
К тебе, красавица моя,
Тебя прекраснее не знаю,
И быть не может, спорю я.
Когда б в век древний ты родилась,
Где здали храмы божествам,
Тебе создали бы в честь храм;
Богиней бы красы ты чтилась.

⟨1771⟩

251. МАДРИГАЛ

Как ранен в грудь елень стрелу с собою носит,
Стенаньем и очьми у всех отрады просит,
Из глаз текут ручьи и томный взор очей:
Картину жалости являет видеть всей.
Он к всем странам свой взор с страданьем обращает,
И кончить чем напасть, он средств не обретает.
То в рощи, то в поля с стрелою он бежит;
То в слабости он близ текущих вод лежит,
И взор на небеса подъемлет утомленный;
Нет помощи нигде, тут гибнет пораженный.
Как в бедстве человек пожаром обложен,
Зрит гибель пред очьми, отвсюда заключен.

Минутами конец свой в бедности считает,
И жаром столь стеснен, что чуть уже дыхает.
Вздымаясь грудь его от мук превыше сил,
Твердит ему то в ум: нельзя, чтоб жив ты был.
Распухнуты глаза, и губы запеченны,
И бледный сей весь зрак, где силы утомленны,
Слабеет; наконец валится умерщвлен.
В ком мука выше сил, не будет тот спасен.
Как нежный цвет в садах, засохнув, увядает,
Листочки и главу на землю опускает.
Ни солнце, ни зефир, ни нежная роса
Не могут то спасти, что смертна жнет коса.
В вид мертвый тот цветок вид нежный пременяет,
Валится тем с лозы, и вечно исчезает.
Как нежна бабочка, достигнув хладных дней,
Не знает, что зачать в сей бедности своей;
Зря солнечны лучи, спастися уповает, —
Но малы в осень дни, и солнце утекает.
Жестока темна ночь со хладною росой
Готовит бабочке конец ее презлой.
Уж крылышки она, что быстро так взвевала,
Как летом и весной с приятностью летала,
От хлада в слабости едва вздымает их,
И падает мертва, лишась всех сил своих.
Так точно человек любовию страдает,
Когда в мученьях он отрад не ощущает.

⟨1771⟩

252. ЭПИГРАММА К ПОПУГАЮ

Мой милый попугай, я сам стихи слагаю,
И мысли у себя всегда я почерпаю.
А ты чужим умком всё любишь щеголять,
Так кто из нас умняй — не трудно разобрать?
Жестоки зенщики ту шалость в стыд не ставят,
Коль денежек в чужих руках они убавят;
Я нищим таковым так денег бы всем дал,
Когда б лишь к грабежу тем средство я прервал.
Всего те зенщики отечеству вреднее;
А мысли взять других — всего, что есть, стыднее.

⟨1771⟩

Ф. Я. КОЗЕЛЬСКИЙ

Федор Яковлевич Козельский (1734—?), сын полтавского полкового есаула, на военной службе получил чин капитана, а затем, переехав в Петербург, стал протоколистом в Сенате. Дальнейшие обстоятельства его жизни неизвестны.

Литературную деятельность Козельский начал «Одой Екатерине на Новый 1764 год». Время самого интенсивного творчества Козельского — конец 1769 — начало 1770-х годов. Он пишет элегии, оды, послания, поэмы. В 1769 году появляется его первая трагедия «Пантея», позднее была напечатана другая трагедия Козельского — «Велесана» (1778).

В журналах Н. И. Новикова и Ф. А. Эмина первая трагедия Козельского была встречена враждебно. В 12-м листе «Трутня» за 1769 год было сказано, что трагедию Козельского, «недавно напечатанную, полезно читать только тому, кто принимал рвотное лекарство и оно не действовало».

В 17-м листе «Трутня» были помещены стихи, автор которых защищает Новикова от недовольных его критикой Лукина и Козельского:

«Разумный вертопрах» [1] с «Пантеею» свидетель,
Какой им дар писать парнасской дал владетель:
Не думают они, что всех тем веселят,
И забывают то, что музы не велят
Несмысленным творцам врать мерзкими стихами.

В своем «Опыте словаря» Новиков, более сдержанно по форме, по существу повторил эту критику Козельского, похвалил его оды и поэму, но порицал трагедию и элегии: «Писал много стихов, из ко-

---

[1] Комедия В. И. Лукина.

торых напечатаны «Собрание елегий» и трагедия «Пантея», но как первые, так и последняя не весьма удачны. Напротив того, его две оды имеют в себе много хорошего, а поэма «Незлобивая жизнь» от многих и похвалу заслужила».[1]

После выхода в 1778 году «Сочинений» Козельского он снова стал предметом внимания и насмешек враждебно настроенных литераторов. В. В. Капнист в «Сатире первой» (1780) поместил Козельского (названного Котельским) в перечень «несмысленных и мерзких рифмотворцев, Слагателей вранья и сущих умоборцев», то есть повторил слова критиков «Трутня». И. Богданович в «Душеньке» (1783) посвятил несколько строк «Пантее» в перечне книг, прочитанных его героиней во дворце Амура:

Нечаянно же ей во оной книг громаде
Одну трагедию случилось развернуть, —
Писатель тщился там слезами всех тронýть,
И там любовница в печальнейшем наряде,
Не зная, что сказать, кричала часто: «ах!».
Но чем и как в бедах
Ее вершился страх?
Она, сказав «люблю», бежала из покоя
И ахать одного оставила героя.

Богданович был неточен. Подобной сцены в «Пантее» нет, но восклицанием «ах!» драматург действительно злоупотреблял. На протяжении трагедии оно встречается более тридцати раз в репликах почти всех ее персонажей, особенно главной героини. Но не частота употребления «ах!» была главной причиной вражды к Козельскому, а привнесенные им в трагедию элементы слезной драмы, поскольку в «Пантее» показан только любовный конфликт и совершенно отсутствует обязательная в трагедиях Сумарокова этико-политическая проблематика.

Литературная судьба Козельского характерна для тех писателей, которые сознавали необходимость новых путей, но не обладали достаточной творческой силой, чтобы преодолеть инерцию прочно утвердившейся художественно-эстетической системы. Поэтому они не могли предложить новых художественных решений и довольствовались лишь частичными отступлениями, дающими основание сторонникам господствующего направления находить в их работе только «ошибки» и «неправильности».

---

[1] Н. И. Новиков, Избр. соч., М.—Л., 1951, с. 313.

253—257. ⟨*ИЗ ЦИКЛА «ЭЛЕГИИ»*⟩

ЭЛЕГИЯ I

Свершилось то со мной (о, лютых бед начало!),
Что мысли вещие и сердце предвещало.
Предвестие, в душе подъемлющее брань,
Сбылось, что принесу я злой печали дань,
Что дорого куплю сладчайшие утехи,
Слезами заплачу любви нежнейшей смехи.
Внемли печаль мою, сокровище мое!
Какую нанесло отсутствие твое,
Какие я терплю несносные здесь муки,
Как время провожу мучительной разлуки.
Ничто не веселит, противен день и свет,
Противна жизнь моя; ни в чем отрады нет.
Ничто не веселит, ни место то прекрасно,
Где веселился я с тобою повсечасно,
Ни чистых вод струи, ниже сей пышный град,
Ни рощи, ни сады не принесут отрад.
Сколь зрелище сих мест прекрасно и забавно,
Столь без тебя оно противно и не нравно:
Забавы вместо мне тоски наводят тень,
Печали кажут ночь, веселья кроют день.
И сердце больше тем смущенное терзают,
Коль ласки те на мысль и игры возвращают,
Которые имел, любезная, с тобой,
Питавшие и страсть и дух плененный мой.
А ныне лишь тоску и скуку мне наводят,
Коль тщетно нежности твои на мысль приводят.
Пернатые, весны почувствовав приход,
Среди прекрасных рощ любви вкушают плод;
А я, увы! своей возлюбленной лишаюсь!
И, зря на их любовь, стеню и сокрушаюсь!..
Пресладкие часы!.. Приятные места!
Тут зрима мной была любезна красота!
Но, ах! К чему сие бесплодно вспоминанье!
Забыть прелестный взор и истребить мечтанье —
То средство, чтоб болезнь сердечну исцелить...
Но средства сил мне нет сего употребить!
Когда б приятности те были мной забвенны,

То были б лютые и раны исцеленны,
Которые в твоей разлуке я терплю;
Но я тебя всегда и помню и люблю,
И лютой тем тоски моей не скончеваю.
Когда несчастный я тебя, мой свет, теряю,
Теряю я покой, теряю век драгой,
Забавы трачу все любезные с тобой.
Я часто, скорбию безмерной утомленный,
Взвожу на небо взор, слезами орошенный,
Неизмериму зрю там бездну высоты.
Так нет конца моей прискорбной тяготы!..
Конца печали нет! Мне больше жить не можно,
Коль должно мне тебя лишиться непреложно.
Несчастная любовь!.. Любезная, отдай
Обратно мне себя. Препятства побеждай,
Поссорься за меня с домашними своими.
Скажи, что жить тебе назначено не с ними.

ЭЛЕГИЯ VI

Приближился уже разлуки час моей,
И грозно предстоит страдание мне с ней;
Мне слезы проливать уж время наступило,
И видимым меня несчастьем устрашило.
Настал печальный день расстаться мне с драгой,
Что тьмы ужасных бед приводит за собой.
В полунощи луна не так уже светила,
Денница мне сей день не светло озарила,
В полудни солнце уж не тот дало нам свет,
Каким оно у нас блистало много лет:
Не дышут зéфиры в лугах моих приятны,
Уж стали времена забавные превратны.
Признáки все одни, куда ни обращусь,
Что за несчастну жизнь судьбою отдаюсь.
Среди прекрасных мест, цветами испрещренных,
Где тесный был союз сердец соединенных,
Судьбою я влекусь в угрюмые места,
Где всё несносно мне, где жизнь уже не та,
Где грусть лишь и печаль и скуки обитают,
И где веселых дней и нежностей не знают.

Туда готовый мне корабль уже стоял,
Туда спешил я сам, хотя и не желал.
Не раз предпринимал в отчаяньи глубоком
Погребсть себя в водах я на море широком;
Иль, с брегу не сходя, жестоку смерть принять
И тем в разлуке жизнь несносную скончать.
Жестокая любовь, к чему ты не приводишь!
Колик их зол и бед ты смертным не наводишь!
Как можно было снесть мучительный тот час,
Когда сказала мне: «Прости в последний раз!» —
Любезная моя, кем грудь моя дыхала,
И что мне век драгой собою даровала,
Которую всегда я пламенно любил,
И жизнь мою всю ей на жертву посвятил.
«Прощай, мой свет, прощай», — сказала мне, стеная,
Слезами залилась, в печали умирая.
Казалось, что река из глаз ее текла,
Как мне она сто раз «прощай, мой свет» рекла!
Засмякнутыми мне лобзанье дав устами,
Старалась удержать слабейшими руками.
Еще промолвить мне един желала раз,
Но слезы потекли, как град, из смутных глаз.
Лишь стон ее с моим вздыханием встречался
И дух ее моим печальным возмущался,
Сердечной жалости не мог явить в словах,
Но тщился изъяснить ту в горьких лишь слезах.
Тут корабельщик в путь невольный понуждает,
А нежная любовь меня не отпущает;
И тщетно силится удерживать меня.
Отсрочивал пять раз я срок того же дня.
«Прощай», сказав сто крат, к любезной возвращался,
И долго говорил... в последние прощался!..
Она, ударивши в свою прекрасну грудь,
Промолвила: «Меня, любезный, не забудь!»
Желала говорить и более со мною,
Но смертною слова прервалися тоскою.
А как расстался я, как на корабль взошел,
И сам ли я отстал, иль кто меня отвел,
Что был без памяти, пересказать не можно,
Лишь в мысли я теперь имею то неложно,
Что ночь печальная закрыла горизонт,
И стал уж возмущен Бореем гневным понт;

Среди ужасных волн от севера надменных
И в ярости своей до облак вознесенных,
Хотя товарищи в хладнеющих сердцах
Обыкновенный всем воображают страх,
Но я с весельем жду погибели ужасной,
И смерти сам хощу, лишившися прекрасной,
В пучине погасить и жизнь и нежну страсть,
И прекратить мою лютейшую напасть.

ЭЛЕГИЯ XVI

Когда тех сладких дум приходит вображенье,
И всех тех нежностей приятных возвращенье,
Прекрасная! как я любовию твоей
Желанье услаждал всяк час души моей;
Как я в веселье жил с тобою неразлучно
И жизнь пресладкую я вел благополучно;
Как страстнейший мой взор твоим я насыщал,
И в мыслях все черты прекрасны описал,
На коих и теперь те суще начертанны
И в сердце нежности твои навек влиянны.
О, как терзается во мне смущенный дух,
Лишась веселия того и счастья вдруг,
Что лютою теперь разлукой истребленно,
Как бурным вихрем всё навеки похищенно.
О, жизнь мучительна! О, жизнь, что смерти зляй!
О, море лютых мук! Бедам не виден край!
О, рок, что разорвал союз сердец ты нежных!
О, век, что прелестей наполнен ненадежных!
Уже сокровище драгое потерял,
Которым дни мои всечасно услаждал,
И, видя всякий час прекрасну пред собою,
Приятный разговор ведущую со мною,
Целующу меня, ласкающу всегда,
Каким весельем был я восхищен тогда!
А ныне тех забав и нежностей лишенны
Любезнейших тех дней минуты сокровенны.
Открылись смутные и горестные дни,
И мрачная печаль, и скуки лишь одни,
В которых до конца мой томный дух крушится,
И напоенна мысль любовию мутится;

Грусть сердце и тоску в смущенны мысли шлет,
А взор печальный мой прегорьки слезы льет.
Такие я несу в разлуке сей удары,
Как нежна горлица, лишась любезной пары,
Крушится и везде летает по лесам,
Тоскует и грустит, мятется по кустам,
В пустыни страшные полет свой обращает,
Любезныя ища, там нежно воздыхает,
И вздохи отдает ее угрюмый лес;
Немало облетит в тоске своей древес,
Нередко злачные их ветви пременяя,
И бьется, он свою любезную теряя.
Так я ища тебя, хожу по тем местам,
Которые пред тем приятны были нам;
Отраду ль получу я в тех местах какую? —
Нет. Только грусть мою умножу я презлую.
Коль вспомню в жалости забав приятность тех,
Как я покоился с тобой среди утех.
Я часто от тоски места переменяю,
Прекрасная! тебя найти как будто чаю.
Непроходимые места я прохожу,
Хоть страсть сулит найти тебя, — не нахожу.
И зрю одумавшись, что льстит мечта пустая,
Когда уже не здесь живет моя драгая.
Как стоны все мои к тебе, мой свет, дойдут,
Как если тихие зефиры донесут,
Как мучуся и как в разлуке я страдаю,
И как в жестокой сей я грусти умираю,
Любезная! оплачь мою сурову часть,
И знай, что я твою всегда питаю страсть.
О, сон! О, сладкий сон! покрой слезящи очи!
И да продлится мрак моей печальной ночи!
Дабы сложить на час сердечну тяготу,
И чтоб забыть во сне мне льстящую мечту.
Но сердцем овладел толь страсти огнь жестокий,
Что лютой не смягчит тоски и сон глубокий;
И в нем и в бдении даю мой тяжкий стон.
Или меня спокой, спокой, о, смертный сон!

ЭЛЕГИЯ XXI

Рассудок помрачив во мне, слепая страсть,
Вотще душе моей сулила сладку часть.
Прельстившись, не прозреть несклонности упорной,
Ниже твоей познать усмешки мог презорной.
Я льстился, что, тебя, прекрасная, любя,
Взаимно сам любим я буду от тебя, —
Но тщетны мысли все и всуе мне манили,
Лишь сердце в вечную неволю заключили.
Какая может быть лютее сердцу казнь,
Как полному любви отказана приязнь?
Чем больше лютых ран, мой свет, мне причиняешь,
Тем в муке на меня спокойнее взираешь,
Иль временем и то я принужден терпеть,
Что в грусти на меня не хочешь и воззреть;
И жалости о мне не чувствуешь нимало;
Усердие мое тебе противно стало.
Любезная! страдать я осужден тобой,
И кажешь мне уже к печали знак такой,
Что время моего покою невозвратно;
И сколько на тебя я ни гляжу приятно,
То чувствую я столь суровости в тебе,
Что я тебе дать знать не смею о себе,
И на любовь мою и склонности стократны
Ты отсылаешь мне лишь взоры неприятны;
Ответствуешь на всё ты гордостью одной,
Жестоко ты всегда обходишься со мной.
Коль путь любви закрыт и сердце толь упорно,
Яви приятство мне свое хотя притворно.
По крайней мере ты возьми забаву в том,
Что тщетным ты моим утешишься трудом.
Увы! Коль дороги твои мне и обманы!
Не хочешь ты моей ниже коснуться раны!
Не может у тебя несчастный испросить,
Чтоб ты мне снизошла хотя в любви польстить.
Ужель ты потерять жалеешь и минуты,
Себе в веселие, а мне в мученья люты?
Колико можешь ты досады причинять
И тем самим, что мне не хочешь досаждать!
Храни и предоставь ты все сии досады
Не мне, но льстивому злодею для награды.

Послужит от тебя мне в казнь и то одно,
Что без успеха я люблю тебя давно.
Я от тебя, мой свет, желаю не инова,
Как только твоего любезного мне слова,
Счастливейших минут и радостнейших нет,
Как если скажешь мне: «Люблю тебя, мой свет!»

ЭЛЕГИЯ XXV

Желание мое к концу уже пришло:
Отраду сладких чувств мне счастье принесло.
Старание мое я зрю небесполезно,
Уже сокровище я получил любезно.
В каком восторге был я в тот дражайший час!
Когда услышал я приятнейший сей глас:
«Мой свет, се отдаю тебе я сердце верно,
Ты только лишь меня люби нелицемерно».
Когда к ушам моим сей голос прилетел,
Взыграла кровь во мне, и в сердце жар вскипел.
Восчувствовал мой дух веселье несказанно,
Воображала мысль мне радость непрестанно.
Тут мыслей я не мог рассеянных собрать,
Не доставало слов любезной отвечать;
Спешил обнять ее и целовал стократно
Прекрасное лице, прелестно и приятно.
Тут речи были мне ненужны и слова,
Что видима была ей радость такова
В играющих глазах и пляшущих всечасно,
Всё было на лице, всё можно видеть ясно.
Где вместо языка глаза служили мне,
О радости моей давали знать оне,
Мгновения сего толь нежность несказанна,
Что нет пера, каким быть может начертанна.
Не можно изъяснить в час вожделенный он,
Забвение ль, иль сласть, или сладчайший сон,
В котором мысли, дух и сердце утопало,
Опомнившись потом, так сладость ощущало,
Как путник улучит прохладу и покой,
В несносные жары томясь и в летний зной,
Под тенью древ густых, где зéфир тихий веет,
Где сладко по трудах прибежище имеет, —

И дух и члены вдруг спокоит он свои,
Где близ его журчат прохладные ручьи.
Натура, на его томление склоняясь,
С ручьями, с тенью древ и с ветром соглашаясь,
Во утомленный дух его прохладу льет;
Сон сладкий наводя ему, ключ шумный бьет.
Взвевает там власы его зефир смиренный,
Лежит в густой траве, натурой усыпленный,
И тень прохладная лице его студит,
Спокойный шум древес уснуть ему велит.
Коль сладко путник там уставши почивает,
Толь нежно сердце мне драгая услаждает!
Отрады для меня на свете большей нет,
И се то роскошью в подсолнечной слывет.

⟨1769⟩

258. НЕЗЛОБИВАЯ ЖИЗНЬ

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Не пастуха пою, ходяща за стадами,
Пестряща при водах овец чужих жезлами,
Что братне приобрел обманом старшинство,
Что матери своей чрез хитро мастерство
Похитил отчее дражайшее наследство.
(Обман и в пастухах коварство, злость и бедство!)
Один сокровища лишен чрез простоту,
Другой счастливым стал чрез хитру остроту.
Невинну жизнь пою под тенью древ густою,
Что собственной всегда блаженна простотою,
Где голубь с ястребом безбедно в лес летит,
И где с свирепым львом смиренный агнец спит.

Диана! Я к твоей державе прибегаю,
Нере́ид, нимф, дриад к напеву призываю:
О фавны дикие! О хор лесных сатир!
Откройте мне места, где век живет зефир.
Богатство покажи свое, прекрасна Флора,
Как ро́су льет тебе багряная Аврора;
Помона, не лиши желанья уст моих

Драгие сладости вкусить плодов твоих,
Любезна красота приятного Сильвана!
Предстань глазам моим; позволь, позволь, Диана!
Тебя пою, твою невинну простоту:
Открой сокровище, богатство, красоту,
Что зависть алчная вовеки не снедает
И ухищренный ков из рук не похищает.
Позволь войти в твои дремучие леса,
Где вечная весна, где вечная краса:
Пустыни темные, что прочиим ужасны,
А мне коль веселы, приятны и прекрасны!
Убежище от бед, безмолвная страна:
В вас безмятежна жизнь, спокойство, тишина.
Безвинная любовь, незлобная забава,
Где лес един шумит и где немеет Слава.

В веселом обществе несчастный жил Дикон,
Но от забав градских вседневно множил стон:
Он урожденный был от знатныя породы,
И был во обществе участник той свободы,
Что пользуются все высоки племена,
Но уж давно прошли златые времена.
От предков тех и сам он вел свое колено,
Что съели в яблоке зло древле сокровенно;
Лукавого тем вкус узнали и добра,
Узрели злата свет и красоту сребра;
В невежестве своем остаться не хотели,
Но пагубную страсть к познанью возымели.
Иль сами естество оставили в саду,
Или Натура их изгнала за вражду.
Блаженны, если бы невеждами остались,
С собой и с естеством когда б не разделялись.

Дикон и обществом и счастием гоним,
Хоть всё имел, за что достоин быть любим;
Велико в свете зрел сей муж несовершенство,
И можно ль на земли, он мнил, сыскать блаженство?
Со злобною судьбой он долго вел борьбу,
И в Гимне испытать в последни мнил судьбу.
В Прианну знатныя породы он влюбился,
Но от Иридиных оков не свободился.

Хоть тягость ощущал от сих оков Дикон,
Но прежде в грудь ее впустил заразы он.
Несклонности его Ирида примечая,
К Прианне ревностью, к нему любовью тая,
Вспалила жар в себе и гнева и любви,
Таила многи дни в волшебной злость крови.
(Что может быть жены для смертного миляе?
Что ухищреннее, опаснее и зляе?)
Прианну он не зря, от грусти умирал,
А от Иридина свидания страдал;
Страдал и убегал, как та его искала,
И взор свой отвращал, когда она метала.
Чем больше множил он к Прианне страстный жар,
Тем паче в той острил отмщения удар.
Она вослед за ним ходила многократно,
И видя, что ее свиданье неприятно,
Страдает, мучится, питает тщетну страсть,
В коварном сердце им готовит злу напасть.
Не знает и Дикон, не знает и Прианна,
Что обратится в плач им радость толь желанна.
Безвинна простота! Несчастная любовь!..
Не знают обое, какой кует им ков.

С Прианною имев всечасную забаву,
В прекрасный день пошел с ней в рощу он кудряву,
Целуя, нежную Прианну обнимал,
И Гимном он ее так, как себя ласкал.
Он говорил, стократ любезную лобзая:
«О свет моих очей! Прианна дорогая!
Коль вожделен тот день, и коль пресладкий час,
Который съединит в любви навеки нас!
Уже дражайшее то время наступает,
Которо счастием жизнь нашу увенчает.
О время, ускори! О время, поспеши!
И страстны напитай желания души!..»
Ирида, зная то искусством чародейства,
Ярясь от ревности, коварства и злодейства,
В то время самое закралася в кустах,
Как нежности все ей он изъяснял в словах;
Подслушала, и так злясь в ревности сказала:
«Чего я от него толь долго ожидала?
Доколе буду я неверному терпеть?

Соперницу мою доколе буду зреть
В объятиях драгих неверного сидящу,
И зрящу на меня с ругательством стенящу?
Почто из ада я фурий не изведу?
Что медлю поразить? Чего толь долго жду?
Почто Прозе́рпину к себе не призываю?
И адских челюстей для них не отверзаю?
Отверзу скоро им престрашный Ахеронт!
Уж скоро зашумит кипящий Флегетонт;
Я мраком солнца свет и очи их покрою,
День в ночь переменю и окружу их тьмою.
Возможно ли от них сносить толикий смех?
И быть свидетелем пресладких их утех?
И суетно любя, терзать свою утробу?
Вместо Ги́мена, я поведу их к гробу,
Вместо, чтоб идти с весельем к алтарям,
Пойдут бледнеющи к погибельным вратам,
И если веселясь, взойдут в чертоги брачны,
Не узрят радости, но снийдут в Тартар мрачный;
И брачные свещи послужат к гробу им.
Иль если захочу я способом иным,
Конечно отплачу несносную обиду,
Узнают, наконец, разгневанну Ириду.
И А́тис презирал Цибеллы страстный жар,
Но со Агдисой он почувствовал удар.
Я то же учиню с бесчувственным Диконом,
Чтоб равным мучилась со мной и та уроном.
Но мало для нее отмщения сего,
Устрою что ни есть для ней, как для него».

Такими в ревности словами угрожала,
И страхом рощу всю ужасным всколебала.
Пошел повсюду шум, вихрь бурный, странный вой,
Угрюмый рев и треск, и мрак навис густой.
Ирида яростью отчаянной кипела,
Дикон вострепетал, Прианна побледнела,
Лишилась памяти и нежных чувств своих,
Последний долг дала ему в словах таких:
«Начто было вступать в толь страшные союзы?
Начто бы налагать сии ужасны узы?
Любезный, иль не знал ты чародейки сей?

Погибла я и ты, пропало всё от ней!
На то ли я в тебя, несчастная, влюбилась,
Чтоб жертвой лютости сей львицы учинилась?
Ах, как несчастна я! Почто, любезный мой,
Склонился ты в любовь сей чародейки злой?
Иль пусть склонился ты; почто ж меня, несчастну,
В любовь свою привел толь бедну и опасну?
Почто не убегал от взора моего?
Почто не скрылась я навек от твоего?
Но что я говорю? С ним если б не спозналась,
Любовью бы ничьей я в жизнь не наслаждалась».
И с словом из очей вдруг слезы потекли,
Вздыхания и стон из груди извлекли,
И роща к сей тоске страшнее зашумела,
Прианна наконец промолвить чуть успела:
«Спасай себя, спасай от сих висящих бед,
Коль можно, поспешу я за тобою вслед.
Но, ах, я чувствую, что в жилах кровь хладнеет,
И сердце уж мое от страха леденеет,
Скрывает свет очей густой спустившись мрак.
Увы!.. Прощай... Беги...» — рекла в последни так.
Он ей, она ему — невидима вдруг стала,
Еще потом меж них густее тьма ниспала.
Поколь с любовию был в равенстве их страх,
Поколь себя и свет могли иметь в глазах,
Боролось с ужасом любовью сердце страстно,
Но страх преодолеть старалося напрасно.
Удерживала их нежнейшая любовь,
Но больше страху злость прибавила им вновь.

Тут стала страхом их любовь преодоленна,
И тьмой от глаз его Прианна похищенна.
Восплакал, возрыдал и восстенал Дикон,
Бежал от грозных туч ему со всех сторон,
И, видя крайнее гонение он рока,
И чем грозила злость Ириды прежестока,
Мятежные места и шумный кинул град,
Где в жизни был зыбьми колеблем много крат,
И мучился в свой век несчетными бедами
За то, что превышал всех добрыми делами.
Причина зависти, напастей существо,

Оставить должен дом любезный и родство,
Любезнее всего, Прианну оставляет,
И где ее и как оставил, сам не знает.
К убежищу пошел в пустынные леса,
И руки и глаза возвел на небеса,
Недавно горькими омоченны слезами,
И возмущал себя такими словесами:
«О небо! Если мог я гнев твой воспалить,
То чем уже его возможно утолить?
О небо! Коль ты мне низвергло столько грому,
То что уж у тебя на казнь осталось злому?
И если в ярость я привесть тебя возмог,
Во что же приведет тебя презлой порок?
Терпение мое твоей превыше злобы,
И больше на меня низвергнуть не могло бы,
Хотя б хотело ты, и нет уж ничего,
В чем мог бы трепетать я гнева твоего;
Щедроты у тебя нет столько и заплаты,
Чтоб наградить могло моей великость траты.
О, злополучный век! Несчастнейший Дикон!
О, злопременный свет! Мечтание и сон!
Непостоянно всё, всё в свете сем пременно,
Лишь бедствие мое навеки утвержденно.
О, свет! О, жизнь! О, век! Когда б погиб сей свет!
Уж ей, жаленья мне об нем нимало нет!
Но, ах! Лишь для одной любезнейшей Прианны
Еще мне жалостен сей свет непостоянный!
Когда она спаслась, когда еще живет,
Пускай еще стоит сей злоковарный свет.
Прианна! весел путь! Охотно свет теряю,
Но без тебя в пути сем радостном страдаю.
Оставив общество, сердечно веселюсь,
Оставивши тебя, я внутренно крушусь.
Ирида лютая! Верх всех моих несчастий,
Конец веселия, печать моих напастей!
О, пагубная страсть! О, радостей лишь тень!
Проклят рожденья час и тот проклятый день,
В который наложил Иридины оковы,
И как вошел в ее объятия суровы!
Почто, как в грудь мою стрела ее вошла,
Мне не пронзила грудь громова вдруг стрела?

Лишился всех утех! я погубил Прианну!
И в сердце чувствуя я горесть несказанну,
Не знаю, мне кого несчастнее почесть?
Не знаю, как беды мне в равенство привесть?
Нет зляе бед моих и участи горчайшей,
Бедняе, зрится мне, Прианны я дражайшей.
Никак! ее моей стократ лютее часть...
Но можно ль хоть сравнить ее с моей напасть?
Я мучусь о себе, я и об ней страдаю,
Несчастнее себя стократно я считаю.
Дикон простее всех, слепее всех людей,
Что хитрости не знал волшебницы он сей».

Вещал и, в горести залившися слезами,
Едва свой путь он зрел слезящими глазами:
Чем больше отирал, текло тем больше слез;
Идет, спешит, грустит, уже приходит в лес.
На праге три раза пустынном оглянулся,
Три раза на глаза ток слезный навернулся,
Три раза он на град взор смутный обращал,
Три раза он вздохнул, страдал и умирал.
(Привычка, дом, родство, всех более Прианна, —
Забвением могла ль их жалость быть попранна?)
В пустыню уж вошел, уже вступил в леса,
Безмолвие везде, шумят лишь древеса.
Оцепенел, и страх по телу мраз бросает,
И ужас легкие власы на нем вздымает;
Угрюмый тихий шум, унывно воет ветр,
Нестройно дуб шумит, жужжит там грубо кедр,
Береза клонится, трепещется осина;
То толстый некий глас, то тишина едина.
Сперва приходит в страх, и шум ему тот дик.
(Без страха ли войдет, кто жить в них не обык?)
Когда внезапно Юг, ходя в лесу, завоет,
И сердце тут его смущенное заноет;
Как если древеса испустят странный глас,
Спокойство некое приходит в оный час;
Когда взволнуясь лес в движение приходит,
Тот шум в забвение глубокое приводит;
И раздающийся в пустыне грубый стон
На мысль безмолвие, на глаз наводит сон.

Дикон внимая то, уж мыслей не волнует,
Не видит глаз сует, слух мятежей не чует.

Дорогу кажет страх, идет за ветром вслед;
Густой наводит лес забвение всех бед.
Лишь о Прианне грусть Дикону не забвенна,
Об ней прискорбен дух, об ней и мысль смущенна.
Он лесом идучи, пал дум во глубину,
И слышит он в лесах и зрит ее одну.
Несчастнейший Дикон! Он в думах возглашает,
К его несчастью он и Эхо отвечает.
«Не узришь, — говорит, — Прианны никогда»,
И Эхо отдает ему поспешно: «Да».
Услышавши сей глас, внезапно становится,
Вокруг себя он зрит, то сам себе дивится.
Прилежно внемлет глас, что Эхо отдает,
И в страсти мня, что то Прианнин был ответ,
Он ходит, он глядит, он ищет, он вздыхает,
Хоть страсть жестокая ему и обещает,
Но не находит он уже ее в лесах,
И мня, что кроется, глядит во всех кустах.
Как голубь, своея любезныя лишенный,
Летает по лесам, разлукой возмущенный,
То с ветвия на ветвь, с куста на куст другой,
Стократно прелетит, иль в куст влетев густой,
То наклоняется, то взор везде метает,
Подсматривает, зрит, вздыхает и внимает;
Где в ветвиях густых вдруг птица лишь порхнет,
Встрепещет и туды направит свой полет, —
Где страсть манит его любезною четою,
Там в горести своей он встретится не с тою.
Так, страстию прельщен, и Эхом обманясь,
Любовию водим, и грустию томясь,
Он сколько ни искал, Прианны не находит,
И в размышление о той мечте приходит.
И видя, что манит страсть суетная грудь,
Вздохнувши, дале в лес свой продолжает путь.

Он, долго идучи, взошел на холм высокий,
Где вниз с журчанием текут ключей потоки.
Оцепеневши, стал и видит изумлен,
Что верх ужасной там пещеры огражден,

Которая была высоких гор в раздоле,
На все места он зрел, лежащи вкруг, оттоле:
Тут лесом холм одет, верх леса уравнен
Натурой, как кружком искусства окружен;
Под холмом луг лежит, равно распространенный,
Зеленой от весны одеждой покровенный,
Окружность в деревах и стройность их добра́;
Там от пригорка вниз высокая гора,
Крути́зна коея вся обросла древами,
Где ровно все срослись густейшими верхами,
Что на верхах своих приятный кажут луг,
Зеленой ризы вид корения вокруг;
Высокой той горы под самой стремнино́ю
Река течет черна̀ под тению густою,
Что сыплют древеса, висящи на брегах,
Где бурна Севера забвен вовеки страх;
В тени, в безмолвии течет в морски пучины,
Тиха, и на лице нет ни одной морщины.
По ту страну реки дымится верх лесов,
Иль инде промеж их окружность зрит лугов;
Вдали чрез лес поля простерлися широко,
И степь, где жадное зреть заблуждает око.
Сии места его остановили ход,
Влекущие к себе издревле смертных род,
Искусства слабого завидные примеры.
Се место для него несведомой пещеры.

Он, долго зря на них, задумавшись стоял,
Всё обозрев, вздохнул и сам себе сказал:
«Места прекрасные! Места неоцененны!
Стократно жители вы в сих местах блаженны!
Вотще стремится всяк натуре подражать,
И тщетно тщимся мы за нею успевать.
Искусства хитрого вовеки труд бесплодный,
И всуе вслед спешит за нею земнородный.
Возможно ли сравнить с натурой мастерство?
Возможно ли постичь в строеньи естество?
Взирая на места, здесь жители блаженны,
Но слыша тяжкий смрад, живут в них развращенны».

Сомненный, так сказав, к пещере вниз пошел,
И в первых на вратах он старца обозрел,

Который целый век на небеса взирает
И, век свой не сходя, в том месте пребывает.
Спросил он у него: «Кто в сих местах живет?»
Лишь только что: «Пройди», — сказал ему в ответ;
И с словом покивал он три разá главою.
Чудится, изумлен сей тайною такою.
Пошел, сомнением волнуясь, во врата,
И идучи в сии ужасные места,
Собою и своим крепится он ответом,
И ободряется лишь собственным советом.
Един во странствии, и в бедствиях един,
Тем больше к ужасу и к горестям причин.

Когда вошел Дикон внутрь страшныя пещеры,
Увидел, что живут смиренны изуверы,
Приятные лицем, ласкающи в словах,
Вид жалостный в глазах, усмешка во устах,
Прелестно преднее жилище украшенно,
Где скромность видится и житие блаженно,
Союз и тишина и братская любовь;
Где вольность царствует и нет мирских оков;
Наружна простота в одежде их и в пище.
Он вшел, обрадован, во внутренне жилище,
И видит, что сии Циклопы смертных жрут,
Терзают члены, кровь единородных пьют,
Лежат объедены тут кости убиенных,
Там несколько еще в снедь пол-употребленных;
Повсюду гнусный смрад, везде ужасный вид,
Сгущенный воздух в ней пришедших грудь теснит,
Везде засохша кровь; лежали тут полсыты
Циклопы, и вином и крепким сном покрыты.
Близ овцы заперты утученны лежат,
Которых два раза на всякий день доят:
Несытую свою тем алчность насыщают,
Потом их на луга обильные гоняют.
Желанием всё знать несчастный привлечен,
Коликим наконец был страхом поражен,
Когда пещеры сей, по внешности прекрасной,
Увидел он ее вид сердца толь ужасной!

Уже полуденный везде сияет свет,
Уже густая тень отвсюду в лес идет;

И кони огненны блистающего Феба
Взошли на самую средину чиста неба,
Когда начальник их от сна проснулся вдруг,
Восстав от сна, толкнул ногой из прочих двух,
Встает он, морщится, с похмелья восстенает,
И тела своего громаду подымает.
Циклопы двое встав, будили всех других,
Тогда Дикон бежал, хотя уйти от них.
Но устремясь за ним широкими стопами,
Циклоп схватил его и, заскрыпев зубами,
В пещеру за власы несчастного повлек,
И чувств лишенному так в ярости он рек:
«Вотще стараешься избегнуть злое племя,
К побегу своему нашел ты поздно время».
Он бедного к столбу, сказавши, привязал
И до другого дни на снедь определял.

Обычай есть у них несведом и чудесный,
Три раза стрелы в день метать в круги небесны
В полудни, ввечеру, в полунощи всегда,
Немало подвигов, немало и труда;
На всякий день они пронзают твердь стрелами,
Где от летящих стрел шум идет над водами;
Или один ее начальник лишь метал
Толь сильно, что, стрелив, сам к земли упадал.
Дикон на то смотрел, не ведая причины,
Но думал, что они, как древни исполины,
Ведут с Юпитером преступную войну:
В коль страшну, размышлял, попался он страну!
Вздохнул и, горькими кропя лице слезами,
Сам обвинял себя такими он словами:
«Не видно ль и на мне, коль смертный в мыслях мал?
Что помавания я старца не узнал?
Не он ли покивал мне три раза главою,
Как я вступал в сей ад дрожащею ногою?
Коль столько огорчен несчастной жизни день,
Приятнее уже мне смертной ночи тень.
И может ли теперь и смерть мне быть ужасна?
Умру! Прианны нет! Вся жизнь моя несчастна».

Так укорял себя, так презирал напасть,
В которой должен был, конечно, он пропасть.

Дианна странствует во поле превысоком,
Растрепаны власы, в молчании глубоком,
Идет задумавшись, глядит в моря, в леса,
И щупает перстом высоки небеса,
Стесняет очи сном глубоким земнородных,
И возбуждает всех зверей в лов разнородных.
Уж звери и сии, прервавши сон, встают,
И паки небеса разить стрелой идут.
Проснувшися в полнóчь, ужасны изуверы
Пошли на подвиги из страшныя пещеры;
Тогда Дикон един возвел на небо взгляд,
Един, что руки уж привязаны назад,
В смертельной горести сии слова вещая:
«О вечно существо! Что день устроевая,
Всем смертным на покой определяешь ночь,
Ты ныне можешь мне единое помочь.
Дай мне ужасну ночь сию на избавленье,
Дай руку помощи и дай мне утешенье!
Изми меня из сих бесчеловечных рук!
Избави от зверей и их престрашных мук!»

Дианна, на его несчастие взирая
И жалобы его плачевные внимая,
И зря усердие, что принял смертный сей,
И что от лютых бед он убегает к ней,
К Прозéрпине пришла и так ее молила:
«Коль нужная когда твоя была мне сила,
О мать и божество! то надобна теперь:
Богиня я сама, твоя любезна дщерь;
В полунощи мой слух стон бедного внимает,
Что в горестях ко мне ужасных прибегает,
Ведет в бедах ко мне усердие его.
Избавь его, избавь от бедствия сего».
Богиня, на ее с улыбкою взирая
И дщерь возлюбленну приятно лобызая,
Вещала к ней: «О дщерь! чрез столько ли ночей
Едина странствуя ты по вселенной всей,
Еще ль, любезна дщерь, не приймешь ты покою?
Толь долговременно не видишься со мною!

Одежда вся в росе, ты влажна от росы;
Задумчивость в глазах, нестройные власы.
Спокой, любезна дщерь, ты мысль свою смущенну,
Имеешь власть мою тебе не запрещенну;
Ты Паркам повели, те слову твоему
Послушны будут так, как гласу моему».

Уж повеление Дианны принимают
И воздух быстрыми крилами рассекают;
Летят с златых полей на розовых крилах,
Предстали Парки вдруг Дикону в тех местах;
И руки, узами скрепленны, разрешили
И жизненну его нить долее продлили.
Циклопы были все на подвигах своих,
В успех употребил отсутствие он их.
Внезапно свободясь от смертных тех заклепов,
Он с трепетом побег из страшных их вертепов;
И продолжая путь, так размышлял с собой:
«От жизни бегая я бедственной и злой,
Се к горшему стократ мученью приближался,
И в руки злейшие Иридиных попался!
Несведомых судеб премудро существо,
Превосходящее и ум и естество!
Коль существа сего велика в свете сила,
Что и от смертных врат меня освободила!
О, коль ты щедрая, натура, обще всем!
Не сокровенна ты и не скупа ни в чем!
Сии угодия, сии места драгие,
Достойны ль населять чудовища те злые?»

Лесною тению, ночною темнотой
Покрыт, течет в свой путь Дикон сквозь лес густой,
Пустыня не страшит и темнота ночная;
Скитающихся там зверей, не унывая,
Не трепетал он, мня, что лютостью своей
Циклопы превзойдут пустынных всех зверей.
Ужели, говорил, циклопов зверь страшнее?
И что их может быть свирепее и злее?

Тем ночь и страх прогнал, уже проснясь, заря
Смиренным оком зрит в поля, в леса, в моря.
С Тритонова одра встав, руку простирает,

И в свет багряную завесу открывает,
Повсюду сыплет блеск, возводит ясный взор,
И озлащает все верхи высоких гор;
На злаке, на листах блестящею росою
Играет, засверкав, как бисерной водою;
Когда из густоты пустынной вышел вдруг
Дикон, которому открылся чистый луг,
Покрытый зеленью, равно распространенный,
Равен поверхностью, равно и окруженный;
Его же посреди претолстый дуб стоит,
Под коим целый век густая тень висит.
Се оный дуб, куды для пищи и покою
Зевес, Плутон, Нептун склонилися от зною;
Когда бунтующих Гигантов усмирял,
Где их приятный Пан прещедро угощал;
Под коим спор вели Помона, Церес, Флора
О дубе, своего не разрешая спора,
Которой бы из них достаться должен он.
В то время самое к ним подошел Дикон,
И, видя божество, с говением вещает:
«Кто вы ни есть, но мне един ваш взор являет,
Что вы не смертное, не тленно существо,
Но мню, что вы есте велико божество.
Кто вы ни есть, хотя вы смертны, хоть богини,
Преклонны будьте мне заблудшему в пустыни.
Благоволите мне явить надежный путь,
Что все мне путие здесь неизвестны суть.
Испытывать пути куды, я сам не знаю,
Лишь то скажу, что я от бедства убегаю».

Так рекл, чудовищ тех жилищем устрашась
И заблуждения подобного боясь.
Хотение его богини разумели,
Неразрешимый спор, что в древе сем имели,
Пришельцу предают с согласием на суд,
И каждая из них сулит и дар за труд:
Церера тучный клас и яблоко Помона.
Внезапно сердце тем смутилося Дикона:
«Как можно божество мне, смертному, судить? —
Речет, — к сему никак не смею приступить».
Он был таким богинь велением встревожен,
И бедством научась, был крепко осторожен.

Парисов вспомнил суд и от суда беды,
Колики на себя навел богинь вражды,
Юнону как судил, Венеру и Палладу,
Колику получил вину всех бед награду.
Се вдруг сомненному ему отец веков —
«Суди, отвергнув страх», — речет из облаков.
Услышав он сей глас, внезапно ободрился
И кажду рассмотреть он больше не сумнился.
Все тщились, и могли глаза его пленить,
Прекрасные, и все достойны победить.
Но больше всех уже одна его прельщает;
Она, которая цветами обладает.
Улыбку показав на розовых устах,
Давала знать ему желанье в сих словах:
«Суди нас праведно, нам судия избранный.
Прекрасный цвет тебе я дам благоуханный,
Которым будешь век без пищи насыщен,
И коим навсегда ты будешь оживлен».
Он мнил с собой: «Страшусь несчастного раздора!
Возможно ль, чтоб когда не победила Флора?»
Так долго, мыслями волнуясь, размышлял,
Взирая на ее едину, так сказал:
«Все трое древом сим прекрасным обладайте,
Но каждая из вас своим не называйте».

Богини вдруг его постигли смысл такой,
И улыбаяся взглянулись меж собой,
Что им приятен суд, и знак такой казали.
«Блаженно мнение твое, — они вещали, —
Что мнишь в разделе вред, и не делишь ты нас».
Давала Флора цвет ему, Церера клас,
Помона яблоко, с такими в дар словами:
«Доволен смертный будь ты нашими дарами.
Блаженной жизни ты в пустыне ищешь сей;
Гряди, и где найдешь ты много вдруг путей,
Вдруг кинь сии дары на те пути невступно,
На коем все они слетятся совокупно,
Тот будет оный путь, по стежке той ступай,
Дары на нем оставь и их не подымай».

Уже Дикон в свой путь с дарами поспешает
И сердце, смутное недавно, ободряет.

Он долговременным был гладом изнурен,
Коль пищи уж давно обычной он лишен.
Там рвет он мягкий злак, в снедь необыкновенный,
Вкушает, и им быть не может насыщенный.
Вкус странный кажется, сперва противна снедь
(И можно ль долгой вдруг привычке умереть?).
Растленных нравов вкус, страсть пагубных хотений,
Не может в снедь принять земных произрастений,
И вредным то себе считает человек,
Чем долее стократ продлил бы он свой век.
Что ни отведает, все неприятны травы,
Но глад есть сам собой вкус лучшия приправы.
Он ест, родится вкус, привычка в нем растет,
Минута новая сласть новую дает;
Насытился потом кореньем и травами,
И жажду утолил прозрачными ключами.
Тем подкрепляет жизнь, тем продолжает путь,
И тем смущенную он ободряет грудь.
Он долго идучи в пустыне без дороги,
Пришел к распутию, тропинки видит многи,
Остановился тут и далее нейдет;
Бросает яблоко и купно клас и цвет,
Которы, разлетясь, на путь един упали,
Желанную ему дорогу указали.

Он долго к сим дарам касаться не дерзал,
«Но для чего их взять не можно?» — размышлял.
(Коль к многим бедствиям в нас свойство любопытно!
Коль тщимся мы всегда то открывать, что скрытно!)
Он поощряем был желанием своим,
И в разны мнения он страстью был влачим.
Потом во мнении одном остановился,
И подымать дары лишь только наклонился,
И чуть тронул рукой, чудится, что из рук
Сороки, встрепетав, три полетели вдруг;
На ближних от него древах высоких сели,
Над изумленным им внезапно заскрыпели
И острым гласом их наполнили леса.
Безмолвным сим местам их странны голоса!

Пошел Дикон, лишен дороги, в лес глубокий.
Уже летят за ним и скучные сороки,

Летая над главой, свой умножают крик.
Там звери хищные, их слыша треск велик,
И мысля, что они над трупом восклицают,
Уж пасти алчные из ложей подымают,
Глазами засверкав, оставив дебрь, встают,
И гнусных птиц на треск со всех сторон идут.
Уже ему медведь ужасный показался, —
Он зрел, он встрепетал, он ужасу предался.
Потом и хищный волк, тигр лютый, страшный лев
Предстал, и испустил леса трясущий рев,
Подъемлет страх власы, тут сердце в нем уныло,
Тут весь надежды свет отчаянье сокрыло,
Когда уж размышлял волк, тигр, лев и медведь,
Кому б тогда из них достался он на снедь;
В то время и Дикон стал в мыслях колебаться,
Кому б на легшу смерть из них ему предаться.
Как дерзостный пловец Бореем поражен,
Которого корабль волнами раздроблен,
Надежды, тишины и пристани лишенный,
Узрев корабль свой весь в пучине сокрушенный,
Ужасну бездну зрит, всечасно смерти ждет,
Стоит полмертв лицем, и средств не изберет,
Чем можно облегчить толико смерть ужасну,
И как в волнах скончать скорее жизнь несчастну.
Страшится утонуть в бездонной глубине,
Иль просит небо, чтоб тонуть на мелком дне,
Или готовится, спустившися в пучину,
Скорее пить с водой ужасную кончину.
Подобно и Дикон, отчаян меж зверей,
В последней будучи погибели своей,
И ужас мыслями грядущей смерти меря,
Так избирал себе свирепейшего зверя.
Как три богини вдруг, ходящи по лесам,
Полмертвому уже ему предстали там.

Богини были те Помона, Церес, Флора,
К которым призван был для разрешенья спора.
Обрадовался он, а устрашился зверь.
«О смертный! — те рекли, — что мыслишь ты теперь?
Почто, полмертв дрожа, пред нами цепенеешь?
И для чего в таком ты ужасе бледнеешь?

Толь лютых на тебя кто устремил зверей?
И кто толь гнусных птиц навел в пустыне сей,
Которые леса своим волнуют криком
И наше божество гневят своим язы́ком?
Не слышны здесь нигде их были голоса,
Не терпят треску их пустынные леса.
Не мы ль тебе тогда колькратно подтверждали
Даров не подымать, как их тебе вручали?
Подарки поднял ты, ты поднял и зверей;
Бори их, страсти коль не одолел своей».
Сказавши, всех зверей в их ложи обратили,
Потом сорок, стремглав в ад бросив, заключили.
Дикона повели на малый стежки след,
По коей он от них с поспешностью идет;
Идет, но сердце в нем от страха не свободно.
Он тщился изъяснить чувствительность бесплодно
Богиням, кои жизнь его от бед спасли,
Но в страхе и уста промолвить не могли.

И пение уж птиц такое начиналось,
Которым ухо век его не наслаждалось.
Спешил и наконец он зрел из густоты
Невиданной вдали приятность красоты.
Он вышед, зрел древа там стройно насажденны,
Уреженны равно, ветвьми соединенны,
Под коими был вдаль открытый взору ход,
Поющих на верхах птиц разновидный род.

Внезапно сквозь кустов Дианна преходяща
Дикона в тех местах увидела спешаща;
Во светлости к нему божественной идет,
Не видящу ее Дикону вдруг речет:
«Откуду и куда свой путь ты простираешь?
Что ищешь? Кто ты есть? Иль здесь ты заблуждаешь?»
Незапно блеском он Дианны поражен,
Сияние ее он видя, изумлен.
Настращан в жизнь свою на свете многим бедством,
Побег он в лес густой и стал спасаться бегством,
Желая от ее сокрытися в кустах.
Богиня вслед рекла: «Оставь, о смертный, страх!»

Бегущего от ней словами постигала,
Последуя за ним, и руки простирала.
«Отвергни тщетный страх! — сугубила слова, —
О смертный, возвратись! Нет зла никакова́!
Опомнися, почто страшишься ты богини?
Остановись! Нет бед, ни страха в сей пустыне.
Пристойно ли тебя богине догонять?
И должно ли тебе от бога убегать?»

Словами нежными Дианны ободренный,
Он взор свой обратил недавно отвращенный,
Припа́дая к стопам, вещает тако ей:
«Несчастный, странствую в пустыне страшной сей!
Из новой я страны, из нового народа,
Причина моего в сии места прихода —
Напастей целый век за мной гоненье вслед.
Хожу, мятусь, ищу убежища от бед,
И бегая от бед, в беды впадаю новы,
Из страха в страх хожу, и из оков в оковы.
Богиня, мне умерь блистание твое,
Чтоб на тебя возвесть я око мог свое.
Я в слепоте к бедам охотно притекаю,
От благ и божества блаженна убегаю.
Богиня, отпусти безумие мое.
Скажи, скажи, молю, ты имя мне свое,
И удостой меня ты зрения прекрасна,
И учини меня в местах сих безопасна».

Она блистание убавила и свет,
Подняв его с земли, рекла ему в ответ:
«Дианна я, что сей пустыней обладаю.
Смятений никаких и век зимы не знаю,
Где никогда сей лес не плачет обнажен,
И не бледнеет луг морозом побиен;
Где безмятежна жизнь, безвинные забавы,
Нет горестей, сует, и нет гремящей славы.
Оставя всякий страх, ты мной уверен будь,
Что принял не вотще ты сей блаженный путь.
И мысли добрые, и труд твой не напрасен,
Ты счастлив будешь здесь, здесь будешь безопасен.
Гряди в сии места, последуй ты за мной!»

Рекла, и повела Дикона за собой,
И идучи уже походкою отменной,
Давала знак ему богини совершенной.

Шли из прекрасных мест в прекрасные места,
Где отвлекала взор различна красота.
Чуть вышли лишь из рощ на маленькое поле,
Увидел вдруг Дикон двенадцать нимф, в раздоле
Ходящих по лугу, их был прекрасен взор,
И с белизной на них был розовый убор.
Во смертных образе представила в одежде,
Что и́нако нельзя зреть, не отвыкши прежде.
Хоть нет прелестнее нагия красоты,
Но без стыда мы зреть не можем наготы.
Обычай в свете есть тиран людей жестокий,
Преобращает он в добро́ту и пороки.
Как если б он узрел нагой нимф чистых вид,
Во место прелести восчувствовал бы стыд;
И тело нежное, что некогда б прельстило,
Нечаянно б его в сем случае смутило.
Увидев, нимфы все к Дианне подошли,
И на героя взор чудяся возвели,
Чудяся, что в местах тех смертных не видали.
Хоть щеки красоту дорогой потеряли,
Хотя путем его затмилася краса,
Хоть гладом изнурен, но нежны нимф глаза
Сквозь всё могли прозреть прекрасную природу.
Тут долго зреть на них и он имел свободу.

Мелиту зрел герой прекраснее из них;
Она была к нему поближе всех других.
И взором выше всех и местом, близ Дианны
Стояла, взор ее в подобие Прианны.
Страсть мертва ожила, вскипела паки кровь,
Забвенна малый час, припомнилась любовь.
Он взор свой устремил, и нимфа устремила,
Он прежню любит в ней, та перва в нем взлюбила.
Из сердца не совсем Прианну истребил,
Он в ней подобие едино возлюбил,
А и́нако б никак Мелитой не был страстен;
Он столько в верности Прианне был подвластен!

Но если нежное в Мелите сходство зрел,
То сердцу запретить уж силы не имел.

Взор ласковый к нему Дианна обращает
И странствие его поведать убеждает,
Не с тем, чтоб знать его напастей не могла,
Но чтоб ему та жизнь противнее была.
Приветствует его своим приятным взором,
К вещанью таковым склоняет разговором:
«Скажи, о смертный, нам с начала жизнь свою!
И злую в обществе судьбину всю твою,
Злодействие сосед, гонение несчастья,
Ужасны мятежи, бурливые ненастья,
Труды и подвиги и бедную любовь,
И как прибегнул ты пустыни под покров,
И странствие в лесах нам расскажи подробно».
«Богиня! — рекл герой, — мне ныне неудобно
Поведать всё тебе, уже густая тень
С гор падает на низ, уже скрывает день;
Я гладом изнурен, давно лишен покою,
Едва могу уже стоять перед тобою.
Коль лестно волю мне исполнить божества!
Но слабость смертного мешает естества».

Дианна, пригласив из рощ к себе Помону,
Велела принести плодов драгих Дикону.
Та полну кошницу несет к нему плодов,
Гранатных яблоков, различных груш родов,
Пресладкий виноград, приятнейшие сливы,
И вишни нежные, красносторонны гливы,
И жирны ма́слины, и винных ягод плод,
Представлен и других плодов сладчайших род,
Которыми Дикон, под древом сев, питался
И новой пищей он лишь вполы насыщался,
Как с нимфами к нему Дианна подошла,
Стыдящемуся ясть при ней, ему рекла:
«О смертный, не стыдись! Кинь стыд обыкновенный,
Привычкой общества вотще в твой нрав вперенный.
Сей непотребный стыд в обычай ваш введен,
А первородный весь, хоть нужен, истреблен.
У вас все чтут за стыд естественны уставы,
А злость, и ближним вред, и злоковарны нравы

Не почитают в стыд; и всё то вас мерзит,
Что к пользе смертного натура всем дарит,
Вышеестественно, нестройное и злое
Вы за природное все чтете и святое.
Ты ясти не стыдись, но если пищи сей
Вкус сытости не столь привычке даст твоей;
Коль хочешь, я тебе подам иную пищу,
Пристойну вашему богатому жилищу».

В глубоких мыслях он тот слыша разговор,
Чуть только обратил в страну свой нежный взор,
Дивится! Возмущен, внезапно видя с боку
Стоящу близ себя он яблонь превысоку:
Широки ветвия оделися в листы,
На ветвиях висят огромные плоды.
Плоды прекрасны те суть яблоки златые,
Коль лестные на вид, коль милы, коль драгие!
«Се пища, — говорит, — обыкновенна вам.
Дерзай, яжд, приступи, сорви сей плод ты сам».
Дикон уж приступил, уж яблоко срывает,
Уже любуется и чуть его вкушает;
Сказать ли, иль молчать? В бледнеющих устах
Рассыпался извнутрь его прегорький прах.
Не верит сам себе, срывает и другое,
Но видит и в другом он изумленный тое.
Три раза он срывал, любуяся плодом,
Три раза находил едину горесть в том.
Отвергнувши сей плод, стоит недоуменный,
И долго держит взор на яблоню вперенный.
Дианна, как прервав сомнение его:
«Иль не узнал, — рекла, — ты древа своего?
Се пища ваша есть, вам сладка и привычна,
И только к житию народному прилична.
И ваша, смертный, жизнь снаружи коль красна́,
Извнутрь толь горестна, толь бе́дна, толь гнусна́,
Извне украшена и в злате вся блистает,
Извнутрь грызет печаль и горесть лишь терзает.
Подделанный вам вкус и пища вам сладка,
Но мысль в смятении, в печалях жизнь горька».

Уж пищею герой Дианны насыщенный,
Смыкал нередко взор свой, сном отягощенный.

Богиня, слабость зря, велит ему уснуть,
Велит быть тишине, велит зефиру дуть.
Склонился, по лесам несчастием гонимый,
Склонился, странствием и трудностью томимый,
Склонился и уснул под тенью древ густых,
Вошел в забвение прошедших бед своих;
Погреб себя он сном, погреб сном все печали,
Уже и члены все и мысли почивали.
Мелите скрытый взор служил в успех и сон,
Зрит все черты его удобней без препон;
То ходит вкруг его, то стоя примечает,
Уж в грудь свою и страсть с его чертой вселяет.

⟨1769⟩

259—261. *НАДПИСИ*

1
ФЕОФАНУ ПРОКОПОВИЧУ

Вот проповедник был божественного слова,
России бытия, и подвига Петрова!

2
К⟨НЯЗЮ⟩ АНТИОХУ ДИМИТРИЕВИЧУ КАНТЕМИРУ

Гораций, Боало, ваш лавр за слог сатир
Делит, возвысясь к вам, росийский Кантемир.

3
НИКОЛАЮ НИКИТИЧУ ПОПОВСКОМУ

Что Попе в Англии умом высоким мнил,
В России точно то Поповский изъяснил:
В толь кратки жизни дни он с мужем сим сравнился,
Приятной чистотой прославился стихов;
Но если бы его век долее продлился,
Каких бы ни достиг похвальных он венцов?

Начало 1777

262. ПИСЬМО ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ ГРАФУ РОМАНУ ЛАРИОНОВИЧУ ВОРОНЦОВУ, 1777 ГОДА

Не суетну хвалу, не красный стих льстецов,
Пою тебе, о муз любитель, Воронцов!
Не пользы я ища, корысти, ни прибытка,
Изыскивать потщусь похвальных слов избытка.
Но должный стих к тебе и истинный простру,
Которым за добро тебя благодарю!
Уверен о моих ты мыслях нековарных,
Не требуешь моих ты песней благодарных.
Ты любишь, как других, и плод моих трудов,
Я к музам чту твою преклонность и любовь.
Я в ну́жде был, но в ней тебя не беспокоил,
Ты оную узнал, помог и всё устроил.
Се истинный есть долг! Се помощь в нуждах нам!
И что я за сие добро тебе воздам?

Я не могу цены сей помощи поставить.
Что ж? Я стыжусь того, чем мню тебя прославить!
Я сына воспитать не мог, все скажут: «жаль!»
Какой же для меня стыд, жалость и печаль!
Но что творить, коль век и нрав неодолимый
Умножил столько нужд, нам в долг необходимый,
Что скудных в житии избытков не моих
Не может никогда довольно быть для них?
И что творить, коль рок судьбы ожесточенной
Судил мне в жизни жить толь скудостью стесненной?
Ты сына взять под кров не презрел моего,
И тягость перенять снабдения его;
Не от меня хвалы и славы жди и чести,
От отрока, еще не знающего лести.
Не требуешь себе ты от него во мзду,
Кроме рачения и склонности к труду.
Но да познает плод сей с младости добро́ты:
Благодарить за долг и чувствовать щедроты.
Приятно зреть добро, когда творится с кем,
Приятнее, когда и память есть об нем.
Когда руководя, служа ему в подпору,
Познания ведешь и счастия на гору,
Став радуюсь вдали, жалея вслед гляжу,
Почто и я ему сим долгом не служу?

И имя я отца, и право, что осталось,
Что царским правом в век древнейший почиталось,
По правде уступлю, хоть с скорбию, тебе,
Малейшей ждя его я памяти к себе.

Когда без просьбы ты, и в толь мне нуждно время,
Склонился облегчить мое велико бремя,
И если любишь так сложений труд моих,
Не должно ль, чтоб твое и имя было в них?
Испрошенно добро у знатного с докукой,
Приемлется всегда от ищущих со скукой.
Два раза тот дает, кто скоро что дает;
Но вчетверо еще, кто дар без просьбы шлет.
Ты к ближнему в любви прешел, ин скажет, меру,
Да сильный всяк сему последует примеру!
Да благо сотворит терпящим без докук!
И да явится всяк любителем наук!
Достигнет больше тем он славы ввек гремящей,
Как в пышной лепоте, в сем мире преходящей.

Влекущи за собой великолепный след,
Напрасно славу чтут, в могуществе на вред,
И как у них стоят просители толпами,
Которым отрекут учтивыми словами.
Неслыханно себя те знатные ведут:
Просителей хотят, просящим не дают.
Быв инный в тесноте прешедшей нам подобен,
На таковых вельмож жесток он был и злобен.
А ныне он до их достигнув высоты,
Не помнит ни своей, ни инных тесноты.
Или он всё забыл? Иль бывший рок стращает?
Иль бедность он свою несчастным отмщевает?

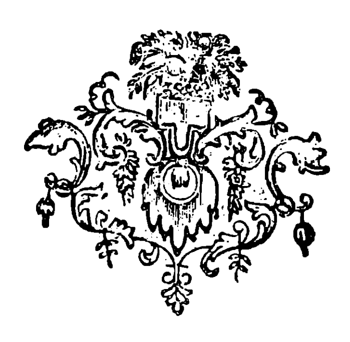
Колико не скупа там в милости их власть,
Где пользу мнят найти, или утешить страсть!
И теми иногда тщеславятся добрами,
Которые у них кто выплакал слезами.
Несчастный и таким всем хвалится добром,
Как выплаканным сыт наемницы млеком,
Младенец сам себя невинный утешает,
Доящей и за то усмешкой отвечает.

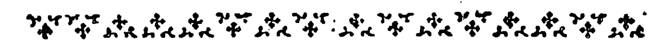
СОЧИНЕНІЯ

ѲЕДОРА КОЗЕЛЬСКАГО.

второе изданіе исправленное и вновь приумноженное.

ЧАСТЬ I.





ПЕЧАТАНО
при Императорской Академіи Наукъ
1778 года.

Всяк в милости на нас препятствовать спешит;
В напасти не претит и всяк охотно зрит.

Возносят таковых надменными хвалами,
Ласкаяся вотще желанными дарами.
Но ты снисходишь мне без всех моих заслуг,
Как знающ тяготу, как человеку друг.
Мятежному всяк час минувшим мне смущеньем
Хотя помочь не мог, но утешал жаленьем.
Коль имени не дам я славы твоему,
Нечувствию простить не можно моему:
Коль чувствует уже и отрок приласканный
Тобою на него щедроты пролиянны.
О имени твоем он часто говорит,
Тобой хвалясь, тебя нередко он твердит.
И если я когда от дому отлучаюсь,
Он прийдет вопросить, я не к тебе ль сбираюсь?
От сих невинных дней что более желать?
Он должен впредь твое старанье оправдать.
Да небо утвердит во юности кипящей!
И прелестей в соблазн вид разных приносящей!
Да оградит его защитою доброт!
Да будет он твоих достоин всех щедрот!

263. ОДА

НА РОЖДЕНИЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА ДЕКАБРЯ 12 ДНЯ 1777 ГОДА

Услышал вышний глас России!
Се плод от Павла и Марии
Давно желанный нам процвел!
Стихии грозны укротились,
Которых гневом мы томились;
Бог кротким оком к нам воззрел,
И воссияла радость нова
Из туч, прешедших по водам;
В сей день от корене Петрова
Велик родился в князех нам.

Благословенное спокойство,
Когда земное неустройство,
Война кровава и раздор,
К смертельному в полунощь бою
Еще ужасною трубою
Сзывать не смеем смертных в сбор.
И зависть бледна унывает,
Как потрясенна ветром трость,
Первейший жизни день венчает
Тебе, великий света гость!

Не от геройска мнит рожденья
Гадать Кассандра сновиденья,
Что обратится в кровь Скамандр,
Но в знамении сил надежном,
На невском бреге безмятежном,
Воскрес нам Невский Александр.
В стенах пожара илионских
Народ ахейский не возжет,
Пред ним на холмах гор Ливонских
Сраженный страхом готф падет.

Победну славу предвещает,
Твое рожденье предваряет
Предвечна слова рождество,
Что хвалят в вышних велегласно, —
Мы славим громко и согласно
Сие в России торжество.
В минуты отчеству драгия,
Как ты воскликнул в первый раз,
Умолкла радостна Россия,
И твой, приникнув, внемлет глас.

Воззвал; и храмы отворились,
Где жертвенники воскурились,
И чин священный возгласил
С желаньем о тебе пред богом,
При искреннем народе многом,
Чтоб век твой, к счастью нам, продлил,
И столько одарил летами
Источник дней, веков отец,

Сколь много днесь пред алтарями
Усердных предстоит сердец.

Воззванию сему послушна,
Лишенна чувства и бездушна,
Ужасна медяна гортань,
Твою жизнь миру возвещает,
Что в прочем гибель изрыгает
С ревущим громом в люту брань.
От мест, в две лета половины
Где зрят светил нестройность двух,
Чрез степь до черныя пучины
Внезапно твой промчался слух.

Тебе, к владычеству рожденный,
Плод царской крови вожделенный,
До поздных дней заступник бог,
Наставница твоя богиня,
Отец герой, мать героиня,
Покров монарший есть чертог;
К твоей младенческой забаве
Полсвета предлежит земель,
И к беспримерной мира славе, —
Тебе Россия колыбель.

В час россам обще всем желанный,
Как сей наследства плод избранный
Любовь к родившим принесла,
В край света слава устремилась,
И радость в Павле обновилась,
И сладки слезы извлекла.
Сей плод отрады несравненной
Марии в сердце нежность льет,
И радости неизреченной
Сугубый образ подает.

Твои, Петрово племя, взгляды,
Коликой стоят нам отрады!
Признáки ласковых словес!
Как спящий взор твой рассмеется,
России радость вознесется
С веселым плеском до небес.

Сердец усердных с теплотою,
Тех вожделенных ждем часов,
Как мы предстанем пред тобою,
К вниманию первейших слов.

Лик нежностей тебя сретает,
С Екатериной мир лобзает,
Прилежно внемлет град Петров
Велики о тебе беседы;
Всемирна слава и победы
Великолепный твой закров;
Назначит бегство враг пятою,
Торжественный твой слыша звук,
И сопостатов пред тобою
Падет оружие из рук.

Да тигры с агнцами пасутся!
И горлицы да не стрегутся,
Летая в рощах ястребов!
Пастух с пастушкой безопасно
Да песнь заводит велегласно!
Покойтесь, россы, от трудов!
И если в ликах повсеместных
Вопросят вас от инных стран, —
Скажите, что с высот небесных
Нам мир и ангел мира дан.

Декабрь 1777

264. ОДА НА ВЗЯТИЕ ХОТИНА

1

Весельем общим восхищен
В безоблачны страны высоко:
Сквозь прах, войною возмущен,
Я простираю жадно око.
Там славой мой бодрится дух,
Там плеск в страну влечет мой слух,
В другую стон и плач сраженных.
Голицын! Твой услыша звук,

Марс опустил свой меч из рук,
Издревле кровью обагренных.

2

Не верх ли там Ливанских гор
Через леса вдали дымится?
Не Навин ли смиряет спор?
Луна не смеет в свет явиться!
Потупленный краснеет взор,
И чуть возникнет из-за гор,
Зардевшись, паки верх скрывает.
Взойди и мрак простри ночной
И стыд турецкий в нем сокрой,
Что росс прехрабрый причиняет.

3

К супротивлению ему
Нет сил твоих, яны́чар, боле;
Лишь только к бегству твоему
Широкое открыто поле.
К чему удобный край ваш сам,
Прибежище являет вам,
Леса и горы и долины,
Где ваш сокрывши бегства след,
Преславных к торжеству побед,
Он представляет нам Хотины.

4

Как если волка в летний зной
И кровь и память вся смутится,
Он злость прияв к природе злой,
На волка в бешенстве стремится,
Сверкает огнь в его глазах.
Турецкий стан смущает страх,
Яны́чар турка поражает,
На друга мещет зверский взгляд,
Своей свирепости злой яд
Уже на ближних истощает.

5

О боже! Что со дна встает?
И волны страшны надувает?
Чрез Днестр великий змий плывет
И пасть на россов разевает!
Пред ним стремится ряд валов,
Он гонит воды из брегов,
Пространство вдруг реки прибавил.
Простершего нестройный бег,
Уже ползущего на брег
Герой российский обезглавил.

6

Се члены движутся опять
Поверженного в прах Хотина.
Он силится еще восстать,
Трясется в пепеле вершина,
Дрожит, поднявшись на руках,
Колеблет ноги смертный страх,
В бесплодном подвиге томится;
Еще далече русский строй,
Еще не начат страшный бой,
Он паки с трепетом валится.

7

Какой тебя объемлет страх?
Пред россом ты ослабеваешь,
Полмертво тело кроет прах,
Дух прежде бою испускаешь.
Рушитель наших сладких дней!
Где твой защитник, царь царей?
Иль не в его руках победа?
Не верь ему, Хотин, не верь,
Познай презорство ты теперь
Хвалящегось сперва Магмеда.

8

Очаков, помня казнь, молчит,
Поник на брег Днестра, бледнеет;

Дамаск, Каир, Стамбул дрожит,
Главы поднять на свет не смеет.
Лениво Днестр в свой путь течет,
С угрюмым ревом вопиет:
«Еще ль струи мои взмутятся
В крови нечистой агарян?
Еще ль из сих противных стран
В российский край не обратятся?»

9

Афины рвали так союз,
Спокойство мира отвергая,
И от смиренных Сиракуз
Презорно око отвращая;
Витийства движет там разврат,
Буян возжег Алцибиад,
Победами встают надменны.
Что ж в том? Уже с стыдом от тех,
Что обращали часто в смех,
Упали вечно разоренны.

10

Но что? Вокруг блистает свет!
Бежит далече мгла густая,
Минерва воружась идет,
На облак мрачный наступая.
Очей сияет красный луч,
Что тьму густых прочь гонит туч,
Мечем сверкнув, речет герою:
«Се меч! Пойди и пожени».
Рассыпались в лесной тени
Враги, рушители покою.

11

Познали ль гнев и силу днесь
Великия Екатерины?
И что добычи нет вам здесь,
Бунтующие сарацины?

Тебе подвластный, Порта, грек
Против тебя свой меч извлек.
Азов на юг взирает грозно,
Екатериной он цветет,
И сколько он тебя ни рвет,
Но возвратить ты тщишься поздно.

12

О, в варварстве утопший род!
Как свято чтишь восход денницын,
Так свято тихий чти приход,
Когда прострет к тебе Голицын.
Ты чаял ли, чтоб сей герой
Предстал пред твой внезапно строй?
Он в облаке Минервой скрылся.
Так Фабиев ветр тихо дул,
Так Митридату был Лукулл,
Так он сошел, и мрак развился.

13

Вы к нам стремитесь для татьбы
Чрез степи с хищными мурзами,
Предав на произвол судьбы
Отцов своих и чад с женами.
Искать чужих престаньте стад,
Огляньтесь и спасайте чад, —
Объяты пламенем жилища.
Алкаете вы стад чужих,
А ближних труп лежит своих
Волкам и диким вранам пища.

14

Как в Рим шел храбрый Сципион,
Повергнувши народ сидонский,
Гряди, российский наш Сампсон,
Страны потрясши Геллеспонтски:
Отечество с весельем ждет,
Похвал венцы зелены вьет,
Которыми тебя венчает.

Здесь все желают зреть тебя,
Там храбро воинство любя
Тебя всечасно вспоминает.

15

Голицын, в славе ты второй,
Турецкий храбрый победитель.
Воскрес, как Феникс, ныне твой
В тебе преславный тот родитель,
Что для всеобщего добра,
Споспешник добрый был Петра,
Великия Екатерины
Споспешник ныне ты, герой,
Да процветут с блаженством той
Под лаврами твои седины.

Осень 1769, 1778

265. ОДА III

Преложение псалма 51

Что, хвалясь, во злобе сильный
Свирепеет день от дня?
Бог щедроты ток обильный
Льет по вся дни на меня.

Злоба в сердце сокровенна,
Что язык твой составлял;
Он, как бритва изощренна,
Мне коварну сеть сплетал.

Возлюбил дела лукавы
Паче дел добротных ты,
И совет врагов неправый
Паче чистой правоты.

Возлюбил ты слово вредно,
Пагубный язык льстеца, —
Будешь в свете жить ты бедно,
Разорившись до конца.

Твой восхитив верх рукою,
Бог с жилищем потрясет;
И исторгнув корнь с тобою,
Из селенья пренесет.

Неповинны ужаснутся,
На погибель зря и студ;
И в напасти посмеются
Все ему, и так рекут:

«Се он, что себе препятства
От всевышнего не ждал;
Но надеясь на богатства,
Во упорности стоял».

Я, как маслина зелена,
В храме бога процвету;
Мне надежда несомненна,
Что в нем милость обрету.

Сими славными делами
Век, о боже, похвалюсь!
Пред святыми быть очами
Коль добро! Я укреплюсь.

⟨1778⟩

266. ОДА V

Преложение псалма 100

Я суд и милость воспою
Тебе, всевышний, совокупно;
Когда ты прийдешь в жизнь мою,
В пути пребуду неотступно.

Я дом прейду по вся дни мой
Незлобным сердцем и душею,
И беззаконно вещи злой
Пред очи предложить не смею.

Строптиво сердце не прильпнет,
Возненавижу неправдивых,
И всех в земли творящих вред;
Не будет нужды в людях льстивых.

Клевещуща не возлюблю
На ближних видом потаенным,
И ока горда не стерплю,
Не сяду с сердцем я надменным.

Воссядет тот в моих очах,
Который не вредит заочно;
И будет тот в моих слугах,
Кто ходит в путь свой непорочно.

В дому моем не поживет
Служащий вредными делами,
И тот, который часто лжет,
Не станет скоро пред очами.

Во утрия потщусь избить
Земли закона не хранящих,
Дабы из града истребить
Всех, беззаконие творящих.

⟨*1778*⟩

267. ОДА VIII

Преложение псалма 139

Изми меня от рук лукавых,
О боже мой! На злых восстань!
Которы в помыслах неправых
Вседневно ополчают брань.

Они язык свой изострили,
Как жало лютыя змеи,
И на погибель мне сокрыли
Яд аспидов в уста свои.

Избавь меня от рук безбожных!
И сохрани от злых людей!

В стопах моих неосторожных
Не дай запять ноги моей!

Коварны сети простирают
И запинание ногам;
Лукавы мрежи препинают
Они по всем моим стезям.

Я богу рек: «Ты мой спаситель!
Внуши моих молений глас!
О боже, сильный покровитель,
Мне в страшный оный брани час!

Когда о злобе попекутся,
Желанья их не исполняй!
И если в мыслях вознесутся,
Ты гордость их уничижай!

Да будут ядом уязвленны
Разверстых на меня зубов!
Да угль падет на них разжженный!
Да свергнутся навеки в ров!

Погибнет скоро муж лукавый,
Своею лестью уловлен:
Бог суд свершит смиренным правый,
И нищий будет им отмщен.

И тако будешь прославляться
Собором, господи, святым;
Незлобивые преселятся
На вечну жизнь с лицем твоим».

⟨*1778*⟩

268. ПАУК

Баснь

Алчбою изнурен несытою паук,
Услышав вкруг себя мух скучный шум и зук,
И глада своего закрывши тем причину,
Вокруг себя, как сеть, расставил паутину.

Он насекомым всем животным приказал,
Чтоб преходить никто чрез ону не дерзал,
А кто дерзнет, тому казнь смертную уставил.
Тут шершень сквозь ее полет свой вдруг направил,
Жужжанием своим продерзким зашумел,
И сеть его пробив, он быстро пролетел.
Зря муха на сие, исполненна боязни,
И видя, что паук оставил грех без казни,
Конечно, мнила, казнь вотще положена́.
Сквозь мрежу пролететь дерзнула и она,
Простерши крылья вдруг пустилася без страху,
Пробиться сквозь плетень лишь думала с размаху,
Как, зажужжав, она запуталась в сетях;
Не в силах ускользнуть трепещет, видя страх.
Рыданьем пробужден трепещущей и стоном,
Идет паук, свой глад скрывая под законом.
От страху обмерла, дух притаила свой.
Он, думая, что спит, растрогивал рукой.
«Начто ты, — говорил, — устав мой нарушаешь?
И с шумом ты мою ограду разрушаешь?»
«Я ль, — муха вопиет, — разрушила твой дом?
То шершень учинил, пустившись напролом,
Он бурными прервал крилами паутину,
И подал тем и мне он к смелости причину.
Коль ревом он тебя не возбудил от дум,
То льзя ль, чтоб слабый мой тебя встревожил шум?
Когда потряс, летя, тобою он и домом,
Жилище всё твое своим наполнил громом,
Ты скрыл в молчании, и будто не слыхал,
Спокойно на его неистовство взирал.
Я, мня, что твой приказ была едина шутка,
Пустилася за ним без дальнего рассудка».
— «Ты знаешь, — рек паук, — за дерзость смертна казнь».
— «Почто ж, — рекла она, — презрев сию боязнь,
Лишь шершень за рубеж преходит твой безбедно?
А мне проползть нельзя чрез твой предел безвредно.
Ах, мне ль одной закон! И мне ль одной устав!
Не видна ль и впотьмах таких криви́зна прав?»
— «Умна, — паук сказал, — и рассуждать умеешь,
И умствовать еще ты и в оковах смеешь;
Но разности в речах избегнуть не могла:

Раз рубежем, другой пределом нарекла.
За шершнем далеко отсель гоняться следом,
Промчался он давно, и путь его не сведом.
А если для шершней препоны мне крепить,
То паутину всю мне должно истощить.
Ты ближе от меня, и сла́бее ты в силах,
И мне голодному в твоих кровь сласше жилах».
Чуть муха глас дала: «Так разве для того. . .»
— «Я с голоду, — сказал, — не слышу ничего».
Вдруг с кровью иссосал любезну жизнь у мухи.
Подобным образом судьи бывают глухи,
Как с шумом кто летит сквозь паутину прав,
Хотя для всех равно предписанный устав.

⟨1778⟩

269—298. *ЭПИГРАММЫ*

1

КРИТИКУ

Я критика творцов к чему ни применю,
Подобен мнится мне бесплодному кремню:
Который никогда себя не согревает,
Но часто здания огромны зажигает.

2

ТОМУ ЖЕ

Завистный критик! ты сказать себе позволь,
Что так ты вреден всем, как вечно тляща моль,
От коей никакой нет к пользе нам надежды,
Но часто тлит она богатые одежды.

3

СИЛЬНОМУ ОБМАНЩИКУ

Обманщик с силой рост двойный с людей берет,
И слабого льстеца богаче век живет:
Где хитрым он своим обманом не успеет,
Там силою чужим богатством завладеет.

4

ПОСТНИКУ

Пора нам от грехов житейских очищаться,
Пора от пищи нам преступной воздержаться.
Престанем мы теперь губить скотов земных,
Животных час пришел наказывать водны́х.

5

СУЕВЕРУ

Ты мнишь, как все кричат: «Горит соседский дом!» —
«Я богу домолюсь, спасу себя потом».
Бог долготерпелив, потом его прославишь,
Как дом свой от беды грядущия избавишь.

6

САМОМУ СЕБЕ

Доселе плакал я, пора уже смеяться,
Нет прибыли в слезах, к чему ж мне сокрушаться?
Недавно начался мой смех от сонных грез,
Боюсь, чтоб не было по радости мне слез.

7

МОТУ

Ты каждый день богат, ты каждый день убог;
И часто говорят тебе купцы: даст бог.

8

ЕМУ ЖЕ

Ты в рубище теперь, вчера ты был в наряде;
Что ж дашь в залог, коль бог и люди все в закладе?

9

СКУПОМУ

Все: «Денег дай», — кричат; ты всем кричишь, что нет.
Хоть спорит, но тебя весь не оспорит свет.

10
ЕМУ ЖЕ

Есть деньги, ты пропал, и нет тебя в подклете.
Все просят в долг, — скажи, что нет тебя на свете.

11
НАШЕМУ ВКУСУ

Тем тесно жить у нас, что наш пространен свет;
Что много вкусов есть у нас, тем вкусу нет.

12
ЗНАТНОМУ ДУРАКУ

Молчишь, что говорить ты с знатными стыдишься,
Молчишь, что с бедными промолвить ты гордишься.
В тебе спокоен дух, вовеки ты не мнишь,
Счастливо в свете сем живешь, и век молчишь.

13
МНОГОГЛАГОЛИВОМУ

Как если скажешь нам ты что-либо нестройно,
В ошибке таковой простить тебя достойно:
Нет времени тебе подумать никогда,
Язык твой упражнен, но праздна мысль всегда.

14
РЕВНИВОМУ

Винна́ твоя жена всечасно без причины,
И кажутся тебе врагами все мужчины.

15
ПИЯНИЦЕ

Ложится весел спать, встает смущен с одра;
И хочет быть таким, каким он был вчера.

16

ХВАСТУНУ

Скупой, хотя и есть, *нет* часто повторяет,
Хвастун, хотя и нет, *есть* многим возвещает.

17

РАЗБОЙНИКУ

Разбойник больше всех покажется в станице;
Но он же о себе мнит меньше всех в темнице.

18

ВЕЛЬМОЖЕ

Хотя мечтаешь быть от смертных ты далек,
Но зришься мне всегда, что тот же человек.

19

СКОРОЙ ГОРОДОВОЙ ЕЗДЕ

Без нужды не скачи, доколе цуг твой в моче;
Когда б так Феб скакал, то был бы день короче.

20

ОХОТЕ

Ни страха, ни беды, ни глада, ни зимы
Не чувствуем, когда зверей гоняем мы.

21

ГНЕВУ

Любовь не зрит вины, хотя и мимо ходит;
Но гнев, хотя и нет, вин множество находит.

22
ТИРАНУ

Проси, чтоб я любил тебя, — не соглашусь;
Бояться не велишь, но я тебя боюсь.

23
ЗАВИСТИ

Ты хвалишь, если что достойно зришь хвалы,
Но хвалишь, если что достойно зришь хулы.

24
СТРАХУ

Как тяжко толь, мой друг, ты бремя подымаешь,
На месте стань моем, тогда вину узнаешь.

25
МИЛОСЕРДИЮ

Я тщетно о чужем несчастье слезы трачу:
Но для чего? Вины не знаю, только плачу.

26
СОБАЧКЕ

Сержусь я на тебя, ты на меня ни ввек,
Достоин ли сего презорства человек?

27
ДВУМ КРАСАВИЦАМ

Вы обе пригожи́, к одной из вас пылаю,
Но для чего другой я не люблю, не знаю.

28

НЕПОСТОЯНСТВУ

Вчера ты был не тот, сегодня ты иной.
Когда ж ты будешь ты? Как буду сам я свой.

29

ОБНАДЕЖИВАНИЮ

Всё будет, говорит, коль вспомнишь, не забудет,
Всё будет, наконец он скажет и не будет.

30

АЛТЫНОВУ

Алтынов древний змий, Белевский сатана,
Спаслась от зол твоих безвинная страна!

⟨*1778*⟩

299. РАЗМЫШЛЕНИЕ IV
О ЗАВИСТИ

Вредящий до конца растенья плодородны
И тлящий древ плоды в добро́те превосходны,
Снедающий цветы среди прекрасных дней,
Грызущий сельный злак, величие полей,
Червь зависти, тебя колико утешает,
Когда наш труд, тобой истленный, погибает!
Что пользы древ тебе лишивши красоты,
Когда паденья их погибнешь прежде ты?
Коль в свете бытие свое ты зришь напрасно,
И то губи́шь, что есть полезно и прекрасно.
На коем древе мы зрим более цветов,
На оное ползет сих более гадов.

Любовь самих себя, как дух тиранов злобных,
Не может зреть себе в отличии подобных.
Се гнусна зависть есть, что зла к чужой хвале,
Которая в одном бывает ремесле.

Она кипит на нас досадою известной,
Как тщится достигать до вещи нам прелестной:
На сверстника она там мещет взгляд немил,
Где в ищемом успеть не ощущает сил;
Влиянный свыше дар снедаясь охуждает,
Которого в себе ища не обретает.
Так зависть от других мертвится похвалы,
Питается, растет, живет от их хулы.
Искусству надлежит всегда пред ней смиряться,
И в действии своем не должно открываться,
Дабы не разбудить ту спящу невзначай,
Чтоб не воздвигнуть тем ее претолстый лай,
От коего всю ночь не будет нам покою;
Повсюду зашумит неправедной хулою.

От зависти творец, сколь в деле ни удал,
При жизни никаких не достижет похвал.
Когда, что редко есть, в лице его похвалит,
Насмешки остротой за то его ужалит.
Не раздражай хвалой ты ярости ея,
Чуждайся перед ней ты славы своея.
Не столько в ней кипит злость мертвого хвалою,
Затем, что впредь ее он не смутит покою.
Мнит хулима, нам в лесть, к звездам превознести,
Чтоб только совратить хвалимых всех с пути.
Сих бедность, теснота, гонение, досада
Есть зависти в тоске сладчайшая отрада.
Достоинство трудов лишь только процветет,
И зависти тотчас червь гнусный поползет.
Посредственны умы со почестьми мирскими
Не столь ее влекут талантами своими.
Нет в свете для нее злютейшей казни сей,
Как славы прибавлять ко славе нам своей.
Нередко, зря талан, зла зависть цепенеет
И, сквозь зубов хваля, чернеет, то бледнеет;
Но после и за то старается отмстить,
И ищет слабых мест, чтоб смертно уязвить,
Иль просит и других нам не щедрить хвалами,
Сих инако за то бьет колкими словами.
Всяк слушает об ней с презрением лица,
Не чувствуя, как в их ползет она сердца.

Ни дружбы не брежет, ни долгу, ни приятства,
И более еще плодится от препятства.
Пускай на сей порок не восстает закон!
Нас зляе уязвлять сей будет скорпион.
Что часто у себя, хотя преславно видим,
Уничижаем мы, иль вымыслу завидим:
Чудимся мы тому, что слышим, но не зрим,
Всё частым скучит нам присутствием своим.
Спокойно зависть труд блажит иноплеменных,
Что их она не здесь зрит честью украшенных,
И что в их деле взять участия не мнит.
Но если бы от ней их образ был не скрыт,
И если б к их трудам полезным приобщилась,
От паутин ее вдруг слава б их затмилась,
И, алчуща себе их нежной красоты,
Погрызла бы их все прекрасные цветы.
Высокому уму нет злейшия напасти,
Как подчиненну быть посредственного власти.

Где зависти вредить опасность предстоит,
Там тихо проползет, или безумно льстит,
Воздевши на себя лукавое притворство.
Завидна многим часть — сладчайше стихотворство.
Кого не привлекут сих прелести похвал?
И кто из нас своих в нем сил не испытал?
И музы кто любви к себе не возжелает?
Коль многих та краса соперников рождает!
Всяк в страсти день и ночь вслед странствуя за ней,
Скрывается своих усерднейших друзей.
Премногие клянут любви ее отказы,
И инным суть ее в мучение заразы.
Сей нежной красоты вкушает редкий плод,
Сего светила все, чудяся, чтут восход.
И зависть тем чинит сильнейшие помехи,
Кто, чувствуя к ней жар, имеет в ней успехи.

Завидует уму так мыслей нищета.
Прелестная сия парнасска красота,
Множайшим из творцов толь редка и драгая,
В сердцах, что, страстным к ней усердием пылая,

Терзаются вотще, причинствует задор,
И пагубный с ее любимцами раздор,
В котором часто зрим кровавые примеры,
Не меньше страшны нам, как видели Бендеры.
Кому нельзя ее сподобиться красот,
Достойными и всех не чтет ее щедрот;
Иль мысленно хоть чтет, но их терпеть не может,
Сам корки рифм сухих старинные он гложет.
Иной за то стихов творителей клянет,
Что тупо у него перо к стихам не льнет.
К забаве есть у нас такие две особы,
Исполненны вражды и к стихотворцам злобы,
Не к титулярным, мню, но к славным и прямым,
Поклонники из всех людей себе самим,
Которы, быв к стихам способности лишенны,
Мнят, что в России к ним не могут быть рожденны.
Малейшу зря черту, бросают нам в пример.
Приникни в древних слог: Виргилий и Гомер
Могли ли избежать нам слабости природной?
Но не лишенны тем хвалы общенародной.
Един из оных, мне не из числа врагов,
Советовал навек отречься от стихов,
Советовал, просил, склонял он красным словом,
Стращал, остерегал приязни под покровом.
Собравши, уверял посредственных в союз,
Что может хорошо стихи писать француз;
Но он себе не мог в них получить успеха,
И мой уже в том труд достоин будет смеха,
Что он давно за тем престал стихи писать
(Хотя не преминул недавно их издать).
Я, слыша речь его толь важну, усумнился,
И мыслию его отчаянной смутился,
Ответствовал ему: «Ужли и наш Барков
Не описал любви и страсти шалунов?»
Он мне сказал, что нет такой ухватки в русском,
Какую находил он в авторе французском.
Я слово дал ему не петь, и устою;
Как он, сии стихи меж тем я издаю.
Но в истину прийдет расстаться мне с стихами,
Он сильно испужал двух критиков стрелами,

Что век стреляют в цель, и век не попадут,
И если б удалось попасть, не прободут.

Сих пара мудрецов искусных, особливых,
Не зрящих на лице, в суде своем правдивых,
Ольховые листки дает нам за кинсон.
Все вписаны творцы в их славный лексикон.
В животной книге сей от века начертанны,
Все праведны, скопцы и мужие избранны.
Но горе тем, чьи в ней написаны грехи!
Их будут ноги вверх во аде, вниз верхи!
Чем в больших кто чинах, тот в ней стоит умнее,
Убог ли кто из нас, написан тот глупее.
Писатель сих имян проворен и досуж,
Кто знатен, он тому прибавил: *острый муж*,
За то, что сей ему тузами угрожает.
В сем важном словаре честь быстрый ум рождает,
Где острыми творцы названны таковы,
Что круглой и его тупее головы.
Что знатных, хоть тупых, ты славишь острецами,
Прощаем мы тебе, напуганну тузами.
Почтим мы и тебя, что в грамоте далек,
Проворен ты, учен и беглый человек.

Другой из сей четы мал плотию своею,
Но вдвое больше он нам кажется душею.
Честный, великий муж, иль лучше мужичок,
В толь маленьком тельце посильный есть душок.
Педантик, тихий он, подпора лексикона,
Лице — как бледная раскольничья икона,
Сей малый возрасти натужится пигмей,
Завидуя других великости людей.
Чахотный оттого в нем образ примечаем,
Как лопнет наш пузырь, мы много потеряем!
Союза сей четы ни ад не разорвет.
От промысла, другим поносного, живет,
Презренными от всех ветошками торгует,
На тех, кто не купил, жестоко негодует.
И как сим бедным тех, хоть глупо, не бранить?
Без купли таковой их можно уморить.
Но кто из вас, скажи, согласная дружина,
Действительна, и кто страдательна причина?

Какие б мы в хвалу вам завили венки!
Дороже б ваши все купили мы листки!
Вы, в сердце на других свою скрывая злобу,
Единого творца телистую особу
Недавно начали заманивать в свой скит.
Не много пользы вам, ногами он болит.
Уважьте чин его, и старость пощадите,
И остротой своей степенна не пронзите.
Коль звали вы его во умысле таком,
Ответствовать и нам вы будете хребтом.

Вы скрыли имена, иль тем что подозренны,
Или приметны всем, или от всех презренны.
Лукавый вымысел сей возможен только вам,
Чтоб больше тяжести придать своим листкам.
Доведаться нельзя, чьи руки мещут стрелы,
От коих здесь, хвала всевышнему, все целы.
От острых ваших стрел престали все писать,
И я от вас пера не смею в руки взять.
Лишили счастья вы, почтения и славы.
Не емлите ж хоть сей, чтоб вас хвалить, забавы.
Кто вы? Скажитесь мне, искусные стрельцы!
«Нет, — слышу голос ваш, — мы беглы мудрецы».
Ошибся, виноват! Простите речь простую!
Подобны скрывшимся в хоромину пустую
Вы беглым школьникам от страшных детям лоз,
Боящимся за лень учительских угроз,
Которые из ней бросают в нас щепами
И прячутся от нас, бледнея за стенами,
О шалости ребят прохожий небрежет,
Не озираясь вспять, спокойно в путь идет.

Браните ль, нужды нет, меня иль не браните,
Но только от своих похвал освободите:
Что ваша похвала поноснее, как брань,
Запев не веселит вороний нас гортань.
Хвала премудрых уст дух бодрый утешает,
Которых и хула наш разум исправляет.
Наводите вы нам уныние хвалой,
Приводите вы в смех об вас своей хулой.
Вы хулите всё то, что похвалить достойно,
И хвалите вы то, что похулить пристойно.

Не зависть движет в вас безгласные уста,
Но слабость умных сил, невежство, простота.
В листочках *дремлет, спит* есть колко ваше слово,
Но что за вздор? оно не остро и не ново.
Сию высоку мысль всяк может тот прибрать,
Кто раза два зевнет и кто захочет спать.
Язвительная мысль проклятого злодея!
Не точно ли она есть сонная идея?
Прочтя сии слова, всяк в удивленьи мнит,
Что мудрость в их главах *не дремлет и не спит*.

Откудова пришла излишняя забота?
Еще осталась мне бесплодная работа.
Есть третий их пророк, что много книг читал,
Но отчий дар ему таланта не влиял.
Сего уже вконец зла зависть сокрушила,
И коего едва нас к скорби не лишила...
Но я толь важну впредь особу воспою,
И заключаю речь о зависти мою:
Что никакой талан, хотя велик и славен,
Не будет никогда сей злой тиранке нравен,
И действуя со всей исправностью своей,
Не может похвалы сподобиться от ней.
Бледнеюща, суха, томящаясь хвалами,
На слабость зрит его приятными глазами,
Которой навсегда угоднее б он был,
Когда б ее своей он славой не дразнил.

⟨*1778*⟩

300. РАЗМЫШЛЕНИЕ X
О ВИНЕ

Вначале смертный быв в объятиях природы,
Отвергнул житие любезнейшей свободы,
Приятной пищей он питаться не хотел,
И нежности ее драгие все презрел:
Питала как его пресладкими плодами,
Поила чистыми из недр своих струями,
И, усыпив его под тенью древ густых,
Печали не дала ниже в мечтах ночных.

Являла новые всяк час ему забавы,
Прекрасные луга, долины и дубравы;
Гуляя по лесам, играя в рощах с ним,
Бодрила нежный дух веселием драгим.
Хоть не было у них огромныя музыки,
Напевом сладким птиц они сзывались в лики.
Не знал сей человек тогда: что за печаль?
И нужда для него на свете в чем была ль?
Он беспредельною свободой наслаждался,
И в недро естества он в неге к сну склонялся;
Натурой был от сна к забавам возбужден,
И к новым красотам он ею был веден,
Где в теле и в душе была царицей вольность,
Довольство в житии, естественная стройность,
Которой человек щедроту пренебрег,
И к общежитию стесненному прибег.

И тем-то потерял свободу он драгую,
Плод горести вкусил, печаль и скорбь презлую,
И нужды многие в сообществе узнал,
И жизнь он растворять печалью начинал;
Познал он тесноту, познал тогда неволю,
И тщетно возвращал уж невозвратну долю.
Он, скуку и печаль зря в новой жизни сей
И видя обще зло от участи своей,
Вздохнул, задумался, изыскивать стал средство,
Чем можно утешать печаль свою и бедство.
К отраде изобрел в дни смутные Орфей
Приятной арфы тон чудесный с первых дней.

Служило мало то посредство к утешенью,
И прежних всех забав бесплодно к возвращенью.
Покою мало днем, в ночи не много сна!
Что ж? Бахус приобрел от скуки вкус вина.
Искал его везде, и много в том трудился,
Чем от снедающей он скуки свободился.
Он новый способ всей вселенной показал,
И радость в нем на час он опытом узнал,
Что служит хмель его к забвению печали,
Которую в градском жилище причиняли.
Мы новиной сию докажем старину.
Чем в большем рабстве кто, тем склоннее к вину,

Чем более из нас теснится кто в неволе,
От грусти завсегда тем пьет вина он боле;
От грусти, говорю, что слышал я не раз,
Когда, напившись пьян невольник чрез приказ,
Он оправдать себя перед начальством тщился,
Что он от грусти пьян бесчувственно напился.
Он тем надеется печаль свою смягчить
И горести свои несносные забыть;
Но тщетно падший он достигнуть мнит свободы,
Спокойства и забав, нам данных от природы.

Я речь, красавицы, прострeть желаю к вам!
Вы можете теперь служить примером нам:
Румянцем красите свое лице прекрасно,
Тем тратите лица природный цвет напрасно;
На вас румянца жар естественный горит,
Но смесь румян его снедает и тушит.
Так скукой человек во обществе стесненный,
Нам кажется вином на время ободренный.
Он смел на краткий час и весел от вина,
Летает мысль, от уз избавившись, вольна́,
Румянца нежный цвет в лице его играет,
И бледность щек его внезапно расцветает.
К забвению тоски вино он бедный пьет,
К рождению забав другой стакан нальет,
И скоро от него веселие прибудет,
Что грусть и радость всю и сам себя забудет.

Склонился и уснул утешен от вина;
Но что сей весельчак, проснувшися от сна!
Встал пасмурен лицем, не чувствуя прохлады,
И видя прежню жизнь, лишается отрады:
Он в сердце чувствует своем безмерный жаль,
Где зляе прежних дней грызет его печаль,
Нет бодрости уже, и губы посинели,
Вчерашний цвет опал, и щеки побледнели.

Где шумных сборище, там сущий зрится ад;
В Америке вино чтут жители за яд,
Исполненных вином за бешеных вменяют,
И как на фурию со ужасом взирают:

Со страхом зрят на то, что яд без страха пьют;
К сей муке произвол они чудесным чтут.
Хоть можем мы сей яд привычкою умерить,
Но опыт иногда в том может нас уверить,
Что если б человек дошел до зрелых лет,
Воспитан в трезвости, где винных питий нет,
И если бы дерзнул уж в летах совершенных
Вдруг столько выпить он крючков обыкновенных,
Сколь много пьяница до положенья пьет,
То мню, что от того, конечно, он умрет.

Преславно Персия натуре подражала,
Умеренность в питьи и в пище наблюдала.
Кир в Мидии вино за яд смертельный счел,
Когда на пиршестве у деда он сидел;
Против обычая страны, где он родился,
Зря мидян шумных вдруг и деда, удивился,
Которому стакан наутро пить подав,
Что не отведал сам, пред светом вышел прав.

Блаженны, где вина и роскоши не знали!
Посредство ли сие к забвению печали?
К рождению забав нам служит ли оно?
Свободу ль возвратит утраченну вино?
Веселье древнее вовеки не возвратно,
И время дней златых не прийдет к нам обратно,
Лишь здравие вредим излишним мы вином,
И производим жизнь короче дней числом.
Коль трудно возвратить, утратив раз, свободу,
И отчужденную присвоить вновь природу!

Всяк выпивши сего до полпьяна питья,
Что бодрость возбудит, то в том не спорю я,
Что тем произведет он радость натуральну;
Но тут же он на мысль приводит жизнь печальну,
И в сердце слышит глас утраты дней златых;
Волнуясь посреди движений тайных сих,
Возжженна кровь кипит, дух радостью бодрится,
То ноет в некий час, то в тот же веселится,
То в жалость входит вдруг, не зная сам о чем,
И думает легко в отваге обо всем.

Затем-то на предмет велик и запрещенный,
Стремится пламенем питья сего возжженный.

Коликая вражда бывает вспалена
Между сосед своих и ближних от вина,
Коль часто злобные горят в пиянстве ссоры,
Коль бедственны шумят между друзей раздоры!
Всегдашный опыт зрим, всегдашный зрим пример:
В пиянстве человек лютейший самый зверь.
В мятежной жизни сей мы зрим по вся минуты,
Кто агнец в трезвости, тот в шумстве тигр прелютый.
Не можно погасить сего огня ничем;
Сия вода одна лишь может жить с огнем.
Ни ревность, ни труды, ниже усердна служба,
Ни верность, ни любовь, ниже любезна дружба, —
Возжженной от вина вражды не утушит;
Пронзен докажет то от Александра Клит.

О дом, откудова болезни и печали,
И плач с рыданием далече отбежали,
В котором нет скорбей, ни страха, ни забот,
И где презренна смерть так равно, как живот!
В тебе возопия, безмерное пиянство
Рождает всякий день неистово буянство!
В тебе законов нет, разбору, ни чинов,
Но равенство у всех без строгости оков;
Где увещания чинятся не словами,
Но посреди лица толстыми кулаками:
Выходит из тебя не малое число
В полуночной тени устроенных на зло,
В тебя вступают все свободой одаренны,
Выходят из тебя веригами стесненны!

Кто робок в мятежах, в убивстве и в войне,
Тот ищет смелости во вспыльчивом вине.
Кто с склонностью на свет к убивству не родился,
Напившися его, на всяко зло стремился.
Иной, что пил вино, чрез то злодеем был;

Иной, чтоб оным быть, его нарочно пил.
И тем-то, кто дела опасны начинает,
Для смелости вина на первый раз вкушает.

Я чаю, что Икар его довольно пил,
Когда он прелететь широко море мнил;
И тем великую отвагу принял вскоре,
Что взнесся высоко, пал, солнцем тая, в море.
Когда б с опасностью пониже полетел,
Достиг бы, может быть, к концу и уцелел.
Для смелости Колумб, я чаю, упивался,
Когда он новую страну найти старался;
Невинной простоте нанес немало бед,
Свирепства своего оставил вечный след.
Он по трудах едва успел сойти на сушу,
Простую стал терзать и неповинну душу:
Опасны принимал и тяжкие труды,
Чтоб ярости своей посеять там плоды;
Он вольности лишил, и век смутил блаженный,
Лишил того других, чего был сам лишенный.

Коль и́нных и себя сокровища лишил,
И в тесных бытие пределах заключил,
То пьянством услаждать был в нужде огорченья,
И тяжкие свои смягчать вином мученья,
Что тихо должен он терпеть в своей стране;
Но можно наблюдать умеренность в вине.

А вы, пияницы! Возляжьте и проспитесь,
Погребены вином и крепким сном, проснитесь,
Познайте вы проснясь, коль радость вам кратка.
Пробудка столь тяжка, дремота столь легка.
Слипаются глаза, вином отягощенны,
Трясутся бледные едва оживши члены;
Вы пасмурны лицем взираете на свет.
Еще ль охота вас к забаве сей влечет?
Вы видите в нем вкус; вы видите прохладу.
Какую вы нашли с похмелья в нем отраду?
Я слышу голос ваш: «Ох, голова болит!
И жажда адская всю внутренность томит!»

От лишнего питья и частого отстаньте,
И льститься мнимым сим веселием престаньте,
Здоровья и своих дней всуе не губя,
Печали позабыв, чтоб не забыть себя.

⟨1778⟩

801. ИСТОЧНИК

Идиллия

Перевод с французского госпожи де Зулиер

Источник, равной мы подвержены судбине,
Стремлением одним течем один с другим,
Ты в море, мы — к кончине;
Но сколько в прочем зрю я мало соравненья
В твоем течении с своим!
Ты предаешься весь без страха, угрызенья,
Природной склонности своей,
И всяк меж вас закон в вину не служит ей.
Не делает у вас лет старость омерзенья:
Теченья твоего в кончине
Есть больше сил и красоты,
Как нежели в твоей вершине,
Приятность новую всегда находишь ты.
Когда красу сих рощ спокойных умножает
Прохладное течение твое,
Благодеяние не тратится сие:
Брега твои их тень роскошна украшает.
По светлому песку, между лугов прекрасных
Текут всегда струи твоих потоков ясных;
От рыб бесчисленных, воспитанных в тебе,
Презорства и досад не чувствуешь себе.
В сем счастии к чему твои журчанья?
Ах, как твой жребий сладок есть!
Источник, ты молчи: нам должно произнесть
На естество роптанья.
Из многих, что в сердцах питаем мы своих,
Познай, что ни одной нет страсти,
Котора б не влекла с собой печалей злых,
Раскаяния и напасти.

И день и ночь волнуют кровь
В сердцах себе подвластных.
Из всех сих слабостей несчастных
Всего опаснее любовь.
И сладости ее нас огорчают,
Но делают они желаний всех предмет.
Все прочие без них забавы не прельщают.
Но время вервия уз крепких прегрызет,
И дух, питающий нежнейшую любовь,
Спокоит страстну кровь,
Иль прейдет в нову страсть.
Источник, коль твоя блаженна часть!
Нигде неверных нет источников меж вами,
Когда всевышня власть
Всесильна существа, что царствует над нами,
Велит другой поток с твоими слить водами,
По съединеньи ваших рек,
Не разлучаетесь вовек.
Желаньям он твоим противиться не смеет,
И в недрах вод твоих желает утопать,
Вас должно за одно считать,
Доколе ваше в понт течение приспеет.
Как наша жизнь чужда
Сердец соединенья!
Она исполненна всегда
Неверности, вражды и отвращенья.
Спокойный сладкий ток, чем мог ты заслужить,
Нас лучше принят быть?
Да теми мнимыми не хвалятся добрами,
Тех прав и превосходств мечтами,
Которы гордость обрела,
Чтоб скрыть, колико мы несчастны!
Она лишь нам рекла,
Что будто от небес со смертных сотвореньем,
Всевышним изволеньем,
Все твари сделались закону их подвластны.
Когда нам не ласкать,
То не цари мы их, но злые их тираны.
Почто вас муке предавать?
И рвами вас за что премногими стеснять?
Почто натуры чин преобращать?
Как сильно жметесь вы, на воздух пролиянны?

Коль все должны послушны быть равно
Нам в том, что мы повелеваем;
Коль всё для нас сотворено,
Когда потребно нам желание одно,
Что ж лучше власти мы своей не обращаем?
Почто собой не обладаем?
Но, ах! Несчастный раб своих страстей
Животных нарещись владетелем дерзает,
Что может быть его вольняе,
Великодушнее, кротчае,
Которы слабостью соделали своей
Начало власти наглой сей,
Что он над ними похищает.
Но что творю? Куда ведет меня жаленье,
О лютостях от нас стремящихся на них?
Надежда ль есть попрать то заблужденье,
Что услаждает нас самих?
Нет! Зрится сердце мне людское непременно
Для беззакония и гордости рожденно.
Когда себе легко пороки все прощают,
От образа их взор свой отвращают.
Уже нам нечего бояться;
Порокам строгих нет судов,
Исполнен слабых свет льстецов;
Искусство в житии есть хитро притворяться.
Источники, в одних лишь вас
Находится еще свобода,
Там безобразность зрят или красу, что в нас
Вселила странная природа —
Не скроют зла от вас притворства под покров,
Вы обличаете царей, как пастухов;
Не много требуют совета
Кристалла верного спокойных ваших вод,
И лишне искренних друзей несносен род.
Сей вкус достойный слез, есть вкус всеобщий света,
Советы вводят в стыд, несносны всех гордыне,
Бесчестный показать вид хочет правоты.
И так в ужасной сей пучине
Несчастия и суеты
Теряюсь, и чем более взираю
На слабость и на злость людского естества,

Тем меньше обретаю
В нем образ божества.
Стремись, поток, стремись, беги от нас, и воды
Свои неси в моря, отколь твои исходы.
Меж тем как тягостной судьбы храня предел,
Которой мы подвластны,
Мы наши дни несчастны,
Что случай произвел,
Пойдем отнесть в ничто, откуду всяк пришел.

⟨1778⟩

302. НАДГРОБНАЯ
ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ ГРАФУ РОМАНУ ЛАРИОНОВИЧУ ВОРОНЦОВУ

Сей мужа камнь покрыл негибнущий и твердый,
Что был к несчастным щедр и к бедным милосердый:
Доколе не сотрет сей мрамор круг веков,
Дотоле во устах пребудет Воронцов.

1783

М. И. ПОПОВ

Михаил Иванович Попов (1742—1790) происходил из купцов. В 1757 году он определился актером в Придворный театр в Петербурге, где исполнял преимущественно роли комических персонажей — слуг. В 1765 году Попов поступил в Московский университет. Первые его литературные опыты связаны с театром. В 1765 году он напечатал переводы двух комедий — «Недоверчивый» Кронека (с немецкого) и «Девкалион и Пирра» Сен-Фуа (с французского). В том же году вышли из печати отдельным сборником его «Песни» (переизданные в 1768 году) — одно из первых в русской литературе XVIII века издание литературных песен.

В 1766 году Попов знакомится с Н. И. Новиковым, который печатает первый прозаический перевод Попова: «Две повести: Аристоноевы приключения и Рождение людей Промифеевых» (с французского). Эта дружба с тогда еще только пробовавшим свои силы в литературе и книгоиздательстве Новиковым оказалась очень важной для последующей литературной судьбы Михаила Попова. Дружеские отношения между ними, очевидно, начались в Москве и продолжались в Комиссии для сочинения нового уложения, куда «студент» Попов был определен 3 октября 1767 года помощником князя Федора Козловского, талантливого, рано погибшего литератора, назначенного «сочинителем» (делопроизводителем) частной комиссии «О разборе родов государственных жителей». Эта частная комиссия должна была заниматься подбором материалов из уже существующих законов для составления соответствующих разделов нового уложения.

Воспользовавшись русско-турецкой войной, Екатерина, не закрывая Комиссии, 26 декабря 1768 года все ее работы приостановила. Но частная комиссия «О разборе родов государственных жи-

телей», при которой служил Попов, продолжала свою работу. В аттестате, полученном Поповым еще 13 ноября 1768 года, видно, что «студент Михаил Попов отправлял должность свою с прилежанием и добропорядочно».[1] С представлением генерал-прокурора Сената А. А. Вяземского от 16 мая 1769 года «для ободрения службы и по доброму поведению определить чин коллежского регистратора».[2] Екатерина согласилась, и Попов получил самый низший чин по табели о рангах. Известно, что в Комиссии он продолжал числиться и в 1780 году. В 1776 году Попов уже в чине губернского секретаря, но служба его не очень обременяла, и он имел возможность совмещать ее с литературной работой.

Попов сотрудничал в «Трутне» Новикова, хотя и не следует преувеличивать размеры его участия в журнале. Оно, по-видимому, продолжалось до того момента, когда возникла острая полемика между Новиковым и давним сослуживцем Попова по театру Михаилом Чулковым, к комедии которого, являющейся памфлетом на Федора Эмина, Попов написал песенку и слова для хора. В «Трутне» Попов участвовал в одном из майских номеров 1769 года. Тогда же он печатал в журнале «И то и се» стихи сатирического содержания, а по правдоподобному предположению В. Шкловского и Н. Харджиева,[3] Попову принадлежит в «И то и се» еще и стихотворение «Сон» и в следующем номере журнала стихотворное же разъяснение этого «сна», в котором иронически рассказывается история любви малорослого стихотворца к ветреной красавице.

В сатирической журналистике и беллетристике конца 1760-х — начала 1770-х годов распространено было высмеивание тех или иных физических данных внешнего облика литературных противников. Лукина высмеивали за его высокий рост, Михаила Попова — за низкий. В «Пересмешнике» Чулкова (ч. 4, 1768) в «Сказке о рождении тафтяной мушки» высмеивается малорослый управитель Куромша, влюбленный в свою госпожу. Куромша сочиняет ту пародийную элегию, которую позднее Чулков напечатал в «И то и се», и самые его литературные интересы очень напоминают Попова с его увлеченностью «славенскими древностями».

Позднее, в журнале «Парнасский щепетильник» (1771), Чулков снова вернулся к этому сюжету, на его литературном «аукционе»

---

[1] Цит. по кн.: Г. П. Макогоненко, Николай Новиков и русское просвещение XVIII века, М.—Л., 1951, с. 105.

[2] Там же.

[3] Виктор Шкловский, Чулков и Левшин, Л., 1933, с. 118—121.

среди других продается «стихотворец» очень маленького роста, влюбленный в «девушку, которая ростом и умом в два раза его повыше, а природою и еще того превосходнее».[1] И, наконец, малорослость Попова стала предметом насмешки в стихотворной сатире Козельского «Размышление о зависти» (1772).

В конце 1760-х — начале 1770-х годов Попов в равной степени занят беллетристикой, театром и сочинениями справочно-учебного характера. Для театра он продолжает переводить популярные французские комедии, пишет первую русскую комическую оперу с крестьянской тематикой «Анюта», представленную придворными певчими 26 августа 1772 года в Царском Селе.

Попов писал в предисловии к своему переводу поэмы Дора «О театральной декламации»: «Мня сделать угодность любителям феатра и оного действователям, преложил я на наш язык из дидактическия поэмы господина Дората «На феатральное возглашение» первые две песни, важнейшие предметы сея поэмы».[2] Поэма эта в прозаическом переводе Попова содержала в себе очень интересную для русских любителей театра информацию о знаменитых французских актерах и приемах театральной игры.

Одновременно с работой для театра Попов стал разрабатывать в сотрудничестве с Михаилом Чулковым национальную мифологию, чтобы создать для русской литературы отечественный мифологический арсенал взамен общеупотребительной греко-римской мифологии. Отсутствие зафиксированного славянского Олимпа Попов считал случайным явлением: «Суеверие и многобожие древних славян столь же, чаю, было пространно, сколько у греков и римлян, и если бы древний наш век изобиловал прилежными писателями, то увидали б мы ныне такое ж множество книг, как и у тех, о славянских божествах, празднествах, обрядах, пророчествах, гаданиях, предзнаменованиях и о прочих их священных предложностях».[3] Попов и Чулков в своей работе по созданию славянской мифологии имели в виду интересы литературы, а не науки. Попов писал в том же предисловии: «Сие сочинение сделано больше для увеселения читателей, нежели для важных исторических справок, и больше для стихотворцев, нежели для историков».[4]

Потребность в русской мифологии была подтверждена последующим литературным развитием — особый жанр стихотворной сказ-

---

[1] «Парнасский щепетильник», 1771, май, с. 26.
[2] М. Попов, Досуги, ч. 1, СПб., 1772, с. 211.
[3] Там же, с. 171.
[4] Там же, с. 185.

ки в 1790—1810-х годах широко воспользовался мифологией, созданной Поповым и Чулковым.

Кульминационным этапом литературных успехов Попова были 1771—1772 годы. В это время, кроме перевода с французского прозой поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим», выходит его роман «Славенские древности», с успехом ставится «Анюта», он помогает Чулкову в издании «Собрания разных песен», издает сборник своих произведений «Досуги», напечатанный на счет Кабинета, то есть по приказу Екатерины, куда вошли стихи, песни, переводы для театра, «Анюта»; но на этом, по неясным для нас причинам, собственно творческая работа Попова прерывается. Он превращается из писателя в профессионала-переводчика с французского, добросовестно знакомящего русского читателя с полезными или занимательными книгами. Он переводит «Белевы путешествия чрез Россию в разные Азиатские страны», ч. 1—3 (1776); «Тысяча и один день, персидские сказки», ч. 1—4 (1778—1779) Пти Делякруа; «Рассуждение о благоденствии общенародном» Л. Муратори, ч. 1—2 (1780). В 1782 году он выпускает в переводе с итальянского комическую оперу Бомарше «Севильский цирюльник». Новиков по старой дружбе печатает перевод Муратори, переиздает его перевод Тассо и в 1788 году перевод комедии Брюэса и Палапра «Немой», ранее напечатанный в «Досугах».

Всякая литературная работа Попова после 1780 года прекращается, посмертно (в 1792 году) выходит сборник в трех частях «Российская Эрата, или Выбор наилучших новейших российских песен... Собранные и частично сочиненные покойным Михаилом Поповым».

303—323. *ЛЮБОВНЫЕ ПЕСНИ*

1

Как сердце ни скрывает
Мою жестоку страсть,
Взор смутный объявляет
Твою над сердцем власть;

Глаза мои плененны
Всегда к тебе хотят,
И мысли обольщенны
Всегда к тебе летят.

Тебя не отдаляет
И сон от мыслей прочь;
Твой образ обладает
Равно мной в день и в ночь;
Всеночно, дорогая,
Являяся во сне,
Вседневно обольщая,
Ты множишь страсть во мне.

Твой каждый взор вонзает
Стрелу мне в сердце вновь;
Весь ум мой наполняет
Одна к тебе любовь!
А ты то всё хоть знаешь,
И как я рвусь, стеня,
Но всё то презираешь —
Не любишь ты меня!

⟨1765⟩

2

Разлучившися со мною,
Потужи о мне хоть час;
Может быть, уже с тобою
Говорю в последний раз;
Рок велит тебя лишиться,
Как ни тяжко то снести,
И, лишившися, крушиться,
Плакати, сказав: «Прости!»

Плачь и ты о мне подобно,
Горести во мзду моей...
Нет! не мучь мой дух толь злобно
Ты тоской о мне своей;

Капля слез твоих мне боле
Крови моея ручья!
В беспечальной будь ты доле,
Пусть один страдаю я.

Если рок, смягчась тоскою,
Жизнь велит мне продолжать,
Я увижуся с тобою,
Буду счастлив и опять;
Если ж грусть мой век скончает,
Много ты себя не рви:
Плач нам жизнь не возвращает;
Будь счастлива и живи.

⟨1765⟩

8

Я люблю тебя и стражду,
И отрады не сыщу;
Зреть тебя всегда я жажду,
И очей не насыщу;
Быть хочу всегда с тобою,
И с тобой всегда вещать,
И твоею красотою
Мой тревожный дух прельщать.

Жизнь с тобою провождати,
Нет утехи мне иной;
И тебе противным стати —
Нет мне горести другой;
Ты едина составляешь
Радость и печаль мою;
Ты едина заставляешь
Речь сказать меня сию.

Всё с тобою мне приятно;
Мне и мука не тяжка;
Без тебя же всё превратно,
И утеха не сладка.
Ты мне радость усугубишь,

Коль приязнию почтишь,
И совсем меня погубишь,
Если пламень мой презришь.

(1765)

4

Взором ты меня прельщаешь,
Вспламеняя завсегда,
Взором счастье обещаешь
Ты мне, свет мой, иногда;
И любви моей уж веришь,
Ум мой прелестьми пленя;
Если ж ты не лицемеришь,
Нет счастливее меня!

Ласки я твои считаю
Драгоценнее всего;
В них надежду познаваю
Я блаженства моего.
Если ж чувствуешь ты то же,
Что и грудь моя, стеня,
Нет тебя, мой свет, дороже!
Нет счастливее меня!

Дни со мной ты провождаешь,
Радости мне в грудь лия;
Ты, не зря меня, скучаешь...
Ах! никак уж счастлив я!
И когда не заблуждаю,
Сей мечтой себе маня,
Что тобой я обладаю, —
Кто счастливее меня!

(1768)

5

Всё, что сердце ни терзало,
Чем мой рушился покой,
Всё уже то миновало:

Я любим моей драгой!
Всё, что прежде было в тягость,
Всё то ныне с ней мне радость:
Шутка, малость, пустота —
С ней мне прелесть, красота.

Взор очей ее прелестных,
Сладость уст и тихий нрав
Мне виной утех всеместных,
Образ истинных забав!
С ней минутами мне годы,
Красным летом непогоды;
И один ее лишь сон,
Дух томя, влечет мой стон.

Я, на вид ее взирая,
Новым пламенем горю;
Ум к утехам простирая,
Тьмы бессчетные их зрю;
Свет в утехах забываю,
Вместе с ней когда бываю;
И что в оном ни гублю,
Нахожу в том, что люблю.

⟨1768⟩

6

Можно ль мне в злобной толь части не рваться!
Можно ли сердцу спокойному быть!
Льзя ли, прощаясь с тобой, не терзаться!
Льзя ль не стенати и слез мне не лить!

В сердце, мой свет, я тебя заключаю;
Жизнью считаю твой взор для себя,
Душу свою я в тебе полагаю;
Счастием ставлю я жить для тебя!

Днесь себе счастье то всё зрю превратно;
Век осуждаюсь тебя не видать...

Свет мой! я трачу тебя невозвратно!
Можно ли больше чем душу терзать!

Ну, так впоследни прости, мой любезный!..
Льзя ли толь строго несчастье снести?
Очи, для смерти мне множьте ток слезный...
Ну, мой дражайший! навеки прости

⟨1765⟩

7

Мест прелестных красоты,
Сердцу тяжкие мечты!
Не твердитесь воображенью,
Не мечтайтеся уму,
Горьких слез ко умноженью
И страданью моему;
В сей ужаснейшей пустыне,
В коей сокрываюсь ныне,
Память прежних сладких дней
Стала ад душе моей!

Но забуду ль их когда?
Нет! мечтайтесь завсегда
И очам моим и мысли,
Смутной памяти моей;
Дух мой, томный дух! исчисли,
И престави точно ей
Все забавы и утехи,
Радости, игры́ и смехи,
Кои в них ты ощущал,
Чем мой взор меня прельщал.

Вспоминаючи об них,
Мне не столько рок мой лих;
Мысль, объявшись их мечтою,
Скучны виды прочь далит,
Сей прелестной суетою
Дух прискорбный веселит;
Мрачны думы пригвождает

И надежду мне рождает
Возвращенья моего
Из жилища вон сего.

(1772)

8

Полюбя тебя, смущаюсь
И не знаю, как сказать,
Что тобою я прельщаюсь,
Я боюся винным стать.
Пред тобой когда бываю,
Весь в смятении сижу,
Что сказать тогда, не знаю,
Только на тебя гляжу.

Глядя на тебя, внимаю
Все слова твоих речей;
Прелести твои считаю,
Красоту твоих очей;
И боюсь тогда прервати
Твой приятный разговор,
Чтоб твою не потеряти
Тем приязнь и милый взор.

В сем смущеньи пребывая,
Оставляю нужну речь,
И, часы позабывая,
Времени даю претечь;
Вдруг, увидя день минувший,
Принужден сказать «прости!»
И иду потом, вздохнувши,
Неспокойну ночь вести.

(1765)

9

Льзя ли сердце удержати
И смотрети на тебя;
И, влюбяся, не сказати,
Что почувствуешь, любя?

Сколько стыд мой ни чрезмерен,
Но сильней любовь моя;
Будь, мой свет, ты в том уверен,
Что навеки я твоя.

Но твоею став, желаю,
Чтоб ты столько же любил,
Сколько я тобой пылаю,
И всегда мне верен был.
Да уж то я и внимала;
Лишь бы правда то была:
Что не тщетно я стенала,
Но равно тебе мила.

Может быть, и легковерно
В страсти верю я себе,
Коли мню, что равномерно
Я угодна и тебе;
Но коль слух не облыгает,
Что тебе приятна я,
Если правду он вещает,
Будь ты мой — уж я твоя.

⟨1765⟩

10

Достигнувши тобою
Желанья моего,
Не рву уже тоскою
Я сердца своего.
Душа твоя мной страстна,
Моя тебе подвластна;
Коль счастлива ты мной,
Стократно я тобой!

Тебя, мой свет, считаю
Я жизнию своей;
Прекраснее не знаю
Тебя я и милей.
В любви не зря препятства,
В тебе зрю все приятства;

В твою отдавшись власть,
Не знаю, что напасть.

Твой взор не выпускаю
Из мыслей никогда,
И в мыслях лобызаю
Твой образ завсегда;
Тобою утешаюсь,
Тобою восхищаюсь,
Тебя душой зову,
Тобою и живу.

⟨1765⟩

11

Что сердце устрашало,
Всё сталося со мной:
Что сердце утешало,
Всё льстит уж то иной!
Жар страстный! жар безмерный!
Ты тщетно мне манил.
За что ты, льстец неверный,
Несчастной изменил?

Очам моим свободным
Ты первый сам предстал,
И сделался угодным
Ты мне, как сам желал;
Ты сам меня, бесстрастну,
Любити научил;
За что ж меня, несчастну,
Ты плакать осудил?

За что возненавидел
Прельщенную тобой?
Иль более увидел
Приязни ты в другой?
Ах! верь мне, как другая
Тебе ни станет льстить,
Не будет так, пылая,
Тебя, как я, любить.

⟨1765⟩

12

И с душою разлучуся,
Свет оставлю навсегда,
А неверным не явлюся
Пред тобою никогда;
Мне и счастье всё и слава —
Твой один приятный взгляд,
Без него и жизнь отрава,
И утехи лютый яд.

Хоть и ведаю, к несчастью
И к мучению себе,
Что, прельщенный лютой страстью,
Неугоден я тебе;
Но, твоей отдавшись воле
И заразам милых глаз,
Вольностью не льщуся боле
Я по самый смертный час.

Ты ж, котора мной владеешь,
Принуждая мучась жить,
Если жалость ты имеешь
И способна потужить,
В жизни мною презирая
И терзая силой всей,
Хоть по смерти, дорогая,
Ты о мне уж пожалей.

И, пришед на гроб к несчастну,
Сей, скажи, меня любил;
И, меня не видя страстну,
Он до смерти верен был.
Я же, страстью грудь терзая,
В гроб сойду мученьем сим,
И, в последний раз вздыхая,
С именем умру твоим.

⟨1765⟩

13

Не любовью я скучаю,
Хоть отрады в ней мне нет;
Не мученье в ней считаю
Я напастию, мой свет;
Как мне счастье ни превратно,
Все надежды мне губя,
Мне любить тебя приятно,
И дороже нет тебя.

В злой стенящего судьбине
И подвластного тебе,
Ты не ведаешь поныне
Всей любви его к себе;
Где тебя я ни встречаю,
Страстию влеком моей,
Я повсюду обретаю
Между тьмы тебя очей.

То места тебя скрывают,
Где с тобой надеюсь быть,
То случáи запрещают
Страсть тебе мою явить;
Я повсюду лишь стенаю,
Чтя несчастней всех себя;
Всюду взор твой обожаю,
Зря прелестней всех тебя.

Только в сей несносной части
Мне остались без препон
К изъясненью нежной страсти
Вздохи, грусть моя и стон.
Свет мой, видя, как я страстен
Тьмами прелестей твоих,
Пожалей, как я несчастен
В предприятиях моих.

Всё меня тебя лишает
И старается лишить;
Всё в тебе меня прельщает
И старается прельстить.

Жизнь и смерть в твоем ответе
Ожидаю я, стеня;
В силах ты одна на свете
Сделать счастливым меня.

⟨*1772*⟩

14

Не хладно стихотворство
Мою сплетает речь,
Не вредное притворство
Стремится стон извлечь;
Любовью стыд туша,
Язык мой то вещает,
Что сердце ощущает,
Что чувствует душа.

Душа объята страстью
Ко прелестям твоим,
Подверженная частью
Пожертвовати им
Свободу и любовь;
Прелестна века долю
В твою предати волю,
Имея жарку кровь.

Кровь жарку, распаленну
Приятностью твоей,
И волю полоненну
Тобой души моей;
Всё то соделал ты:
Ты скромность побеждаешь
И тайну исторгаешь
Приятством красоты.

Не случая игрою
Возжглась любовь сия;
Любви твоей мечтою
Воспламенилась я;
Тебя плененна мня,
Тобою полонилась;

Твоею учинилась,
Прельщаясь и стеня.

Но стон мой прекратится,
Исчезнет грусть моя,
И в радость превратится
Прискорбна страсть сия,
Коль я тобой была
Когда-нибудь любима
И видами не льстима,
Что днесь тебе мила.

⟨*1772*⟩

15

Чем грозил мне рок всечасно,
То свершается со мной;
Я, любя тебя толь страстно,
Разлучаюся с тобой!
Я лишаюсь милых взоров,
Я лишаюсь разговоров,
Я лишаюся всего...
Есть ли что лютей сего!

Осуждаюсь жить, не видя
Вечно дорогой моей,
Осуждаюсь ненавидя
Жизни дни влачить своей.
О судьба! судьба жестока!
Ты виной мне слез потока,
Лютых мук мне став творец,
Будешь смерти наконец.

Ах! а ты, мой стон внимая,
Век мне был для коей мил,
Не подумай, дорогая,
Чтоб тебя я позабыл;
Я всегда твоим считался,
Хоть страдал, хоть утешался,
И, разлукою гоним,
Я умру, мой свет, твоим.

Пусть меня судьбина строга
Как захочет — так крушит,
Вечна пусть меня дорога
Милых глаз твоих лишит,
Пусть другой тобой владеет,
Дух ко мне твой охладеет, —
Мне нельзя, мой свет, престать
Всяких благ тебе желать.

⟨*1768*⟩

16

В часы разлуки нашей строги,
Когда ты мне сказал «прости!»,
Едва меня сдержали ноги,
Едва могла я жизнь снести!
С тех пор очей не осушала,
И в сердце ад я ощущала,
Оставшись в горестной стране;
Всё мысль мою тогда смущало,
И то лишь только утешало,
Что ты пребудешь верен мне.

Но, о известие ужасно!
И мысль ты рушило сию,
И, сердцу льстившую напрасно,
Надежду кончило мою.
Кем я покой и счастье рушу
И кто меня любил, как душу,
Тот ныне мне неверен стал;
Неверен стал!.. О слово злобно!
Ты дух исторгнуть мой удобно —
Кого ты, рок, лютей терзал?

А ты, презревый жар безмерный
И нежности к себе мои,
Смеешься, чаю, мне, неверный!
И славишь лютости свои;
И тою ж клятвой пред другою,
Которой клялся предо мною,

Обман сокрыти тщишься свой.
А мне, любви моей в награду,
Хоть это уж оставь в отраду:
Забудь, что ты любим был мной.

⟨1765⟩

17

Ты желал, чтоб я любила,
Сам зачав меня любить;
Я горячность истощила,
Чтоб тебя достойной быть.
Чем же днесь я проступилась,
Что любви твоей лишилась
И заставлена тужить?
Иль победа надо мною
Сталась дерзкою виною
Нашу дружбу помутить?

Как я с волей расставалась
И в твою давалась власть,
Я подобную ж ласкалась
И в тебе сыскати страсть;
Отдалася и сыскала
Я в тебе, чего желала,
Но лишь на единый час!
После сколь тебя ни зрела,
Новой страстию горела,
Ты ж хладел по всякий раз.

Я ласкалась — ты чуждался;
Утешала — ты скучал;
Я стенала — ты смеялся;
Я лобзала — ты терзал;
Я сердилась и рвалася,
Что в обман тебе далася,
И хотела цепь прервать;
Но лишь только что смягчалась,
Пуще я в тебя влюблялась
И гналась тебя искать.

Где ты был, туда бежала, —
Ты оттуду убегал;
Я с тобою быть желала —
Ты то мукою считал.
А чтоб больше я страдала,
Иногда тебя видала,
Как с другою ты сидел,
Говорил, прельщал, ласкался,
Лобызал, и сам прельщался,
И в огне любовном тлел.

Я рвалась, дрожала, млела
И лишалась чувств и слов;
И не инакой сидела,
Как сходящей в смертный ров.
Свет мой! видя, как я стражду,
Как любви твоей я жажду,
Обратись ко мне опять;
Хоть польсти, как льстил ты прежде,
Хоть польсти моей надежде;
Дай хоть рваться мне престать.

⟨1765⟩

18

Окончай бесплодны мысли
Мною овладеть опять,
И меня своим не числи,
Дав из плена убежать;
Не на время, невозвратно
Страсть мою ты прогоня,
Не возможешь уж обратно
Вырвать сердца у меня.

Лесть твоя теперь напрасна
И лукавства полный взор;
Мысль моя уже бесстрастна;
Вижу весь я твой притвор.
Тщетны прежние успехи
Для меня твоих зараз;
Льстивные сии утехи
Уж моих не тронут глаз.

Кровь когда во мне пылала,
Обольщая ум тобой,
Мной тогда ты презирала
И ругалася тоской.
Я же, тщетной страсть увидев,
Тщетну трату всем словам,
Тщетну грусть возненавидев,
Позабыл тебя и сам.

⟨1765⟩

19

Под тению древесной,
Меж роз, растущих вкруг,
С пастушкою прелестной
Сидел младый пастух;
Не солнца укрываясь,
Он с ней туда зашел,
Любовью утомляясь,
Открыть ей то хотел.

Меж тем где ни взялися
Две бабочки сцепясь,
Вкруг роз и их вилися,
Друг за́ другом гонясь;
Потом одна взлетела
К пастушке на висок,
Ища подругу, села
Другая на кусток.

Пастух, на них взирая,
К их счастью ревновал,
И, оным подражая,
Пастушку щекотал,
Всё ставя то в игрушки,
За шею и бока;
Как будто бы с пастушки
Сгонял он мотылька.

«Ах! станем подражати, —
Сказал он, — свет мой, им;

И резвость съединяти
С гулянием своим;
И, бегая лесочком,
Чете подобясь сей,
Я буду мотылёчком,
Ты — бабочкой моей».

Пастушка улыбалась,
Пастух ее лобзал;
Он млел, она смущалась,
В обоих жар пылал;
Потом, вскоча, помчались,
Как легки ветерки;
Сцеплялися, свивались
И стали мотыльки.

⟨1765⟩

20

Ты бессчастный добрый молодец,
Бесталанная головушка!
Со малых ты дней в несчастьи взрос,
Со младых лет горе мыкать стал;
В колыбеле родной матери,
Пяти лет отстал мила отца;
Во слезах прошел твой красный век,
Во стенаньи молоды лета.

Ты зазноба, ты зазнобушка,
Ты прилука молодецкая,
Красна девица, отецка дочь!
Твои очи соколиные,
Твои брови соболиные,
Руса коса красота твоя —
Приманили к тебе молодца,
Прилучили горемышнова.

В красоте твоей девической,
В твоей младости и разуме
Чаял он сыскать отца и мать,
Он увидеть род и племя всё;

Он надеялся размыкати
На устах твоих тоску и грусть;
Во очах твоих надеялся
Потопить свое бессчастие.

Ах! как ягоде калинушке
Не бывать вовек малинушкой,
Не живать так горемышному
Век во счастьи и во радости.
Красна девица скончалася,
Полюбити отказалася
Горемыку добра молодца,
Сиротину бесталаннова.

Ты бессчастье, ты безгодье зло!
До чего тебе домыкати
Сиротинушку-детинушку,
Бесталанна, горемышнова!
Уж ни в чем ему удачи нет,
Ни талану на бело́м свету;
Знать, талан его скрывается
В четырех досках в сырой земле.

⟨1772⟩

21

Не голубушка в чистом поле воркует,
Не вечерняя заря луга смочила —
Молода жена во тереме тоскует,
Красоту свою слезами помрачила,
Непрестанно вспоминая мила друга,
Молодого друга милого, супруга.

«Ты надёжа, ты надёжа, друг сердешный, —
Она вопит тут, и плача и вздыхая,
Во жестокой своей грусти, неутешной, —
Мое сердце не змея сосет лихая,
Не отрава горемышну иссушает —
Со тобой, мой свет, разлука сокрушает.

Не постылого с тобой я отпустила,
Не лихого, не сварлива провожала,

Провожаючи, рвалася я, не льстила,
Не обманом слезы горьки проливала —
Свет очей моих пустила я с тобою,
Жизнь и смерть мою с твоею головою.

Не неволей ведь меня тебе вручали —
Ум и разум твой меня тебе вручили.
И не силой нас с тобою обручали —
Дружба наша и любовь нас обручили;
И совет наш увенчали не обеты —
Увенчали твои ласковы приветы.

Погадай же, мой сердешный друг, подумай,
Какова теперь печаль моя, надсада!
Вспомяни о мне, надёжа моя, вздумай,
Что жена твоя и жизни уж не рада,
Что тобою я одним спокойство рушу, —
Привези ко мне обратно мою душу».

⟨1772⟩

324—343. *ЭПИГРАММЫ*

1

Полезен ли феатр и чистит ли он нравы,
Иль только что одне приносит нам забавы,
Коль спросит кто меня о сем,
Скажу,
И докажу
Ему о всем
И прямо.
А как?
Вот так,
Как испытание доказывает са́мо:
Для умных служит он к познанью вместо врат,
Для глупых — игрище, гульбище и разврат.

2

Тебе ль приличнее, народы погубляя,
Носити лавр, ирой, и славою сиять,
Или красавице, род смертных умножая,
Под оными блистать?
Ты бич, ты яд, ты ад, ты изверг смертных рода,
А та царица, мать, утеха, жизнь народа.

3

Пожалуй, перестань любовь мне толковать,
Я знаю, как любить и верной быть кому.
Богатым сердце я привыкла отдавать,
А не тому,
Таскает кто суму.
Без денег верной быть, скажу я без приветов,
Пустая выдумка одних у нас поэтов.

4

Когда ученый пьет, не пьянства он желает,
Он мнит: кто бодрствует, тот в слабости впадает;
Кто много пьет, тот спит; кто ж спит, не согрешает,
И так, когда он пьет, грехов тем избывает.

5

Когда смеются мне, что я рога ношу,
И я смеюся сам, рогатых поношу.
Но тех, которых лоб тягчат рога простые,
Те правда что смешны, а я ношу златые.

6

Наукой ум на то печемся мы питать,
Из глупого скота чтоб человеком стать;
А ты на то провел в ней юные дни века,
Чтоб сделаться тебе скотом из человека.

7

«Навек тебя, навек, прекрасна, полюбил, —
Любовник, ластяся, любезной говорил, —
И в гроб сойду любя». — «И я умру любя, —
Ответствовала та, — да только не тебя».

8

«Знать, жизнь моя тебе уж стала неприятна,
Ты стала днесь совсем ко мне, мой свет,
превратна», —
Любовник говорил. Любовница в ответ:
«Что ж делать! ныне стал и весь превратен
свет».

9

«Не плачь, молодушка, лишившись молодца,
Ведь ты очистила уж этого глупца;
Или и вправду ты к нему любовь питала?» —
«Нимало, никакой! — молодка отвечала. —
Когда ласкала я любовника сего,
Любила серебро и золото его,
И плачу не о том, что он со мной расстался,
Но что кафтан на нем его не мой остался».

10

«Конечно, мне, жена, ты стала не верна? —
Рогатый говорил. — С двора как ни пойду,
Так гостя уж всегда, пришед домой, найду».
В ответ на то жена:
«Мужчина нам глава, мы с ней родились жить,
Так можно ли хоть час без головы мне быть?»

11

Разбойники, огонь, потоп и трус земной
Тревожат в жизни нас и рушат наш покой.
Последне бедство — смерть — всех зол сих жесточае,
Но лютая жена всего на свете зляе.

12

Не сетуйте, друзья,
Что полным пью ковшем вино и пиво я:
Я жажду, пламенем любви горя ужасно,
А вестно, что огонь сей не тушить опасно.
Так видите ли вы, что пью я не напрасно!

13

Хотел бы, говоришь ты, друг мой, быть женат,
Коль не страшился б жизнь достать чрез
то несчастну,
Не бойсь, не трусь! возьми жену, да лишь
прекрасну,
Ты счастлив будешь с ней и по уши богат.

19

Негодный лицемер, скрыв яд в душе своей,
Обманывает век и бога и людей.
И мнит, что бог ему все плутни отпущает
За то, что всякий день он церкви посещает.

20

Ты скупостью меня моею попрекаешь,
И обществу ее ты вредною считаешь.
А я так мню не так: от денег страждет свет,
Так я, скрывая их, людей лишаю бед.

21

Хоть в картах ты игрок искусней всех бываешь,
Однако ж выиграть не можешь завсегда.
А ты, красавица, и дурно хоть играешь,
Но только проиграть не можешь никогда.

22

Неверностью меня не можешь ты винить.
Кого любила я, тот в той поднесь судьбине.
Богатству твоему клялась я верной быть,
Его любила я, его люблю и ныне.

23

Ты книг премножество, приятель мой, читал,
И стоп десятка с два бумаги измарал.
С младенчества в трудах, ученье почитаешь,
Да только то беда, что выучил, не знаешь.

29

Не думай никогда, любовник дорогой,
Чтоб я неверною осталась пред тобой.
Не то ль тебя мятет, что мужа лобызаю?
Целуючи его, тебя я вображаю.

30

Осмым тебя, мой друг, все дивом почитают,
Пречудные в тебе два свойства обретают:
Тогда как ты молчишь,
Премножество ума найти в тебе все чают,
Но лишь раскроешь рот и только заворчишь,
То круглым все тебя невеждой величают.

⟨1769⟩

344—345. *ЭЛЕГИИ*

1

Едва тебя, мой свет, успела полюбить,
Уже свирепый рок спешит меня сгубить;
Отъемлет у меня надежду быть с тобою;
Уже вознес удар сразить меня тоскою...
Ты едешь... едешь прочь! и я тебя лишусь,
Любя, горя тобой, с тобою разлучусь!
Я рвуся — ты грустишь; я плачу — ты рыдаешь;
И, мучась сам, меня на муки покидаешь.
Лютейший рок! почто вспылать нас допустил,
Когда любиться нам спокойно не судил?
Смотри на нашу скорбь, на слезы, на мученье
И, сжалясь, уничтожь ты наше разлученье!
Тронись моей тоской, отчаяньем его
И часть хотя убавь из гнева твоего,
Позволь ему еще со мною здесь остаться;
Дай нашим ты устам еще нацеловаться

И нежных имена любовников носить,
Их тающих сердец приятности вкусить.
Оставь нас сладостей досыта их напиться,
По сем готовы мы и в гроб и разлучиться.

2

Прешли ласкания, напасть моя открылась:
Неверность вся твоя, изменница, явилась.
Не та уж стала ты, что прежде ты была,
Другому ты приязнь и сердце отдала.
Другому... можно ль снесть!.. ты стала утешеньем,
Другому радостью, а мне презлым мученьем.
Скажи, такия ли награды ожидал,
Когда тебе навек я сердце поручал,
Нелицемерною к тебе любовью льстяся;
И мнил ли, как душа моя тебе далася,
Когда с ласканьями тебя я обымал,
Ласканья от тебя подобные примал,
Желаниям твоим повсюду отдавался,
И властью над тобой такою же ласкался,
Чтоб столько лютою изменой был сражен,
Чтоб стал любящею тобою толь презрен?
Ах, нет! лице твое тогда мне не являло
Того, что ныне мне к лютейшей муке стало.
Но для чего мне мой совместник предпочтен?
Каким достоинством твой взор в нем стал прельщен?
Сильнее ль страсть его моей, скажи мне, страсти,
Отважнее ль пойдет он для тебя в напасти,
И постояннее ль он верность сохранит?
Нет! нет! не то тебя, неверная, в нем льстит,
К неверности не жар тебя принудил крови,
Ты злато предпочла его моей любови!
Не красотой прельстясь, ты сердце отдала,
Корысть тебя, корысть к другому привлекла!
Она твою ко мне горячность простудила
И совесть наконец из мыслей истребила.
Она причиною моим напастям злым:

Тебе бесчестием и вредом обойм.
Но что неверной я изменой попрекаю?
Я стоном к жалости ее не привлекаю.
Она моей тоске смеется, может быть,
И мне любовницей уже стыдится слыть.
И веселится тем, что я терзаюсь ныне,
Оставшися в корысть мучительной судьбине.
Ругается тоске, котору я терплю,
А я ее, увы! а я еще люблю.
Свирепствуй, лютая! гордись своею властью
И веселись моей несносною напастью.
Но как вседневна грусть мои скончает дни,
Хотя тогда о мне, жестока, вспомяни.
И молви, что тому, кого как жизнь любила,
За искренность его изменой заплатила.
А он, презренным став, терзался, но любил,
И верность до конца к неверной сохранил.

⟨1769⟩

346—347. *НАДГРОБИЯ*

1

Под кучкой здесь зарыт пречестный человек;
Он обществу служил во весь свой долгий век,
От зависти самой имел похвал венец
И украшением природы почитался:
Но наконец,
За все свои труды, от голода скончался.

2

В гробнице сей лежит преславнейший купец,
И вот каких он был товаров продавец:
Не рыб и не скотов, не птиц и не зверей;
Да что ж он продавал? Людей.

⟨1769⟩

348. СОНЕТ

О небо! для чего родился человек?
Не для сего ль, чтоб весь он мучился свой век,
Болезни, нищету и злость претерпевая,
Гнушался живота, кончину призывая?

Ах, нет! конечно, нам всещедро божество
Не для мучения послало существо,
И разум наш, его преславное творенье,
Не ко вреду нам дан, но в пользу и спасенье.

Сей мир, позорище премудрости небес,
Исполненный всех благ, исполненный чудес,
Устроен нам творцом эдемским райским садом;

Но наши глупости, пороки, суета
И умствований злых и гордых пустота
Преобратили нам его из рая адом.

⟨*1769*⟩

349. БАСНЯ
ПЕНЬ

Всяк житьем своим скучает
И судьбине докучает:
Для чего я не богат,
Для чего рожден не знатен,
Для чего не кудреват,
Для чего не бел, не статен?
А того не рассуждает,
Что как доля ни груба,
Но всегда в нее судьба
Наше счастье заключает.

Я читателям скажу
Старых лет на это сказку.
Сугету в ней покажу

И пущу ее в огласку
Безо всякого примеса.

Близ Славенска на лугах,
Где паслись волы в стадах,
Столб иль пень стоял близ леса,
Что у пней рассудка нет,
Знает это целый свет.
Знает это и писатель,
И почувствует читатель,
Что сего я не таю:
Лжи за правду не даю.
Лишь скажу, что в самом деле
Учинилося доселе.
Сказанный мной выше пень,
Зря волов по всякий день
На зеленой жирной паастве,
В прыганьи, питье и ястве,
Приуныл и восстенал,
И в тоске своей сказал:
«Коль счастливо бычье племя!
Днем гуляет на травах,
Ночь покоится в хлевах,
И ведет в забавах время.
Как же злополучны пни!
Целый век стоят одни.
В ночь от стужи замерзают,
Зной во дни претерпевают,
И отрад ни в чем не зрят,
Только зябнут и горят.
О Перун, небес владыка!
Зря, напасть моя колика,
Сжалься и избавь от зла:
Претвори меня в вола».

Пня с небес Перун внимает
И его не понимает,
Для чего спокойну часть
Хочет пременить в напасть.
Пню Перун не отвечает,
Пень Перуну докучает.

Злясь Перун на дурака,
Претворил его в быка.

Пень, надев сию обнову,
Ищет на поле корову.
Ест траву и воду пьет,
Бегает, мичит, рыкает,
Всех быков рогами бьет
И от телок прочь толкает.
Видя это, пастухи
Приняли его в трюхи,
В палки, кнутья и дубины,
Думая, что он чужой,
И боясь, чтоб их скотины
Не попортил он собой.
Пень, почувствовав удары
На себя от всех сторон,
Не вступается во свары
И бежит из стада вон.
Воздух воплем наполняет,
Часть воловью проклинает
И быком не хочет быть,
Но и пнем не хочет жить.
Проливая слез он реки, —
Не быки счастливы, мнит,
А блаженны человеки.
Воздыхая говорит:
«Всем их племя одаренно,
Всё им в мире покоренно.
Самые из них псари
Над животными цари.
О Перун, правитель мира!
Сжалься надо мной, — кричит, —
Не оставь меня ты сира
Под ярмом стенать, — мичит, —
Сохрани меня от зла
Для спасенья кратка века,
Претворив меня в вола,
Претвори и в человека.
В новом виде я себя
От напастей всех избавлю.

А за милости тебя
Больше всех людей прославлю.
Уж впоследние взываю,
Больше слова не скажу
И тебя не утружу,
Ничего не пожелаю».

Так взывая, глупый пень,
Изъясняя грусть и муку
И болтая дребедень,
Он вогнал Перуна в скуку.
«Буди всем тем, чем желаешь, —
Пню Перун во гневе рек, —
Будь, коль благо в том считаешь,
Из скотины человек.
Но уже, им став из пня,
Больше не тревожь меня».

Бык мотает головою
И колени к земле гнет,
Становится с бородою,
Человеком восстает.
В ближний смотрится ручей,
Красоте своей чудится,
Разумом своим гордится
И не трусит уж бичей.
Чувствуя ж еще досаду,
Что тузили пастухи,
Йдет нá поле ко стаду
Так, как ходят петухи.
Головою не кивает,
Пастухов не поздравляет,
И, подпёршись под бока,
Просит хлеба, молока.
Пастухи захохотали
И безумцу отвечали:
«Вон река недалека,
Широка и глубока,
Можешь в ней испить, а хлеба
Доставай себе сохой,
Рукодельем, головой.
Или жди его ты с неба».

Пень работать не обык,
А обедати уж хочет.
С пастухами он хлопочет
И ревет, равно как бык.
Пастухи столба толкают,
Под бока его пихают
И от стада гонят прочь.

Пень до драки не охоч,
Не надеясь пищи боле,
Прочь отходит поневоле.
Но томимый лютым гладом,
Ищет пищи на древах,
Меж кустами, во травах,
Алчным, жадным, быстрым взглядом.
Что в лесу ни обретает,
Жадно в рот к себе пихает.
Утоляя лютый глад,
Всякой пище бедный рад.
Но сретая там терновник,
Инде хворост, там шиповник,
Став исколот, став в поту,
Пень не рад мой животу.
Пень из леса выбегает,
Рот в источник опускает
И за все свои труды
Напивается воды.

Утомленный став ходьбой,
Сну противиться не смея,
Но постели не имея,
Спать ложится меж травой.
Сон над пнем не успевает,
Пень терзается тоской.
Наконец он засыпает
И дрожит от стужи злой.
Ветр и хлад в нем кровь смущают,
Резь бурлит в нем от воды,
Комары его кусают,
И тревожат пня гады́,
Нападая неотступно

И сражаясь с ним все купно,
В пне болезнь они родят
И терзанье в нем плодят.

Пень ко небу глас возносит
И еще Перуна просит:
«Сжалься, боже, надо мной,
Дай мне образ ты иной!
В грустях провождая веки;
Насыщаяся, стеня,
Всех несчастней человеки,
Злополучнее и пня, —
Век их предан тьме обид,
Злобе, немощам и смерти,
Ими властвуют и черти,
И пустыя тени вид.
Зря, как стражду я стеня,
Существо имея то же,
Претвори, о сильный боже,
В светла гения меня.
Дух сей непричастен хладу,
Страсти, скорби, жажде, гладу,
Смерти лютому часу,
Вечную храня красу.
Преврати меня в него:
Больше уж роптать не стану
И не молвлю ничего».
Но Перун так рек болвану:
«Речь твоя хоть лицемерна,
Гений будешь ты сейчас,
Но еще солжешь ты раз, —
Суета твоя безмерна».

Пень на землю повалился,
Просьбой божеству грубя,
И восставши как озрился,
Зрел уж гением себя.
Тотчас крилья простирает
И на небо он летит.
От восторга обмирает
И мечтою всё то чтит.

Став быстрее и Зефира,
Уж касается эфира,
Но внезапный с неба глас
Сей творит ему приказ:
«Обратись в жилище мира
И служити начинай:
От богатых нища, сира
Нападений защищай,
Слезы отирай вдовицам,
Праведным помощник будь,
Твердость укрепляй девицам,
Исправляй порочных путь».
Вняв небесны словеса,
Пень на землю возвратился
Исполняти чудеса
И в Славенске очутился.

Первый встретился ему,
Пню пресветлому сему,
В ветхом рубище пьянюга
И такая ж с ним подруга.
Пьяная сия чета
Глас охриплый возносила:
Пенязей себе просила
У богатого скота, —
Не по стану, по уму,
Не дивись никто сему,
Это чудо не велико:
Мы под образом людей
Часто видим лошадей
И не ставим это в дико.
Званьем скот был тот купец
И достоинством скупец:
Гнал он нищих прочь тычками,
Называя их притом
Тунеядцами, скотами
И отечества стыдом.
Пень, увидя то, чудился
Скупости его презлой,
На скупягу рассердился
И согнал с земли долой,
Позабыв приказ небесный,

Чтобы грешных исправлять
И на правый путь и честный
Духом кротким провождать.

После действия такого,
Претворенный в духа пень
Злился долго на скупого
И калякал дребедень.
Напоследок вспомянув
О своем посланьи к миру
И позадь себя взглянув,
Он увидел прямо сиру,
Но порядочно одету,
И влекому пред судей
По напрасному навету
Злых и пагубных людей.
Не входя о деле в толк,
Над несчастной насмеялся
И по городу помчался
Тако, как голодный волк.
Обегая град повсюду,
Слыша многих бедных стон
И не видя ниоткуду
Области своей препон,
Он во все дела вступался:
Бил, тазал, кричал и дрался,
Не спущая никому,
Всё вершил по-своему.

Так муштруя целый день,
Прекращая споры, брани,
Наконец устал мой пень
И, подняв ко небу длани,
Воздохнувши возопил:
«О Перун! нет больше сил
Страсти смертных усмиряти,
Злобу правде покоряти.
Премогает их порок
Мыслей гениевых ток.
Будь твоя со мною воля,
Тягостна моя мне доля.
Обращая смертных ум

К райским областям прекрасным,
Сотворится сам несчастным
Омрачением их дум.
Осужденному судьбою
Препираться век борьбою
С духом злаго существа
Сил и гения не станет;
Разве мудрость не увянет
Одного в том божества.
К счастью заперты дороги
Тварям, людям и духа́м,
Им владеют только боги,
Властелины небесам.
И тогда досад избуду, —
Пень, задумавшися, мнит, —
Как и я в числе их буду».

Но Перун ему гласит:
«Пни богами не бывают,
Мелют только пустоту
И, не знав, чего желают,
Лезут только в высоту,
Мня сыскать на ней блаженство,
Мнима счастья совершенство.
Но наместо всех отрад
Часто падают во ад.
Я внимал твои желанья
Для единого сего,
Чтоб явить, что им скончанья
Век не будет твоего.
Что твой слабый ум и силы
Не возмогут упражнять
Тех степе́ней, кои милы
Суете твоей искать.
Твари созданы к работе
И скончаются в заботе,
Но сию им злую часть
Навлекает их же страсть
Ум прельщати высотою,
Вредной смертным пустотою,
Презирая простоту,
Древня века красоту.

А первоначальна доля
К их же благу им дана,
Хотя мысль их днесь и воля
К суетам устремлена.
К твоему же благоденству
Пнем ты создан от меня
И к подобному ж блаженству
Превратись опять во пня».

(1769)

350. ВСТУПЛЕНИЕ

Врожденных склонностей мня следовать закону,
Хотел предаться я навеки Аполлону
И чистых сестр алтарь вседневно угобжать,
Дабы по сем возмог достойно подражать
Прекрасну пению россиян знаменитых,
В отечестве своем и всюду именитых,
Которых красный слог, пленяя всех сердца,
Доставил почесть им нетленного венца.
Прельщенный мыслью сей, я все мои досуги,
Пренебрегая всё — и бедность и недуги,
Старался в письменах со тщаньем провождать
И славой будущей ленивость побеждать.
Сгорая ж завсегда парнасским сим пыланьем,
И к благу общему стремясь моим желаньем,
Хотел достойному достойное воздать
И знаменитых дел забвенье обуздать;
Невинному подать невинно упражненье
И к добродетелям соделать побужденье;
Хотел безумному безумство отразить,
Порочному желал пороки омерзить,
Бесчестных обратить на путь хвалы и славы;
Иль обще всем подать невинные забавы:
Хотел представити я страсти во стыде;
Совет на них и смех, злословия ж нигде;
Хотел читателя заставить их бояться,
Там гневаться на них, а инде им смеяться;
И рода разного явить ему скотов:

Безумцев, забияк, мотов, скупых, плутов.
Такие замыслы питая в воображенье,
Впустился ревностно того в изображенье,
Отверзя ко стихам свободный мыслям ток,
Да удостоюся потом сих лестных строк:
«Желание добра перо его водило,
И пользу меж забав играя погрузило!»
Но что ж потом? О рок! писав, потев, вертясь,
По тесной горнице творя бесплодны круги
И на тупый мой ум с двенадцать лет сердясь,
Насилу мог скропать лишь бедные «Досуги».
Премногим жребий сей есть общ у нас писцам,
Которы подражать великим льстясь творцам,
Во стихотворческий вдаются подвиг смело.
Но, иль со тщанием в сие не вникнув дело,
Иль нужным знаниям к тому не научась,
Иль спесью авторской заранее воскичась,
К другому ль ремеслу природою гонимы,
А чаще бедностью и нуждами томимы,
Наместо чудеси перед народный взор
В посмешище себя являют и в позор.

⟨1772⟩

351. НАДПИСЬ

КНЯЗЮ АНДРЕЮ ЯКОВЛЕВИЧУ ХИЛКОВУ НА КНИГУ ЕГО, НАЗЫВАЕМУЮ «ЯДРО РОССИЙСКИЯ ИСТОРИИ»

Сияющих отцев блистательнейший плод,
Хилков, разумный князь! начертавая нам
Ты славны подвиги российского народа,
Исторгнул изо тьмы ироев российских род;
Простер их славу дел ко чуждым небесам,
Да ведает об них весь мир и вся природа,
Да будет ведомо и поздным временам;
Да всюду древняя Россия будет чтима,
Да новая цветет красней Афин и Рима;
Но, прославляя их, прославился ты сам,
И будет здесь твоя потоль гремети слава,
Поколе простоит Российская держава.

⟨1772⟩

352. НАДГРОБИЕ

ФЕДОРУ ГРИГОРЬЕВИЧУ ВОЛКОВУ

Сей первый муж феатр россиянам открыл [1]
И с похвалой на нем порокам поругался.
Был мусам милый друг, отечеству служил,
До смерти был любим, по ней хвалим остался.

⟨1772⟩

353. НАДГРОБИЕ Н*** Г***

Прохожий! видя сей надгробный хладный камень,
Воспомни о конце всем общия судьбы:
Смирись и укрощать потщись пороков пламень,
А обо мне пролей ко господу мольбы.

⟨1772⟩

354. СОЛОВЕЙ

Свистал на кустике когда-то Соловей
Всей силою своей:
Урчал, дробил, визжал, кудряво, густо, тонко,
Порывно, косно вдруг, вдруг томно, нежно, звонко,
Стенал, хрипел, щелкал, скрипел, тянул, вилял,
И разностью такой людей и птиц пленял.
Когда ж он всё пропел
Толь громко и нарядно,
То Жаворонок к нему с поклоном подлетел
И говорил: «Куда как ты поешь изрядно!
Не могут птички все наслушаться тебя;
И только лишь одним бесчестишь ты себя,
Что не во весь ты год, дружок мой, воспеваешь».
— «Желая побранить, меня ты выхваляешь, —
Сказал на то певец, —
Пою в году я мало,
Но славно и удало;
А ты — глупец!

---

[1] «Оп⟨ыт⟩ истор⟨ического⟩ слов⟨аря⟩ о российск⟨их⟩ писат⟨елях⟩», стран. 32.

Не сопротивлюся нимало я природе,
Когда она велит, тогда я и пою,
Коль скоро воспретит, тотчас перестаю.
А противляться ей у дураков лишь в моде;
Им это сродно,
Чтоб мучиться бесплодно
И против ней идти, когда ей не угодно».

Парнасские певцы!
Постерегитесь быть такие же глупцы;
Не предавайтеся стремленью рифмовать,
До тех лишь пойте пор, пока в вас будет сила;
Не дожидайтеся, чтоб оная простыла,
Когда бессмертие страшитесь потерять.

⟨*1772*⟩

355. ПРИПИСАНИЕ ПЕСЕН И ЭЛЕГИЙ ПРЕКРАСНОМУ ПОЛУ

Собранье прелестей, веселия престол,
Тобою научен, тебе, прекрасный пол!
Сии творения на жертву посвящаю
И сладкою себя надеждою прельщаю,
Что твой прелестный взор, касаяся сих строк,
Блаженным учинит моих писаний рок.
В восторге воспою тогда твою судьбину,
Что ты имеешь дар дать жизнь нам и кончину,
Что жертвенником все сердца тебе творят,
Повсюду о тебе и мнят и говорят;
С тобой нам все места и все часы приятны,
А без тебя и жизнь и счастие превратны;
Никто от стрел твоих не может убежать,
Ничем ударов их не можно удержать;
Твоими прелестьми рожденны мы прельщаться,
И нет никоих средств от оных защищаться.
Бесплоден меч и лук, доспехи и щиты —
Всё прелестям твоей покорно красоты!
Все дни подсолнечной и все ее державы
Исполнены твоих побед, торжеств и славы.
Ты наших цепь блаженств, отрада и покой,
Вселенная дышит и движется тобой.

ДОСУГИ,

ИЛИ

СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ И ПЕРЕВОДОВЪ,

МИХАЙЛА ПОПОВА.

Свобода, Празность и Любовь, суть источники Стихотворства. Г. Сумарок. во Пч. мѣс. Янв. V.

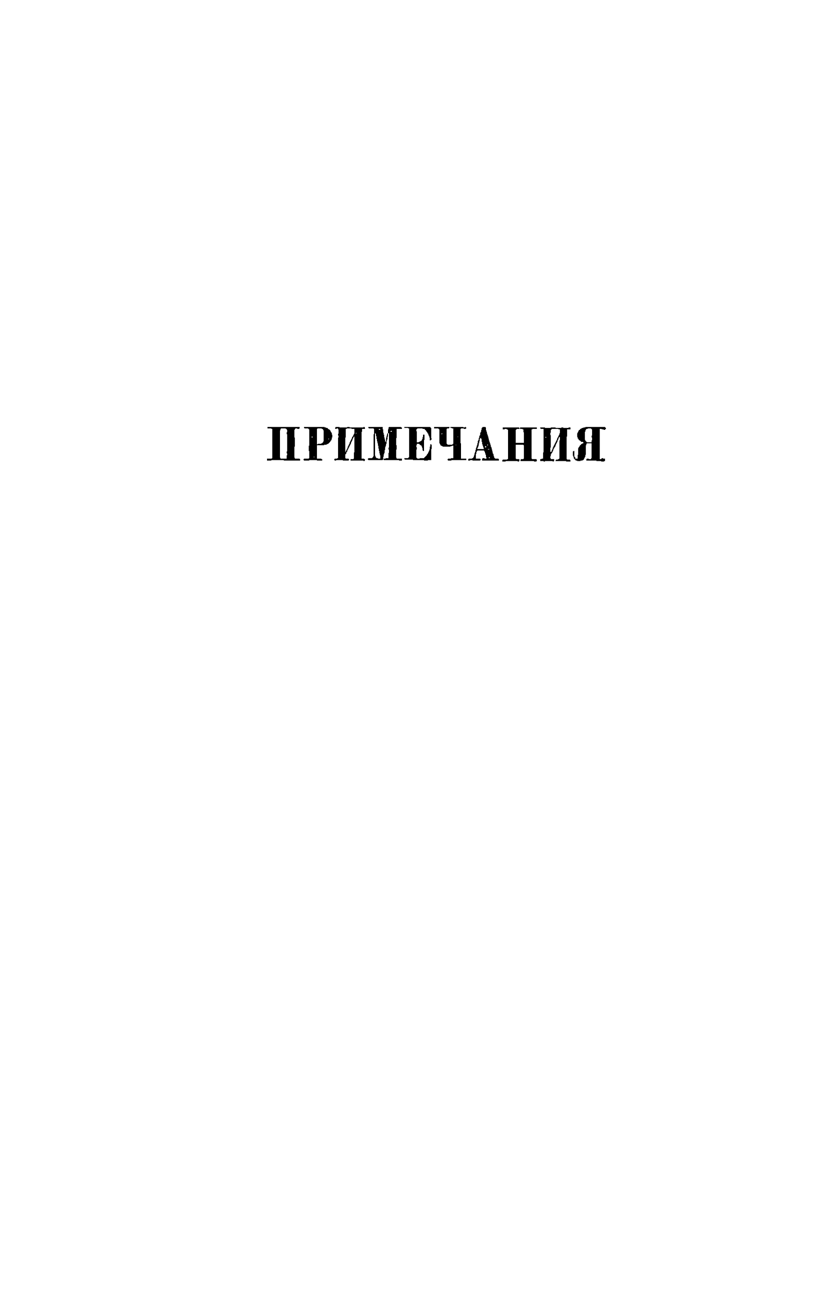
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,

1772 ГОДА.

Ты наши радости и счастье управляешь
И, нами царствуя, судьбой повелеваешь.
И, словом, ты. . . ты всё! . . Что мне еще
сказать? . .
О вы, которы дар нашли красно́ писать
И нежностьми свои наполнили писанья,
Начертывая вид прелестного созданья!
Откройте мне хоть часть искусства своего
Достойно похвалить приятности его.
Увы! нет сил мне быть ни в малом вам подобным,
Но чувствую себя сие сказать способным,
Что сколько нежный пол природой одолжен,
Столь миру заслужил, и стал им обожен.

⟨1772⟩



ПРИМЕЧАНИЯ

В изданиях Большой серии «Библиотеки поэта», посвященных стихотворному наследию XVIII века, настоящий двухтомник занимает особое место. Он включает в себя произведения забытых или малоизвестных поэтов, оставивших более или менее заметный след в литературе своего времени и не представленных в других сборниках Большой серии. Лучшие и наиболее характерные образцы творчества этих авторов, отобранные для данного издания, уточняют картину поэтического движения XVIII века в его сложности и многообразии.

При комплектовании двухтомника составители стремились не включать в него тексты, известные по другим изданиям Большой серии (второе издание). Так, например, раздел, посвященный А. О. Аблесимову, максимально разгружен от его стихотворных сказок, поскольку большое место для них было отведено в ранее вышедшем сборнике «Стихотворная сказка (новелла) XVIII — начала XIX века» (Л., 1969). В раздел «Анонимные стихотворения» не включены произведения, опубликованные в таких изданиях Большой серии, как «Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX века» (Л. 1959) и «Вольная русская поэзия второй половины XVIII — первой половины XIX века» (Л., 1970).

Материал распределяется по томам в соответствии с хронологией: в первый том входят произведения десяти поэтов 1750—1770-х годов; во второй — семи поэтов 1780—1790-х годов. Произведения внутри разделов по возможности расположены в хронологической последовательности.

Ввиду отсутствия ориентировочных сведений о времени написания стихотворений, они обычно датируются годом первой прижизненной публикации. Год, не позднее которого написано стихотворение, выделяется угловыми скобками. Произведения, датировать которые не удалось, помещены в конце соответствующих разделов без дат.

За исключением случаев особо оговоренных, тексты печатаются по последней авторской редакции. В примечаниях к каждому произведению указывается первая публикация, а затем последующие источники текста, содержащие какие-либо смысловые изменения — вплоть до издания, по которому воспроизводится текст. Ссылка только на первую публикацию означает, что произведение печатается по ней, так как текст больше не перепечатывался (либо перепечатывался без изменений).

В примечаниях приводятся отрывки из ранних редакций, как правило значительные по количеству строк либо важные в смысловом отношении. Особый случай представляет «Ода на карусель» В. Петрова. Первая редакция этой оды была впоследствии столь радикально переработана автором, что ее обновленный текст приобрел самостоятельное художественное значение. Ввиду этого составители сочли возможным полностью опубликовать в корпусе настоящего издания две редакции оды Петрова.

При подготовке раздела «Стихотворная полемика» были использованы материалы из разных рукописных сборников (ПД, ЦГАДА). При наличии нескольких списков одного стихотворения выбирался наиболее исправный текст. В ряде случаев и в этот текст вносились поправки по другим спискам. В примечаниях указывается основной источник текста и дополнительный, если по нему внесены исправления.

Пояснения мифов и мифологических имен, а также архаических и малоупотребительных слов сосредоточены в двух соответствующих словарях, помещенных в конце второго тома.

Тексты произведений второго тома из раздела «Стихотворная полемика» подготовили к печати Н. Д. Кочеткова (№№ 176—200), Г. С. Татищева (№№ 203—222), Л. И. Кулакова (№№ 201—202). Ими же написаны и соответствующие этим номерам примечания. Стихотворение Н. А. Львова «Русский 1791 год» (№ 67) и примечание к нему подготовлены В. А. Западовым. Раздел «Анонимные стихотворения» составлен и прокомментирован Н. Д. Кочетковой (№№ 223—244) и Г. С. Татищевой (№№ 245—253). «Ода кулашному бойцу» Баркова (т. 1, № 41) подготовлена к печати Г. П. Макогоненко.

Нумерация стихов (по десяткам) в произведениях, насчитывающих свыше ста строк и не имеющих строфического членения, дается в тех случаях, когда в примечаниях имеются ссылки на отсчет стихов.

Н. Д. Кочеткова
Г. С. Татищева

Условные сокращения, принятые в примечаниях

ААН — Архив Академии наук СССР (Ленинград).

Анакреон, 1—3 — Анакреон. Стихотворения Анакреона Тийского. Перевел Н. А. Львов, кн. 1—3, СПб., 1794.

«Аониды» — «Аониды, или Собрание разных новых стихотворений», кн. 1—3, М., 1796—1799.

БАН — Библиотека Академии наук СССР (Ленинград).

Берков — П. Н. Берков, Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750—1765, М.—Л., 1936.

В — «Вечера».

ВЕ — «Вестник Европы».

ВЗ — «Вечерняя заря».

ГБЛ — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

ГПБ — Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
ДБ — «Дело от безделья».
ДН — «Доброе намерение».
Досуги — Досуги, или Собрание сочинений и переводов Михайла Попова, ч. 1, СПб., 1772.
ДП — «Друг просвещения».
ЕС — «Ежемесячные сочинения».
ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения».
ЗС — «Зеркало света».
ИОРЯС — «Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук».
КП — «Карманный песенник, или Собрание лучших светских и простонародных песен», ч. 1—3, М., 1796.
КС — Казанский сборник (рукописный сборник XVIII в., хранящийся в библиотеке Казанского университета).
ЛН — «Литературное наследство».
Ломоносов, т. 8 — М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. 8, М.—Л., 1959.
ЛСЗ — «Лекарство от скуки и забот».
«Магазин» — «Магазин общеполезных знаний и изобретений с присовокуплением Модного журнала, раскрашенных рисунков и музыкальных нот», ч. 1—2, СПб., 1795.
МЖ — «Московский журнал».
НЕС — «Новые ежемесячные сочинения».
НРП — «Новый российский песенник», ч. 1—3, СПб., 1790—1791.
ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР.
ППВ — «Приятное и полезное препровождение времени».
ПССиП — Е. И. Костров, Полное собрание всех сочинений и переводов в стихах, ч. 1—2, СПб., 1802.
ПУ — «Полезное увеселение» (при ссылках указывается лишь номер, соответствующий месяцу издания; понедельная нумерация журнала не учитывается).
ПЧ — «Прохладные часы».
ПЩ — «Парнасский щепетильник».
РАД — рукопись из архива Г. Р. Державина (т. 37), хранящаяся в ГПБ, — собрание стихотворений Н. А. Львова (писарские копии, местами содержащие авторскую правку).
РВ — «Растущий виноград».
РЗБ — «Рассказчик забавных басен».
Серман — И. З. Серман, Из литературной полемики 1753 года. — «Русская литература», 1964, № 1, с. 99—104.
СЛРС — «Собеседник любителей российского слова».
Соч. 1778 — Федор Козельский, Сочинения, ч. 1—2, СПб., 1778.
Соч. 1782 — В. Петров, Сочинения, ч. 1, СПб., 1782.
Соч. 1811 — В. Петров, Сочинения, ч. 1—3, СПб., 1811.
«Сочинения» — Ю. А. Нелединский-Мелецкий, Сочинения, СПб., 1850.
СПбМ — «Санкт-Петербургский Меркурий».
«Стихотворения» — Ю. А. Нелединский-Мелецкий, Стихотворения, СПб., 1876.
СЧ — «Свободные часы».

ТП — «Трудолюбивая пчела».
УС — «Утренний свет».
ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов (Москва).
ЧдВ — «Чтение для вкуса, разума и чувствований».
«Указатель» Неустроева — А. Н. Неустроев, Указатель к русским повременным изданиям и сборникам за 1703—1802 гг. и к историческому разысканию о них, СПб., 1898.

ПОЭТЫ 1750—1770-х ГОДОВ

Н. Н. ПОПОВСКИЙ

1. Печ. впервые по копии из «Портфелей» Г. Ф. Миллера (ЦГАДА). Текст был подготовлен П. Н. Берковым. Отрывок из несохранившейся полностью эклоги «Зима». 8 мая 1751 г. М. В. Ломоносов послал эклогу Поповского И. И. Шувалову с письмом, в котором эзоповским языком высказывал сочувствие попавшему в немилость фавориту императрицы Елизаветы Петровны: в мае 1751 г. Шувалов уехал из Петербурга в связи с неблагоприятной для него обстановкой при дворе. Ломоносов писал, что в эклоге «не поправил ни единого слова» (Полн. собр. соч., т. 10, М.—Л., 1957, с. 470). Зима 1750—1751 гг., описанная Поповским, была действительно очень суровой в Петербурге, но стихотворение могло иметь и иной смысл: символика «зимы» и «весны» обозначала разные периоды политической жизни при дворе Елизаветы. Позднее подобная символика была использована в поэзии Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина и других авторов XVIII в. (см.: И. З. Серман, Поэтический стиль Ломоносова, М.—Л., 1966, с. 165—166). *Красотки* — пастушки. *С поспешностью теки, весну ты возврати.* Иносказательное пожелание Шувалову получить прежнюю милость при дворе.

2. Отд. изд., М., 1757, с цензурными искажениями, сохранившимися во всех последующих изданиях. Печ. по изд. 1757 с исправлениями цензурных искажений по экз. БАН, в котором вклеены рукописные вставки с первоначальным текстом Поповского. Этот текст, замененный синодальной цензурой, впервые напечатан в статье: Н. С. Тихонравов, История издания «Опыта о человеке» в переводе Поповского (Соч., т. 3, ч. I, М., 1898, с. 85). Текст сохранился в нескольких списках XVIII в. На рукописи, которой пользовался Тихонравов, есть помета: «Списано с подлинника прежде, как оной святейшим Синодом был поправлен» (там же, примеч., с. 49). Изменения, внесенные цензурой в четвертое письмо:

ст. 65—66 Ни сильный в державе над подданными царь,
Ни землю орющий для податей пахарь,

ст. 241 Святого духа полн своим мнится Кальвин

ст. 271 И подлый достает чрез земледельство хлебы

ст. 316 Почти величеством владельческого чина.

Все эти строки были напечатаны более крупным шрифтом, чем остальные. Г. Н. Теплов говорил Д. И. Фонвизину о «неприятностях» и «затруднениях», которые «встретил бедный переводчик к напечатанию»: «Попы стали переправлять перевод его и множество стихов исковеркали, а дабы читатель не почел их стихов за переводчиковы, то напечатали они их нарочно крупными буквами, как будто бы читатель сам не мог различить стихов поповских от стихов Поповского» (Д. И. Фонвизин, Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях. — Собр. соч., т. 2, М.—Л., 1959, с. 104). Список конца XVIII в. (ПД) не имеет цензурных искажений, но содержит некоторые другие разночтения с печатным текстом. Наиболее интересно следующее:

ст. 245—246 Всегда за бога бы одни его почли,
Другие б божества в нем следу не нашли.

Перевод поэмы А. Попа (1688—1744) «An Essay on Man» (1732—1734), с французского перевода, сделанного Э. Силуэттом (1709—1767) «Essai sur l'homme», впервые вышедшего в Амстердаме в 1738 г. и неоднократно затем переиздававшегося. В предисловии к изд. 1757 г. Поповский писал: «Я переводил г. Попия с переводу ж французского. Позволено, чаю, будет мне признаться, что некоторые места мне были не весьма вразумительны, которые я переводил наудачу; сие происходило от моего ли слабого рассуждения, или от темности переводу французского, не знаю... Я только старался как можно ближе подходить к французскому переводу, итак, сомнительные места могут больше причтены быть французскому переводчику, которому я следовал, нежели мне». Интерес к произведению А. Попа появился у Поповского благодаря его учителям — М. В. Ломоносову и физику академику Г. В. Рихману, в 1741 г. сделавшему прозаический перевод «Опыта о человеке» на немецкий язык. Ломоносов впоследствии приложил немало усилий для того, чтобы перевод был опубликован (см.: Л. Б. Модзалевский, Ломоносов и его ученик Поповский. — «XVIII век. Сб. 3», М.—Л., 1958, с. 137—138). Вскоре «Опыт о человеке», излагавший главные идеи европейского просветительства первой половины XVIII в., приобрел большую популярность в России XVIII — начала XIX в.: перевод Поповского выдержал пять изданий; кроме того, известны переводы И. Федоровского, Ф. Загорского. Е. Болховитинова. «Опыт о человеке» состоит из четырех писем. В первом письме «О естестве и состоянии человека в рассуждении всея вселенныя» говорится о совершенстве и гармонии вселенной, в которой все сотворено богом к «пользе и потребе». Человек рассматривается как часть этой вселенной, как существо, выделяющееся среди всех других «тварей», но неизбежно подчиняющееся божественной власти. В письме излагается деистический взгляд на мир и проводится мысль о множественности миров, испугавшая синодальную цензуру. Второе письмо «О естестве и состоянии человека в рассуждении самого себя особливо», перепечатанное в «Русской поэзии» С. А. Венгерова (вып. 5, СПб., 1895, с. 818), посвящено проблеме самопознания. Все действия и поступки человека

рассматриваются как результат взаимодействия страстей и разума: разум помогает человеку подобно компасу в море, он не должен истреблять страстей, но только управлять ими. В третьем письме «О естестве и состоянии человека в рассуждении общества» говорится о единстве жизненного процесса («все части вообще зависят от всего»): и животные, и в еще большей степени люди существуют не изолированно друг от друга, их объединяют многообразные связи и отношения; благополучие каждого отдельного члена общества находится в зависимости от судьбы и состояния других. Четвертое письмо, завершающее «Опыт о человеке», служит итогом всего сказанного ранее и подробно развивает идею о том, что истинное счастье состоит в добродетели. Эта тема позднее разрабатывалась в русской литературе XVIII в. во многих переводных и оригинальных произведениях. *Первое благополучие* — главное, составляющее счастье. *Болинброк* Г. С. Д., лорд (1678—1751) — английский публицист, автор философских сочинений, проникнутых идеями деизма, оказавших, по-видимому, влияние на Попа, «Опыт» которого обращен к Болинброку. *Фалкландов рок.* Фолкленд Л.-К. (1610—1643) — известный роялист, имевший титул виконта, хорошо образованный, талантливый человек, красноречивый оратор, погиб в бою при Ньюбери в возрасте 33 лет. *Тюренево величество.* Тюренн А. (1611—1675) — выдающийся французский полководец, был убит в нидерландской войне. *Сиднеевой дражайшей крови токи.* Сидней Ф. (1554—1586) — английский поэт, погиб в Нидерландах, сражаясь волонтером за их независимость; прославился своим благородством и самоотверженностью. *Дигбей* — Дигби Р. (ум. 1726). Поп написал эпитафию на памятник, поставленный Р. Дигби и его сестре их отцом лордом Дигби в 1727 г. *Марсильский епископ* — Бельсанс Ф. (1671—1755), епископ в Марселе с 1709 г. Во время чумы 1720—1721 гг. проявил бесстрашие и активную филантропическую деятельность. *Почто толь долго мать моя живет честная?* Мать А. Попа умерла в том же 1733 г., когда было напечатано четвертое письмо «Опыта о человеке», на 92 году жизни. *Достойно ль быть тому, чтоб Этны нутр горящий* и т. д. Вероятно, имеется в виду Плиний Старший (23—79), римский писатель и ученый, который погиб, наблюдая за извержением Везувия. По-видимому по ошибке, Поп назвал вместо Везувия Этну, в кратер которой бросился Эмпедокл (ок. 490—430 до н. э.), древнегреческий философ, поэт и политический деятель. *Вефел* — Безел X., английский помещик, друг Попа, страдавший астмой. *Шартрий* — Чертрис Ф. (ок. 1669—1731), богач, известный своими пороками. Во время его похорон в Шотландии люди бросали в его могилу дохлых собак, в знак презрения и негодования. *Кальвин* Ж. (1509—1564) — философ и церковный деятель, основоположник одного из главных направлений Реформации, выступивший против обрядов и некоторых доктрин католической церкви. *Кесарь* — Гай Юлий Цезарь (100—44 до н. э.), римский полководец и император, подчинил себе Рим, став первым диктатором, убит в результате заговора. *Тит* Флавий Веспасиан (ок. 40—81) — римский император, прославившийся своим милосердием, его называли «любовью и утешением человеческого рода». *Лукреция* (ум. ок. 509 до н. э.) — римлянка, жена Луция Тарквиния Коллатина. Обесчещенная Секстом, сыном царя Тарквиния Гордого, покончила с собой. *Говард У.*

(XIII в.) — родоначальник английской аристократической семьи, герцог Норфолькский. *Александр* Македонский (356—323 до н. э.) — полководец, император Македонии. *В севере спокойствия рушитель* — Карл XII (1697—1718), полководец, шведский король. *Антонин* Марк Аврелий (121—180) — римский император, философ-моралист. *Сократ* (469—399 до н. э.) — греческий философ и политик; проповедовал умеренность, умение властвовать над страстями, подчиняя их разуму; по настоянию противников покончил с собой, приняв яд. *Цицерон* Марк Туллий (106—43 до н. э.) — знаменитый оратор, политический деятель Древнего Рима. *Евгений* Савойский, принц (1663—1736) — австрийский полководец и дипломат. *Цесарь* — см. выше *Кесарь. Маркелл* (IV в.) — римский епископ. В 309 г. был выслан из Рима в связи с мятежом, причиной которому послужила строгая эпитимия, налагавшаяся им на христиан. *Печально превосходство.* В оригинале: «Painful pre-eminence!» — цитата из трагедии Дж. Аддисона «Катон» (1713). *Беллий* — Юнг У., современник Попа. *Умбра* — английские комментаторы не могли определить, кого имел здесь в виду Поп. *Грип с его женою.* Предполагают, что это Э. Монтэгю Уортли и его жена леди Мэри (1689—1762), которых Поп неоднократно высмеивал в своих стихах. *Балкон* — Бэкон Ф. (1561—1626), английский ученый, философ-материалист; волнуемый честолюбивыми помыслами, он достиг могущества при дворе, но после разоблачения его противозаконных действий раскаялся и сильно страдал. *Кронвель* — Кромвель О. (1599—1658), вождь английской буржуазной революции, лорд-протектор республики. *Или счастливыми нам тех почесть возможно* и т. д. А. Поп имел здесь в виду герцога Д. Мальборо (1650—1722) и его жену Сару. Герцог Мальборо — английский политический деятель, отличавшийся честолюбием, умелый и хитрый интриган; Сара Мальборо — фрейлина королевы Анны, нередко злоупотреблявшая своим влиянием при дворе. *Подобны кажутся Венеции оне* и т. д. Венеция была сильной олигархической республикой, подчинившей себе в течение XIII—XVII вв. многие соседние области.

3. Отд. изд., СПб., 1754. Написано после 20 сент. 1754 г., так как здесь говорится о рождении Павла (см. ниже). Автограф — ААН, с пометами советника канцелярии Академии наук Г. Н. Теплова и с вариантами. После первой строфы зачеркнуто Поповским:

Но ты, о муза, что сумнишься
При общей радости воспеть?
Своей ли слабости стыдишься,
Что так не можешь загреметь,
Коль именем Елисавета
Громка во всех пределах света?
Но ревность силы наградит,
Усердие умножит слово,
Оно помочь тебе готово,
Оно твой голос укрепит.

Дерзай, дерзай, примись за лиру
И струны в сладость согласи,

Дела Елисаветы миру
Великим духом возгласи.
Тебе богиня помавает,
Воззреньем кротким ободряет
Своих божественных очей.
Твой скрасят слог ее доброты,
Геройство, святость и щедроты
Возвысят лиры звук твоей

После 19-й строфы зачеркнуто Тепловым:

Сим муз российских хор согласный
Сердечный изъявляет жар
И, день сей почитая красный,
Усерднейший приносит дар,
Всеобщу радость умножает
И от всевышнего желает,
Да век твой с счастьем продолжит
И под божественным покровом
Престол при племени Петровом
Недвижим вечно сохранит.

Последняя строфа оды отчасти повторяет этот текст, зачеркнутый Тепловым; следовательно, она была переработана и закончена позднее, чем остальные строфы. По содержанию, стилю и даже отдельным выражениям ода близка к «Оде на день восшествия на престол Елисаветы Петровны, 1746 года» М. В. Ломоносова и некоторым другим его одам (см.: Л. Б. Модзалевский, Ломоносов и его ученик Поповский, с. 141—145). 23 ноября 1754 г. Г. Н. Теплов писал президенту Академии наук К. Г. Разумовскому о том, что приказано напечатать и переплести оду Поповского к 25 ноября и что «г-н Поповский оную оду сам подаст при дворе» (ААН). *Петрова дщерь* — Елизавета. *Сквозь мглу минувших дней печальных.* Имеется в виду время до вступления Елизаветы на престол, период правления Анны Иоанновны и ее преемника Иоанна Антоновича, находившегося в очень отдаленном родстве с Петром I. *Язык стенанье воспящает* — стенанье мешает говорить. *Внушив восшествие твое* — узнав о твоем восшествии. *Что ты противу ободрилась* и т. д. Речь идет о дворцовом перевороте, в результате которого Елизавета вступила на престол 25 ноября 1741 г. *Павловом лице.* Великий князь Павел Петрович (1754—1801), впоследствии император Павел I (1796—1801), внук Елизаветы, родился 20 сентября. *Его родившая и отец* — великая княгиня Екатерина Алексеевна (1729—1796), впоследствии императрица Екатерина II (1762—1796) и великий князь Петр Федорович (1728—1762), племянник Елизаветы, наследник престола, впоследствии император Петр III (1761—1762). *Петров внук* — Петр Федорович. *Орел младой* — Павел Петрович. *Марс рыка́ть в полях забыл.* Имеется в виду мир со Швецией 1743 г. *Время разрушить имело* — т. е. разрушило (старая форма прошедшего времени).

4. Описание и изъяснение великого фейерверка, в честь ее императорскому величеству Елисавете Первой, который самодержице всероссийской и проч. и проч. и проч. и во изъявление всеподданней-

шего и всеусерднейшего при вступлении в новый год поздравления от всех верных подданных Российской империи в Санкт-Петербурге пред императорским зимним домом на Неве реке в первый вечер 1755 года сожжен, СПб., ‹1755›, с. 8 (ненум.). Автограф — ААН. Перевод стихов Я. Штелина «Verse an Ihro Kayserliche Majestät unsere grosse und huldreichste Monarchin gerichtet worden», написанных на немецком языке. Стихи послужили иллюстрацией к прозаическому описанию фейерверка, в котором, в частности, говорилось: «На главном плане, который длиною в 40 сажен, представляется вся Российская империя на простирающемся вдоль и наподобие амфитеатра изображенном месте, которое с обеих сторон окружено твердыми и великолепными столбами, а между двумя столбами везде поставлено по одному из гербов провинций Российской империи; над четырьмя же порталами повешены гербовые щиты великого княжества Московского и царств Казанского, Астраханского и Сибирского. Посреди оного места между двумя рядами пальмовых дерев поставлен великолепный столб чести с архитектурными украшениями, на коем виден щит имени ее императорского величества под короною; а под ним три щита имен их императорских высочеств. На нижней из трех фигурных ступеней у всходу стоит по одну сторону двоеглавный орел с распростертыми крыльями, а по другую — горящая кадильница, из которой фимиам всеподданнейших желаний о совершеннейшем благополучии ее императорского величества и всевысочайшего императорского дому к небу восходит» (Описание фейерверка..., с. 4—5 ненум.). Стихотворение несколько раз включалось в собрания сочинений М. В. Ломоносова. На принадлежность их Поповскому впервые указал Н. С. Тихонравов (Соч., т. 3, ч. 2, с. 31). *Кола* — река в Архангельской губернии, впадает в Кольский залив. *Хин* — Китай. *Орел* — символ силы и власти.

5. Отд. изд., М., ‹1756›, без подписи. Написана для торжественного акта 26 апреля 1756 г., на котором Московский университет праздновал годовщину со дня своего основания. На этом акте Поповский произнес речь, обращенную к императрице Елизавете, а затем прочел оду. Оба выступления были посвящены проблеме развития отечественной науки и культуры. *Темпейская долина* — долина в Фессалии, воспетая древнегреческими поэтами. *Баснословны великаны* — Титаны; борьба богов во главе с Зевсом и Титанов была темой многих произведений литературы и искусства. *Трояны* — троянцы, жители Трои (в миф. словаре см.: Троянская война). *Афины* и *Лакедемон* (Спарта) — крупнейшие города-государства Древней Греции, славившиеся своим законодательством и культурой.

6. «Живописец», 1772, лист 8, с. 57, под загл. «Письмо о пользе наук и о воспитании во оных юношества, писанное покойным профессором Поповским к его превосходительству Ивану Ивановичу Шувалову при заведении Московского университета 1756 года». Обращено к И. И. Шувалову (1727—1797), государственному деятелю, меценату, содействовавшему Ломоносову в основании Московского университета. В письме заметно влияние «Письма о пользе стекла» (1752) М. В. Ломоносова. Мысли Поповского перекликаются с идеями Дж. Локка, книгу которого «О воспитании детей» Поповский перевел (М., 1759—1760). *Демосфен* (ок. 384—322 до н. э.) — древнегрече-

ский оратор и политический деятель. *Нехитрый царь* — Александр Македонский (см. примеч. 2). В 331 г. до н. э., находясь в покоренном им Египте, Александр отправился в храм Аммона (Зевса) и жрецы, по обычаю древних фараонов, посвятили его в «сына Аммона», «сына Солнца». *Крис* — Крез, царь Лидии (в Малой Азии) (ок. 560—546 до н. э.); считался одним из богатейших людей древности. *Юлий Цезарь* — см. примеч. 2. *«Отчества отец»* — почетный титул, которым впервые римский сенат пожаловал Цицерона (см. примеч. 2), а затем всех императоров, в том числе и Цезаря. *От младых ногтей* — иносказательно: с юности; выражение, употреблявшееся античными авторами. *Александр* — Александр Македонский. *Сципион* Публий Корнелий Эмилиан Африканский Младший (ок. 185—129 до н. э.) — римский полководец и государственный деятель, был усыновлен Публием Сципионом, сыном Сципиона Африканского Старшего (ок. 235 — ок. 183 до н. э.). *Петрова дщерь* — императрица Елизавета. *В Минервин храм отверз российским детям двери.* Имеется в виду открытие Московского университета в 1755 г. при деятельном участии И. И. Шувалова.

7. М. В. Ломоносов, Собрание разных сочинений в стихах и в прозе, кн. 1, изд. 2, с прибавлениями, М., 1757, вклейка. Надпись была выгравирована на доске вместе с портретом (см.: Д. А. Ровинский, Подробный словарь русских гравированных портретов, т. 2, СПб., 1887, с. 1198—1199). Авторство Поповского было указано впервые Н. И. Новиковым в «Опыте исторического словаря о российских писателях» (СПб., 1772, с. 129), но здесь же отвергнуто: «Стихи к портрету г. Ломоносова хотя изданы мною под именем г. Поповского, но по отпечатании того листа получил я от некоторой особы достоверное известие, что они сочинены графом Шуваловым» (там же, с. 249). Правильность первоначального указания Новикова подтверждает Л. Б. Модзалевский (см.: М. Е. Глинка, М. В. Ломоносов (Опыт иконографии), М.—Л., 1961, с. 10—11). *Московский здесь Парнас.* В 1755 г. Поповский переехал в Москву для работы в Московском университете, открытом в этом же году благодаря инициативе Ломоносова. Первая часть «Собр. разных соч.» Ломоносова набиралась в типографии Московского университета одновременно с поэмой Попа «Опыт о человеке» в переводе Поповского (см. примеч. 2). *Цицерон* — см. примеч. 2. Публий *Вергилий* Марон (70—19 до н. э.) — римский поэт, автор поэмы «Энеида», «Пастушеских песен», «Буколик» и др.; пользовался большим авторитетом в европейской и русской литературе эпохи классицизма. *То он один в своем понятии вместил.* Имеется в виду многосторонность литературной деятельности Ломоносова как автора торжественных «слов» и поэтических произведений разных жанров.

8—12. Письмо Горация Флакка о стихотворстве к Пизонам, переведено с латинского языка Николаем Поповским, СПб., 1753, с. 25, 27, 29, 33, 37. 12 января 1753 г. М. В. Ломоносов сообщал в канцелярию Академии наук о Поповском: «В последних месяцах минувшего 1752 года подал мне он свой перевод Горациевых стихов о стихотворстве (Ars poetica) и некоторых од, который так хорошо сделал, что напечатания весьма достоин» (Полн. собр. соч., т. 9, М.—Л., 1955, с. 633). 16 января 1753 г. канцелярия распорядилась

о напечатании стихов. Книга была издана в 637 экземплярах; в вознаграждение за перевод Поповский получил в мае 1753 г. 50 экземпляров издания. Квинт *Гораций* Флакк (65—8 до н. э.) — римский поэт, автор трех книг од, письма к Пизонам об искусстве поэзии («Наука поэзии») и многих других стихотворений; пользовался большой популярностью в России XVIII в.: его переводили и подражали ему А. Д. Кантемир, В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, М. Н. Муравьев, В. В. Капнист, И. И. Дмитриев, Г. Р. Державин и др.

1. Перевод оды «Integer vitae scelerisque purus...». *Гидаспски воды.* Гидасп — древнегреческое название реки Джелам в Индии; в 326 г. до н. э. Александр Македонский одержал здесь победу над войском индийского царя Пора и основал два новых города. *Савинский лес* — лес в имении Горация Сабинум. *Давния* — Дауния, область в Апулии, откуда в Рим приходили храбрые воины; находилась на территории Италии. *Юбин предел* — Нумидия, древняя страна в северной Африке, на территории Алжира. Юба (I в. до н. э.) — царь Нумидии.

2. Перевод оды «Non usitata nec tenui ferar...». Позднее к этой оде Горация обратился Г. Р. Державин (стихотворение «Лебедь»). *Хоть я отцем рожден убогим.* Отец Горация был незнатен и беден. *Меценас* — Меценат Гай Цильний (ум. 8 до н. э.), римский государственный деятель, покровитель искусств, подарил Горацию Сабинское поместье (см. выше). В 22 г. до н. э. Гораций поднес Меценату три книги своих од. *Понтийские брега* — Понт, древняя область в северо-восточной части Малой Азии. *Ливийские* (брега). Ливия — древнейшее название Африки. *Колхидянин* — житель Колхиды, древней страны, расположенной на территории Западной Грузии. *Гелон* — представитель древнего скифского племени, обитавшего в районе Подонья. *Дак* — житель древней страны Дакии, существовавшей некогда на территории Румынии. *Галлы* — народ, заселявший в древности территорию Франции, Бельгии, Северной Италии, Люксембурга, части Нидерландов и Швейцарии. *Гишпанцы* — испанцы.

3. Перевод оды «Justum et tenacem propositi virum...». Ошибочно напечатано как перевод оды II книги III. *Украшен оными дарами* — т. е. добродетелями, о которых говорилось в первых строках. *Август* (63 до н. э. — 14 н. э.) — римский император. *Взлетел парящими крилами на верх сияющих небес* — т. е. награжден бессмертием. *Чрез них* — благодаря этим дарам добродетели. *Как агнцев, тигров обуздал.* Тигры, везущие колесницу Вакха (Бакхуса), — символ укрощенной свирепости. *Квирин* — Ромул, вознесшийся на небо на колеснице Марса после того, как Юнона, преследовавшая римлян, как потомков троянцев, примирилась с ними. *Насильство, суд, краса чужая.* Имеется в виду Троянская война (см. миф. словарь). *И вождь и с ним род, полный лести* — Лаомедонт и все троянцы. *Я Марсу сына возвращу* — т. е. Ромула, внука самой Юноны, так как Марс — ее сын. *Мидяне* — жители Мидии, древнего государства, расположенного на территории части Ирана и части Азербайджана. *Сам Феб град Трою оградит.* По преданию, при царе Лаомедонте боги оградили Трою стенами, в этом принимал участие и Феб (Аполлон). *Мой грек* — греки, которым покровительствует Юнона.

4. Перевод оды «Pindarum quisquis studet aemulari...». В подражание этой оде В. В. Капнист написал оду «Ломоносов» («Кто росску Пиндару желает...»). *Пиндар* (518 — ок. 442 до н. э.) — древнегреческий поэт, классик хоровой лирики, автор лирических произведений и песен в честь победителей олимпийских игр и других состязаний. *Иул* — Гай Юл Антоний (I в.), поэт, любимец императора Августа, советовал Горацию написать оду Августу в стиле Пиндара. К Антонию и обращена эта ода. *Элидский борец* — участник олимпийских игр, происходивших в Элиде, области в Пелопоннесе; имеются в виду песни Пиндара в честь победителей олимпийских игр. *Дирцейский* (Диркейский) *лебедь* — Пиндар, названный так по источнику Дирке, протекающему близ Фив. *А я тружусь, сижу, потею.* Эта строчка была впоследствии перефразирована И. И. Дмитриевым в басне «Пчела, шмель и я»: «Пишу, пишу, тружусь, потею...» *Твоя похвальнейшая лира.* Речь идет о поэзии Юла Антония. *Кесарь.* Имеется в виду император Август. *Сикамбры* — германское племя, жившее на берегах Рейна. Ода Горация была написана во время похода Августа в Германию, в 14 г. *Ио, ио* — возгласы, выражавшие ликование.

5. Перевод эпода «Beatus ille qui procul negotiis...». Эта же ода Горация привлекла внимание В. К. Тредиаковского, который написал прозаическое рассуждение «О беспорочности и приятности деревенския жизни» и «Строфы похвальные поселянскому житию» («Счастлив! в мире без сует живущий...») (1752), представляющие вольное подражание Горацию. В «Ежемесячных сочинениях» (1757, № 7, с. 66—88) было напечатано рассуждение Тредиаковского и его «Строфы», а затем перевод, сделанный Поповским. «Первый сочинитель ⟨т. е. Тредиаковский⟩. — говорилось в журнале, — вознес собственным способом, согласнейшим с образом и с употреблением нынешних времен, здание, утвержденное на Горациевом токмо основании; то есть он не больше списывал с Горация, коль ему подражал своими подобиями, но вторый ⟨т. е. Поповский⟩, изображая подлинные мысли автора своего, есть точный переводчик стихами с Горациевых стихов и обыкновений того века провозвестник». У Горация сельскую жизнь восхваляет ростовщик Альфий, который, мечтая о покупке имения, продолжает отдавать деньги в рост. Насмешка над Альфием содержится в последнем стихе Горация, опущенном Тредиаковским, но сохраненном у Поповского. Таким образом, более точный перевод Поповского передает сатирическую тему, очень существенную в стихотворении Горация. *Из нор в тенета Чрез трубный нудит глас зверей* — т. е. звуками трубы гонит зверей в сети. *Сабиняне* — жители Сабинии, древней области в средней Италии. Во время легендарной войны, начавшейся из-за того, что римляне похитили сабинянок, эти женщины, успевшие привязаться к своим мужьям, сумели остановить кровопролитную битву между римлянами и сабинянами. *Апуляне* — жители Апулии, древней области на юго-востоке Италии, родины Горация. *Праздник терминов* — праздник в Древнем Риме, посвященный Термину, божеству границ: справлялся 23 февраля.

13—15. ПУ, 1760, № 2, с. 76.

6. Перевод оды Горация «Aequam memento rebus in arduis...».

Позднее в подражание этой оде В. В. Капнист написал стихотворение «Совет».

7. Перевод оды Горация «Rectius vives, Licini, neque altum...». Мотивы этой оды были использованы Г. Р. Державиным в стихотворении «На умеренность»; вольный перевод этой же оды представляет собой стихотворение В. В. Капниста «Умеренность». *В высокий чаще дуб стремится Борей* — т. е. ветер колеблет высокий дуб чаще, чем другие, более низкие.

8. Перевод оды Горация «Eheu! fugaces, Postume, Postume...». В экземпляре ПД рукописные вставки почерком XVIII в. против первых двух строф:

Ийти, конечно, вон из света —
Нельзя пути сего претерть.
Окончатся младые лета —
Приступит старость, лета смерть.
Хотя бы девятьсот вседневно
Волов Плутону приносил,
Смягчил ли бы чье сердце гневно,
Чтоб рок ты, смертный, не сносил?

16—17. ПУ, 1760, № 6, с. 249, подпись: Н. П.

9. Перевод оды Горация «Otium Divos rogat in patenti...». Мотивы оды были использованы Г. Р. Державиным в стихотворении «Капнисту». Ода переведена также А. Котельницким под названием «Суета». В подражание этой оде В. В. Капнист написал стихотворение «Пловец морской спокойства просит...».

10. Перевод оды Горация «Non ebur neque aureum...». В подражание этой оде Горация В. В. Капнист написал стихотворение «Богатому соседу»; Г. Р. Державин — «Ко второму соседу». *Хоть Прометей на вымысл славен.* Попавший в ад Прометей тщетно пытался подкупить Харона, чтобы тот отвез его обратно на землю. *Потомство Танталов* — Пелоп, Атрей, Агамемнон.

А. И. ДУБРОВСКИЙ

18. Печ. впервые по рукописи ЦГАДА, обрывающейся на ст. 344. На титульном листе надпись: «Похождение Телемака, сына Улиссова. Книга I, переведенная стихами чрез А. Дубровского, студента императорской Академии наук. Генваря 1 дня 1755 года». Первый дошедший до нас русский стихотворный перевод отрывка прозаического романа Ф. Фенелона (1651—1715) «Похождения Телемака, сына Улисса» (1699). В основу сюжета этого произведения положены античные мифы, изложенные Гомером в «Одиссее» и Вергилием в «Энеиде». В России сочинение Фенелона было известно и переводилось уже в петровское время (рукописный перевод 1724 г.). Прозаический перевод, осуществленный еще в 1734 г. А. Ф. Хрущовым, появился в печати в 1747 г. Впоследствии полный стихотворный перевод романа Фенелона сделал В. К. Тредиаковский: «Тилемахида, или Странствование Тилемака, сына Одиссеева» (тт. 1—2. СПб., 1766). В «Предъизъяснении» Тредиаковский говорит об известном ему рукописном стихотворном переводе первых трех

книг «Телемака», сделанном недавно, представленном ему на просмотр и им одобренном: «Другии ... в нынешнее точно время, зная, что всякой пииме, по превосходству ж первенствующей над всеми ироической, должно тещи определенною мерою, потщались прелагать Тилемаха еще вновь, стихами, и сими иамвическими, да и с так именуемою окончательною рифмою. Сообщены мне были три первые книги и сего рифмического преложения, да просмотрю оные. Понравилось начинание: похвалил я стремительство, еще и поострил ободрением трудоположника к продолжению дела. Подлинно и сей труд есть достохвален. Но ... ироическия пиимы течению не свойственны как рифмы, так и стопы мер иамвических» (В. К. Тредиаковский, Тилемахида, т. I, СПб., 1766, с. XLVIII). Этот перевод, выполненный ямбическим стихом с рифмами, о котором говорит Тредиаковский, по всей очевидности, и принадлежал Дубровскому. *Минерва Мантором благоволила быть* и т. д. Минерва приняла облик Ментора (Мантора) втайне от нимфы Калипсо. *По десятом лете* — через десять лет. *Циклоп* — Полифем. *В Цирце острове* — на острове Цирцеи. *Феакский остров* — остров Схерия, на котором жили феаки. *Пилос* — древний город в Греции; у Гомера упоминается как резиденция Нестора. *Лакедемон* (Спарта) — см. примеч. 5. *Сикилийский* — сицилийский.

19. ЕС, 1755, № 8, с. 127, подпись: А. Д. Это известный криптоним Дубровского. За этой подписью им был издан в 1779 г. перевод трагедии Вольтера «Заира» (см. «Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века», т. 1, М., 1962, с. 180). Кроме того, известно, что Дубровский был сотрудником ЕС. Этико-философская тема стихотворения чрезвычайно близка к четвертому письму поэмы А. Попа «Опыт о человеке», переведенной Н. Н. Поповским (см. № 2). Отдельные строки представляют собой вольный перевод-пересказ стихов Попа. Дубровский излагает в стихотворении естественно-научные воззрения, развивая идею множества миров. Некоторые строки близки ломоносовской поэзии (в частности, стихам из «Вечернего размышления о божием величестве»). *Набатейские места* — древняя область, расположенная к востоку от Иордана, в которой жили набатеи, семитическое племя, покоренное римлянами в I в. до н. э. *Посредственность хранит* — т. е. сохраняет умеренность, золотую середину. *Бездна бездн и алчная пучина.* Речь идет о пагубности честолюбия, как одной из страстей. *Солон* (ок. 638 — ок. 559 до н. э.) — политический деятель древних Афин, слывший мудрым реформатором и законодателем; ограничил притязания родовой знати и богатых собственников. *Катон* Марк Порций (234—149 до н. э.) — римский государственный деятель; известен как ревнитель строгих нравов, выступал против роскоши; стремясь обуздать честолюбие полководцев, противодействовал в получении ими триумфов. *Александр* Македонский — см. примеч. 2. *Персидяне* — персы; имеются в виду победы Александра Македонского в Персии в 334—333 г. до н. э. *Карфаген* — древнее государство в Северной Африке; в 146 г. до н. э. было захвачено и разрушено римлянами; внутренние смуты и борьба за власть между различными партиями в Карфагене способствовали победе римлян. *Кир* (ок. 558—529 до н. э.) — древнеперсидский царь, покоривший многие соседние страны, в том числе

соперничавший с Персией Вавилон; был убит в одном из сражений. *О времена! О нравы!* — «O tempora, o mores!» (лат.) — известное выражение Цицерона (см. примеч. 2). *Туллий* — Цицерон. *Катилина* Луций Сергий (ок. 108—62 до н. э.) — политический деятель Древнего Рима; чтобы захватить власть, организовал заговор, раскрытый Цицероном в 63 г. до н. э. *Кесарь* — см. примеч. 2. *Помпей* Гней (106—48 до н. э.) — римский полководец и политический деятель; вступил в борьбу с Цезарем, пытаясь захватить власть. *Дарий* I Гистасп — персидский царь (522—486 до н. э.); вел войны с греками. *Ксеркс* I (ум. 465 до н. э.) — персидский царь; отличался сластолюбием. *Демокрит* (ок. 460 — ок. 370 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист. *Гераклит* (ок. 530—470 до н. э.) — древнегреческий философ. Демокрит и Гераклит в античные времена противопоставлялись друг другу как «вечно смеющийся» и «вечно плачущий» философы. *Циники* (киники) — представители древнегреческой философской школы (IV—III в. до н. э.), учившей критическому и пренебрежительному отношению к общепринятой морали. *Сократ* — см. примеч. 2. *Стоики* — представители древнегреческой философской школы (IV в. до н. э. — II в. н. э.), учившей подчинять страсти разуму. *Пифагор* (ок. 580—500 до н. э.) — древнегреческий математик и философ; в его этическом учении большую роль играла идея самосовершенствования, приближения человеческой души к небесной гармонии.

20. ЕС, 1755, № 7, с. 95, подпись: А. Д. Вольный перевод басни Ж. Лафонтена «La Mort et le Bucheron». На этот же сюжет у В. К. Тредиаковского басня «Старик и смерть», а у А. П. Сумарокова и И. А. Крылова — «Крестьянин и смерть».

21—22. ЕС, 1755, № 10, с. 382, подпись: А. Д. 2. Вольный перевод басни Ж. Лафонтена «Le Corbeau voulant imiter l'Aigle». 3. Вольный перевод басни Ж. Лафонтена «Le Lion et le Moucheron». Эту же басню перевел позднее И. И. Дмитриев, затем сюжет был использован в одноименной басне И. А. Крылова.

23—25. ЕС, 1755, № 12, с. 566, подпись: А. Д.

26—28. ЕС, 1756, № 7, с. 31, подпись: А. Д. Перевод эпиграмм французского поэта М.-А. Мюре (1526—1585), писавшего на латинском языке: «Si Venus, ut mendax docuerunt turba Poëtae...»; «Si facer aethereo furor excitat igne Poëtas...»; «Cum pluit et radios Phoëbus cum subtrahit orbi...».

29. ЕС, 1756, № 10, с. 380, подпись: А. Д. Перевод элегии римского поэта Публия Овидия Назона (43—17 до н. э.), две начальные строки которой использованы в виде подзаг. *Сарматские холмы.* Имеются в виду Причерноморские степи.

30—32. ЕС, 1756, № 10, с. 379—380, подпись: А. Д. 1. Отгадка: тень. 2. Отгадка: закон. 3. Отгадка: ноль. *Молодший старшего сильняе в восемь крат.* Речь идет о разнице между числом 9 и числом 1. *Я больше в девять раз прибавлю сил его.* Речь идет о разнице между числом 10 и числом 1.

33—40. ЕС, 1756, № 10, с. 585, подпись: А. Д. Перевод следующих эпиграмм английского поэта Д. Оуэна (1563?—1622), автора 12 книг эпиграмм на латинском языке: «Prophetae, Poëtae», «Mors», «Coniuges», «Homo», «In Caluum», «Maritus», «Moechus», «De cornibus Problemata».

И. С. БАРКОВ

41. «Русская литература», 1964, № 4, с. 136—148, не полностью, в виде цитат, в статье Г. П. Макогоненко «Враг парнасских уз». Печ. по одному из наиболее исправных списков ПД с пропуском неудобных в печати строк, обозначенных отточиями. *Когда Диана заголилась* — когда Диана (Луна) вышла из облаков.

42. Отд. изд., СПб., 1762. Ода написана ко дню рождения Петра III (см. примеч. 3), т. е. к 10 февраля. *Великого монарха внук* — внук Петра I, так как Петр III — сын Анны Петровны, дочери Петра I. *Богиня* — императрица Елизавета Петровна, умерла 25 декабря 1761 г. *Чтоб, россов тишину с блаженством.* Имеется в виду отказ Петра III от участия в Семилетней войне: 24 апреля 1762 г. был заключен мир между Россией и Пруссией. *Екатерина* — супруга Петра Федоровича, впоследствии императрица Екатерина II (см. примеч. 3). *С возлюбленным его плодом* — сыном Петра Федоровича Павлом, впоследствии императором Павлом I (см. примеч. 3).

43. Квинта Горация Флакка сатиры или беседы, с примечаниями с латинского языка, преложенные российскими стихами Академии наук переводчиком И. Барковым, СПб., 1763, с. 5. Стихи предшествуют переводам сатир Горация; обращены к Г. Г. Орлову, которому посвящена вся книга: «Его сиятельству графу Григорью Григорьевичу Орлову, ее императорского величества генерал-адъютанту, действительному камергеру, Канцелярии опекунства иностранных президенту и орденов св. Александра и св. Анны кавалеру милостивому государю нижайшее приношение». *Г. Г. Орлов* (1734—1783) — военный и государственный деятель, фаворит Екатерины II. *Чтоб не был укорен на имя человек* — т. е. чтобы высмеиваемый в сатире человек не был назван по имени. *Наша защитница; общая мать* — императрица Екатерина II.

44. Квинта Горация Флакка сатиры... СПб., 1763, с. 58. Перевод сатиры VIII книги I Горация («Olim truncus eram ficulnus inutile lignum...»). *Тулл Гостилий* (672—640 до н. э.) — римский царь. *Меценат* — см. примеч. 9. *Убогий дом* — дом для престарелых и инвалидов. *Луна разделась* — т. е. вышла из-за облаков.

45—49. Федра, Августова отпущенника, нравоучительные басни, с Езопова образца сочиненные, а с латинских российскими стихами преложенные, с приобщением подлинника, Академии наук переводчиком Иваном Барковым, СПб., 1764. Переводы басен Федра (I в. н. э.), римского автора, использовавшего сюжеты древнегреческого баснописца Эзопа (VI—V вв. до н. э.). Печ. выборочно.

1. Перевод из книги I басни «Ranae Regem petentes». В басне имеются в виду события афинской истории VI в. до н. э. На тот же

сюжет В. И. Майковым написана басня «Лягушки, просящие о царе», а И. А. Крыловым — «Лягушки, просящие царя». *Пизистрат* (VI в. до н. э.) — афинский правитель, узурпировавший власть в 560 г. до н. э.

2. Перевод из книги I басни «Lupus et Gruis». На этот же сюжет у В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова и И. А. Крылова басня «Волк и журавль».

3. Перевод из книги I басни «Leo Senex, Aper, Taurus et Asinus». На этот же сюжет у В. К. Тредиаковского басня «Лев престарелый», у А. П. Сумарокова и И. А. Крылова — «Лев состарившийся».

4. Перевод из книги III басни «Pullus ad Margaritam». На этот же сюжет у В. К. Тредиаковского басня «Петух и жемчужина», у А. П. Сумарокова и И. А. Крылова — «Петух и жемчужное зерно».

5. Перевод из книги IV басни «Vulpis et Vua». На этот же сюжет у В. К. Тредиаковского басня «Лисица и виноградна кисть», у А. П. Сумарокова и И. А. Крылова — «Лисица и виноград».

50—67. Федра, Августова отпущенника, нравоучительные басни... СПб., 1764, с. 169. Переводы из сборника «Disticha de moribus ad filium» четырех книг двустиший, приписанных Катону Дионисию (III—II вв. до н. э.) Из первой книги печатаются двустишия 2, 3, 10, 17, 28, из второй — 2, 5, 14, 15; из третьей — 6, 9, 20; из четвертой — 2, 21, 25, 27, 49, 50. В XVIII в. было напечатано несколько других переводов стихов Катона Дионисия на русский язык: перевод К. А. Кондратовича (1745), анонимный перевод (1773); перевод Ф. Туманского (1791) и перевод И. Новикова (1792).

68. Печ. впервые по списку начала XIX в. (ПД). Подпись: Вашего высокографского сиятельства всепокорнейший и всенижайший слуга Иван Барков. О Г. Г. *Орлове* см. примеч. 43. *Искавши наших бедств с опасностью конца* — т. е. подвергая себя опасности, стремилась прекратить бедствия. Имеется в виду дворцовый переворот 1762 г., в результате которого воцарилась Екатерина. Г. Г. Орлов принял деятельное участие в перевороте.

А. А. РЖЕВСКИЙ

69. ТП, 1759, № 2, с. 120, последнее в подборке из пяти стихотворений под общим загл. «Элегии»: одно А. В. Нарышкина, два А. П. Сумарокова и одно С. В. Нарышкина. Печ. по ТП, изд. 2, 1780, № 2, с. 120.

70. ЕС, 1759, № 2, с. 191, без подписи. Стихотворение было изъято из значительной части тиража журнала вместе со всей подборкой стихов Ржевского, так как сонет вызвал неудовольствие в придворных кругах: императрица Елизавета ревниво относилась к похвалам чужой красоте, а слова «о неких дамах» могли задеть и ее, и других влиятельных особ. Редактор ЕС Г. Ф. Миллер оправдывался тем, что принял стихи за перевод с французского. *Либера Сака* (Сакко) — балерина, актриса итальянской театральной труппы Г.-Б. Локателли. Сакко выступала в Петербурге с 1758 по 1761 г. и пользовалась большим успехом.

71. ЕС, 1759, № 2, с. 187, в составе 9 строф и с разночтениями. Печ. по ПУ, 1760, № 1, с 47. Ржевский вновь напечатал стихотворение, так как вся подборка его стихов в ЕС была изъята из большинства экземпляров (см. примеч. 70). Пропущенные в ПУ строфы:

перед строфой 6

Не быв, родились мы, жив в свете, помираем,
Довольно ль доказать премены наши тем,
Пременен воздух тот, в котором обитаем,
Вертится тот и шар, на коем мы живем.

после строфы 6

Коль создано на то всё здесь, чтоб пременяться,
То должно перемен и нам с тобою ждать,
Такою станем мы надеждою питаться,
И легче в горести тем станем мы страдать.
Мы будем Фениксы счастливые любови,
Когда после препятств свободу получим,
И нежной страсти жар равно питая в крови,
Мы верностью себя взаимно наградим.

72—76. ЕС, 1759, № 2, с. 190, подпись: А. Р. Печ. по СЧ, 1763, № 8, с. 487. При первой публикации в подборке был еще один мадригал («Хотя расстануся, но где я жить ни буду...»).

77. ПУ, 1760, № 3, с. 106.

78. ПУ, 1760, № 3, с. 127.

79. ПУ, 1760, № 5, с. 186.

80—82. ПУ, 1760, № 8, с. 77.

83. ПУ, 1760, № 10, с. 143, подпись: А. Р.

84. ПУ, 1760, № 12, с. 236, подпись: А. Р.

85. ПУ, 1761, № 2, с. 70.

86. ПУ, 1761, № 3, с. 95.

87—88. ПУ, 1761, № 4, с. 113. «Ода 2» Ржевского подтверждает установленное Сумароковым правило о том, что ритм стиха связан с логическим и смысловым значением данного слова в стиховой строке. Говоря о спондее, Сумароков в статье «О стопосложении» замечал: «Который слог к выражению автора важняе, тот и длинняе, то есть тот силу у другого слога и возьмет». О значении служебных слов для ритма стиха Сумароков писал: «Предлоги и союзы суть частицы, а не слова и не речения, и корня не имеют. Они никогда при словах и речениях односложных силы ударения не имеют» (Полн. собр. всех соч., т. 10, М., 1782, с. 74, 77).

89—90. ПУ, 1761, № 4, с. 115. В эту же подборку включены притчи «Муж, черт и жена» и «Ссора у сестер». В стихотворении № 89 представлены образцы всех применявшихся тогда в русской поэзии разновидностей ямбического стиха (от одностопного до шестистопного).

91. ПУ, 1761, № 3, с. 96.

92. ПУ, 1761, № 4, с. 119.

93. ПУ, 1761, № 4, с. 120. Загадка оказалась довольно популярной, и в XIX в. она была перефразирована Н. Ф. Щербиной:

Что редко видит царь, пастух то зрит всегда,
А Гербель не видал от века никогда?
Ответ: «Себе подобного».

(Н. Ф. Щербина, Избр. произведения, «Б-ка поэта», Б. с., Л., 1970, с. 282).

94. ПУ, 1761, № 4, с. 124, подпись: А. Р. Здесь же помещены еще два стихотворения на этот же сюжет: «На смерть красавицы» (без подписи) и «Надпись» А. В. Нарышкина.

95. ПУ, 1761, № 5, с. 153.

96. ПУ, 1761, № 5, с. 154.

97—103. ПУ, 1761, № 5, с. 159.

104. ПУ, 1761, № 6, с. 184.

105. ПУ, 1761, № 6, с. 184.

106. ПУ, 1761, № 6, с. 204. Отгадка: комар.

107. ПУ, 1761, № 6, с. 205.

108—109. ПУ, 1761, № 6, с. 206.

110. ПУ, 1761, № 6, с. 208.

111—114. ПУ, 1761, № 6, с. 217.

115—116. ПУ, 1761, № 6, с. 220.

117. ПУ, 1761, № 8, с. 48.

118. ПУ, 1761, № 8, с. 49. Письмо обращено к Алексею Васильевичу Нарышкину (1742—1800), поэту, сотрудничавшему в ПУ и др. изд. Ржевский опубликовал еще четыре «Письма» (к А. В. Нарышкину): «Престанем мы роптать, Н⟨арышкин⟩, на судьбину. . .» (ПУ, 1761, № 1, с. 7), написанное как ответ на стихотворное послание Нарышкина «Письмо к А⟨лексею⟩ Р⟨жевскому⟩»; «Доколь, Н⟨арышкин⟩, нам в пороках утопать. . .» (ПУ, 1761, № 9, с. 81); «Тот

не старается, Нарышкин, рассуждать...» (СЧ, 1763, № 2, с. 99); «Такие есть часы меж суетных часов...» (СЧ, 1763, № 12, с. 721). *Всё в свете суета* — выражение, взятое из Библии (книга Экклезиаста).

119. ПУ, 1761, № 8, с. 55. Отгадка: любовь.

120. ПУ, 1761, № 9, с. 91.

121. ПУ, 1761, № 9, с. 94.

122. ПУ, 1761, № 9, с. 96.

123. ПУ, 1761, № 10, с. 129.

124. ПУ, 1761, № 10, с. 130.

125. ПУ, 1761, № 10, с. 131.

126—127. ПУ, 1761, № 12, с. 189.

128. ПУ, 1761, № 12, с. 192.

129. ПУ, 1761, № 12, с. 193. Как и многие другие русские писатели XVIII в., Ржевский обратился к теме Петра I, стремясь представить образ идеального государя, преобразователя и просветителя России. Чтобы ода не прозвучала оппозиционно по отношению к царствовавшей в это время Елизавете Петровне (1709—1761), автор завершил оду словами о ней. Важно также учесть, что в предыдущем декабрьском выпуске журнала Ржевский поместил «Оду ее величеству великой государыне императрице, истинной матери отечества, Елисавете Петровне» (ПУ, 1761, № 12, с. 185). Таким образом, обе оды были приурочены ко дню рождения Елизаветы — 18 декабря. 24 декабря Елизавета умерла, и в 1762 г. Ржевский выступил с двумя одами новому императору — Петру III (ПУ, 1762, № 3, с. 97). Позднее Ржевский написал несколько од Екатерине II (1762, 1763, 1764, 1767). *Младенца злоба окружает* и т. д. Имеется в виду жестокая борьба за власть между Нарышкиными, сторонниками Петра, и Милославскими, его противниками, поддерживавшими царевну Софью и подстрекавшими к бунту стрелецкое войско. *Стрельцов зловредных низлагает.* В 1689 г. Петр с помощью своих приверженцев сумел предотвратить готовившееся против него выступление Софьи и преданных ей стрельцов. *Еще раздоры начинает* и т. д. В 1698 г. произошел новый стрелецкий бунт, после подавления которого стрелецкое войско было уничтожено. *Готфы* — шведы; имеется в виду Северная война со Швецией (1700—1721). *Горю Петра петь под Полтавой.* Полтавское сражение, происшедшее 27 июня 1709 г. во время Северной войны, было темой многих произведений русской литературы и искусства XVIII в.

130—131. ПУ, 1761, № 12, с. 201.

132. ПУ, 1761, № 12, с. 202.

133—142. ПУ, 1761, № 12, с. 225. 8. В притче обыгрывается слово «понеже», характерное для канцелярского стиля.

143. ПУ, 1761, № 12, с. 232.

144. ПУ, 1761, № 12, с. 234, под загл.: «Два сонета, сочиненные на рифмы, набранные наперед». Первым здесь напечатан сонет А. В. Нарышкина с теми же рифмами:

За то, что нежностью любовь мою встречали,
Прелестные глаза! вовеки мне страдать,
Вовеки вами мне покоя не видать,
Вы мне причиною несносныя печали.

Надеждой льстя, вы мне притворно отвечали,
Что время счастливо могу я провождать,
Что должен за любовь себе награды ждать.
Надежда сладкая! Те дни тебя промчали.

Любезная! тебя напрасно я люблю,
Напрасно музами спокойствие гублю,
Суровости твои то кажут мне всечасно;

Но пусть я не любим, хоть буду век тужить,
Хоть буду о тебе вздыхати я несчастно, —
Ты будешь мне мила, доколе буду жить.

145. ПУ, 1761, № 8, с. 54. Обращено к поэту М. М. Хераскову (1733—1807). *Деревня Г⟨осподина⟩ Х⟨ераскова⟩* — Очаково, имение Трубецких, родственников Хераскова.

146—165. ПУ, 1762, № 3, с. 114. *Зоил* — условное имя завистливого критика.

166. ПУ, 1762, № 3, с. 117.

167—168. ПУ, 1762, № 3, с. 118.

169—170. ПУ, 1762, № 3, с. 119.

171—172. ПУ, 1762, № 3, с. 120.

173—182. ПУ, 1762, № 6, с. 254. 1. Притча направлена против системы откупов, процветавшей при Елизавете Петровне и очень разорительной для страны: частные лица платили государству определенную сумму, сохраняя за собой право получать доход со взятой на откуп отрасли. Возможно, что Ржевский имел в виду и конкретный факт: в 1761 г. П. И. Шувалову (1711—1762) были отданы на откуп Гороблагодатские заводы, а также табачный и винный откупы в Тобольской и Астраханской губерниях.

3. В ПУ под загл. «Осел в седле», с разночтениями. Печ. по СЧ, 1763, № 5, с. 276.

4. Сюжет басни восходит к Эзопу (басня «Собака с куском мяса») и Федру («Собака и ее отражение»).

183—186. СЧ, 1763, № 1, с. 14, 17, 18, 20.

187—189. СЧ, 1763, № 2, с. 93, 95. В этой же подборке притча Ржевского «Минерва, злость и зависть».

190. СЧ, 1763, № 4, с. 202. *Не приобщайтеся жиды ко самарянам.* Противопоставление иудеев и самарян как соседних народностей, живущих в отчуждении и по-разному относящихся к Христу (самаряне сердечно, иудеи — с враждой), подсказано Евангелием от Иоанна (IX, 4).

191—192. СЧ, 1763, № 4, с. 203.

193. СЧ, 1763, № 5, с. 277.

194—195. СЧ, 1763, № 6, с. 355.

196—198. СЧ, 1763, № 6, с. 356, 357, 358.

199—201. СЧ, 1763, № 6, с. 358.

202—203. СЧ, 1763, № 7, с. 421.

204—205. СЧ, 1763, № 7, с. 421.

206. СЧ, 1763, № 7, с. 432.

207. СЧ, 1763, № 8, с. 481. Вольное переложение басни Ж. Лафонтена «L'Amour et la Folie». *Фонтен* — Лафонтен.

208—210. СЧ, 1763, № 9, с. 534, 536, 538.

211. СЧ, 1763, № 12, с. 733.

212. СЧ, 1763, № 12, с. 734.

213. Отд. изд., ⟨СПб., 1773⟩ и «Санкт-Петербургские ведомости», 1773, 29 ноября. Стихи написаны по случаю спектакля, представленного в 1773 г. воспитанницами Смольного института, по опере «La serva padrona» Г.-Б. Перголези во французском переводе П. де Борана. Роли главных героев оперы (Сербины и Пандолфа) исполняли Екатерина Ивановна Нелидова (1757—1839), впоследствии известная фаворитка Павла I, и Наталья Семеновна Борщова. Их игра настолько понравилась Екатерине II, присутствовавшей на спектакле, что она заказала художнику Д. Г. Левицкому сделать их портрет в театральных костюмах. К ним же обращено стихотворение А. П. Сумарокова «Письмо к девицам г. Нелидовой и г. Борщовой» (СПб., 1774).

214. Отд. изд., ⟨СПб., 1773⟩ и «Санкт-Петербургские ведомости», 1773, 29 ноября. См. примеч. 213.

215. Ф. Т. М. Арно, Сидней и Силли, или Благодеяние и благодарность, М., 1769, с. 53. Печ. по изд.: С. П. Колосов, Жизнь некоторого мужа и перевоз куриозной души его чрез Стикс реку, СПб., 1788, с. 1—8 (отд. пагин.). Это изд. представляется наиболее авторитетным из прижизненных публикаций, так как книга Колосова печаталась в Петербурге (где в то время находился Фонвизин) в типографии П. И. Богдановича, с которым у писателя были тесные контакты (см.: Г. П. Макогоненко, Денис Фонвизин. Творческий путь, М.—Л., 1961, с. 5). В XVIII в. «Послание» пользовалось большой популярностью и неоднократно публиковалось (см.: Ф. А. Витберг, Фон-Визин и его «Послание к слугам». — «Русская старина», 1900, № 4, с. 471). Н. И. Новиков, помещая «Послание» Фонвизина в «Пустомеле», писал: «Кажется, что нет нужды читателя моего уведомлять о имени автора сего послания; перо, писавшее сие, российскому ученому свету и всем любящим словесные науки довольно известно. Многие письменные сего автора сочинении носятся по многим рукам, читаются с превеликим удовольствием и похваляются сколько за ясность и чистоту слога, столько за остроту и живость мыслей, легкость и приятность изображения...» («Пустомеля», 1770, № 7, с. 104). Стихотворение, однако, навлекло на Фонвизина обвинения в безбожии, как свидетельствует сам писатель в «Чистосердечном признании в делах моих и помышлениях»: «В сие время сочинил я послание к Шумилову, в коем некоторые стихи являют тогдашнее мое заблуждение, так что от сего сочинения у многих прослыл я безбожником» (Собр. соч., т. 2, М.—Л., 1959, с. 95). В частности, одним из откликов на «Послание» Фонвизина было сатирическое «Послание к творцу „Послания"» (1781) А. С. Хвостова, в котором иронически говорилось о Фонвизине:

Ты с челядью своей в системе упражнялся,
Что тряско рассуждать о свете — утвердил
И чрез Шумилова по миру объявил.

(см.: П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. 5, СПб., 1880, с. 216—220). *Шумилов* Михаил — дядька и камердинер Фонвизина, живший в его доме в Петербурге; Шумилов был грамотен и писал челобитные не только для других слуг, но и для самого писателя (см., например, челобитную 1762 г. о зачислении Фонвизина на службу в Коллегию иностранных дел — Собр. соч., т. 2, с. 609—610). *Ванька* — кучер Фонвизина. *Петрушка* — домашний парикмахер. *И денег, и белья, и дел моих рачитель.* Этот стих использован Пушкиным в «Капитанской дочке» в характеристике Савельича.

216. Распускающийся цветок, или Собрание разных сочинений и переводов, издаваемых питомцами учрежденного при императорском Московском университете Вольного благородного пансиона, М., 1787, с. 67. К загл. стихотворения сделано примеч.: «Издатели «Распускающегося цветка» изъявляют сим признательность свою к славному стихотворцу, известному свету многими своими громкими сочинениями, который доставил им сию басню для поощрения их к дальнейшему получению вкуса в свободных науках». Вольный перевод

прозаической басни Х.-Ф. Шубарта «In Lybien starb 'mal ein Löwe...». Опираясь на текст Шубарта, Фонвизин внес много новых деталей, усиливших социально-политическую остроту басни и сделавших ее злободневной в русских условиях (см.: H. Graßhoff, Eine deutsche Parallele der «Лисица-Казнодей» (Fonvizin und Schubart). — «Zeitschrift für Slawistik», 1962, Bd. VII, H. 2, S. 167—174). Как возможный источник сюжета Шубарта Х. Грасхоф указывает басню И. В. Л. Глейма «Der Fuchs und der Hofhund». Обнаруженные Х. Грасхофом параллели позволяют датировать стихотворение Фонвизина между 1774 (год опубликования басни Шубарта) и 1787 (год опубликования фонвизинской басни). Х. Грасхоф предполагает, что Фонвизин мог познакомиться с басней Шубарта во время своей третьей поездки за границу (1784—1785), когда он проезжал по южной Германии, но не исключает возможности, что басня стала известна Фонвизину и раньше.

П. И. ФОНВИЗИН

217. ДН, 1764, № 7, с. 300. *Амазонкин сын* — Ипполит. *Венерины дети* — амуры.

218. ДН, 1764, № 8, с. 343, подпись: Перевел Павел Фонвизин. Под тем же загл. эту басню перевел А. П. Сумароков.

219. ДН, 1764, № 8, с. 349.

220. ДН, 1764, № 8, с. 352, подпись: П. Ф.

221—222. ДН, 1764, № 9, с. 387, подпись: П. Ф.

223. ДН, 1764, № 10, с. 439.

224. ДН, 1764, № 10, с. 443, подпись: П. Ф.

225. ДН, 1764, № 10, с. 445, подпись: Перевел П. Ф. Источник перевода установить не удалось.

В. П. ПЕТРОВ

226. Отд. изд., М., 1766. Впоследствии для Соч. 1782 эта редакция оды была переработана в такой мере, что от старого текста уцелели лишь немногие места. Однако именно первая редакция явилась актуальнейшим событием литературной жизни своего времени и вызвала обильные журнальные отклики. В наст. изд. печ. обе редакции (см. также № 235). Написано по поводу костюмированного праздника — «каруселя», происходившего 16 июня 1766 г. в Петербурге. Подобные праздники устраивались при королевских дворах в Западной Европе с XVI в.: участники «каруселей» состязались в езде верхом и на колесницах и проч. Екатерина II хотела, чтобы карусель поразил своею пышностью и великолепием, и этому зрелищу придавалось очень большое значение в придворных кругах. Среди участников каруселя были видные государственные деятели и знатные дворяне. Директором каруселя был обер-шталмейстер П. И. Репнин (ум. 1778), глав-

ным церемониймейстером князь П. А. Голицын, а главным судьей фельдмаршал Б.-Х. Миних (1683—1767). Карусель состоял из четырех кадрилей (отрядов): славянской, римской, индийской и турецкой. Участники каждой кадрили были одеты в соответствующие костюмы. Славянскую кадриль возглавлял граф генерал-майор И. П. Салтыков (1730—1805), римскую — граф Г. Г. Орлов (см. примеч. 43), индийскую — П. И. Репнин, турецкую — граф А. Г. Орлов (1735—1807), один из главных участников дворцового переворота 1762 г., брат Г. Г. Орлова. Все кадрили одновременно вступили в амфитеатр, специально построенный для карусели перед Зимним дворцом; в центре амфитеатра была ложа для Екатерины, напротив нее — для Павла. По приказу императрицы начались «курсы» — соревнования: «прежде началися дамские на колесницах, а потом кавалерские на лошадях, и каждый бег происходил по особливым с трибуна главного судьи сигналам» (см.: «Описание порядка, которым карусель происходил в Санкт-Петербурге при присутствии ее императорского величества 1766 года июня 16 дня». — «Прибавление к „Московским ведомостям“», 1766, 7 июля). По окончании соревнований судьи обменялись мнениями, и победителям торжественно были вручены награды. О желании Репнина, «чтобы увеселение было воспето достойным образом», Петрову сообщил Н. Н. Бантыш-Каменский (1737—1814), обратившийся якобы к нему со следующими словами: «Что ты, братко, все сидишь, а ничего не высиживаешь? Напиши-тко стихи на карусель, князь Репнин тебе за то будет благодарен». Петров, находившийся в Москве и не видевший каруселя, написал оду, основываясь на опубликованном в «Прибавлении к „Московским ведомостям“» «Описании каруселя» и, по-видимому, рассказах очевидцев. Ода, однако, вызвала много полемических и пародийных выступлений (см. ниже). *Пиндар* — см. примеч. 11. *Я странный слышу рев музыки.* По-видимому, эта строка была связана со следующим местом из «Описания каруселя»: «А когда кадрилии стали уже входить в амфитеатр, тогда музыка звук громкий и по роду многих нововымышленных инструментов никогда не слыханный произвела, ибо все музыкальные инструменты вид имели в древности описываемый, а потому и мелодию издавали по свойству каждого народа древним ополчениям приличную». Эта строка пародировалась Сумароковым в «Дифирамбе Пегасу»: «музыки ревы внемлют» и в журнале «Смесь»: «музыки рев бодрит и нежит дух» (1769, лист 15, с. 119). *Пактол* — река в Малой Азии (ныне Сарт-Чайи), была богата в древности золотоносным песком. *Дают мах кони грив на ветр* и т. д. Этот отрывок пародировался В. И. Майковым в поэме «Елисей»:

Летит попрытче он царицы Амазонской,
Что вихри быстротой предупреждает конской,
Летит на тиграх он крылатых так, как ветр,
Восходит пыль столбом из-под звериных бедр,
Хоть пыль не из-под бедр восходит, всем известно,
Но было оное не просто, но чудесно.

Встает прах вихрем из-под бедр. Строка пародировалась Сумароковым («И вихрь восходит из-под бедр») и Майковым в «Эпистоле Михаилу Матвеевичу Хераскову» (1772):

И сей-то песни он в натянутых стихах,
Поднявшись из-под бедр как конских легкий прах,
Повыше дерева стоячего летая
И плавный слог стихов быть низким почитая.

И кровь в предсердии кипит. Строка пародировалась Сумароковым: «С предсердьем напрягая ум» и в журнале «Смесь»: «в предсердии кипит и кровь» (лист 15, с. 119). Здесь же о Петрове говорилось: у его сердца «есть прихожая комната, предсердие называемая» (лист 17, с. 132). *Стрелицы* — девушки, сопровождающие Диану и метко стреляющие из лука. *Оспорить тщатся лавр мужам* — пытаются оспаривать у мужчин лавровые венки. *Пергамские стены* — стены Трои. *Те стрелы в крови ядовитой.* У Одиссея стрелы были пропитаны ядом. *Мечом сверкают и локтьми.* Строка пародировалась в журнале «Смесь»: «герои все локтьми сверкают, челом махают» (лист 17, с. 119). Здесь же о Петрове было сказано, что он «видел сверкание локтей, может статься, тогда, когда получал оплеухи» (лист 17, с. 132). *Герой, во блеск славян одеян.* И. П. Салтыков (см. выше) был участником Семилетней войны и в нескольких сражениях проявил свою храбрость и мужество. *Но как тот взор мой восхищает* и т. д. Описывая внешность А. Г. Орлова (см. выше), современники отмечали «спокойную важность в его лице, греческие глаза, умную улыбку, лаконическую и приятную речь и луч величия, блистающий в повелительной красоте всего колоссального его вида» (С. Ушаков, Жизнь графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, СПб., 1811, с. 4). *Пустынного изгнанца плод* — участник «каруселя», одетый турком; турки считали себя потомками Измаила, изгнанного в пустыню его отцом Авраамом. *Чалмоносцы* — турки. *Камилл* Марк Фурий (ум. 365 до н. э.) — древнеримский полководец и государственный деятель. *Декий* (Деций) Публий Мус (ум. 340 до н. э.) — римский полководец; во время боя с племенем латинов проявил героизм и был убит, но римляне, вдохновленные его примером, одержали победу. *Курций* Марк (ум. 362 до н. э.) — древнеримский герой; по преданию, бросился в возникшую посреди римского форума пропасть, она сомкнулась, и Рим благодаря этому был спасен от грозившей ему опасности. *Маркелл* (Марцелл) Марк Клавдий (268—208 до н. э.) — древнеримский полководец; в 222 г. в сражении с галлами убил их вождя и выиграл сражение. *Дух во мне ... героям плещет; Над мыслей деюща понятность.* Эти выражения высмеивались в журнале «Смесь» (лист 15, с. 119—120). *Там муж, украшен сединою* — Б.-Х. Миних (см. выше). *Луна от тех метаний тмилась* и т. д. Речь идет о победах над турками в 1739 г. под предводительством Миниха: взятие Очакова, Хотина и др. *Паллада* — здесь имеется в виду Екатерина II. *Тех стоном растворенных игр.* Речь идет о цирковых представлениях (играх) в Древнем Риме. *Исфм, Олимп, Пифия, Нимия* — названия мест в Древней Греции, где происходили спортивные состязания (игры), воспетые Пиндаром. *Демокл, Ферон, Диагор* (VI—V вв. до н. э.) — победители олимпийских игр, прославленные Пиндаром. *Фивянин* — Пиндар.

227. «Ни то ни сио», 1769, лист 8, 11 апреля, с. 57, подпись: В. П. Печ. по Соч. 1782, с. 194. Перевод оды А. Тома (1732—1785), французского поэта-просветителя, «Devoirs de la Société, ode

adressée à un homme qui veut passer sa vie dans la solitude» (1762). *Живого плакали тебя* — оплакивали тебя живого. *Гуроны* — индейское племя в Северной Америке. *Любви его предлог драгой* — жена. *На злая человек течет* — человек склонен ко злу. В первой публикации вместо этой строки: «Закона узы смертный рвет».

228. Соч. 1782, с. 33. Написано в связи с началом русско-турецкой войны 1768—1774 гг. *И над сералию комета.* Незадолго до начала войны на небе появлялась комета, о которой писал и М. М. Херасков в стихотворении «Комета, явившаяся в 1767 году при начале войны с турками». *Секвана* — латинское название реки Сены; в переносном значении — Франция. Франция, встревоженная военно-политическими успехами России, не хотела ее допустить к Черному морю и всячески подстрекала Турцию к развязыванию, а затем к продолжению войны с Россией. *Мекка* — легендарная родина Магомета, священный город магометан, привлекавший большое количество паломников. *Каир* — крупнейший арабский город, через ворота которого богомольцы проходили в Мекку. *Лжепророк* — Магомет. *Гем* (Балканы) и *Родопы* — горные хребты на Балканском полуострове. *Поклонник Магомеда* — султан.

229. Еней. Героическая поэма Публия Вергилия Марона. Переведена с латинского Васильем Петровым, ч. 1, СПб., 1770, с. 5. Печ. по изд.: Еней. Героическая поэма Публия Виргилия Марона. Переведена с латинского г. Петровым, ч. 1, СПб., 1781, с. 5. Стихи предшествуют переводу поэмы Вергилия (см. примеч. 234) и обращены к Павлу; в начале книги посвящение: «Его императорскому высочеству пресветлейшему государю великому князю цесаревичу Павлу Петровичу, российского престола наследнику, милостивейшему государю». *Марон* — Вергилий (см. примеч. 7). *Какую сам ему Октавий подавал.* Октавий — Август (см. примеч. 11); до 44 г. до н. э. носил имя Гай Октавий. Август покровительствовал Вергилию и, в частности, помог ему вернуть свои владения, которые были конфискованы в пользу ветеранов императора. *Мать твоя* — Екатерина II. *Римский орел* — Вергилий. *Ментор* — имеется в виду Н. И. Панин (1718—1783), видный государственный деятель, воспитатель Павла.

230. Отд. изд. ⟨СПб., 1771⟩. Печ. по Соч. 1782, с. 78. Г. Г. *Орлов* — см. примеч. 43. Петров неоднократно обращался к Орлову со стихами: «Письмо к его сиятельству... графу Григорью Григорьевичу Орлову от титулярного советника Василья Петрова» (1769); «Письмо к его сиятельству графу Григорью Григорьевичу Орлову. Писано в Лондоне 1772 г.» *Зинон* — Зенон (ок. 336—264 до н. э.) — древнегреческий мыслитель, основатель философской школы стоиков (см. примеч. 19); высшей добродетелью считал жизнь, согласную с природой. *И жизнь полезными для отчества трудами.* Г. Г. Орлов принимал деятельное участие в общественно-государственных мероприятиях в первые годы царствования Екатерины II. В частности, он был одним из основателей и первым председателем Экономического общества, созданного в 1765 г. (впоследствии Вольного Экономического общества); выдвигал проекты освобождения балканских славян и греков от турецкого владычества и т. д. *Катон* Младший Марк Порций

(96—46 до н. э.) — римский политический деятель, философ-стоик. *Сократ* — см. примеч. 2.

231. Соч. 1811, ч. 3, с. 73. Написано во время пребывания Петрова в Англии (1772—1774). Поскольку в изд. 1811, где сочинения Петрова расположены в хронологическом порядке, помещено до стихотворений, относящихся к 1772 г., датируется тем же годом. В 1772 г. Екатерина II послала Г. И. *Силова* в Англию, вместе с ним был послан Петров («Труды Вольного общества соревнователей просвещения и благотворения», 1818, ч. 1, с. 129). К Силову обращено и другое послание Петрова («Счастливое дитя незнатного отца...»), написанное, по-видимому, примерно в то же время. *Тем всеместие природы не оспорно* — т. е. это не опровергает природы. *Александр* Македонский — см. примеч. 2. *В прадеда растет и в дивну Павел мать* — Павел Петрович, сын Екатерины, внук Петра I. *Кто смеет пригвождать дар щедра неба к месту* и т. д. Здесь, по-видимому, Петров полемизирует с распространенной в XVIII в. теорией Ш. Монтескье, согласно которой географическое положение и климат определяют характер народа. *И алогубых нимф отцы не призывали.* В знатных дворянских семьях детей выкармливали не матери, а кормилицы. *Архива не спасет, коль искры нет в груди.* Имеется в виду Разрядный архив, в котором в XVIII в. хранились и составлялись дворянские родословные.

232. Соч. 1811, ч. 3, с. 105. Стихотворение направлено против основных литературных противников Петрова — В. И. Майкова (см. примеч. 226) и Н. И. Новикова. В «Опыте исторического словаря о российских писателях» (СПб., 1772) Н. И. Новикова о Петрове была помещена статья, очень оскорбившая поэта (см. об этом в биограф. справке, с. 321). *И войску на патроны.* В то время заряд пороха помещался в бумажный патрон. *Людьми со стороны лиц скудость добавляют* — т. е. берут неподготовленных статистов из-за недостатка актеров. *Дмитревский* И. А. (1734—1821) — знаменитый русский актер и драматург. *Морская, Миллионная* — улицы в Петербурге (ныне — Герцена и Халтурина). *Пиндар* — см. примеч. 11. *Мой люди слог читают, И хвалят.* Слог Майкова хвалил Новиков в «Опыте словаря»: «стихотворство чисто, текуще и приятно, и важно там, где потребно» (с. 133). *Какой-то там живет на Мойке меценат.* Граф З. Г. Чернышев (1722—1784), начальник, друг и покровитель Майкова, жил на Мойке, у Синего моста. *Словарь* — «Опыт исторического словаря о российских писателях» Новикова. *Там монастырские запечны лежебоки.* В «Опыт словаря» включены статьи о многих духовных писателях и проповедниках. *Наряду с писцом.* В «Опыте словаря» есть статьи о протоколистах Правительствующего Сената Ф. Я. Козельском (см. с. 451—519) и Никите Иванове (ум. 1770). *С мацами батырщик.* В XVIII в. краску на типографский набор набивали мацами — кожаными мешочками с рукояткой; набивал краску батырщик. В «Опыте словаря» есть статья об Иване Рудакове, «старшем наборщике в Академической типографии», сочинявшем «разные весьма изрядные стихотворении». Здесь же приведены его «Стихи к „Опыту исторического словаря о российских писателях"». *Дьякон.* В «Опыт словаря» включены статьи о дьяконе Игнатии (XIV в.); дьяконе Луговском (XVII в.); дьяконе Петропавловского собора Алексее Фло-

рове (XVIII в.). Петрова особенно могла задеть статья о его современнике и однофамильце дьяконе Василии Петрове, поместившем несколько стихотворений в ДН (1764). *Пономарь.* В «Опыте словаря» упомянут Тимофей (XIII в.), пономарь, «современник летописателю Иоанну». *С баклагой сбитенщик и водолив с бадьей.* Поводом к этой строке, возможно, послужила статья в «Опыте словаря» о механике И. П. Кулибине (1735—1818), о котором сообщалось, что он торговал хлебом и был сидельцем в мучной лавке. *Сей первый издал в свет шутливую пиесу.* Имеется в виду поэма Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх», о которой в «Опыте словаря» говорится: «Она еще первая у нас такая правильная шутливая издана поэма» (с. 134). *Сей надпись начертал.* Имеется в виду В. Г. Рубан (1739—1795), поэт и переводчик, автор надписи к статуе Петра Великого, о которой Новиков отозвался с похвалой и привел ее в «Опыте словаря». *А этот патерик.* Речь идет о Поликарпе, архимандрите Печерского монастыря, авторе «Патерика, или Отечника Печерского». *Тот истину хранил, чтил сердцем добродетель* и т. д. Несколько измененные строки из «Стихов на смерть Федора Александровича Эмина 18 апреля 1770 года», напечатанных в «Опыте словаря» (с. 257—258):

Он истину хранил, любил он добродетель;
Друзьям был верный друг, и бедным благодетель.
. . . .
В великом теле он великий дух имел,
И, видя смерть в глазах, был мужествен и смел.

Сократ — см. примеч. 2.

233. Отд. изд. ⟨М.⟩, 1775. Печ. по Соч. 1782, с. 120. Написано в связи с удачным для России завершением русско-турецкой войны 1768—1774 гг. *Румянцев* П. А. (1725—1796) — русский полководец и государственный деятель. Во время этой войны командовал армией и за одержанные победы был награжден чином генерал-фельдмаршала и титулом графа с почетным наименованием «Задунайский». Кроме этой оды Петров написал «Поэму на победы российского воинства под предводительством генерала-фельдмаршала графа Румянцева» (1771) и стихотворения: «Его сиятельству графу Петру Александровичу Румянцеву на притеснение турков в разных городах за Дунаем и воспоследовавшее от того заключение мира» (1774) и «На прибытие его сиятельства графа Петра Александровича Румянцева из-за Дуная в Москву по заключении мира с турками» (1775). *Отрасль Латоны* — Аполлон. *Махмет* — Магомет, т. е. речь идет о турках, поклонниках Магомета. *Где, льясь, шумят струи Днепровы.* В 1764 г. Румянцев был назначен президентом Малороссийской коллегии и с 1765 г. до начала войны находился в Малороссии. *Колберга теснитель* — Румянцев, руководивший осадой крепости Кольберг в 1761 г. во время Семилетней войны (1756—1763). *И сообщать свой свет не косен* — т. е. щедро делится своими познаниями. *Как души он селян, так села прерождает* и т. д. За время своего пребывания на Украине Румянцев осуществил ряд преобразований в системе управления и хозяйства вверенного ему края: в частности, он провел перепись населения, изменил судопроизводство, учредив в 1767 г. адвокатов для помощи беднякам в суде; принял меры по насаждению и

сохранению лесов и полезных растений (при нем впервые на Украине начали сажать картофель); развернул строительство каменных зданий и т. д. *Цинцинат* Люций Квинций (V в. до н. э.) — римский политический деятель и полководец; послы, пришедшие к нему в 458 г. до н. э. с известием о его назначении диктатором, застали Цинцината в поле за земледельческой работой. *Как страшна буря вдруг дохнула.* Речь идет о вторжении крымских татар на территорию Украины, послужившем началом русско-турецкой войны. *Гордыня дмит и галл невежду.* Турцию поддерживала против России Франция. *Готы* — древнее племя восточных германцев, неоднократно нападавшее на территорию римлян. *Мустафа* III (ок. 1717—1774) — турецкий султан, правивший с 1757 по 1774 г. *Страж Днепра* — Румянцев, армия которого защищала южные границы от вторжений татар и располагалась у Полтавы и Бахмута. *И первого застиг, корысть мечу, Гирея.* Летом 1770 г. войска под командованием Румянцева разбили турецко-татарскую армию. Первая решающая битва произошла 7 июля при с. Ларге, где русская армия разгромила войска крымских татар и прибывших к ним на помощь турок. Гирей — Каплан-Гирей, крымский хан. *Сперлись, ударились друг с другом* и т. д. Речь идет о сражении при реке Кагул 21 июля 1770 г., в результате которого войска под предводительством Румянцева одержали блестящую победу над турецкой армией, численно превосходившей русскую в десять раз. Эта победа закрепила успехи, достигнутые русскими в битве при Ларге, и во многом определила весь дальнейший ход войны. *Мекка* — см. примеч. 228. *Истр* — Дунай. *Кагульские раны.* Имеется в виду сражение при Кагуле. *И се за Истром он.* В 1774 г. Румянцев перенес военные действия за Дунай и окончательно разгромил турецкую армию. *Фракийские горы, Гем* — Балканы. *Миром брань венчал.* Имеется в виду Кучук-Кайнарджийский мирный договор между Россией и Турцией в 1774 г., заключенный на очень выгодных для России условиях.

234. Еней. Героическая поэма Публия Вергилия Марона. Переведена с латинского Васильем Петровым. ⟨Песнь 1—6⟩, ⟨СПб., 1770⟩, (др. ред.). Печ. по изд.: Еней. Героическая поэма Публия Вергилия Марона. Переведена с латинского г. Петровым. ⟨Песнь 1—12⟩, ⟨СПб., 1781—1786⟩, ч. 1. Первая песня перевода поэмы Вергилия «Энеида», представляющей своего рода римскую параллель к «Илиаде» и «Одиссее» Гомера; в поэме рассказывается о странствиях и войнах троянца Энея. Перевод первой песни получил очень высокую оценку Екатерины II, но ее отзыв вызвал полемическое выступление Н. И. Новикова в «Опыте исторического словаря о российских писателях» (1772) и др. Поддерживая мнение императрицы, С. Г. Домашнев, президент Российской академии, писал в 1779 г.: «В других отраслях стихотворства, в буколическом, в нравоучительном, имеет язык наш примеры, кои направить могут вкус молодых писателей. К сему присовокупить должно превосходный перевод господином советником Петровым на язык наш «Енеиды». Автор нашел в нем страшного соперника, и красоты сего избраннейшего римского стихотворца сделались нашим стяжением посредством прекрасного сего преложения; желательно, чтоб и образец Вергилиев, коего имеем мы перевод «Илияды» в прозе, был подарен российским письменам сим

выразительным прелагателем, и чтоб он в сем случае склонился на общее желание, коего один знаменитейший наук покровитель есть побуждением своим в оном ему истолкователем» («Академические известия», 1779, ч. 1, № 1, с. 45). Одновременно с Петровым над переводом «Энеиды» работал В. Д. Санковский, выпустивший в 1769 г. перевод первой книги, а в 1775 г. — первых трех книг. В 1786 г., закончив перевод 12-й песни, Петров написал стихи «К ее императорскому величеству Екатерине Второй самодержице всероссийской. При переводе Енея, героической поэмы П. В. Марона 1786 году». При издании первой песни (1781) сохранилось посвящение Павлу (см. примеч. 229), и новые стихи 1786 г. как бы переадресовывали это посвящение Екатерине. Характерно, в частности, начало стихотворения:

Труд кончан; с песнями Мароновой я лиры
Теку под тень твоей, монархиня, порфиры.
Как путник, обошед далекие края,
И возвратяся здрав и счастлив восвоя,
С нетерпеливостью почтенна ищет друга,
Чтоб повесть пресказать пройденна им округа;
. . . .
К тебе, как к лучшему наук священных другу,
Исполнен радости, монархиня, лечу,
Да мой успех тебе всех прежде сообчу.
Бодрившая меня в течении Минерва,
О поприща конце должна ты знати перва.

Далее Петров вспоминал о том, как Екатерина правила его перевод:

Ты матерския мне с приятностью улыбки
Казала некогда в строках моих ошибки,
И я, в усильи дум, и пылкости в ущерб,
Велики правила из уст твоих почерп.

Об этом же писал сын Петрова в жизнеописании поэта: «Каждая песнь сей поэмы ⟨«Энеиды»⟩ удостоена была особенного внимания Екатерины, которая, благосклонно выслушивая перевод, останавливалась на некоторых местах оного, казавшихся ей слабыми или неудовлетворительными, и сообщала мнение свое об исправлении многих стихов и оборотов» («Труды Вольного общества соревнователей просвещения и благотворения», 1818, ч. 1, с. 130). В первой песни «Энеиды» повествуется о том, как корабли Энея на пути в Италию, между Сицилией и Карфагеном, застигает буря. Эней со своим другом Ахатом и некоторыми другими спутниками спасается и оказывается на Ливийском берегу; встреченная Энеем Венера направляет его к царице Дидоне. *Латия* — Лациум, область на территории древней Италии. *И в оный внес богов по странствии своих.* Имеются в виду привезенные из Трои пенаты. *Латины* — жители Лациума. *Албанские отцы.* Речь идет о жителях древнего латинского города Альба-Лонга, основанного, по преданию, сыном Энея Асканием, который сделал его столицей Лациума. *Горды стены Рима.* Основателями Рима считались переселенцы из Альба-Лонги. *Великий праотец чад римских* — Эней. *Превыспренних владычица всемочна* — Юнона. *Карфаген, селенье тирских чад.* Древний город Карфаген, расположен-

ный в Северной Африке, был заселен выходцами из Тира, главного города Финикии. *Самос* — греческий остров у берегов Малой Азии, посвященный Юноне (Ире). *Недавна брань* — Троянская война. *Арг возлюбленный* — город Аргос, столица древней области Арголиды в Пелопоннесе; из этого города происходил Агамемнон, которому покровительствовала Юнона во время Троянской войны. *Любодейчищ род* — троянцы, из рода которых происходил Ганимед. *Гласящу то ему* — в то время как он гласил. *Ликяне* — ликийцы, жители Ликии, древней страны, расположенной в юго-западной части Малой Азии; ликийцы, сражавшиеся вместе с троянцами, последовали за Энеем. *Сам их бог* — Нептун. *Африканский брег* — Ливия. *Имущи распростерть* — которым суждено распространить. *Иллирия* — древняя область, расположенная к северо-востоку от Адриатического моря. *Либурния* — местность в Иллирии, жители которой были покорены римлянами. *Тимав* — Тимаво, река на севере Италии, берет свое начало из источника, бьющего из земли, и впадает в Адриатическое море. *Патавий* — древний город на территории Италии (впоследствии Падуя), основан, по преданию, Антенором. *Рутуляне* — рутулы, племя в древней Италии, жившее на территории Лациума. *Алба* — Альба-Лонга (см. выше: *Албанские отцы*). *Вестина служительница храма* — Рея Сильвия. *Двоих родит сынов* — Ромула и Рема. *Мицены* — Микены, в древности столица Арголиды (см. выше: *Арг*), местопребывание царя Агамемнона. *Стен фтийских высоту*. Фтия — древний город в Фессалии, родина Ахиллеса. *Имущий возвысить славу* — тот, которому суждено возвысить славу. *Возникнет цесарь, вождь, троянами рожден, Иулий* и т. д. Речь идет об императоре Августе (см. примеч. 229), который был внучатным племянником, а затем приемным сыном Юлия Цезаря. Вергилий, стремясь польстить Августу, говорит здесь о древности его рода и о благоденствии Рима в его правление, предсказанном якобы самими богами. *И с Ремом сам Квирин давати станет суд* и т. д. Легендарное примирение Рема и Ромула представлено как залог торжества миролюбия и справедливости в век Августа. *Недавно в Африке вселившаяся царица* — Дидона. *Сердца сидонские*. Речь идет о жителях Карфагена. Сидон — древний город Финикии, страны, в которой находился и Тир, родина легендарной основательницы Карфагена Дидоны. *Фракийска бодра дщерь* — Гарпалика. *Вопреки* — т. е. в ответ. *Град финикиян* — Карфаген. *От братней лютости убегшей втай из Тира*. Брат Дидоны Пигмалион, царь Тира, убил ее мужа, чтобы завладеть его богатством. *Сокровище свое творя ей вестно* — т. е. сообщая о своем сокровище. *Готовит спутников бежать Пигмалиона* — т. е. готовит спутников, чтобы бежать от Пигмалиона. *Сия страна* — Ливия. *Град* — Карфаген. *Бирза* (греч.) — от финикийского слова bosra, имеет два значения: укрепленное место, замок; снятая шкура. *Окрестность, кожею обмеренна вола*. Прибыв в Ливию, Дидона попросила за свои сокровища у местного царя Ярба продать столько земли, сколько можно смерить шкурой вола. Когда царь согласился, спутники Дидоны разрезали шкуру на узкие полосы и отмерили ими большую территорию, на которой и был построен Карфаген. *Рождьшая* — Венера. *Спасенных кой богов* — троянских пенат. *Праотец* — Дардан. *Тирийская царица* — Дидона. *Ниспад с превыспренней* — спустившись сверху, с неба. *Зевесова перната* — орел, священная птица Зевса.

Сидонцы — спутники Дидоны, покинувшие вместе с ней Финикию. *Обвешен дары* — т. е. обвешен дарами. *Фригийские герои, фриги* — троянцы. *Роковые кони* — см. миф. словарь: Рез. *Оружемощна дева* — Афина. *Творец зол* — Ахилл. *Царица* — Дидона. *Во долге сицевом труждающейся ей* — в то время, как она трудилась, исполняя такой долг. *Соплававши ему* — плававшие вместе с ним. *По их вождю преименован.* Речь идет о Сатурне, по имени которого Италия называлась Сатурнией. *По счáстливой из волн избаве* — счастливо спасшись из волн. *Нам зрящим* — в то время как мы смотрели. *Идейские рощи* — см.: Ида (миф. словарь). *И в честь себе свой род влещи из Трои ставил* — т. е. считал для себя честью вести свой род от троянцев. *Да повеление героя совершит* — т. е. чтобы исполнить повеление героя.

235. Отд. изд., М., 1766 (др. ред., см. № 226). Печ. по Соч. 1782, с. 3. Об истории создания стихотворения и об отраженных в нем событиях см. примеч. 226. *Во славе древняя Россия, Рим, Индия и Византия.* Речь идет о четырех «кадрилях» каруселя, причем вместо Стамбула, означавшего в первой ред. турецкую кадриль, названа Византия.

236. Отд. изд. ⟨М.⟩, 1767 (др. ред.), под загл. «Ода всепресветлейшей, державнейшей, великой государыне императрице Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской, премудрой законодательнице, истинной отечества матери, которую во изъявление чувствительнейшия сынов российских радости и искреннейшего благодарения, возбужденного в сердцах их всевожделенным манифестом, в пятое лето благополучного ее величества государствования изданным, о избрании депутатов к сочинению проекта нового уложения, приносит всенижайший и всеподданнейший раб Василий Петров». Печ. по Соч. 1782, с. 18. Из вариантов изд. 1767 наиболее существенны следующие:

вмéсто строфы 1—2

Богини росской чудодейством
Внезапно восхищенный ум
Со трепетом, с благоговейством
Согласный всюду внемлет шум
Похвал, усердных ей желаний,
Немолчных в радости плесканий,
Взаим приветственных гласов.
Се паки дней златых Фемида,
Что скрылась в твѐрдь от смертных вида,
Спустилась с горних к нам кругов.

строфа 4, 5—10

Он всем гремит, благовествует,
Что ныне свету показует
Земных краснейшая владык.
Везде торжеств, веселий слéды;
Всех полны ей одной беседы;
Отвсюду грóмкий слышен клик.

строфа 5

Там разным всяк народ язы́ком
Ко господу взывает сил;

Велик господь в Петре Великом,
Велик в Елисавете был, —
В святой твоей Екатерине,
В творимых ею чудесах!
Ты нам чрез них щедроты пролил;
Но чрез сию благоизволил
Дать верх возможных смертным благ.

строфа 6, 7—10

Отныне будете цвести
Монаршей милости под кровом,
В красе, во благоденстве новом,
Не зная козней, свар и льсти.

после строфы 6

Кругов небесных верхотворец,
Всемощный царь, утех отец,
Всегда по кротости поборец,
Всегда каратель злых сердец,
О, как ты россов ублажаешь,
Крепишь, растишь и возвышаешь,
Меж самых гневных гроз щадишь!
Хотел нас бед покрыть пучиной;
Но ныне что Екатериной
Возлюбленной твоей даришь?

строфа 7, 5—10

На части рвет подобных члены,
Лиет реку кровавой пены,
Своим, чужим ужасен бич,
Готов родивших обесчадить,
Всех от среды живых изгладить,
Лишь Александра бы достичь.

строфа 8, 6—10

Есть подданным животодавство;
Ее тот лавр над все взнесен,
Что, кои к ней благоговеют,
Всегда, как лавры, зеленеют,
Не зная строгих перемен.

строфа 14

Но страждущих тирански муки,
Плачевный крик, вопль чад, отцов,
Похвальны заглушают звуки
Узаконений сих творцов.
Там трупы предаются мертвы
Несытным сребролюбцам в жертвы;
Там на младенцев суровство,
Терзают казни всех жестоки,
Везде кровавы льются токи,
И смертных стонет естество.

строфа 15, 6—10

Любовь к ним с высоты шлет трона;
Ей начинает все дела;
Чрез то родит в нас послушли́вость,
Что древних буйная кичливость
Великости ущербом чла.

строфа 24, 1—4

Но что за лики всюду зрятся
Мужей, в святый идущих храм?
Что смирной алтари дымятся,
Восходят гласы к небесам?

после строфы 26

Доколь пресветлыми лучами
Вселенну солнце освещать,
Сливаясь реки в сонм с морями,
Свое теченье там кончать;
Доколь цвести Россия станет,
Дотоле слава не увянет
Твоих, богиня, громких дел;
Алтарь твой в нас пребудет вечен,
Стихий насильством непресечен;
Закон твой в роды свят и цел.

14 декабря 1766 г. Екатерина II издала манифест о созыве представителей разных сословий для работы в Комиссии по составлению проекта нового уложения (законодательства). Для руководства Комиссии императрица написала «Наказ», в котором широко использовались идеи Ш. Монтескье, Ч. Беккариа и др. европейских писателей (см.: Н. Д. Чечулин, Об источниках «Наказа». — ЖМНП, 1902, № 4, отд. II, с. 279—320; П. Н. Берков, Книга Чезаре Беккарии «О преступлениях и наказаниях» в России. — В кн.: Россия и Италия, М., 1968, с. 57—76). Из разных губерний в Петербург съехались депутаты, и 31 июня 1767 г. произошло первое заседание Комиссии. Работа Комиссии проходила с большой торжественностью, но никаких конкретных решений не было принято. В связи с началом русско-турецкой войны в 1768 г. Комиссия прервала свою деятельность, распущена она не была, но существовала только номинально. В связи с созывом Комиссии и началом ее работы в официальной печати много говорилось о заслугах Екатерины как мудрой законодательницы. На одном из заседаний Комиссии решался вопрос о присвоении Екатерине титула «великой, мудрой матери отечества». Идею написать хвалебную оду, посвященную императрице, в связи с созывом Комиссии, Петрову подал Г. А. Потемкин, лично посетивший поэта после того, как Екатерина благосклонно приняла «Оду на карусель» (см. № 226 и примеч.). Откликнувшийся на это предложение Петров не только хвалил императрицу и предпринятое ею дело, но и высказывал свои пожелания, как бы выступая со своим «наказом» перед Комиссией. *Молния Синая.* Имеется в виду молния, с которой, по библейскому преданию, бог явился Моисею на Синайской горе и дал ему скрижали с основными заповедями. *Он роды все зовет в участье.* В работе Комиссии принимали участие представители всех сословий (кроме крепостных) и разных народностей, в том числе малых: самоедов, черемисов, башкир и т. д. *Ты ими насаждал в нас крины.* По поводу часто встречавшейся у Петрова рифмы «Екатерины — крины» Я. Б. Княжнин иронически писал в «Послании к Дашковой» (1783):

Я ведаю, что дерзки оды,
Которы вышли уж из моды,
Весьма способны докучать:

Оне всегда Екатерину,
За рифмой без ума гонясь,
Уподобляли райску крину!

Сократ — см. примеч. 2. *Монархиня воюет злость* — т. е. побеждает зло. *Хотя молчат ее перуны.* С начала своего царствования (1762) до 1768 г. Екатерина не вела войн. *Озирид уставы... тщится ввесть.* Имеется в виду «Книга мертвых», памятник древнеегипетской литературы, своеобразный свод правил для душ умерших, подданных бога Озириса. *Кандии обладатель* — Минос, мифический царь Крита (Кандии), мудрый законодатель. *Ликург* (IX в. до н. э.) — легендарный законодатель Спарты. *Дракон* (VII в. до н. э.) — законодатель Древней Греции; в 621 г. до н. э. составил для Афинской республики суровые законы, согласно которым за очень многие преступления полагалась смертная казнь. *Солон* — см. примеч. 19. *Дарует своему народу Писать, что чувствуют, свободу* и т. д. Здесь имеются в виду высказанные в «Наказе» Екатерины либеральные фразы по поводу свободы печати. Так в 484 параграфе «Наказа» говорилось: «Запрещают в самодержавных государствах сочинения очень язвительные, но ... весьма беречься надобно изыскания о сем далече распространять, представляя себе ту опасность, что умы почувствуют притеснение и угнетение: а сие ничего иного не произведет, как невежество, опровергнет дарования разума человеческого и охоту писать отнимет» («Наказ Екатерины Вторыя, данный Комиссии о сочинении проекта нового Уложения», СПб., 1893, с. 158). На эти пункты «Наказа» откликнулся и Г. Р. Державин в «Фелице»:

Ты народу смело
О всем, и въявь и под рукой,
И знать, и мыслить позволяешь...

Платон (427—347 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист. *Завистным угрожает.* В других пунктах «Наказа» (201, 203, 485, 486 и др.) говорилось о необходимости строго наказывать клеветников и заговорщиков. *Стеклись в Россию пришлецы* и т. д. Речь идет о многочисленных колонистах, переселившихся в Россию при Екатерине II, в частности немецких колонистах, обосновавшихся в Поволжье.

237. Отд. изд. ⟨М., 1791⟩. *Г. А. Потемкин* (ок. 1739—1791) — крупный политический деятель, фаворит Екатерины II. Участвовал в русско-турецких войнах 1768—1774 и 1787—1791 гг. Потемкин вел мирные переговоры с Турцией, и умер 5 октября 1791 г. в пути, по дороге из Ясс в Николаев. Петров познакомился с Потемкиным еще во время обучения в Духовной академии и затем постоянно пользовался его покровительством. Так, после написания оды «На карусель» (см. № 226), по свидетельству сына Петрова, «князь Потемкин, отдавая справедливость дарованиям поэта и уважая душевные его качества, почтил его своим дружеством. Каждый день посещал он жилище певца «Карусели», в ученых беседах проводил с ним целые ночи. Мать князя Григорья Александровича Потемкина всегда пеняла Петрову, что он совсем завладел ее сыном» («Труды Вольного Общества соревнователей просвещения и благотворения», 1818, ч. 1, с. 126). При известии о смерти Потемкина с Петровым случился удар; впослед-

ствии он писал о Потемкине: «Он-то был тот орел, на плечах коего сидя, я пел, не боясь ветров и бурь, не боясь молний и громов, будучи уверен, что он меня не уронит, и он не уронил меня, но крепко берег» (там же, с. 134—135). Петров написал Потемкину несколько од (1775, 1777, 1778, 1780, 1781) и два «Письма». *Крым отнял разумом, защйтил Крым рукой.* В особой записке, поданной императрице, Потемкин составил план присоединения Крыма. Этот проект был осуществлен в 1783 г. В результате второй русско-турецкой войны (1787—1791) была окончательно утверждена принадлежность Крыма России. *Матерь* — Екатерина II. *Со лавром кипарис.* Символ победоносной славы соединен с символом печали. *Селим* III (1761—1808) — турецкий султан. *Дыхающу тебе* — т. е. когда ты дышал. *Быв смертною в одре не раз объят грозой* Петров серьезно болел и в 1780 г. в связи с болезнью уехал из Петербурга в свое поместье в Орловской губернии. *Евксин* — Понт Евксинский, Черное море. По инициативе Потемкина был создан русский флот на Черном море. *Чин воинства устроил.* Став в 1784 г. фельдмаршалом, Потемкин провел ряд реформ в организации военного быта, в частности старую форму он заменил более удобной, упразднил для солдат пудру, косички и т. д. *Ты в поле кончил дни.* Во время пути из Ясс в Николаев Потемкин плохо себя почувствовал, «под деревом разостлали плащ и его положили на оный» (Жизнь Г. А. Потемкина-Таврического, ч. 2, СПб., 1811, с. 124). Здесь он и умер, в степи, под открытым небом. *Все плачут, жид ли кто или самарянин.* Смерть Потемкина представляется как всеобщее горе: его оплакивают и жестокие и милосердные см. примеч. 190). *Евксин с Кубанию и Каспий со Моздоком* и т. д. Перечень мест, в которых был Потемкин во время войн. *Меот* — Азовское море.

238. Соч. 1811, ч. 3, с. 300. Написано в связи со смертью сына Петрова — Николая.

239. Отд. изд. ⟨СПб.⟩, 1796. *Мордвинов* Н. С. (1754—1845) — государственный деятель, адмирал, участник русско-турецкой войны 1787—1791 гг. Впоследствии занимал видные гражданские посты; его деятельность носила оппозиционно-либеральный характер, и декабристы высоко отзывались о нем. Со стихотворением Петрова имеет непосредственную связь стихотворение А. С. Пушкина «Мордвинову» (см.: Ю. Стенник, Стихотворение А. С. Пушкина «Мордвинову». — «Русская литература», 1965, № 3, с. 172—181). На эту преемственность указывает и сам поэт («М⟨ордвинов⟩, не вотще Петров тебя любил»). Мордвинову были посвящены также ода К. Ф. Рылеева («Гражданское мужество») и ода П. А. Плетнева («Долг гражданина»). Подробный разбор оды Петрова сделал П. А. Плетнев («Труды Вольного общества любителей российской словесности», 1824, ч. 25, с. 265—284). Критик считал, что «Петров был один из лучших наших поэтов» и рассматриваемая ода носит «отпечаток его гения». Вместе с тем Плетнев отмечал свойственную Петрову «неотделку и другие недостатки слога». *И с тем тебе судьба власть многих поручила* и т. д. С 1792 г. Мордвинов был председателем Черноморского адмиралтейского правления. *Во Чесме жгут врагов.* Имеется в виду Чесменское сражение в 1770 г. во время первой русско-турецкой войны. *Из Буга вы свои днесь вóзьмете полеты.* Во время второй

русско-турецкой войны в лимане Буга в июне 1788 г. русские одержали несколько побед над турками. Участником этих сражений был Мордвинов. *Евксин* — Черное море. *Дракон* — турецкое войско. *Есть смертный, нравом схож с тобой... Науки любит он, как ты.* Речь идет о сходстве нравов и интересов Мордвинова и самого поэта — Петрова.

240. Отд. изд. (М.), 1796. Екатерина II умерла 6 ноября 1796 г., и 12 ноября на престол вступил Павел. Петров, апологет Екатерины, оказался в несколько затруднительном положении, но постарался и выразить скорбь в связи со смертью императрицы, и в то же время приветствовать Павла. До этого Петров написал Павлу только одно «Письмо к цесаревичу Павлу Петровичу» (1776) и посвятил ему перевод «Энеиды» (1770) (см. примеч. 229). Впоследствии Петров написал стихотворение «На торжественное восшествие Павла Первого в Москву 1797 года» и большое по объему произведение в стихах «Торжественное венчание и миропомазание на царство его императорского величества Павла Первого...» (1798). *Расширила мои, не лья кровей, пределы.* При Екатерине без военных действий были присоединены Крым, белорусские губернии и др. *Ее ко груди жмет* — Россию. *Свидетели внутри и здравия и мочи* — т. е. свидетели того, что Россия внутренне здорова и сильна. *Меж дщерей, меж сынов.* В 1796 г. в императорской семье было 3 сына (Александр, Константин, Николай) и 5 дочерей (Александра, Елена, Мария, Екатерина, Анна). *Его супруга* — императрица Мария Федоровна (1759—1828).

Ф. И. ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ

241—246. Любовь Псиши и Купидона, сочиненная г. де ла Фонтеном, переведена с французского, ч. 1—2, М., 1769, с. 19, 22, 55, 121, 172, 213. Перевод произведения Ж. Лафонтена (1621—1695) «Les amours de Psyché et de Cupidon» (1669), представляющего переработку сказки Апулея об Амуре и Психее из его романа «Золотой осел». В предисловии к переводу Дмитриев-Мамонов писал: «Я избрал для переводу нежнейшее из того, что г. де ла Фонтен чрез всю свою жизнь в свет издал, и в оном его сочинении самых низких слов совсем нет: но признаюсь, что желая употребить приличный штиль или слог тут, где материя оного требовала, я имел наивеличайший труд; потому что в оригинале слог хотя благороднее его нравоучительных басен, но для героичного слога весьма низок, и охоту мне подало переводить не штиль, но материю» (ч. 1, с. 15—16). В текст повести Лафонтен включил стихи, которые перевел Дмитриев-Мамонов, указав в предисловии: «Все, что у меня положено стихами, стихами сочинено и у г. де ла Фонтена» (ч. 1, с. 17).

1. *Псише* — Психея. *Сей бог* — Купидон.

2. Описывается путешествие Венеры по морю в сопровождении «всего двора Нептунова». Перед стихами сказано: «Сия есть настоящая материя поэзии, не много приятного будет, когда буду писать в прозе строи богов морских, а сверх того, я думаю, что не можно изъяснить обыкновенною речью всю славу, в которой тогда богиня находилась».

3. Стихи произносит Психея, стремящаяся увидеть своего мужа Купидона, прилетающего к ней только ночью.

4. Нарушившая запрет Купидона и изгнанная им Психея в тоске блуждает по лесу. Встретив старика, она рассказывает ему о своих страданиях и проводит некоторое время в его хижине: «Покойность сего места принудила Псишу сделать стихи, она собрала поэзические свои мысли, которые ей дали нимфы, и оные вирши несколько состояли в таком разуме».

5. Исполняя приказание разгневанной на нее Венеры, Психея отправляется к фонтану молодости, чтобы взять из него воды. Фонтан охраняется змеем, и Психея поет ему песню, чтобы усыпить его.

6. Психея примиряется с Купидоном, и у них появляется дочь Роскошь.

247. Поэма. Любовь. С⟨очинителя⟩ А⟨ллегории⟩ Дворянина-философа, ⟨М.⟩, 1771, с. 3.

248—249. Поэма. Любовь, с. 6 и 53. Вся поэма состоит из семи песен. Печ. песни I и VII. Во 2-й песни говорится о непреодолимости любовной страсти, о радостях и страданиях, которые испытывают влюбленные. В 3-й песни приводятся примеры трагической любви, известные из мифологии. В 4-й песни описывается храм любви, в котором царь — Купидон. В 5-й песни говорится о тех обстоятельствах и случаях (маскарады, уединенные прогулки и т. д.), которые помогают влюбленным. В 6-й песни речь идет о врагах любви — разлуке и ревности и о том, как истинные влюбленные преодолевают все препятствия, даже ад.

250. Поэма. Любовь, с. 61. *Сад измыслен в Гесперидe* — имеется в виду сад Гесперид. *Князь из Илиона* — Парис. Речь идет о знаменитом суде Париса.

251. Поэма. Любовь, с. 77.

252. Поэма. Любовь, с. 80.

Ф. Я. КОЗЕЛЬСКИЙ

253—257. Элегии и письмо, сочиненные капитаном Федором Козельским, СПб., 1769, с. 5, 14, 35, 44, 52. Печ. по Соч., ч. 2, СПб., 1778, с. 7, 18, 41, 52, 61. В обоих изданиях у Козельского двадцать пять элегий, порядок их расположения во втором изд. сохранился, но письмо («Издревле человек натуры был на лоне. . .») в Соч. не включено. Печ. выборочно с сохранением авторской нумерации. В обоих изданиях перед текстами элегий было предисловие, в котором, в частности, говорилось: «Читая сие сочинение, благосклонный читатель, уповаю, помыслишь, что оно никакой пользы обществу приносить не может. Однако молодые люди, имеющие охоту к чтению стихов, любопытство свое удовольствуют. Не в одних токмо книгах, содержащих нагие нравоучительные правила, заключается польза, которые молодым людям, желающим от чтения книг просвещать свой разум, иногда бывают скучны; но и в тех невидимым образом и приятнее почерпается, в которых под разными виды вымышленных

случаев, как то: басен, шуточных, жалостных, ужасных и сему подобных историй, полезное нравоучение скрыто».

Элегия I. В изд. 1769 в составе 42 строк, с вариантами. Наиболее существенные варианты:

3—8 Предвестие было во сне и на яви,
Что предстоит моей несчастный рок любви.
Любовь! к чему в моем ты сердце вспламенилась?
На то ль, чтоб ты, мой свет, со мною разлучилась?
О, нестерпимый рок! О, строгая судьба!
В коликих горестях живу я без тебя!

вместо 45—54 О, день несчастия! О, нестерпимы муки!
День горести моей! О, день моей разлуки!

Элегия XVI. В изд. 1769 без последних восьми строк, с разночтениями.

Элегия XXI. Наиболее существенные варианты в изд. 1769:

1—4 Напрасно я себя счастливым называл,
И мысленно себя вотще увеселял,
Бесплодныя к тебе не предузнавши страсти,
И сколько буду я сносить от ней напасти.

27—42 На то ли я в тебя, красавица, влюбился,
Чтоб только лишь страдал, вздыхал и век крушился,
И чтоб, вместо утех, терпел несносный плен
И чтоб в неволю дух был вечно заключен,
Чтоб сердцу лишь носить претяжкие оковы
И чтоб считать во дни минуты все суровы?
Любезная, поверь, что я тобой пленен!
Ах, не на то, чтоб был тобою умерщвлен!
Любя тебя, я ждал приятнейшей отрады,
Веселья и утех, а не такой отплаты,
Которой должен ждать коварный лишь злодей, —
Для друга верного прием не сроден сей.
Что сколько на тебя с горячностью взираю,
Холодности в тебе я столько примечаю,
И к лютой муке мне презрение одно;
На то ли сердце мне тобой воспалено?

Элегия XXV. В изд. 1769 в составе 42 строк, с разночтениями.

258. Отд. изд., СПб., 1769. Печ. по Соч., ч. 2, 1778, с. 137. Поэма состоит из четырех песен. Содержание следующих трех песен таково. Дикон рассказывает Диане и нимфам свою историю: он много страдал, столкнувшись в свете с несправедливостью, жестокостью и враждой. Диана пытается научить Дикона, как нужно общаться с людьми, далекими от естественной простоты. Однако Дикон невнимательно слушает наставления Дианы, так как он страстно влюбляется в нимфу Мелиту, внешне похожую на Прианну. Мелита, пораженная стрелой Купидона, тоже любит Дикона. Все это замечает Диана и, несмотря на свое огорчение, предоставляет Мелите полную свободу.

Постоянным спутником влюбленных Дикона и Мелиты становится вздыхающая печальная горлица. Дикон стреляет в нее из лука, оказывается, что это Прианна, превращенная злой Иридой в горлицу; она умирает, Дикон в отчаянии, но Мелита предлагает ему пойти к Диане и попросить оживить Прианну. Диана смягчается и соглашается на просьбу, но при этом Мелиту превращает в облако. Теперь Дикон грустит о Мелите, и Прианна, в свою очередь, тоже решается пойти к Диане и вымолить прощение Мелите. По воле Дианы Мелита принимает свой прежний вид, ее с радостью встречает и Дикон, и Прианна, все трое становятся счастливы и остаются жить во владениях Дианы: Мелита и Прианна причислены богиней к дриадам, а Дикон — к сатирам. В «Опыте исторического словаря о российских писателях» (1772) Н. И. Новикова в статье о Козельском говорилось, что «поэма «Незлобивая жизнь» от многих и похвалу заслужила» (с. 101). *Не пастуха пою, ходяща за стадами* и т. д. Имеется в виду библейский герой Иаков, который, будучи любимцем матери, добился благословения на первородство и присвоил, таким образом, права, принадлежавшие его старшему брату-близнецу Исаву. *От предков тех.* Имеются в виду Адам и Ева. *Изуверы* — Циклопы. *В снедь полупотребленных* — наполовину съеденных. *Древни исполины* — Гиганты (см. миф. словарь). *Отец веков* — Зевс.

259—261. «Санкт-Петербургские ученые ведомости», 1777, № 11, с. 87. Издатель «Санкт-Петербургских ведомостей» Н. И. Новиков предложил «российским стихотворцам» сочинить надписи «к личным изображениям российских ученых мужей и писателей», а именно: Феофана Прокоповича, А. Д. Кантемира, Н. Н. Поповского (см. с. 75—77), А. П. Лосенкова и Е. П. Чемезова. Козельский откликнулся на это предложение, сочинив надписи первым трем. В следующем номере журнала (№ 12) был помещен критический разбор надписей Козельского. В разборе говорилось: «„Надпись Феофану Прокоповичу“ кажется нам двоесмысленною: одно произношение слова *вот* может превратить ее из похвальныя *надписи* в насмешливое изречение, да и само по себе слово *вот* неприлично для *надписи*. Славные г. стихотворцы наши употребляли вместо оного *се*. Впрочем, вообще сия «Надпись» кажется нам мала для славнейшего проповедника и ритора, философа и богослова, политика и историка; и мы бы желали, чтобы «Надпись» такому великому писателю сообразна была трудам и делам его. Что касается до «II. Надписи К. Кантемиру», то она кажется несколько темна, и также недовольно означает труды сего писателя, как то из описания жития сего мужа, напечатанного при его «Сатирах» и в «Опыте исторического словаря о российских писателях» усмотреть можно. «III. Надпись профессору Поповскому» хотя кажется нам и лучшею изо всех, но она в первых трех стихах показует, как будто бы Поповский писал о той же материи на российском языке, о которой трактовал Попе на аглинском; но Поповский перевел только со французского языка «Опыт о человеке». Мы намерены были заметить здесь касающееся только до содержания сих «Надписей»; что же принадлежит до чистоты и правил стихотворства, то оставляем об оном судить славным нашим г. стихотворцам». В последующих номерах журнала были помещены надписи других поэтов к этим же портретам.

2. *Гораций* — см. примеч. 8 — 12. *Буало*-Депрео Н. (1636—1711) — французский поэт, критик, теоретик классицизма; пользовался большим авторитетом у русских писателей XVIII в.

3. *Попе* — Поп А., см. примеч. 2.

262. Соч., ч. 1, 1778, с. 222. *Воронцов* Роман Илларионович (1707—1783) — граф, государственный деятель; при Екатерине II был наместником нескольких губерний (см. также примеч. 302).

263. Отд. изд., СПб., 1778. Печ. по Соч., ч. 1, 1778, с. 96. Рождение *Александра Павловича*, впоследствии императора Александра I (1801—1825), сына Павла Петровича, в то время великого князя, и Марии Федоровны, воспринималось как очень значительное событие: в царской семье появился первый наследник, внук Екатерины. *От корене Петрова.* Александр приходился праправнуком Петру I. *Невский Александр* (ок. 1220—1263) — выдающийся русский государственный деятель и полководец, разгромивший шведов в Невской битве 1240 г. *Народ ахейский* — древние греки. *Пред ним на холмах гор Ливонских* и т. д. Речь идет о событиях Северной войны, в результате которой Россия вытеснила шведов из Прибалтики. Козельский хочет видеть в Александре продолжателя дел Петра. Ливония — страна, находившаяся на территории современной Латвии и Эстонии. *Готф* — здесь: швед. *От мест, в две лета половины* и т. д. — т. е. с самого крайнего севера до Черного моря.

264. Отд. изд. ⟨СПб.⟩, 1769, (др. редакция). Печ. по Соч., ч. 1, 1778, с. 60. Наиболее существенные варианты в изд. 1769:

строфа 2, 4—10

С луной не солнце ль становится?
Того послало божество
Карать Магмеда юродство́
И богу род разить противный.
Не зайдет солнце в тихий понт,
Луна не взо́йдет в горизонт,
Поколь конец бог даст предивный.

строфы 3—6

Приятна туркам что луна
На помощь крепку не восходит?
Или помочь коль не сильна,
Хоть тьмы на стыд их не наводит?
Ее краснеет стыдный взор,
И чуть возникнет из-за гор,
Зардевшись, паки верх скрывает.
Паша кричит: «Что идет прочь?
Что не наводит темну ночь
И страшный бой не прекращает?»

Как волк, томяся в летний зной,
В своем движеньи помутится,
Возжженный яростью презлой,
И волка растерзать стремится,
Сверкает огнь в его глазах,
Турецкий стан смущает страх,

Как турок турка там терзает;
Уже мутится зверский взгляд,
Своей свирепой злости яд
Уже на ближних истощает.

О боже! Дивны чудеса
Се паки нам устроеваешь!
Се паки щедры небеса
Любезну роду преклоняешь!
Не видит ли твоих препон?
Прегордый паки фараон
Чрез Днестр течет во гневе яром;
Он россам шествовать претит,
Голицын по водам разит;
Что ж? — потоплен жезла ударом.

Подняв главу опять Хотин
Из пепела, забывши рану,
Уж мнил, как дерзкий исполин,
Россию махом быть попранну.
Зовет на бой, кричит: «Вам стыд!»
Тут рек российский наш Давыд:
«О боже! буди препрославлен!»
Пошел, за смех взнегодовав, —
Уже свирепый Голиаф
Стремглав повержен обезглавлен.

строфа 7, 1—5

Какой разит, Хотин, тя страх?
Пред россом руки опускаешь;
Бездушно тело кроет прах,
Дух прежде бою испускаешь.
Рушитель наш покойных дней!

между строфой 14 и 15

Пускай татарский там Ферон
На Днестр ярясь лук напрягает,
В котором дерзкий Фаетон,
С высот низвержен, утопает, —
Он торжествуя к нам идет.
В оковах тех с собой ведет,
Воздвигли росски что герои.
Стоят трофеи в сих местах,
Янычар! на твоих плечах
Что не умели жить в покое.

Написано по поводу взятия Хотина 9 сентября 1769 г. русскими войсками во время русско-турецкой войны 1769—1774 гг. *Голицын* Александр Михайлович (1718—1783) — князь, генерал-фельдмаршал, командующий армией, взявшей Хотин. Последующие военные действия Голицына были не очень удачны, и вместо него был назначен П. А. Румянцев (см. примеч. 233). *Луна не смеет в свет явиться.* Имеется в виду Турция, гербом которой было изображение лунного

серпа. *Чрез Днестр великий змий плывет* и т. д. 27 августа 1769 г. турки атаковали русскую армию, стоявшую на левом берегу Днестра, но были отброшены за реку. 6 сентября новый турецкий отряд переправился через Днестр, но тоже был разбит. *Магмед* — имеются в виду турки, поклонники Магомета. *Очаков, помня казнь.* Крепость Очаков была взята русской армией под предводительством Б.-Х. Миниха в 1737 г. во время русско-австро-турецкой войны (1735—1739). *Афины рвали так союз.* В 415 г. Афины предприняли поход в Сицилию, чтобы помочь городу Эгесте против *Сиракуз.* Однако в ходе Пелопоннесской войны (431—404 до н. э.) сиракузяне полностью уничтожили афинскую экспедиционную армию (415—413 до н. э.). *Алцибиад* — Алкивиад (ок. 451—404 до н. э.), полководец и политический деятель древних Афин; был главным организатором похода против Сиракуз. *Тебе подвластный, Порта, грек* и т. д. В 1770 г., когда в Средиземном море появилась русская эскадра, в Греции, находившейся под властью Турции, вспыхнуло восстание. *Порта* — Турция. *Азов на юг взирает грозно.* Азов был окончательно присоединен к России в результате войны 1735—1739 гг. по Белградскому договору (1739). *Фабиев ветр тихо дул.* Фабий Максим (ум. 203 до н. э.) — римский полководец, известный своей медлительностью и осторожностью в сражениях. *Митридат* VI Евпатор (132 — ок. 64 до н. э.) — царь Понтийского царства; покончил самоубийством, когда его войска были разбиты римлянами. *Лукулл* Луций Лициний (ок. 117 — ок. 57 до н. э.) — римский полководец, одержал победу над Митридатом. *С хищными мурзами.* Имеются в виду татары, воевавшие на стороне турок. *Сципион* Публий Корнелий Эмилиан Младший (ок. 185—129 до н. э.) — римский полководец, одержавший блестящие победы в Африке и захвативший Карфаген в 146 г. до н. э. *Народ сидонский* — жители Карфагена, основанного выходцами из Финикии (см. примеч. 234). *Геллеспонт* — древнегреческое название Дарданелльского пролива. *Родитель* — М. М. Голицын (1675—1730), отец А. М. Голицына, генерал-фельдмаршал, участник Северной войны, отличившийся в Полтавском сражении (1709).

265—267. Первую книгу «Сочинений» Козельский, как было в то время принято, начал духовными стихами. Первым было помещено стихотворение «Начало богопочитания» («Как царствующий с чудом страх над слабым сердцем человека. . .»), затем следовало восемь духовных од. Печ. выборочно с сохранением авторской нумерации.

Ода III. Соч., ч. 1, 1778, с. 26.

Ода V. Соч., ч. 1, 1778, с. 32.

Ода VIII. Соч., ч. 1, 1778, с. 45. *Не дай запять ноги моей* — т. е. не дай мне споткнуться.

268. Соч., ч. 1, 1778, с. 112.

269—298. Соч., ч. 1, 1778, с. 115.

299. Соч., ч. 1, 1778, с. 201. Здесь помещено 10 стихотворных «Размышлений». Направлено в первую очередь против Н. И. Новикова, неодобрительно отзывавшегося о творчестве Козельского, в частности о его трагедии «Пантея» (СПб., 1769). В журнале Нови-

кова «Трутень» (1769, лист XVII) было помещено стихотворение «К г. издателю Трутня», высмеивавшее автора «Пантеи». *Бендеры* — крепость в Бессарабии, захваченная русскими войсками в 1770 г. во время русско-турецкой войны. *К забаве есть у нас такие две особы.* По указанию В. П. Семенникова, здесь имеются в виду, вероятно, Н. И. Новиков и М. И. Попов, принимавший участие в новиковских журналах «Трутне» и «Живописце» («Рус. библиофил», 1914, № 1-4, с. 41—43). *Славный лексикон* — «Опыт исторического словаря о российских писателях» Новикова (1772). В помещенной здесь статье о Козельском в частности говорилось: «Писал много стихов, из которых напечатаны: «Собрание элегий» и трагедия «Пантея»; но как первые, так и последние не весьма удачны» (с. 100—101). Эти слова, безусловно, задели Козельского. *Проворен ты, учен и беглый человек.* Вероятно, намек на исключение Новикова из гимназии за «леность и нехождение в классы», а также уход Новикова со службы в 1770 г. *Великий муж, иль лучше мужичок.* По-видимому, намек на мещанское происхождение М. И. Попова.

300. Соч., ч. 1, 1778, с. 201. *Кир* Старший (559—530 до н. э.) — основатель древнеперсидского царства. *В Мидии вино за яд смертельный счел* и т. д. Речь идет об эпизоде из жизни Кира, переданном Ксенофонтом. Оказавшись в Мидии у своего деда царя Астиага, юный Кир заметил, что после вина мидяне стали очень шуметь и нелепо вести себя. Кир решил, что в вино подкладывают яд, и, подавая на следующий день деду чашу с вином, не стал сам пробовать вино, как это полагалось делать виночерпию (см.: Ксенофонт, Киропедия, СПб., 1837, с. 186—187). *Пред светом вышел прав.* Впоследствии Кир прославился своей мудростью. *Пронзен от Александра Клит.* В 328 г. до н. э. Александр Македонский (см. примеч. 2), опьяненный вином, в припадке гнева заколол во время пира Клита, который спас ему в сражении жизнь. *Колумб* Х. (1446—1506) — знаменитый мореплаватель, открывший Америку. *Невинной простоте нанес немало бед* и т. д. Речь идет о порабощении туземного населения Америки колонизаторами.

301. Соч., ч. 1, 1778, с. 209. Перевод идиллии французской поэтессы А. Дезульер (1638—1694) «Le Ruisseau» (1684).

302. СЛРС, 1783, ч. 10, с. 173. См. примеч. 262. Здесь же помещена «Эпитафия» Р. И. Воронцову, присланная из Владимира (с. 174). Козельский, благодарный Воронцову за покровительство его сыну, о котором он говорит в «Письме» (см. № 262), написал ему «Надгробную», отправив ее дочери графа — княгине Е. Р. Дашковой, принимавшей в то время деятельное участие в издании СЛРС. В письме, приложенном к «Надгробной», говорилось: «Сим имею честь препроводить к вашему сиятельству сочиненную мною надгробную надпись покойному родителю вашему, как последний долг чувствительной моей к нему благодарности. Напечатав оную в «Собеседнике», вы удовлетворите сердцу моему, преисполненному истинного почитания и вечной признательности к сему моему благодетелю и человеколюбием прославившемуся мужу» (СЛРС, 1783, ч. 10, с. 172—173).

М. И. ПОПОВ

303—323. Песни 1—3, 6, 8—12, 16—19 впервые в кн.: Песни, сочиненные Михайлом Поповым, ⟨СПб., 1765⟩ (в другой последовательности и с разночтениями все песни, кроме 8 и 10). Эти же песни и 4, 5, 15 в кн.: Песни, вновь исправленные и умноженные. Сочинение Михайла Попова, 2-е изд., СПб., 1768 (в другой последовательности, отличающейся от 1-го изд.). Печ. по Досугам, с. 53. Песня 20 представляет собой вариацию на тему народной песни, включенной в «Собрание разных песен» М. Д. Чулкова (СПб., 1770, ч. 1, с. 188), из которой Попов взял целиком две начальные строки. Попов собирал народные песни и готовил к изданию сборник, в который, по его замыслу, должны были войти и сочиненные им самим, и народные песни. Этот сборник появился уже после его смерти («Российская Эрата, или Выбор наилучших новейших российских песен, поныне сочиненных... Собранные и частию сочиненные покойным Михайлом Поповым», ч. 1—3, СПб., 1792). В «Предисловии» к этому сборнику Попов писал: «...Любовная песня есть род малыя поэмы, в которой описывается некоторое приключение или страсть любящего; но описание сие должно быть кратко, живо, просто, но благородно, ни лирическия пышности, ни комическия низости не имеющее; чтоб огнь его умножал свой пламень постепенно и оканчивался острым и решительным падением». Песни Попова были очень популярны в XVIII и начале XIX в.; включались в многочисленные печатные и рукописные сборники; некоторые песни были положены на музыку. О работе Попова над песнями и их дальнейшей судьбе см.: В. Е. Гусев, Михайло Попов — поэт-песенник. — «Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. XVIII век. Сб. 7», М.—Л., 1968, с. 132—137.

324—343. Печ. выборочно. Эпиграммы 1—3: «И то и се», 1769, № 7; эпиграммы 4—12: там же, № 12, одновременно эпиграммы 5, 8, 9: «Ни то ни сио», 1769, лист 6, 28 марта, с. 42; эпиграмма 13: «И то и се», 1769, № 20; эпиграммы 19—23, 29: «И то и се», 1769, № 21; эпиграмма 30: «Трутень», 1769, лист 4, 19 мая, с. 27. В «И то и се» всюду без подписи. Печ. по изд.: Досуги, с. 20.

344—345. 1. «И то и се», 1769, № 12. 2. Там же, № 20, без подписи. Печ. по изд.: Досуги, с. 81. В подборку входит еще элегия («Увы! едва я мысль на бедство простираю...»).

346—347. «И то и се», 1769, № 12, под загл. «Эпитафии», без подписи. Печ. по изд.: Досуги, с. 27.

348. «И то и се», 1769, № 12, без подписи. Печ. по изд.: Досуги, с. 19.

349. «И то и се», 1769, №№ 18—20, без загл., с разночтениями и в составе ст. 1—336 (без ст. 321—324), без подписи. Помещено после письма к «господину сочинителю», в котором об авторе басни говорится: «Осмеиваемый им... порок сроден всем почти человекам, так никто его не послушает; ибо ныне читают не для того, чтоб употреблять в свою пользу описуемые пороки, но чтоб только посмеяться над чужими и научиться злословить». Печ. по изд.: Досуги, с. 31.

350. Досуги, с. 3. Стихотворение служит вступлением ко всей книге, объединяющей разные произведения Попова (стихи, комическая опера «Анюта», комедия «Отгадай и не скажу», «Краткое описание славенского баснословия», представляющее собой своеобразный свод славянской мифологии).

351. Досуги, с. 17. Речь идет о книге «Ядро российския истории, сочиненное ближним стольником и бывшим в Швеции резидентом, князь Андреем Яковлевичем Хилковым в пользу российского юношества, и для всех о российской истории краткое понятие иметь желающих в печать изданное, с предисловием о сочинителе сей книги и о фамилии князей Хилковых» (М., 1770). Написавший предисловие Г. Ф. Миллер ошибочно считал автором книги А. Я. *Хилкова* (ум. 1718). В действительности автором был секретарь Хилкова А. И. Манкиев (ум. 1723) (см.: Сводный каталог русской книги XVIII века, т. 2, М., 1964, с. 215—216).

352. Досуги, с. 18. *Волков* Ф. Г. (1729—1763) — знаменитый русский актер, основатель русского театра. В примеч. — ссылка на статью о Волкове в «Опыте исторического словаря о российских писателях» Н. И. Новикова (СПб., 1772, с. 32—44).

353. Досуги, с. 19.

354. Досуги, с. 30. Вольный перевод басни Х.-Ф. Геллерта «Die Nachtigall und die Lerche». Прозаический перевод этой же басни «Притча. Соловей» («И то и се», 1769, № 31, с указанием: «Переведено с французского из Геллертовых сочинений»), возможно, также принадлежит Попову.

355. Досуги, с. 51. Стихотворение служит своеобразным посвящением, предшествующим «любовным песням» и элегиям, напечатанным в «Досугах» (см. №№ 303—323, 344—345).

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭТЫ 1750—1770-х ГОДОВ

Н. Н. ПОПОВСКИЙ

А. П. ДУБРОВСКИЙ

И. С. БАРКОВ

А. А. РЖЕВСКИЙ

Д. И. ФОНВИЗИН

П. И. ФОНВИЗИН

В. П. ПЕТРОВ

Ф. И. ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ

Ф. Я. КОЗЕЛЬСКИЙ

М. П. ПОПОВ

ПОЭТЫ XVIII ВЕКА

Том первый

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1972,
624 стр. План выпуска 1972 г., № 314

Редактор *В. С.* Киселев
Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректор *Ф. Н. Аврунина*

Сдано в набор 8/II 1972 г. Подписано в печать 18/V 1972 г. М 16375. Бумага 84×108 $^{1}/_{32}$, № 2. Печ. л. 19 $^{1}/_{2}$+2 вкл. (32,97). Уч.-изд. л. 33,24. Тираж 25 000 экз. Заказ № 271.
Цена 1 р. 28 к.

Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение, Ленинград, Невский пр., 28.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Красная ул., 1/3